
Библиотека Казахской Литературы

С а б и т М У К А Н О В

Школа жизни





А. Затаевичем, М.О. Ауэзовым, А. Маргуланом, С. Ходжановым, Л. Мирзояном... Эта передовая часть общества в буквальном смысле взяла на себя весь груз ответственности за будущее своего народа в разных сферах человеческого бытия – общественно-политической, социально-культурной и научно-образовательной. Многих из них ожидал репрессивный исход, независимо от того – на каком берегу революционного водораздела они находились.

Необходимо отметить, что в трилогии всесторонне показано рождение и становление поэта Сабита Муканова. Через его ранние стихи читателю раскрываются прекрасные картины природы – степи, лесов, озер Приишимья.

Глубоко интересны страницы трилогии, посвященные образам Чокана Валиханова, Кенесары Касымова, Абая, Г. Токая, Нуржана Наушабаева. Зачастую афористичен и сам язык писателя. Вот как он характеризует литературно-академический язык нашего прошлого – «Чагатайский язык – это золотая латынь Средней Азии». Разумеется, суждения автора и его оценки происходящего не всегда объективны, ибо зачастую они характерны для того периода, для того революционного времени. Автор сам не раз вносил изменения и существенные поправки. В конце третьего, заключительного тома есть следующие слова автора: «...у мемуарного жанра есть свои законы и особенности: о годах недавних, о невымысленных героях, живущих и работающих бок о бок с тобой, писать иногда бывает слишком сложно. Многие оценки еще не устоялись, порою случайное кажется важным. Но разве я в силах, как мог бы это сделать в качестве романиста, попрощаться со своими героями? Ведь они рядом, ведь в их числе – и я сам. И меня, совершенно естественно, продолжает занимать их судьба».

В начале XXI века столетний юбилей Сабита Муканова был включен в календарь памятных и знаменательных дат ЮНЕСКО. Юбилейные мероприятия прошли в Казахстане и в Париже.

Для читателя XXI века глубоко важен непосредственно сам фактологический и биографический материал героев и персонажей трилогии «Школа жизни». И при чтении такого произведения необходимы толерантность и, я бы сказал, либеральная терпимость в оценке и суждениях мемуарной литературы такого плана, каким является трилогия Сабита Муканова «Школа жизни».

Бахытжан Каналынов

*С чувством искренней любви посвящаю
этот свой скромный труд памяти моего
отца Мукана, матери Балсары, сестер
Дамеш, Зауре, Умсындык, Багилы,
Ултуган и Балтуган.*

Автор

РАЗОРЕННОЕ ГНЕЗДО

ИЗ ИСТОРИИ МОЕГО РОЖДЕНИЯ

Повесть о себе я хочу начать со дня своего рождения, ибо по счастливой случайности я однажды услышал, при каких обстоятельствах это произошло. На девятом году жизни мне поведала об этом одна женщина, которую я никогда не встречал до этого и с которой расстался навсегда на исходе того же дня. Да будет мир ее костям! Ибо и в то время она была уже почти старухой, а с момента ее рассказа прошло почти полвека. События, при которых произошел наш разговор, тоже примечательны, и поэтому на них стоит остановиться.

В то памятное лето наш аул расположился на берегу Доса – светлого тихого озера, о котором я подробнее расскажу дальше. Жили мы тихо, мирно, без особых происшествий, без громких ссор и свар. Но вот однажды случилось что-то необычайное. Люди вдруг потеряли покой: начали бегать, осматривать свои кибитки, чинить седла, чистить уздечки и, собираясь по несколько человек, то шумно, то тихо советоваться друг с другом. Забегали взрослые, засуетились и дети. От своих товарищей по играм я и узнал, в чем дело. Оказывается, наш аул собирался ехать в гости к нижним сыйбанцам¹.

¹Сыйбан – название рода.

Род сыйбанцев, к которому я принадлежу, не шой, но очень разветвленный. Сыйбанцы и сложную генеалогию, в которой только стари могут разобраться. Делился в ту пору род по кочевья на две неравные ветви: на верхних сыйба (к ним принадлежала моя семья), которых нас валось около шестидесяти кибиток, и летовали на берегах озера Дос, и нижних сыйбанцев, кот кочевали где-то далеко от нас. Раз в год ро собирались в гости друг к другу. Эти встречи об лялись очень торжественно. Еще бы! Раз и оставшиеся в живых встречались с живыми, и кивали мертвых, обсуждали новости – мало л накопится за год! Съезжаться родственникам можно было только летом, в пору, когда не крутит в и не свирепствуют сорокаградусные морозы и поэ нет опасности сбиться с дороги и замерзнуть пут

Наш аул ко времени рассказа вел уже полусосе образ жизни. Это сказывалось, между прочим, средствах передвижения. Обычно у кочевников кибитки одного образца, но сколько разных пов увидел я в те дни! Сколько седел и упряжек п смотрел! Здесь были и лаковые тарантасы с плетен верхами – дорогие заводские изделия, доступ только самым богатым, и скрипучие рыдваны се няков, и самодельные, грубо сколоченные телег таратайки перекатной голи нашего аула, и, нако двуколесные казахские арбы, в которые впряг только быков. Кони тоже были разные. Баи впряг в свои тарантасы пару или тройку подобранных одну масть, выхоленных коней с лоснящейся шерс: середняки, которые изо всех сил тянулись за богач: тоже впрягали своих клячонок. Беднота же, кото не из чего было тянуться, впрягала таких фан тических одров, что у меня невольно возник сомнение – да полно, смогут ли они сделать двадцать или тридцать верст по степи, не рухнуть л

дороге? А у самых нищих и того не было. Эти запрягали дойных коров. Ну, а у кого и коров уже не осталось, те просто сидели дома. Говорят же: «Пасху празднуют лошадные, на свадьбе гуляют нарядные». Особенно волновалась молодежь. Жигита, конечно, ни в какой тарантас не усадишь, – в степи он признает только верховую езду. Вот где простор для джигитовок, для стычек наперегонки! Дети богатых легко вскакивали в посеребренные новенькие хрустящие седла. Дети середняков довольствовались простыми седлами; бедняки же просто залезали своей клячонке на спину да и тряслись всю дорогу. Поехать в гости из бедной семьи мог только кто-нибудь один, потому что другому уже ехать не на чем. Верблюдов в нашей местности совсем мало, есть только у богатеев, а джигитовать на быке или на корове – дело позорное!

Итак, все в сборе. Кто сидит верхом, кто влез в тарантас. Один я стою на краю дороги и уныло смотрю вслед отъезжающим. У меня ни кола ни двора, ни лошади, ни повозки, А просить кого-нибудь, чтобы захватил с собой, стыдно, да и бесполезно. Кому я нужен? Вот уж заскрипели первые телеги, замелькали лаковые крылья пролетов, со свистом, гиканьем вылетели на дорогу молодые всадники и, миновав аул, пустили своих коней вскачь. Как нарочно, день стоит тихий, солнечный. В моих глазах сливаются ослепительные спицы тарантасов, медленно покачивающиеся верблюды... Слезы застилают все. Я никому не нужен: люди едут, смеются, и никто-то на меня никакого внимания не обращает. Но точно ли никто? Вот еле-еле плетется клячонка, такая худая и заморенная, что она и идти-то может только шажком, а на ней Касен – один из самых горьких бедняков аула. Он замыкает шествие, все остальные уже в степи. Я робко подхожу к нему. Он секунду сосредоточенно смотрит на меня, не понимая, что мне нужно, и вдруг лицо его озаряется доброй жалостливой улыбкой.

– Никто, видно, не взял сироту с собой, никому он не нужен,– говорит Касен.– А ну лезь ко мне! Живо!

Вот и я поехал на праздник! К вечеру мы дотащились до большого озера Есеней. На его берегах и разбили летовку наши родичи. Нас ждали, встречающие направляли гостей кого куда.

– А вы остановитесь у Рахмета,– объявляет нам встречающий.

– У Рахмета?– спрашивает мрачно Касен.– А что у него делать? Он и сам-то голодает.

– А это уж старикам говорите. Таково распоряжение. Я ничего не знаю,– равнодушно отвечает встречающий и отворачивается от нас.

Нечего делать, поехали мы к Рахмету.

Юрта у него крошечная, насквозь прокопченная, вся в дырах, щелях и заплатках, но хозяин своим радушием искупал все. Он встретил нас на дороге, учтиво поклонился, повел в юрту и торжественно усадил обоих на самые почетные места.

– Ну, а уж за угощение не взыщите,– сказал Рахмет, разводя руками,– сами видите, как живу.

И пошел резать для нас своего единственного козленка. Скучное угощение выпало нам на долю в тот торжественный день. Мясо было волокнистое и невкусное: козленок пасся возле аула, а какая там трава?

Касен остался у хозяина (он был очень тронут его гостеприимством), а я пошел бродить по аулу. Меня так и тянуло к большой белой юрте (раз белая, значит, богатая), стоящей на западе, самом почетном месте аула. Но до чего же мне было горько и сиротливо топтаться около ее входа! Мои именитые одноаульцы, веселые, хорошо одетые, сытые, сидят там внутри, разговаривают, пьют вкусный кумыс, веселятся. Под ними мягкая кошма, перед ними блестящие пиалы на белых скатертях. Их смех и веселые голоса разносятся по всему аулу. Я отхожу в сторону.

Около юрты на огне бурлит что-то в черном закопченном котле. Это варится угощение гостям. Ребятишки окружили костер со всех сторон и играют тут же, не отходя: они ждут сурпы – крепкого мясного бульона, который останется в котле после того, как из него вынут мясо. Наконец угощение готово. Вынимают из котла огромные дымящиеся куски и бросают в деревянные корыта. В юрте зажигается свет. Женщины расставляют на земле блюда – медные и деревянные. Несколько жигитов сидят на корточках и проворно раскладывают куски мяса согласно обычаю. Другие берут блюда и уносят в юрту.

Здесь сразу же затихают, шум и говор. Гости едят.

Вместе с толпой ребят я втискиваюсь в юрту и голодными глазами смотрю на скатерть, расстеленную на полу. Уже у всех моих товарищей, родители и братья которых сидят в юрте, набиты рты.

Вдруг сзади мне сунули в руку совершенно обглоданную лопатку, такую, что на ней и мяса-то уже не осталось. Я быстро хватаю кость и выбегаю за дверь.

– Ну, этого мальчишку, кажется, так и не накормят, – раздается около меня чей-то равнодушный голос. Человек сказал и прошел мимо, даже не поглядев.

– Гость? – интересуется другой. Я молчу. Он нагибается, всматривается мне в лицо и равнодушно определяет: – Гость.

– А ну давай его сюда! – вдруг приказывает одна из женщин, сидящая у окна.

Мне горько и стыдно идти, жигит, обхватив меня за плечи, подводит к котлу.

– Налейте ему пиалу сурпы и положите требухи! – приказывает пожилая женщина.

Долго ли голодному мальчишке справиться с черпаком похлебки? Через минуту я уже возвращаю пустую пиалу.

– Да ты чей, светик? – вдруг спрашивает женщина.

– Мукана, – отвечаю я угрюмо.

– Какого же это Мукана?– задумывается женщина и вдруг вскрикивает:–Уж не сына ли Шукее! Ах ты бедняжка мой! Тебя зовут Сабит? Да? Твой отец умер?

Она спрашивает быстро, горячо, ласково, и я едва успеваю отвечать. Но откуда она знает меня? Очевидно, это удивило и других.

– А ты его знаешь?– спрашивает какая-то женщина.

– Да как же мне его не знать?– всплескивает руками моя покровительница.– Он же в нашей юрте и родился.

В толпе женщин слышны возгласы. Все удивлены.

– Кто это?– спрашиваю я у соседа.

– Хозяйка этой юрты – Турагал,– шепчет мне сосед.

А Турагал меж тем рассказывает:

– Знала, знала я покойного Мукана. Как же не знать? Он, голубчик, несколько лет у нас в семье батрачил. Ничего про него плохого сказать не могу. Хороший был человек, старательный, честный, исполнительный, кажется, и день и ночь согласен работать. А тихий! Такой тихий, что его и не слышно. И жена его, Баже, была тихой. Звали ее Балсары, а мы просто Баже. И вот, поди тоже, такие смирные люди, а чем-то прогневали аллаха, не давал он им сына, да и все. Дочерей Баже родила тринадцать, а сына нет как нет. А как уж они хотели сынка, как просили аллаха о милости, как плакались на свое горе! Одну дочь называли Умсындык¹, другую – Ултуган². Дочки рождаются, а сына-то все нет и нет. И вот уж когда Баже затяжелела четырнадцатый раз, упал тогда на колени Мукан и стал просить господя: «О аллах, дай мне сына, а потом делай со мной, что хочешь, хоть к себе бери!»

– Это он правильно рассудил,– вмешалась в разговор соседка.– Раз у бедняка сына нет, то и жить ему не стоит. На кого под старость старику надеяться? В его годы уже богатства не наживешь. Хозяйство – одна

¹Умсындык – обманутая надежда.

²Ултуган – предвестница сына.

кошма да пиала, так как же жить? А девки отцу не подмога. Он их для чужого дома выкормил. Нет, если сына бог не послал, так под старость с голоду помрешь или по миру с сумой потащишься.

– Это что уж и говорить, – равнодушно согласилась рассказчица. – Но слушайте, однако, дальше. Пришло Баже время рожать. А в ту пору окот овец начался. Значит, и работы хватало всем. Я этот год очень хорошо запомнила. Вот у нас токал¹ сейчас ходит, скучает, а наш-то² ничего ей в руки не дает взять, боится – ребенку повредит. Ну конечно, с Баже было иначе. В тот год должно было у нас окотиться, как сейчас помню, сто овец, да коз, кажется, штук двадцать, да коров с десятков, а то и того больше должно было отелиться. Ну где же мне одной управиться?! Как я ни жалела бедняжку, а все-таки приходилось заставлять ее кое-что делать. Бредет она по двору, а я иду вслед, и сердце у меня замирает. Так уж я за нее беспокоюсь, так беспокоюсь! А тут, как нарочно, беда привалила. Одна жеребая кобыла сорвалась со двора да и ушла в степь. Скота-то у нас много было, а кобылиц всего-навсего три или четыре, так что наш про это сразу же и узнал. Позвал Мукана и начал на него орать: «Да ты такой! Да ты сякой! Да так-то ты за моим добром смотришь! Смотри, если жеребенок в степи замерзнет, я тебя своими руками задушу! Седлай коня да поезжай в степь! И без лошади не возвращайся!..»

Что тут поделаешь? Я и так, я и сяк нашего урезаю. «Почему именно, говорю, Мукана шлешь? У него жена вот-вот родит, пусть лучше кто-нибудь другой поедет, мало ли людей в доме». Куда! И слушать-то не стал, только ногами затопал: «Ты, заступница, смотри у меня!» Что поделаешь? Пошел Мукан в степь. Задумчивый пошел, хмурый. Сильно не хотелось ему

¹Токал – младшая жена.

²Наш – так раньше у казахов жены называли мужа, не смея произнести его имени.

от жены уходить, да как хозяина слушаешься? И в ту же ночь Баже занемогла. Тяжело она рожала, всю ночь металась и стонала. Родила уж под самое утро. Смотрю – сын. Ох, как же я за нее обрадовалась! Сама его обмыла, в чистую тряпку завернула, а Баже в то время лежала без чувств. На рассвете возвратился Мукан. Шел он в одной рубаше и в руках нес жеребенка, завернутого в шубу. За ним шла кобылица. Наш, конечно, сразу же повеселел: «У тебя, – кричит, – радость – сын родился!» Мукан так и затрясся. А наш-то заявляет: «Я первым тебе об этом сообщил, полагается мне суюнши»¹. А что у Мукана есть? Ни скота, ни денег, ни одежды. Одни новые сапоги под кроватью только стояли. Сапоги, правда, хорошие, по заказу сшитые. Он никогда их не носил, все берег. Вот и доберег. «А что хочешь, то и бери», – предлагает Мукан. «Сапоги дашь?» – спрашивает наш. Тот и бровью не повел. Пошел к себе, вынес сапоги и положил перед хозяином. «Бери, коли они тебе приглянулись!» Ну наш и взял. А как я стала выговаривать ему, так опять рассердился. «А что я плохого сделал? Мы оба по закону поступили. Раз отдал Мукан суюнши, значит, сын будет жить. Пусть радуется, что я взял».

А какую радость в жизни видел Мукан? От нас он вскоре ушел. Жил, говорят, трудно, голодно. Хворал часто и умер еще совсем не старым. Недолго без него и Баже прожила. А сын их долгожданный остался сиротой, вот стоит, бедняжка, у котла, и ему даже куска мяса некому дать.

Так я узнал в этот вечер о том, как появился на свет. Уже много лет спустя, когда я стал устанавливать, сколько мне лет, оказалось, что я родился в год коровы², то есть в 1901 году, 13 апреля (старого стиля).

¹Суюнши – подарок человеку, первым сообщившему радостную весть.

²Возраст людей раньше у казахов исчислялся циклами в 12 лет. Каждый год цикла носил название определенного животного.

ОТЕЦ И МАТЬ

Мать я вспоминаю как сквозь густой туман. В памяти осталось только ее лицо, а главное, ее песни. У нее был красивый голос, и когда она затягивала какую-нибудь жалобную песню, я видел, как по глазам слушателей текли слезы. Внешний образ ее я помню очень смутно: кажется, у нее было круглое скуластое лицо и добрые темные глаза. Говорят, что внешне я очень похож на мать, но вот характер отцовский. Его я помню лучше, чем мать, хотя умер он раньше ее. Был он высоким, худощавым, темнокожим, и то ли оттого, что ему приходилось по целым суткам находиться в степи, под палящим солнцем, то ли уж уродился он таким, но лицо его выглядело не просто загорелым или темным, а попросту черным, как у негра, даже черты у него были скорее негроидные, чем монгольские. Усы же и волосы у отца моего не брала никакая бритва. Болеть он начал рано. Я и помню-то его только больным. Может быть, именно от этого – куда же девать-то свободное время? – он и слыл в ауле замечательным рассказчиком.

Вот помню, например, такое: в комнате тихо, темно, еле-еле горит, чадя и потрескивая, масляный фитиль, а отец сидит на лежанке и, обняв кого-нибудь из нас за плечи, что-то вполголоса рассказывает. И что бы он нам ни рассказывал, было интересно, страшно и занимательно. Я до сих пор помню одну его сказку про батыра и его молодую жену.

После свадебного пира легли молодые спать, и вот...

Проснулся батыр внезапно среди ночи, открыл глаза и видит: у его красавицы-раскрасавицы длинная-длинная змеиная шея, протянула она ее и лакает воду из речки, а глаза злые, зеленые, огненные, как у гадюки, пасть с гадючьими зубами, и между ними черное жало так и мелькает. Ничем не выдал себя батыр, повернулся на другой бок и сделал вид, что спит, даже захрапел. А она около его уха все шипит, все вьется, все огнем палит, даже спать жарко. А наутро

проснулся, лежит около него жена как жена, красавица-раскрасавица. Думал, думал батыр, да и придумал. Говорит жене: «Уж больно ты, жена, хороша, даже глазам больно от твоей красоты».— «Это верно!»— отвечает змея.— «Так тебя не убережешь».— «Где уж!»— отвечает змея.— «И решил я тебя хранить в железном сундуке, чтоб тебя никто и не видел. Полежай, а я тебя на замок запиру».— «Ну что ж!»— отвечает змея.— Коли любишь, так запирай!» И с этими словами вошла в сундук. Тут батыр ее на пятифунтовый замок закрыл, а ключ в реку забросил. «Ну, говорит, дорогая женушка, теперь уж держись!» Разжег костер и бросил сундук в пламя. Раскачивается сундук, змея визжит, воеет, крутится в нем: то растянёт сундук на версту, то свернется клубком, и станет сундук круглым, как бочонок, то его в разные стороны разопрет, а вылезти не может – ведь железо! Так и сдохла гадюка.

Другой рассказ, который я запомнил, был уже не сказкой, а именно рассказом.

Когда-то очень давно, еще до моего рождения, завели мои родители корову. Батрачил в ту пору отец у бая Курульдека, и стояла их юрта на его сенокосном участке. Место было дикое, пустое – степь, мелкий кустарник, а вдали лес. И вот однажды корова пропала: выгнала ее мать утром, а пришла ночь, коровы все еще нет. Отправился мой отец искать, а уж темень, ничего не видно. Бродил, бродил отец меж кустарниками, кричал, свистел, совсем выбился из сил, хотел уж и домой поворотить, как вдруг услышал: ревет корова. Ревела она глухо, отчаянно, не переставая, не ревела, а звала на помощь. Кинулся отец на этот рев и увидел корову. Стоит она среди поля, рвется, ревет, а тронуться с места не может. Прицепилось к ней сзади что-то темное, длинное, большое и не пускает. Подошел отец поближе и увидел: волк! Огромный серый волчина. Впился он зубами в коровий хвост, уперся в землю лапами, и ни один из них – ни волк, ни корова – не могут сдвинуться с места, Отец был пастухом и знал,

что волк очень сильный зверь. Он отлично справляется с лошадей, может даже загрызть человека, но вот против крупного рогатого скота – вола, быка, коровы – он слабоват. Смирная, безответная буренушка смело идет на волка один на один, и часто ему приходится спасаться бегством. А коровье стадо в силах выдержать даже долгую осаду волчьей стаи. Тут у коров даже выработалась своеобразная стратегия: стадо становится кольцом, телят загоняют вовнутрь, рога выставляются вперед – и ну-ка попробуй сунься, серый разбойник!

537256
Даже встретив в поле отбившуюся от стада корову, волк не бросается на нее прямо, а старается вцепиться ей в бок так, чтоб она его не могла боднуть. Корова это знает и встречает его рогами; вот так они и кружатся по полю, пока кто-то не выбьется из сил. Очевидно, так произошло и на этот раз. Только волк все-таки как-то хитрилсхватить корову за хвост. Не знаю, правда ли это или нет, но пастухи моих мест уверены, что если серый во что-нибудь вцепится зубами, то так и закостенеет: его челюсти сводит судорога, и разжать пасть он уже не в состоянии.

Отец кинулся на волка, схватил его за горло и стал душить. Волк рванул коровий хвост раз-другой, и вдруг его челюсти разжались, и он прыгнул на отца. Оба они рухнули на землю.

Зверь вырывался, задыхался и храпел, а отец давил его все сильнее и сильнее. Под конец затихли оба. Сколько времени прошло, неизвестно, но очнулся отец от крика: открыл глаза и увидел – лежит он по-прежнему на звере, вцепившись ему в горло, а над ними стоит моя мать, плачет и колом лупит мертвого волка по голове. Когда отца привезли домой, то оказалось, что все его тело исполосовано как будто железными когтями. Лапы даже подыхающего волка – страшное оружие! По совету стариков, отца завернули в еще парную шкуру зверя, и так он пролежал с месяц. С тех пор отца и прозвали Мукан Волкодав. Говорили, что в

молодости он был настоящим силачом. Такие обыкновенно участвуют в соревнованиях, получают богатые призы, их подвиги обрастают рассказами, анекдотами и легендами. Но отец мой не совершал сказочных подвигов, не получал он и наград. Всю жизнь батрачил, растил детей, и не было у него интересов важнее, чем эти. Так и умер он безвестным бедняком, – ни борцом, ни батыром, ни аульной знаменитостью. И похоронили его просто и бедно, так, как хоронили всех бедняков моего рода.

И только иногда, вспоминая его, старики говорили: «Да, силач, силач был Мукан. Никто не мог столько поднять на себе, сколько он. Никто, никто! А умер калеккой. Вот судьба!»

Несколько слов о наших, так сказать, внутрисемейных отношениях. У отца было много детей, но ко мне он относился иначе, чем к моим многочисленным сестрам. Судьба поступила с ними на редкость безжалостно: те, кто не умер малолетним, были проданы отцом на сторону. Именно проданы – девушки в казахском ауле служили предметом купли-продажи. Оно и понятно: «Курица не птица, баба не человек». У отца, например, было четырнадцать дочерей, но на вопрос, есть ли у него дети, он отвечал: «Нет», и только после моего рождения стал говорить: «Есть сын». Привязан отец был к своему единственному наследнику чрезвычайно. Он просто не мог жить без меня. Даже отправляясь на дальний сенокос, – а для этого ему приходилось подниматься на заре, – он обязательно в этот же день возвращался обратно. Ночью я просыпался в его объятиях. «Шакыжан, – говорил он, целуя меня. – Мой Шакыжан» («Шаки» – ласкательное от «Сабит»). Иногда, впрочем, он брал меня с собой. Всю дорогу я мирно дремал, покачиваясь на его шее, а когда приходил в себя, то видел что-то очень необычное. Высоко светит солнце, трава мягкая, шелковистая и какая-то очень-очень зеленая;

стоят цветы сказочной раскраски, а над ними порхают бабочки, такие же чудесные, легкие и необычайные, как эти самые цветы. Я гонялся за ними целый день, а к вечеру уставал так, что просто валился с ног. И все было бы прекрасно, если бы не комары! Их летало столько, что под конец дня все тело мое покрывалось как бы мелкой сыпью. Отца они доводили до полного неистовства. Все проклятия, какие он только знал, обращал к этим тварям! В ту пору он уже был тяжело болен, работал медленно, надсадно, задыхался, часто останавливался и переводил дыхание. Под конец работы лоб у него был влажный, а рубаху хоть выжимай – даже пар, казалось мне, поднимался от нее.

Обратно с поля мы возвращались уже ночью. Я опять дремал на его шее, а он шагал медленно, покачиваясь и что-то бормоча под нос. Не то молился, не то просто стонал: ведь это был последний год его жизни.

Жили мои родители дружно и мирно, но однажды отец мой избил мать так жестоко, что чуть не погубил и ее и себя. Об этом случае, врезавшемся мне в память, я и хочу рассказать.

ПОЖАР

Курульдеком (Громобоем) казахи между собой называли атамана станицы Екатериновки Дмитрия Никифоровича Колесникова. Это был очень богатый человек – «князь во князьях», богатей из богатеев, прасол, всю жизнь торговавший скотом. Свое дело он знал в совершенстве, отлично владел казахским языком, дружил с баями и даже держал казаха – ходатая по своим делам. Из всех русских кулаков и казахских баев нашего края он один из немногих, кто участвовал в знаменитых ирбитских ярмарках. Курульдек пригонял туда каждый раз по двести-триста голов скота, закупленного где-то в самой глубине казахами степи и не стоящего ему почти ничего. И еще бы ему не тор-

говать, еще бы не наживаться! Ведь кроме всего прочего Курульдек много лет пробыл станичным атаманом и, дожив чуть ли не до столетнего возраста, незадолго до смерти хвастался:

– Что душой кривить? Мне жаловаться – только понапрасну бога гневить. Я свое прожил и всем доволен. В своем доме трех будущих императоров принимал, когда они еще наследниками были, – Александра Второго, Третьего и Николая Второго.

И верно, подтверждали старики, двух последних императоров они видели своими глазами.

Хутором Курульдека назывался огромный кусок степи, на много тысяч гектаров. Летом на нем атаман косил сено, а зимой пас и откармливал скот. Отец и мать нанимались к Курульдеку на всю косовицу: отец – косарем, мать – стряпухой. Случай, о котором я хочу рассказать, произошел в 1905 или 1906 году, то есть в то время, когда мне, пожалуй, не было еще и пяти лет.

Косили тогда вручную, и в иные годы выстраивалось в ряд сорок-пятьдесят косарей. Для этой армии косцов хозяин выделял специально несколько коров, доить которых тоже входило в обязанности матери. Обед косарям мать варила в нашей юрте, такой маленькой, что, когда на ночь в ней собиралась вся наша семья, нигде было даже повернуться. Косари работали споро, чуть ли не день и ночь. Дело в том, что Курульдек платил за труд не поденно, как везде, а с выработки, за каждый жуздик. Жуздик – это сто копен, или пятьдесят возов сена. Вот за эти пятьдесят возов сена батрак получал три рубля или барана.

Беда, о которой я рассказываю, пришла ночью. Запылала степь, и подожгла ее моя мать. В это время мириады слепней и оводов одолевают скот, они разъедают глаза несчастной скотине так, что те становятся похожими на кровоточащие раны. Скот бесится, ревет, рвется с привязи, а у коров пропадает молоко. Вот мать, желая облегчить страдания животных, и положила с подветренной стороны, где паслись

коровы, несколько кучек дымящегося кизяка – удушливый дым очень хорошо отгоняет всю эту нечисть. Положила, да и легла в постель кормить мою маленькую сестренку Балтуган¹. А как легла, так сейчас же и заснула, и разбудил ее только рев коров. Выскочила мать из юрты и увидела: вся степь уже охвачена огнем. Оказывается, невесть откуда налетел ветер, сгреб пламя, бросил его на сено, и копны запылали, как свечки. Как сейчас, помню ночное небо, покрытое клубами дыма – то черного, то сизо-багрового, пронзительное завывание ветра и огненное кольцо вокруг нас, которое все сужается и сужается. Огненные валы ползут по полю, перекатываясь из стороны в сторону, воют, бросаются друг на друга; кажется, вся земля охвачена пламенем. Остальной мир погружен в непроницаемый мрак. В середине бушующего огненного кольца, тесно прижавшись друг к другу, стоят, содрогаясь от рыданий, женщина и две маленькие девочки: мать и мои старшие сестры. Огонь шел, слизывая длинным языком все, что попадалось ему на пути, а на пути стояли жуздики, те сотни копен сена, которые Курульдек еще не принял от косцов и не оплатил.

В этом-то и был весь ужас случившегося. Сгори весь хутор Курульдека, все принадлежащее ему, никто бы и пальцем не пошевелил. Что ж, Курульдек богатый, у него денег на все хватит. Но облитые кровавым потом жуздики! Сто копен за три рубля, то единственное, на что надеялись бедняки, они, словно нарочно, оказались на пути огня, и огонь теперь дожирал их. Получи после этого от Курульдека хоть одну копейку! И, убедившись, что весь труд их пропал, косари понуро и молча – это-то и ужасно: ни плача, ни крика, ни ругательства – возвращаются с пожарища. Впереди мой отец Мукан. В сжатом кулаке его нагайка, глаза горят недобрым огнем. Закусив губу, он подходит к матери и наотмашь бьет ее по лицу. Слабо вскрикнув, мать

¹Балтуган – слаще меда.

падает. Отец заносит ногу и пинает ее, затем так же молча, с играющими желваками на скулах, наклоняется, берет мать за волосы, приподнимает и с размаху тычет лицом в сухую растрескавшуюся землю. Мать кричит истошным голосом. Это даже не крик, это рев безграничного отчаяния, кажется, что душа покидает тело. А отец все бьет и бьет – молча, сосредоточенно, не торопясь. Рядом стоят косари и тоже молчат. Головы у них опущены, лица мертвы. За несколько минут они потеряли все, – так что же им до криков убиваемой женщины, виновницы их несчастья? Багила, моя старшая сестра, вдруг стремглав бросается в юрту, подхватывает с кровати крошечную Балтуган и сует в руки обезумевшему отцу. Воистину «слаще меда» была для него младшая дочка: при всех семейных неурядицах и скандалах (а мало ли что случается у бедняков!) стоило только сунуть в руки расвирепевшего Мукана его малышку, как он сразу утихал, и скандал шел стороной. У сестры вся правая рука была в багровых ожогах и пузырях. И все-таки, стиснув зубы от боли, она выхватила этой рукой из постели сестренку, донесла и сунула ее отцу. И даже сейчас дочь оказала свое обычное действие. Отец уронил нагайку и жадно прижал ребенка к груди. И вдруг руки его задрожали, лицо стало растерянным, и вместо животного, молчаливого ожесточения на нем появился настоящий осмысленный человеческий испуг. Он сорвал тряпки с дочери и закричал дико, истошно:

– Холодная! Холодная!

Девочка была мертва.

Мать, падающая с ног от усталости, во сне навалилась на ребенка и задушила его своим телом. «Заспала», как говорят в деревнях. Странно, я отчетливо помню мертвое лицо сестры, ее вытянутое маленькое тельце, но живой представить не могу.

И вот последняя, относящаяся к этому событию, картина. Выходит солнце, и на востоке небо уже ясное,

голубое, высокое. На обгорелой земле с серым неподвижным лицом сидит отец и молча прижимает к своей груди трупик маленькой дочки. Ёлова у него опущена, лицо неподвижно, глаза сухие. Даже сразу не поймешь, не спит ли он сидя. Возле его ног, вся в кровоподтеках и синяках, лицом к земле, лежит моя мать. Рядом, в изорванных лохмотьях, черные от копоти и гари, сидят косари и тоже молчат. Так продолжается час, два. И вдруг страшный крик: «Скачут, скачут!» Все вскакивают на ноги. Со стороны пожара по обугленной земле в бешеном аллюре несется на нас кавалькада всадников. Разгоряченные лошади, занесенные нагайки, зверские лица, – сразу понятно, кто эти люди и зачем они скачут.

– Хозяин скачет. Убьют, погубят! – И люди, только что окаменевшие от горя, вдруг с неожиданным проворством бросаются в разные стороны. Ведь это сама смерть прискакала сюда в образе казаков с поднятыми нагайками на черных и белых конях. Побежал с косарями и я. А когда через час каратели ускакали и мы робко вылезли из своих укрытий, я увидел на том же месте трупик сестры, валяющийся на земле, и рядом с ним исполосованное нагайками тело отца. Он лежал неподвижно и был без сознания.

Хозяева выместили свою злобу.

«Киргиз со зла подпалил степь, – так говорили про это происшествие люди и добродушно добавляли: – Главного поджигателя все равно поймали. Уж так били, так били, что не знаем, жив ли он сейчас или нет». И, подумав, добавляли: «Да если и оклемается, то тоже недолго протянет: у нас станишники бьют правильно, сразу все печенки отбивают». И они были правы. И отец, и мать недолго протянули после той страшной ночи.

Но прежде чем продолжить повествование о невзгодах нашей семьи, я хочу рассказать об одном замечательном человеке по имени Ораз.

Прошло много лет, но почти легендарный образ охотника, не знавшего промаха, до сих пор отчетливо стоит перед моими глазами. Это широкоплечий, не особенно высокий старик с густой, длинной, чуть ли не до пояса, седой бородой. Нос у него с горбинкой, глаза круглые, очень веселые и бойкие – так и бегают, так и сверкают из-под клочкастых седых бровей. Запомнилась и его одежда – бешмет, подобранный под широкие шаровары, высокие сапоги с голенищами выше колен, широченный казахский пояс, весь увешанный всевозможными мешочками, сумочками, кармашками для дробы и пороха, огромный охотничий нож, засунутый за пояс, и длиннейшее кремневое ружье за плечами. Таким он предстал предо мной в первый раз, таким я его вижу и сейчас. Я сказал – почти легендарный охотник, и это действительно так. О меткости, о верности глаза, о бесстрашии Ораза рассказывали легенды. Здесь я приведу только две. Одна относится к юности Ораза.

Летом в аул забежала свинья. Нужно было жить в казахской степи в девяностые годы, чтобы понять, что это такое. Побежали к мулле. Мулла погладил бороду, подумал и ответил: «Свинья? Да разве это свинья? Это ж шайтан!» – «Ой-бой! Шайтан в ауле! Аллах отвернул лицо от своих нечестивых сынов и отдал их на волю лукавого. Значит, беда, значит, пожар, бескормица и мор свалятся на головы грешников. Что же теперь делать? Как умиловать Всевышнего?» – «Кайтесь в грехах, – говорит мулла, – приносите очистительные жертвы». А известно, что жертва, угодная аллаху, еще более угодна мулле. Большая часть жертвенного мяса и все шкуры попадают в руки священнослужителя. Забегали старики, забегали и молодые, стали ловить жертвенных животных. И тут вдруг подал голос молодой Ораз. «Да полно! – сказал он. – Какой там

шайтан? Может быть, самая обыкновенная свинья из русской деревни. Что-то она мало напоминает нечистого. А ну давайте-ка я попробую ее убить из ружья. Коли она свинья, то сдохнет, а если нечистый – рассыплется».

Посоветовался народ между собой, и решили старики: «Стреляй! Убьешь шайтана – лошадь получишь». Взял Ораз ружье, пошел вслед за «шайтаном». А «шайтан» хрюкал и, поводя пяточком, шел через весь аул, дошел до реки, нашел там грязь, лег в нее и зарылся по уши. Стоят люди поодаль, качают головами, переговариваются. Один старик, видно, из самых бывалых, говорит Оразу: «Если она верно свинья, бей только в сердце или в голову, иначе не убьешь».— «Постараюсь,— отвечает Ораз,— пуля в одно ухо войдет, а в другое выйдет».—«Коли так потрафишь, то две лошади твои»,— обещает бывалый человек. «Отойдите!»— говорит Ораз и прикладывается к ружью. «Стой! Стой!»— кричит вдруг тот же бывалый человек.— Не так бьешь! По шариату¹ свинью разрешается бить не меньше чем со ста шагов».— «Раз не меньше чем со ста, то бью с двухсот»,— отвечает Ораз. Отходит в сторону и спрашивает.— Ну, будет здесь двести шагов?»— «Даже больше»,— отвечают ему. «Тогда смотрите!» Он устанавливает ружье на подставку и прицеливается в свиное ухо, торчащее из ила. Бах! Свинья взвизгивает, подпрыгивает так, что черные брызги летят в разные стороны, и замирает. Подошли люди и посмотрели: пуля вошла в одно ухо, вышла в другое – свинья мертва.

Таков один рассказ. Помню я и другой.

Однажды во время богатой свадьбы пировали гости на берегу озера и увидели, как в небе ястреб-перепелятник бьет жаворонка. Несколько раз набирал высоту и камнем падал на птичку, но каждый раз промахивался. Спасаясь от погони, жаворонок поднимался выше и выше. «Почему же он летит вверх?»—

¹Шариат – свод религиозных и бытовых правил у мусульман.

спрашивали гости недоуменно.– Так он ведь скорее выбьется из сил».– «А куда ему лететь? Турымтай¹ сразу прибьет его к земле»,– отвечали им более опытные. Как бы там ни было, мясо стыло на тарелках, сурпа накрылась салом, а гости, задрав головы, смотрели в высоту. Вдруг слышались огорченные крики. Жаворонок стал слабеть, полет его делался все более неровным и трепещущим. А хищник, наоборот, насккивал все стремительнее, все сильнее. Еще немного – и полетят по ветру серые птичьи перышки. Вдруг из прибрежного тростника раздался выстрел, и турымтай камнем упал на землю. Все оглянулись. Среди тростников стоял Ораз, глядел вверх на поднимающегося жаворонка, и кремневое ружье в его руке дымилось.

Вот каким стрелком был Ораз! Любил он также и птичью охоту. С юных лет он выходил в поле – летом с ястребом, зимой с беркутом. Мелкие бойцовые птицы из отряда соколиных почти все хорошо приручаются. Исключение только пустельга. Как ее ни учи, а очутившись на воле, она сразу забывает всю науку и никогда не возвращается в неволю. Но Ораз и пустельгу приручил. Она была у него мелкую птицу и послушно возвращалась к хозяину.

«Я богатый человек,– говорил Ораз,– скота у меня столько, что и не перечесть. Казны моей не сосчитать. Ну как же? Все птицы в небе и все зверье на земле принадлежат мне. Разве это не богатство?»

Мы, мальчики, были неразлучны с Оразом. Когда он собирался на охоту, чуть ли не вся детвора аула бежала за ним. Старый охотник относился к нам серьезно, доброжелательно и честно делился с нами охотничьими трофеями; если какой-нибудь малыш вдруг оказывается обделенным, на другой день Ораз обязательно рассчитывался с ним сполна. Я отлично помню эту охоту. Пронюхав, что Ораз собирается в путь, а об этом мальчишки узнавали с вечера, мы затемно

¹Турымтай – ястреб-перепелятник.

удирали из дому и собирались около его хибарки. Ходил Ораз на охоту большей частью пешком – по глубокому снегу в наших местах на лошади не проедешь, да и клячонка у него была худенькая, старенькая, и он, насколько мог, щадил ее. Да что для Ораза расстояние? Походка у него легкая, быстрая, почти бегущая (а ведь ему далеко за шестьдесят), держался он прямо, статно, и если бы не седая борода, и не подумашь, что это идет старик.

На правой руке Ораза – длинная варежка из собачьего меха с налокотником, а на варежке беркут в колпачке, надвинутом на глаза. Ораз идет так быстро, что мы едва поспеваем за ним.

Проходим один холм, поднимаемся на другой, третий, наконец спускаемся в овраг, густо покрытый кустарником и мелким лесом, Ораз разыскивает дерево потолще и садится возле него.

– А ну, ребята, идите с подветренной стороны и всю живность гоните на меня, – говорит он.

– Ах, ата, – отвечаем мы, пораженные огромностью и серьезностью возложенной на нас задачи, – да разве звери нас испугаются?

– Кого? Вас? – удивился Ораз. И вдруг лицо его озаряется мягкой теплой улыбкой. – Ах, чудак, чудак! Ведь вы же люди, маленькие, да люди, а всякий зверь боится человеческого голоса. Против человека ни один зверь пойти не может. Помните это.

Не знаю, точно ли это насчет всякого зверя, но зайцев мы выгоняли своим свистом великое множество. Между тем Ораз снимал с головы беркута колпачок и ждал. Нетерпеливо ждала и огромная бурая птица. Она привычно несколько раз разводила и сводила крылья и сидела нахохлившись, напряженная, вся застывшая в тревожном ожидании. Заметив еще издали бегущего зайца, она вытягивала шею, выпускала непередаваемый орлиный клекот – боевой клич орла – и начинала махать крыльями, рваться, требуя свободы. Тогда Ораз выпускал ее.

Беркут никогда не летит вслед за жертвой, не догоняет ее, наоборот, он сразу же взмывает ввысь и уж оттуда камнем падает на свою добычу. Беркуты Ораза не убивали, а тем более не разрывали зверя. Просто вцеплялись ему одной лапой в морду, так что пасть волка или лисы разом оказывалась как в железном наморднике, а другой сковывали лапы жертвы и ждали хозяина.

Во время охоты я видел, как Ораз стреляет. Я не знаю случая, чтобы он промахнулся. И бегал Ораз быстрее нас, мальчишек, и на подъем был легче, увертливее. Бывало, мы вязнем по колено в сугробе, а он идет как ни в чем не бывало, и снег ему доходит едва до щиколотки. Идет да еще посмеивается:

– Эх вы, молодежь, молодежь! Перед стариком вы никуда! А знаете, как я в ваши лета бегал? Да дай мне лыжи, я и сейчас обгону любую лошадь! Вот пусть лошадь бежит по ровной дороге, а я за ней по снегу, и посмотрим, кто – кого.

По лыжному бегу соперников у Ораза действительно не было. И вот странность! После большого пробега он не утомлялся, а, наоборот, будто молодел. Его и без того всегда свежее лицо заливалось таким чистым алым румянцем, что он выглядел совсем молодым жигитом, только ради шутки прицепившим себе длинную белую бороду.

И, несмотря на все эти таланты, Ораз был горький бедняк. Кляча да коровенка – вот и все его богатство! Правда, ружьем он в состоянии был не только заработать себе на существование, но и скопить кой-какие деньжонки. Но разве Ораз мог взять с кого-нибудь хотя бы копейку за вольную птицу, доставшуюся ему даром, милостью аллаха? Не только дичь – уток, куропаток, рябчиков, – но и ценную пушнину – хорьков, горностаев – раздавал даром этот сказочно щедрый бедняк, все состояние которого заключалось только в здоровье и верном глазе.

Охотником Ораз был не только по характеру и таланту, но, так сказать, и по наследству. Отец Ораза, Кашки, тоже охотился, и с раннего детства маленький Ораз, бродя с ним, учился у него высокому искусству читать следы и распознавать, где какой зверь пробежал, где какая птица села, слушал и запоминал отцовские рассказы о звериных повадках. И сколько он их помнил! Как умел пересказывать! Мы, дети, не смели дыхнуть, слушая про борьбу с волками или об охоте на рысь. Тогда, да и теперь, эти рассказы мне кажутся интереснее всех сказок, которые я когда-либо слышал. К тому же нужно сказать, что, пожалуй, это единственные охотничьи рассказы, в достоверность которых я свято верю.

Каждый раз после возвращения Ораза с охоты в его юрту собирались односельчане. Ораз встречал их всегда очень радушно.

– Пожалуйста, пожалуйста,– приглашал он.– Хозяюшка, ну-ка, займись балишем¹, а мы пока потолкуем о своих делах.

И вот начинался бесконечный рассказ о житье-бытье. Что делать? Как жить дальше? Кто мог ответить на эти вопросы? Бедняков летом в рваных юртах мочит дождь и сушит зной, зимой они промерзают до костей. Целое лето работают на чужих людей, а придет опять зима, все равно есть нечего. Не все же, как Ораз, рождены охотниками. Вот два почтенных старика, настоящие аксакалы Токпамбай и Сыйкым. С мальчишеских лет ходят они по людям, и уже смерть не за горами, а у них – ни кола ни двора, ни овцы и ни птицы, ни семьи, ни жены. Как бедняку жениться? Чем жену-то кормить он будет?

Ораз слушает и поглаживает свою седую бороду.

– Слава создателю! Я свободный человек,– говорит он довольно.– Мне ни от кого ничего не надо, на балиш я и сам себе заработаю да еще хороших людей угощу.

¹Балиш – большой пирог, начиненный кусками мяса.

А на баев надеяться, да одолжаться у них, да просить – нет! Тьфу, тьфу, тьфу! Будь они прокляты во веки веков!

– Прокляты-то прокляты, да что делать?– безнадёжно спрашивает кто-нибудь из угла.

И так как ответа на этот вопрос нет, разговор сразу же прекращается. Ораз тоже ведь не знает, что делать.

Вот теперь, пожалуй, и время рассказать об обстоятельствах, при которых я попробовал знаменитый балиш Ораза. Чтобы не умереть вовсе с голоду, отец решил переехать в аул своего зятя, мужа моей старшей сестры Зауре. Зять этот происходил из очень зажиточной семьи. Говорят, у одного из его ближайших родственников было раньше до пяти тысяч лошадей, да и самого его никак нельзя было назвать бедняком. Поэтому-то за него – мужчину далеко не первой молодости и свежести, ровесника моего отца – выдали (во вторые жены) мою сестру, ещё совсем девчонку. Свадьбу справили богато, подарков получили много, обещаний наслушались ещё больше. Вот на помощь этого человека и понадеялся мой отец. И, конечно, совершенно напрасно понадеялся. Приехав в аул богатого зятя, отец свою землянку вырыл бок о бок с землянкой Ораза, как помнится, на небольшой полянке в лесу, на южной стороне большого отлогого оврага. Обе землянки, как две капли воды, походили друг на друга: обе были обнесены совершенно одинаковым камышитовым забором; у обеих были крошечные дворики – только у Ораза ходила корова да лошадь, а у нас ничего не было.

Отец сначала нанялся пасти общинный скот, но зимние морозы свалили его окончательно с ног, и с тех пор он уже не поднимался. По утрам я пробуждался от его громких стонов. Помню, он повторял только три слова, три болезненных стона, не переводимых, как и все стоны, ни на какой иной язык.

– Ойпырай! Алдай! Жанымай!

Все время, пока отец бодрствовал, он безостановочно и совершенно бессмысленно повторял эти

слова. В семье работала одна мать: шила овчинные шубы. Могла бы ей помочь и старшая из оставшихся в семье дочерей, Багила, уже взрослая девушка на выданье, но она была калекой: ее правая обгоревшая рука была так изуродована, что с великим трудом она могла только вдевать нитку в игольное ушко. Я отчетливо помню эти толстые длинные иголки и серые суровые нитки, которыми шила моя мать; платили ей за работу картошкой, и, кроме нее, у нас ничего не было.

И вот однажды в землянку вошел веселый Ораз, бодро поздоровался с хозяйкой и подсел к больному.

– Ну как здоровье, сосед?– спросил он, улыбаясь.

Отец приподнял с подушки желтое впалое лицо, блестящее от испарины.

– Какое там здоровье, умирать надо!– простонал он.– Разве жена прокормит нас своей иголкой?

– погоди умирать!– торжественно и шутливо сказал Ораз.– погоди, сосед! Знаешь, какой самый страшный грех перед аллахом? Покинуть в беде соседа. А мы сейчас с тобой соседи. Да сосчитай, сколько лет мы вообще друг друга знаем? Двадцать? Ну, в том-то и дело! – И он положил свою крепкую, твердую ладонь на бессильную руку отца.– Отныне договоримся так: половина того, что я приношу из лесу, твое, все равно раздаю по сторонам,– буду теперь давать тебе одному. Не бойся, платы не потребую, тебя должником не засчитаю. Ну, по рукам, что ли?

С этого дня мы и ожили. Наши дома, как говорят казахи, объединили свои скатерти. Знаменитые пироги Ораза с начинкой из зайчатины никогда не сходили у нас со стола, к ним добавилась и картошка. Картошка, конечно, наша. Совершенно так же, как у нас не было ни куска мяса, у Ораза не было ни одной картофелины. Пекли мы пироги по очереди: раз у нас, раз у Ораза. Я до сих пор помню огромные противни, доверху набитые зайчатинной с картошкой и политые темной подливой. Ели эти необычайные пироги так:

сначала выгребали ложкой начинку, а потом с хрустящей корочкой пили чай.

Под вечер приходил Ораз, садился поудобнее около отца и начинал свои бесконечные охотничьи рассказы.

НЕСЧАСТНАЯ БАГИЛА

Много ли нужно для счастья бедняку... Благодаря Оразу наша семья обрела покой. Но продолжалось это недолго. Весной нас постигла новая беда, новое несчастье. Впрочем, я не знаю – точно ли это несчастье, ведь все окружающие поздравляли отца и мать с невиданной удачей: да и было с чего! В результате того, что произошло и о чем я сейчас расскажу, на дворе у нас появились две кобылицы и два жеребенка. Причем один жеребенок и одна кобылица были иноходцами. Итак, это, пожалуй, было счастье, но какое горькое, трудное! Начну, однако, сначала.

Проснувшись однажды среди ночи, я увидел, как мать и моя сестра Багила шьют и горько-горько плачут, а мать еще что-то тихонько нараспев причитает. Наутро я узнал: сестре «повезло» – ее просватали.

Выпало это «счастье» случайно. К дяде моему Мустафе, еще не старому, но очень больному человеку (костный туберкулез скрючил его тело), забрел запоздавший путник и попросил переночевать. Бедняки приветливы и никогда не откажут другому бедняку в гостеприимстве. Дядя встретил путника приветливо.

– Располагайся, как хочешь, только угостить-то, извини, нечем.

Зашел разговор о том о сем, и путник рассказал, что он работал несколько лет пастухом в одном русском селении, заработал несколько голов скота и вот гонит его домой. Может быть, ему повезет и дальше – удастся за скот женить племянника... Племянник – плотник, замечательный мастер, руки у него золотые, заказов не оберешься. Одно плохо, он... Но Мустафа дальше и

слушать не стал. Очень уж ему понравилась чалая кобыла, что пригнал гость к нему на двор.

– Если дашь мне двух кобылиц,– сказал он,– я, так и быть, сосватаю твоему племяннику невесту. У моего брата дочь на выданье, а распоряжаюсь ею я.

– Ну что ж,– ответил путник,– двух так двух. Парня надо женить.

С того и пошло. Сговорились, ударили друг друга по рукам, стали ездить друг к другу в гости, и в нашей землянке все лишились покоя. Начали собираться соседи, о чем-то шептаться, что-то советовать друг другу, и вот наконец явился и сам Мустафа,

– Пора,– сказал он.– Семья жениха ждет!

Поехали. Но это был еще только сговор, а не свадьба. С нашей стороны присутствовало трое (Багила не байская дочь, разгуливаться не на что): я, дядя Мустафа и Ораз. Тут я увидел первый раз будущую семью моей сестры. Мне украдкой показали: «Вон твой зять», и я подошел к нему. Это был молодой парень с очень белым, но совершенно рябым лицом. Он поклонился мне, сделал какой-то знак рукой, хотел, видимо, поздороваться, и вдруг протяжно замычал. Я в страхе обернулся к Оразу, но он махнул мне рукой и шепнул: «Сакау» – немой. Мой зять был глухонемой, и его все звали Сакау, совершенно не поминая настоящего имени. Но еще больше, чем жених, заинтересовал меня его родной дядя Соснабай. Собственно говоря, не он сам, нет! В нем не было ничего замечательного, но заинтересовал меня его нос, огромный, крючковатый, как клюв у хищной птицы. Он возвышался на темном лице, как нечто совершенно инородное, приставное, не имеющее никакого отношения к его владельцу. Сам же обладатель этого клюва был вялым, постоянно сонным человеком. Стоило ему сесть с гостями за стол и просидеть так четверть часа, как голова его начинала тяжелеть, глаза смежались, а из огромного крючковатого носа вдруг вылетал густой,

заливистый лошадиный храп. Ни до этого, ни после этого я никогда и ни у кого не слышал такого богатырского посвиста и такого храпа.

Со сватовства мы вернулись с двумя выторгованными Мустафой кобылицами – одной серой, другой чалой – и двумя жеребятами.

Из-за этих лошадей и жеребят и вспыхнула вражда между отцом и дядей. Мустафа, сосватавший мою сестру, требовал свою долю – одну чалую кобылу с жеребенком.

– Такой был сговор со сватом, – говорил он. – Я прямо ему сказал: «Дашь лошадь, так будешь иметь жену для племянника».

– Со мной ты не сговаривался, – упрямо отвечал отец. – С кем ты сговаривался, с того и получай.

– Я же устроил замужество. Если бы не я, сидела бы твоя дочь в девках, – упорствовал дядя.

– Подумаешь, счастье! – махал отец. – Нашел глухонемого и радуется.

– А твоя Багила сухорукая, – орал дядя, – калека! Она даже шить не может. Кому нужна такая девка!

Конечно, спор этот кончился ничем. Иметь собственных лошадей – была заветная мечта отца, и вот она исполнилась. Так неужели он отдаст за здорово живешь чалую?

– И забудь думать! – заявил он брату категорически. – Ничего ты не получишь! Обе кобылы мои! Вот и все!

Братья расстались врагами. Печальную Багилу отвезли в чужой отдаленный аул, в дом немого, где она вскоре умерла.

Через полсотни лет вспоминаю: сестра моя была стройная, миловидная девушка, похожая на отца, и если бы не искалеченная рука, она считалась бы желанной невестой и не для одного немого. А сейчас цена ей была две кобылы, да и это считалось редким счастьем. Ох, как же мало выпало его на долю моего отца и всего нашего семейства в те годы!

ПОЧЕМУ НАШ РОД ПОКИНУЛ РОДНЫЕ МЕСТА

На следующий год после выданья Багилы мы перебрались к Мустафе, перекочевавшему в аул Жаман-Шубар. Ссора братьев длилась недолго. То ли Мустафа сам понял, что он неправ, то ли любовь к брату превозмогла обиду, но на следующую зиму он приехал за нами и перевез нас в свой аул. Так я впервые увидел Жаман-Шубар – «плохое урочище». Сколько воспоминаний связано у меня с этим местом, по каким разным поводам мне приходится вот уже в течение добрых полвека вспоминать его болота, леса, озера, снежные заносы и сугробы!

Плохое урочище – наш родовой аул. Но поселился наш род в нем недавно и по обстоятельствам совершенно особым. Я в общих чертах знаю, как это произошло. Все, что я сейчас буду рассказывать, а рассказать эту историю мне хочется непременно, потому что она отлично характеризует старый казахский быт девяностых годов, да и, пожалуй, всю казахскую степь того времени, опутанную крепчайшими сетями родовых отношений и кровных счетов, отнюдь не является реальной историей, но меня всегда поражала первозданная наивность этих рассказов, передаваемых от одного поколения к другому, неизблемая вера моих соотечественников в то, что судьбой народа распоряжаются сильные злые люди и что миром двигает их корысть, прихоть, просто плохое или хорошее настроение. Мои родичи свято верили, что нет в мире ничего более сильного и страшного, чем неразумная воля султана или полицейского чиновника, – перед ней преклоняются все и вся. Какая-то апология народной беззащитности, тупое и покорное приятие существующего, убеждение, что так было и так будет и ничего уж тут не попишешь, – вот смысл этой печальной истории.

Итак, все начинается с женской мести. Мстит старому нелюбимому мужу, султану Есенею, его вторая жена Улпан, насильно выданная замуж. Султану пятьдесят девять лет, Улпан – девятнадцать, и она ненавидит его такой лютой ненавистью, что готова купить его гибель даже ценой собственной жизни. У старого султана детей от первой жены не было. Улпан родит ему дочку специально затем, говорит легенда, чтоб сделать из нее орудие мести. Как только дочка входит в лета, мать сводит ее с сыном Тлемиса, старого переводчика султана, неким Торсаном. А кто такой этот Торсан? А никто! Парень со смазливой физиономией, внук свинопаса Сапака (заметьте, свинопаса, а не пастуха!), не имеющий за душой ни богатства, ни знатного происхождения, ни положения в обществе. Зато отец его, Тлемис, был, быть может, самый ловкий пройдоха во всей казахской степи. Кроме Тлемиса, никто не владел так свободно русским языком, не знал так хорошо русских обычаев. А так как в этом краю находился штаб сибирских казачьих войск (до сих пор станицу Пресногорьковку казахи по старой памяти зовут «Стап», то есть штаб), то Тлемис стал необходим и русскому атаману и казахскому султану.

Итак, жена султана сводит свою дочку с внуком свинопаса, сыном толмача Тлемиса, который также скрытно и упорно ненавидит своего господина и «благодетеля» старого султана Есенея. Почему? И на это, оказывается, есть причины, уходящие корнями в далекое прошлое.

В историю вмешивается известный мятежник и повстанец Кенесары. Он когда-то мечом и огнем обрушивался на аулы нашего рода, мстя им за переход в русское подданство: сжигал кибитки, уводил пленных и скот, умыкал женщин. Молодой Есенея сплывает народ и бросается в погоню за насильником. Кенесары принимает битву около урочища Поганая Луза и терпит поражение. Есенеевцы захватывают скот, людей,

отбивают пленных и торжественно возвращаются домой. Захваченных повстанцев Есенеи приказывает передать русским властям. Связанных по рукам и ногам, их везут в штаб линейного войска, то есть в станицу Пресногорьковку. Вот тут и случилось происшествие, навеки сделавшее Тлемиса и весь его род тайным, но непримиримым врагом своего владыки.

Я говорил уже, что отец Тлемиса, дед Торсана, был свинопасом. Так вот этот свинопас, презренный из презренных людей аула, увидел приближающуюся к нему кавалькаду и, понимая, что хорошего ему от одноплеменников ждать нечего, юркнул в волчью нору. Но Есенеи, упоенный победой и властью, могучий победитель неуловимого Кенесары, еще издали увидел, как этот несчастный точно провалился под землю. «А ну,— говорит он своим жигитам,— вытащить негодяя за уши и подать мне его сюда». Мудреное ли дело выволочь из ямы полумертвого от страха старика? Его за уши протаскивают по земле и ставят пред грозные очи владыки. Есенеи смотрит на свинопаса злыми глазами и спрашивает: «Ты что же, гяур, не видишь, кто едет? Раб не хочет отдать поклон своему господину? А ну внушите ему почтение к властям!» А как конный внушает нагайкой почтение пешему, я уже это видел раз на примере своего отца. Не знаю, долго ли прожил несчастный старик после этого урока феодальной морали, но с тех пор, говорят седобородые аксакалы, единственной целью его сына Тлемиса стала месть своему владыке. Для этого он и сына-то своего отдал в русскую школу. Для этого и денег ни на что не жалел.

Как бы там ни было, мать, с одной стороны, и отец — с другой, тайно сводят своих детей, а тут султан умирает, и его еще не старая жена, выдавшая виды, энергичная, умная женщина, становится единственной хозяйкой дома. Как только умер старый султан, его дочку выдают замуж за Торсана, одновременно вдова султана и Тлемис обращаются к русским властям со

слезной просьбой ввести дочь в право наследования и защитить от родственников, противящихся браку. Среди этих противящихся был и мой род, по названию Адынбай-Отарбай.

Старейшины этого рода даже зашли дальше всех других в своих упорных, но, конечно, вполне бесполезных усилиях помешать браку. Русские власти покрывают Торсана, и вскоре он, при высоком покровительстве западно-сибирского генерал-губернатора, становится волостным управителем.

Ну и пошла писать губерния! Новый начальник жесточайшим образом рассчитался со своими врагами, и первыми под его мстительный кулак попали как раз мои родственники. Когда в девяностые годы из России появились переселенцы, он не стал долго искать им место, а просто поселил их на нашей отчине – земле, обжитой добрым десятком поколений наших прадедов, наш же род погнал дальше в степь. Шли, шли мои предки по степи, искали, искали удобное место, и, наконец, набрали на Жаман-Шубар и осели там.

Я передаю всю эту историю такой же, какой она дошла до меня, не только для того, чтобы показать беззащитность моего народа перед сильными мира сего. Нет, это, пожалуй, настолько ясно, что не требует иллюстраций, много интереснее другое. Древние старики, передававшие эту историю, нимало не сомневались в том, что девушка, проданная на сторону и, казалось, безропотно покорившаяся своей участи, могла через всю свою жизнь пронести единственное сильное чувство – ненависть к своему погубителю – старому мужу. Значит, не так уж была непререкаема власть шарията, не так бессловесны наши женщины и не так крепки узы подневольных браков. Я думаю обо всем этом, когда вспоминаю мою сестру, насильно отданную глухонемому за две кобылицы с жеребятами и умершую через год после замужества.

Шубар не вообще всякое урочище, а лесистый остров посередине степи. Вот на такой-то лесистый остров, покрытый молодым березняком, и переселился наш аул. Я представляю, как обрадовались мои прадеды, увидев в мертвой степи это чудо из чудес – веселую березовую рощицу. Трава здесь такая, что в ней, как говорится, можно скрыться стаду овец, земля тучная, чернозем вглубь шел чуть ли не на аршин, а для наших мест это редкость. Верст за шестьдесят от аула, на берегу озера, разбивались так называемые летовки – легкие юрты скотоводов, кочующих летом здесь со стадами. В иное время года эта степь совершенно безлюдна. Здесь не пашут, не сеют, не разбивают огороды. Когда кончается пастбищный сезон, снимают летовки, сжигается и вся оставшаяся трава. На выжженном месте, густо удобренном золой (иных минеральных удобрений казахская степь того времени не знала), и трава растет гуще, выше, сочнее, и скот от нее быстрее добреет, да и земля обеззараживается. Понятно, что в таком месте, регулярно выжигаемом каждую осень, ничего строить нельзя. «Жаман-шубаровцы» – так звали нас – жгли обыкновенно прошлогоднюю траву не поздней осенью, как полагается по обычаю, а ранней весной. Тогда она и горит веселее и меньшая опасность пожара. А что такое пожар в степи, жаман-шубаровцы извели уже достаточно хорошо (ведь именно от этого и стал прозываться наш поселок проклятым).

Однажды осенью весь наш аул сгорел дотла, не осталось ни кибитки, ни имущества. Куда было деваться зимой в голой степи? Погорельцы разбрелись по соседним аулам, промыкались кое-как зиму у чужих, а летом вернулись на прежнее место, наняли людей из соседних поселков, сами, кто мог, взялись за лопаты и окольцевали аул такими глубокими рвами, что через

них уже никакой огонь перескочить не мог. И жаманшубаровцы осмелели настолько, что выжигали траву около самого аула. Я до сих пор помню, как полыхают, как выются, мечутся – то вниз, то вверх – эти глухо гудящие, неистовые огненные драконы около нашего аула. Они свиваются, развиваются и сжимают наш аул тесным кольцом. Кажется, вот-вот пламя хлынет сплошным потоком на аул и спалит его до основания. Но огненные страшилища ползут, ползут, доходят до первых кибиток и вдруг сразу, подпрыгивая, шипя, свиваясь и выпуская клубы черного горького дыма, проваливаются под землю. Это они наткнулись на рвы, затопленные талой водой. И долго после этого над нашим аулом стоит горьковатый смолистый запах гари. Трава росла у нас после пожара хорошо – была зеленая, высокая, сочная, а вот сгоревшие березки так вновь и не выросли. На пожарище поднимался только мелкий кустарник да слабо изогнутые рахитичные деревца.

Еще одна была беда у жаманшубаровцев – это почти полное отсутствие воды. Особенно плохо было то, что даже и колодцы-то копать глубоко было невозможно: выраешь пять-шесть аршин и наткнешься на твердую, как цемент, глину с мелкой галькой. Такой грунт даже кайло не брало, лопата же ломалась после нескольких ударов. А ведь аул-то наш был скотоводческий, иного источника существования у нас не было, и поэтому зимой дело доходило до того, что даже братья, привыкшие делить друг с другом кусок хлеба, были готовы перегрызть горло за лишнее ведро воды. И не то беда, что колодцев было мало. Нет! Они были, их было даже много, но вода-то набегала по капле, по слезинке, и ее, конечно, не хватало. Поэтому на ночь колодцы закрывались крышкой и запирались на замок; замки были увесистые, чугунные, по пяти фунтов каждый, и, чтобы нельзя было подобрать ключ, хозяева покупали замки в разных местах. Зимой скот поили талой водой. У зажиточных хозяев для этого

существовали специальные помещения, печи особой конструкции, где топка была одна, а котлов много. И от темна до темна батракам приходилось носить снег ведрами, набивать котлы и топить печи. В нашем ауле тоже были зажиточные. Так, например, богач Нуртаза выгонял на летние пастбища до ста лошадей, тридцатисорока коров и до трехсот овец. Таких хозяев было у нас еще двое или трое. Можно себе представить, сколько снега надо было растопить и наносить для того только, чтобы напоить их скотину! Было и другое несчастье.

До пожара, как я рассказывал, урочище было покрыто с севера березовой рощицей. Деревья давали тень летом, а зимой укрывали аул от снежных заносов. Когда этой природной ограды не стало, степные метели засыпали наши дома снегом до самых крыш. Подойдешь к аулу и не поверишь, что здесь живут люди. Пробовали бороться с заносами и так и этак. Кто-то решил, что ветры дуют преимущественно с запада, и начал обкладывать свой двор стогами сена, заготовленного для скота. Его примеру последовали и другие. От этого наш аул зимой походил на город, застроенный многоэтажными домами. Но ведь ветер дует не только с запада, он несет снег и с востока, и с юга, и с севера – со всех сторон. Как быть? И вот со всех сторон стали воздвигать огромные желтые щиты, сплетенные из камыша. Когда снег заносил один щит, над ним ставили другой, третий, так что наконец в Жаман-Шубар нельзя было ни войти, ни въехать – одни стены да изгороди высотой с трехэтажный дом. Но и это не помогало. Бураны дули и дули между щелями и наметали сугробы до крыш. В нашем ауле строили дома невысокие, с основаниями из щебня или дикого камня, со стенами из камышита. И поэтому бураны заносили их так, что полгода ходили мы друг к другу по снежным коридорам, прорубленным в этих сугробах.

И все-таки население аула увеличивалось с каждым годом. К моменту нашего переезда в нем уже насчиты-

валось свыше шестидесяти дворов, объединенных в четыре аула. Соседи так и звали нас: «Шестидесятидомные жаман-шубаровцы». Среди этих шестидесяти домов, как я уже говорил, три дома принадлежали баям, около пятнадцати домов – середнякам, все остальные – беднякам, как говорится, голи перекатной. Великое счастье, если у такого бедняка на дворе еще мычит одна дохлая коровенка. Нужда, конечно, была великая, и если бы не так называемое тамырство, беднякам пришлось бы совсем туго. Тамырство – это оказание взаимных услуг, дружеская помощь казаха русскому и наоборот.

Ближайшим русским поселком, отстоящим на 35-40 верст от нас, была Анновка. Жаман-шубаровцы покупали хлеб только в этом поселке. Я пишу «покупали». Платили за хлеб деньгами, конечно, только богачи; такие же бедняки, как мы, получали его за разные услуги. Давали, например, крестьянину на пахотный сезон коня или вола, а осенью получали с посева свою оговоренную долю. Начиналось, таким образом, с товарообмена, а кончалось вечной дружбой. И я еще в самом раннем детстве наблюдал эту самоотверженную, немногословную, но искреннюю, крепкую связь между русскими и казахами.

И тем не менее жизнь в урочище Жаман-Шубар была ключом, и, как ни странно, это была интересная, своеобразная, и даже одухотворенная жизнь. Летом аулы Жаман-Шубара сливались с аулами других родов, и все они кочевали вместе. Осенью же роды эти разъезжались по своим зимовкам, и тогда Жаман-Шубар стоял одинокий и оторванный от всего мира, не аул, а лагерь полярников. А он и в самом деле был полюсом всех этих мест. Власти сюда почти не заглядывали. Проскочит раз в три года урядник и не остановится, завернет на день один раз в год волостной управитель и уедет, так ничего и не сделав. Вот только аульный старшина заглядывал сюда за податями. Тот ездил аккуратно.

Все споры решались тут же, на месте, аксакалами и их подручными. Самым известным и влиятельным из этих подручных был мой двоюродный дядя Нуртаза. Это был знаменитый оратор всего славного рода керей и даже политический деятель этих мест. Все споры решались с его неперменным участием. Жаман-шубаровцы его считали богачом. Ну еще бы! У него был табун лошадей (голов сто, не меньше), стадо овец (тоже голов пятьсот) и никак не меньше пятидесяти коров. Кроме того, он каждое лето покупал на откорм тридцать-сорок волов и осенью гнал их продавать в ближайший город Курган. Ну как же не богач! Но, конечно, богачом он считался только по нашим, аульным масштабам. Состояние настоящих богачей измерялось не сотнями, а тысячами, а подчас и десятками тысяч голов. Богатство это умножалось и поддерживалось всякими путями, в том числе и прямым грабежом. Впрочем, в обычном аульном праве грабеж этот признавался за юридическую норму и даже носил специальное название «барымта» (баранта). Суть его заключалась в том, что враждующие роды под всякими предлогами угоняли друг у друга скот. Угоны эти зачастую переходили в настоящие межродовые войны с ранеными и убитыми. Чтоб их вести, требовались жигиты. Вот и в этом отношении жаман-шубаровцы всегда стояли на должной высоте. «Сорок стрел Нуртазы» – так звали люди вооруженных всадников моего двоюродного дяди. «Они у него как в кулаке зажаты, куда их бросит – туда они и полетят», – говорили про дядю. Самыми ловкими и самыми сильными из этих сорока стрел были два брата, Канания и Назир, да еще стройный, рослый красавец Аتكельтыр.

Вот этот человек заслуживает особого рассказа. Я и до сих пор помню его ладную, щеголеватую фигуру, длинные черные усы, небольшую, аккуратно подстриженную бородку, а самое главное – его жену-красавицу. Привлекало меня в нем и все остальное: то, что в доме у него безукоризненный порядок и чистота, что он

радушен, прост и гостеприимен; что у него отличные лошади и они часто доставляют ему первые призы; а больше всего то, что он отличный стрелок и охотник. Иногда даже так казалось: вся жизнь у него только в охоте. Он держал породистых собак; зимой травил горностаев и хорьков, лис и волков. Он скакал за зверем на своем непревзойденном скакуне, догонял его где-нибудь на краю поля и насмерть запарывал нагайкой. Травил он и волков беркутом, а это хотя и очень интересная, но и опасная охота – при ней приходится соскакивать с лошадей и вступать со зверем в единоборство. Летом же он держал преимущественно мелкую бойцовую птицу – соколов, кречетов, кобчиков и травил ими жирную осеннюю дичь – гусей-гуменников и уток. И постоянно он был на ногах: скакал, стрелял, охотился, принимал участие в играх и состязаниях; вероятно, поэтому, даже в год своей смерти, – а он умер восьмидесяти двух лет от роду, уже после Отечественной войны – выглядел не только здоровым, но даже и не особенно старым.

До сих пор я писал только о жигитах, но были у жаман-шубаровцев и знаменитости иного рода – певцы, музыканты, сказители. Были кузнецы, про которых говорили: «Они месят железо, как бабы тесто». Я до сих пор помню их имена: Тайжан и Кожахмет. Был замечательный плотник Курманке и еще более удивительный шорник Касен, которому заказывали сбрую даже русские купцы из далеких сибирских городов. Был сапожник Хусаин, чьи сапоги славились на всю округу. Был, наконец, и знаменитый портной Шаин, который работал только на швейной машинке, – о нем мне придется еще говорить. Словом, не такими уж пустыми и хвастливыми выглядели горделивые слова жаман-шубаровцев: «У нас только одного мастера и не найдется, такого, чтоб душу выковал да мертвому в грудь вложил»,

У каждого ребенка есть если не свое собственное королевство, то уж обязательно свой необитаемый

остров. Я же был полноправным гражданином замечательной страны – Жаман-Шубара – и о никакой иной не хотел даже и слышать.

От темна до темна мы торчим на улице, взбираемся на снежные сугробы, нанесенные буранами, и стремглав слетаем вниз на самодельных салазках. На улицу выходим кто в чем, смотря по достатку, – кто в отцовских башмаках и отцовских же рубашках и бушлатах, и тогда рукава его непомерно длинной одежды метут снег; кто в одних рубашонках, а самые бедные и смелые – и совсем босиком. Этим, конечно, уже не до катанья. При всей неприязнительности их выдержки хватает только на то, чтобы постоять у порога и посмотреть на счастливицев, которые стремглав несутся с самой вершины горы. А есть и такие несчастные, которые и на двор выходить не смеют, лишь уныло просиживают дни напролет у тусклого запорошенного окошечка, через которое едва видна воля.

Таять в наших местах начинает в середине апреля. Весеннее солнце быстро справляется с сугробами. Вдруг (всегда почти в одно и то же время) начинает дуть теплый весенний ветер (его и называют «жаксылык», то есть благодатный), и сугробы почти сразу же становятся сквозными и хрупкими. И вот что удивительно – с виду сугроб такой, каким был, а наступишь на него, он хрустнет, и ты проваливаешься до плеч и под ногами почувствуешь свободную землю. Однако до первой зелени еще далеко. Это тепло оказывается обманчивым. Вдруг начинают дуть холодные ветры. «Карадаул» – черная буря зовут их казахи. Они дуют и дуют до весенних заморозков «куралай», которые бывают в начале мая. И только после того, как заморозки пройдут, на проталинах появляется нежная зелень и набухают весенние почки. Теперь уж степная весна вступила окончательно в свои права. «Карадаул», как злая ведьма, улетает на север, и тихий нежный ветерок «утренний» шевелит на рассвете еще

прозрачные то желтоватые, то бледно-зеленые листочки кустарника.

Я много раз встречал восход солнца в Жаман-Шубаре и до сих пор не могу его забыть. Если небо с ночи пасмурно, то низкие, тяжелые, влажные облака, беспокойно блуждающие всю ночь, разражаются на рассвете теплым благодатным дождем. И дождь этот не падает на землю отвесными звонкими струями, как это бывает осенью или летом, нет, он нитями, паутинками, легким туманом, влажной пылью плывет в теплом воздухе, перекидывается ветром то туда, то сюда, покрывает траву, листья и одежду. И вот в это время на самой линии горизонта, то есть около самой земли, появляется длинная, тускло-желтая, как лепестки степного тюльпана или вялые листья клена, полоса. Она растет вширь, становится все больше и больше, захватывает небо, постепенно начинает набирать багрянец, а пройдет час – и исчезнет все желтое: кроваво-красный свод полыхает над всей степью, багрово-сизые, черно-рыжие и просто черные облака, но все с алыми светящимися краешками, похожими на радужную пыльцу бабочек, плывут по нему. Солнце поднимается все выше и выше, небо начинает переливаться, как перламутровая раковина, цвета меняются, неуловимо переходят один в другой, и вот наконец уже все небо с разноцветными тучами начинает походить на разукрашенную юрту богача. Но солнце поднимается все выше и выше, и небо окрашивается такой чистой, свежей, юной голубизной, что, посмотрев на него, и сам молодеешь. А когда в полдень из не разразившихся за ночь облаков хлынут теплые ливни, то подхватит их ветер, отнесет в сторону, и станут они извиваться в воздухе, как распушенный веер или пышный хвост лошади, скачущей во весь опор. Так проходит день, и наступают сумерки. Боже мой, какими красками тогда загорается вечернее небо! Голубое становится алым, потом багровым, потом

совсем желтым, потом оранжево-желтым, затем светло-серым и, наконец, все краски скроет глубокий либо серебристо-зеленый, если светит луна, либо неподвижно-черный цвет. В это время и наступает пора откочевок. Жаман-шубаровцы покидают свое жилье, нагружают на исхудавших за зиму, обросших длинной зимней шерстью низкорослых казахских лошадок свой скarb и едут на пастбища к берегам светлого озера Дос.

СМЕРТЬ ОТЦА

Итак, в то самое время, когда мне только что исполнилось шесть лет, наша семья, состоявшая из отца, матери, трех сестер и меня, перебралась в Жаман-Шубар и поставила свою прокопченную войлочную юрту около такого же убогого жилья дяди Мустафы. Это было летом, в то время, когда аул разбивал свои летовки на самом берегу озера. Зимой жаман-шубаровцы жили все вместе, но летом, уезжая на озеро Дос, разделились на четыре аула; Жансугур, Жанлыгас, Болат, Байтубай. Каждый из этих аулов объединялся по родовому признаку. Мы примыкали к аулу Жанлыгас, к которому принадлежало еще около десяти семейств. Среди аулчан был один бай – Нуртаза, один или два середняка и около восьми почти таких же бедняков, как мы.

Встретили нас в новом ауле хорошо, недели две мы только и знали, что ходили по родственникам да отведывали их хлеб-соль. Но на этом все и кончилось. Когда потребовалась действительная помощь, никто из родственников не шевельнул даже пальцем. Надо было на зиму запастись сеном. Ведь у нас две кобылы и два уже взрослых жеребенка, а родственники ясно показали нам, что надеяться на них никак не приходится.

Дядя Мустафа был тяжело болен, и всем хозяйством, скотиной управляла его жена. Вот с ней-то отец, через силу поднимавшийся с постели, вступил в соглашение.

Они вместе ходили косить сено (участок им выделили самый скверный, находившийся на отшибе). У меня с этой порой связаны смутные воспоминания. Помню, просыпаюсь в шалаше, слабый ветер ерошит мои волосы. Еще темно, только над самой моей головой через неплотно пригнанные прутья проступает рассветное, почти совсем сиреневое небо. Отец сидит рядом со мной и надевает башмаки.

– Как я мог очутиться с вами на покосе?– спросил я через несколько лет свою тетку Слеусин.

– А очень просто,– ответила она.– Ты был маленький и уж не помнишь, что отец тебя так любил, что и дня без тебя прожить не мог. Вот он и метался из стороны в сторону. За день намахнется на косьбе (а он ведь больной был, в чем только душа держалась), вот-вот, думаю, рухнет на землю, а он чуть отдышится, смотрю, бежит за тобой. Через час возвращается, и ты на его спине сидишь: сонный, глазенки закрыты, головенка свесилась. «Куда ты его несешь?– спрашиваю я.– Зачем он тут?»– «Ничего, говорит, вместе со мной спать будет». И верно, так и спали с ним в обнимку. А утром, с рассветом, он тебя опять тащил в аул.

– Зачем?– спрашиваю я.– Не мог бы я разве провести весь день в шалаше?

– А комары? А мошкара? Ты знаешь, что это такое? Там такие комары были, что насмерть заедали, а костер разводить мы боялись – вдруг опять пожар?

– Как же вы-то терпели?– спрашиваю.

– Как терпели?– удивляется тетка.– А что мы могли сделать? Не помирать же с голоду. Зубы стиснешь и косишь, потом кожа загрубеет и уж не чувствуешь.

Очень ясно врезалась мне в память первая наша зима в Жаман-Шубаре.

Мы перебрались в землянку дяди Мустафы. Теперь в ней уже двое больных. Один брат лежал у одной стены, другой – у противоположной, прямо на полу, на каких-то рваных тряпках и кошмах. Оба стонут,

причитают и охают, а мы, дети, бегаем между ними, играем, шумим, внимания на них не обращаем, привыкли и к болезням и к стонам. И как все-таки цепка, неистребима жизнь, все мелкие заботы и горести ее! Иногда вдруг между вами вспыхивает ссора: кто-то кому-то подставил ножку или дал затрещину. Рев несется по всей комнате. И вот в драку сорванцов вмешиваются отцы, и умирающий Мукан ссорится с неизлечимо больным Мустафой. Одно было спасение – бежать на улицу, играть в снежки, но это было возможно только в тихую погоду, – ведь в наших местах зимой самые настоящие сибирские метели.

Плохо ли, хорошо ли, но, в общем, довольно мирно, без особых происшествий, коротали мы зиму, как вдруг нагрянула беда.

Собственно, вначале это была даже не беда, а просто лекарь из чужого аула. Привез его дядя, и я вспоминаю, как он у нас появился. Этой зимой отец зарезал одну из кобылиц. Мясо у нее оказалось отменно жирное, вкусное, и наша землянка вдруг сразу наполнилась гостями. Отец был человек щедрый, «человек большой руки», как говорят казахи, и очень любил угостить. Те же соседи, которые, не моргнув, отказывали нам в клоке сена, сейчас валили толпой. И вот, помню, варится целый котел мяса, и мать что-то спешно стряпает: говорят, приедет знахарь. Мы стоим около котла и интересуемся подробностями.

– Как его зовут? – спрашиваю я.

– Айгожа, – отвечают.

– А лечить он кого будет?

– Твоего отца.

И вот появляется лекарь. Я гляжу на него из-за угла, он мне что-то сразу не нравится: низенький, кривоногий, И круглой черной бородкой, плюгавый, а держится очень важно. Его встречают с поклонами и сажают на лучшее место. Несколько одноаульцев, вошедших вместе с ним, все время о чем-то почтительно его спрашивают.

Лекарь отвечает немногословно. Мы глядим на него, затаив дыхание, но подходит дядя Разаман и говорит:

– А ну, ребята, на улицу! При лечении вам присутствовать нельзя.

Хорошенькое дело, не присутствовать при таком зрелище! Будут лечить моего собственного отца, а я ничего не увижу. Из землянки мы вышли, но дальше двери не пошли, прильнули к ее широким щелям и стали наблюдать, а потом шепотом сообщали друг другу.

– Смотри! Подошел, подошел к больному... Людей подзывает... Ой-бой! Приказал схватить больного за руки и за ноги! Нож, нож достает!.. Ой, что же это он делает?

Раздается дикий вой отца. Я врываюсь в комнату и с воплем вцепляюсь в окровавленную руку лекаря.

– Уберите его!– кричит лекарь и снова всаживает нож в бедро моего отца.

Позже только я узнал, что случилось. Дело в том, что у отца на бедре оказалась большая опухоль. Вот доморощенный хирург и начал ее вскрывать, располосовал ногу чуть не до кости, но гноя не обнаружил, и, уезжая, просто привязал к узкой, но глубокой ране кусок опаленной кошмы (для того опаленной, чтобы зараза не пристала). После этой операции отцу сразу стало хуже. Теперь он стонал уже непрерывно.

Кроме болезни отца, его стонов, криков и этого самого лекаря, никаких иных воспоминаний у меня об этом времени не сохранилось.

Умер отец летом на берегу благодатного озера Дос, куда мы перекочевали с семейством дяди. Этот день я хорошо помню. Мы играли в асыки¹, и что-то мне, против обыкновения, везло. Вдруг явился на коне один из моих многочисленных родственников, дядя Сарсен, соскочил наземь, молча выхватил меня из толпы и так же молча посадил в седло перед собой. Я был возмущен этим насилием, ничего не мог понять, вырывался и просил отпустить. И тут меня поразили печальные,

¹Асыки – игра в бараньи кости, то есть в бабки.

потемневшие глаза дяди и его непривычно ласковый голос.

– Да что с тобой такое, малыш, творится? Там отец умирает, а тебе бы все играть в асыки.

Как люди умирают и что такое умирать – я не знал, но словно кто-то схватил мое сердце в кулак и сжал его! Стало так тоскливо и пусто, что я сразу затих.

Встретили нас плачем. Рыдали все женщины, сколько их было, а задняя часть комнаты была перегорожена ситцевой занавеской. Услышав плач, я опять хотел сбежать, но Сарсен держал меня за плечи и не пускал.

– Пусти его,– сказал кто-то тихо,– он еще совсем маленький, ничего не понимает, а то напугается и закричит.

И вдруг я услышал негромкий, хриплый мужской голос. Кто-то не выл, не голосил нараспев, как женщины, заполнившие нашу хибарку, а плакал по-мужски – скупно и тяжело. Я оглянулся и вздрогнул от нестерпимой боли – для меня и до сих пор самое страшное, когда плачут мужчины,– около занавески на полу лежал Мустафа и повторял одно и то же:

– Мукан! Мукан! Забери и меня с собой, брат мой!..

Один из наших соседей, Шайкен, человек добрый и простой, вдруг схватил меня и прижал к груди.

– Сиротка ты мой,– сказал он.– Ты – единственное исполнившееся желание Мукана, больше аллах ничего не послал твоему несчастному отцу. Как ты будешь жить? Кому ты нужен?– И он тоже горько заплакал.

Только тут поняв, что случилось что-то страшное, непоправимое, я упал на пол, прижался к грязней кошме и зашелся от громкого плача.

Вскоре тело отца обмыли, положили на телегу и увезли в Жаман-Шубар. Я убежал и на похоронах не был, а приехавшие из аула соседи опять собрались в нашей кибитке и начали обсуждать смерть отца.

– Сабит даже и на похоронах не был,– сказал кто-то,– а ведь покойник в нем души не чаял. Вот тебе и дети! Люби их, а умрешь – и глаза закрыть будет некому.

Справедливость требует сказать, что за меня сейчас же заступились все соседи.

– Сабита что винить? Ему шесть лет, что он еще понимает? А вот дочка уже на выданье, а ведь мы ни одного доброго слова об отце от нее не слышали. Вместо того, чтобы проводить отца плачем, она сидит в углу да что-то поет себе под нос. Большая выросла, бесстыдница, а плакать не умеет. Нет, от такой толку не будет!

Так говорили солидные гости, но они были неправы. Как Ултуган умеет плакать, мы узнали ровно через год, когда умерла наша мать и мы остались уже совсем круглыми сиротами.

В 1953 году я снова посетил родные места (теперь здесь большой совхоз имени Докучаева) и прежде всего отправился на старое кладбище. Хожу, смотрю, вспоминаю: разломанная ограда, размытая дождями канава, холмики, холмики, холмики, почти сровнявшиеся с землей, сточенные временами и дождями рыжие и бурые бугры. Я бродил между ними и вспоминал, кто здесь похоронен. Ведь именно вблизи их я родился и прожил первую половину моей жизни. Аул основан за десять лет до моего рождения. Значит, тридцать пять лет здесь рождались жили и умирали мои друзья и сверстники. Где-то здесь должны находиться и те две дорогие мне безымянные могилы, между которыми я двадцать семь лет тому назад вбил в землю голенные кости лошади. Ну конечно, они не уцелели... И вдруг у меня даже дыхание пресеклось, – два белых, сухих и звонких, как степные дудки, мосла торчат между могилами. Я подошел и тронул их. Да, конечно, это он, бедный надгробный памятник моих родителей. Целая вечность прошла с тех пор. В 1928 году, покидая эти места, все жители аула собрались на кладбище на прощальный пир. Пришли и гости из ближайших кочевков. В общем, народу собралось порядочно. Каждый что-нибудь принес на поминки. Бедняки кололи овец, кто побогаче, тот закладывал ягненка, а

Нуртаза зарезал жирного скакуна-двухлетку. Вот его-то голенные кости я и вбил между родных мне могил. Я поклялся тогда, что, когда вырасту, снова вернусь сюда и поставлю над могилами своих родителей настоящий памятник. И вот я его привез. Спите спокойно, мои старики. Ваши дети и внуки вышли в люди. Значит, ваш труд и горькая смерть не прошли даром.

СМЕРТЬ МАТЕРИ

Я хорошо помню, как увядала, худела, блекла, то ли от тоски, то ли от нужды, то ли от какой неизвестной мне болезни, моя мать. Как она, наконец, слегла в постель и лежала тихая и неподвижная, никого не тревожа, ничего не прося и даже отказываясь от пищи. Я это помню особенно хорошо именно потому, что в день своей смерти она вдруг неожиданно, еще затемно, разбудила мою сестру Ултуган, а с нею проснулся и я. Сестра подошла к постели матери и наклонилась над ней.

– Пить хочу,– сказала мать.– Чайку бы!

– Сейчас, родная!

Сестра двигалась быстро и делала все споро. Она налила в наш желтый, весь в пятнах и вмятинах, самоварчик воды, выгребла из печи и положила в трубу горящие угли и быстро вышла из дому.

– Пошла искать чай,– простонала мать.– Чаю-то у нас в доме ни соринки, а я позабыла. Кому же она, бедняжка, кланяться в такую рань пойдет?

Я стоял в углу и робко слушал слабый голос матери. Подойти же к ней почему-то не смел. Мать так часто ласкавшая меня раньше, последние дни совсем перестала подпускать к постели и лишь иногда гладила меня по голове, а через некоторое время, как бы спохватившись, торопливо говорила: «Ну, иди, иди, милый! Играй!» Очевидно, она боялась меня заразить.

Как только сестра вышла, она пальцем поманила меня к себе, а когда я подошел, провела два раза по волосам и сказала:

– Ну, иди, иди, Шакыжан (так меня звали, когда хотели приласкать). Иди на улицу, играй!

Кто в такую рань идет на улицу? С кем там играть? Все дети еще спят и видят седьмые сны.

Вернулась Ултуган и стала накрывать на стол. Постелила скатерть.

– Еле-еле выпросила, три дома обошла, – сказала она и, обращаясь к матери, попросила: – Поднимись, родная, сейчас налью тебе чашку чаю.

– Эх, сахарцу бы еще! – вздохнула мать.

– Я сейчас! – сорвалась Ултуган.

– Сиди, сиди, дочка! – испугалась мать. – Куда еще побежишь кланяться? Вот старый курт¹ еще есть, с ним и буду пить. Налей-ка мне в чашку каймака².

Как сейчас, вижу: чуть приподнявшись в постели, моя мать, желтая, оплывшая, пьет одну за другой несколько чашек чаю, потом опускается на подушки.

– Уложи меня, мой свет! – просит она.

Сестра, осторожно поддерживая, укладывает ее на спину и отходит в сторону. Я украдкой смотрю на сестру. Никогда я не видел ее такой тихой и подавленной. Даже с лица она переменялась: стала бледной, даже не просто бледной, а какой-то серой, большие черные глаза сделались еще больше и чернее. Она незаметно отвернулась и торопливо провела по глазам пальцами. Но, честно говоря, мне было не до этого. Уже высоко поднялось солнце, и с улицы доносились крики моих товарищей. Я едва взглянул на мать, на сестру и боком, боком продвинулся к двери. Еще бы секунда – и меня не было, но тут я услышал тихий голос матери:

– Шакыжан, подойди-ка ко мне!

Я подошел. Она подняла тонкую исхудалую руку, с трудом погладила меня по волосам и взглянула глазами, полными слез:

¹Курт – разновидность сыра.

²Каймак – сметана.

– Ну, будь счастливым, сынок!– Голос ее как-то жалко прерывался, дрогнул, и у меня сразу вылетели из головы и товарищи, которые уже звали меня на все голоса, и игры, и ясное солнечное утро, и вообще все, кроме умирающей матери.

А она еще раз погладила меня по голове:

– Ну, иди играй, иди!– И тут я увидел, что глаза ее сразу потускнели, взгляд их стал бессмысленным, отсутствующим, и глядела она не на меня, а куда-то через меня, через стены, губы ее шевелились уже беззвучно, не произнося ни слова.

Я не полностью уразумел смысл этой перемены, но сейчас же понял, что происходит что-то невероятно страшное. А Ултуган вдруг отчаянно закричала: «Апа! Апа!», бросилась к матери, обхватила ее руками и прижалась к ее груди. Тут и я закричал громко, отчаянно, заливисто, на всю улицу, чуть ли не на весь аул. Так закричал, что сбежались соседи, а какая-то сердобольная женщина, поднимая меня на руки, сказала, плача:

– Теперь вы круглые сиротки! Самые несчастные сиротки на всем свете!

Из всей нашей семьи мать на кладбище провожал один я. Исламский закон не разрешает женщине присутствовать на похоронах, поэтому Ултуган с опухшим от слез лицом осталась дома. Она плакала, билась и причитала. Некоторые из этих плачей я потом нашел у одного из основоположников казахской поэзии – у Махамбета. Есть у него строки:

Жаворонок в небесах летает,
В ковыле свое гнездо свивает,
А когда ковыль зальет водою,
В горе птица-мать над ним рыдает,
Белый сокол, сизый ястреб в грозы
Гнезда вьют высоко на березах.
Если ветер закачает ветку,
Мать птенцов льет горестные слезы¹.

¹Перевод стихов А.П. Ладынского. Дальше его переводы даны без сносок.

Так пела и Ултуган, только первую строфу она произносила так:

Жаворонок в небесах летает,
В ковыле, свое гнездо свивает,
А когда ковыль зальет водою,
Птенчик сиротливо зарыдает.

Наверное, еще покойная мама научила ее этим песням. И ими же ее и оплакивала. А две строки Ултуган сама сочинила:

Я отца и матери лишилась,
И полны глаза мои слезами.

Было тогда моей сестренке только тринадцать лет. Но в продолжение всего лета она точно выполняла обычай: три раз в день не уставала плакать и причинять по матери, и добрые люди теперь уж не осуждали ее за бесчувственность, а говорили;

– Апырай! Кто же ее научил так плакать? Смотри, молоденькая, а все понимает. Наверное, это уж аллах! Чувствовала ее душенька, что быть ей сироткой, чувствовала и тосковала все время – вот и выучилась.

Шел мне тогда седьмой год, но в ушах моих этот плачущий голос сестры Ултуган звенит по сей день.

ОЗЕРО ДОС

После смерти матери меня и сестру взял к себе в дом дядя Мустафа. Помню дни одиночества, состояние страшной незащитности, которое охватило меня. Один, один на свете. И никому не нужен, никому не дорог! Я ходил сам не свой и тихонько плакал, прячась от людей, но недаром же поется:

Осиротевший козленок
Не помнит ни горя, ни боли.
Сперва поскучает немного,
Потом убегает в поле.

Исцелило меня от тоски озеро Дос. Здесь я подхожу к одной из самых светлых страниц моих воспоминаний.

Дос – по-казахски значит друг. И действительно, оно было нам милым испытанным другом – это тихое, совершенно круглое, как глубокое блюдо, озеро, поросшее по берегам высоким камышом и кустарниками. На его северной стороне возвышался небольшой холм, а на холме ютилось старое заброшенное кладбище. Туда мы часто бегали посмотреть могилу самого Доса. Да, да! Оказывается, был такой человек, и умер он пятидесяти лет от роду в 1862 году. Об этом сообщала узорная арабская надпись на плите. Кем он был, этот безвестный, окрестивший озеро своим именем? Кто и за какие заслуги воздвиг ему этот памятник? Сохранились ли в живых еще его родственники и где они кочуют? На эти вопросы никто не мог ответить даже приблизительно. Да и не приходили они нам тогда в голову.

Озеро в окружности имело версты три: все примыкающие к нему холмы и овраги, низины и просто луга порастали сочной высокой травой. Ее тоже выжигали каждую весну, а летом она поднималась с новой силой. Как хорош был вид на озеро и на эти луга с высоты холма! Взглянешь, и кажется, что тихо колышутся рядом два озера – одно серое, металлически блестящее, ровное-ровное, тихое-тихое, а рядом с ним другое – зеленое, осыпанное золотистой пылью и похожее на оперение чудесной птицы.

С южной стороны озера мы поили лошадей. Там дно твердое, песчаное. Лошади стояли на нем, как на каменной глыбе. И такая в этом месте была чистая да прозрачная вода, что видно, как плывет под водой нырнувшая утка, а уронишь монету или бабку, и она лежит на дне, как в хрустальном ларце. Вдоль западного берега Доса, тянется длинный широкий овраг Каншалын. Весной он полон до краев рыжей пенистой

водой, в ней плавают прошлогодняя листва, щепы, различный древесный мусор, а летом овраг зарастает густой, как верблюжья грива, и высокой – по грудь лошади – травой. Даже в самые засушливые годы в этом овраге можно накосить и вывезти несколько возов сена. Но особенно нравилось ребятам то, что нигде нельзя было набрать столько дикого лука и земляники, как здесь. А ведь дикий лук чуть ли не единственная приправа к мясу и лапше в старом ауле. Созревает он уже к концу мая. К тому времени его перья вымахивают с аршин, а луковица делается, пожалуй, не меньше кулака. Созревшим считался только тот лук, перья которого начинали темнеть с концов, а на стрелах появлялись сизые бутоны. Мы ели этот лук без хлеба и соли – и каким вкусным он нам тогда казался!

Земляника созревала много позднее, искать ее в высокой и густой траве было нелегко, приходилось либо ползать на четвереньках, присматриваясь к каждому кустику, либо целый день ходить не разгибаясь, но все же мы приносили домой полные ведра. Очень странно и почти необычно выглядели эти ягоды, выросшие в непроглядно густой траве. Они были длинные, крупные (с полмизинца), то янтарно-желтого, то почти, совсем белого цвета. Но как бы они ни выглядели, уплетали мы их с величайшей охотой, и, право, это было единственное лакомство, которое я имел за всю мою семилетнюю жизнь. Заготавливались ягоды и впрок. Для этого их сначала варили в больших кастрюлях, а потом получившуюся кашу раскатывали на доске и выставлял на солнце. Получалась пастила. Правда, была она и кисловата, и горьковата, и жестковата, но ведь сахар в ауле был величайшей редкостью, а про конфеты и печенье мы даже и не слышали, байские сынки и те редко-редко, разве уж по очень большим праздникам, получали по конфетке. Эта вот пастила да еще балкаймак – густые перекипяченные сливки – вот и все сладости старого аула!

Виноват! Было еще и третье – суйрик – сладкий корень. Он рос в самом озере, и достать его было далеко не так просто. Во-первых, до места, где он рос, надо было долго плыть, а вода в озере очень холодная, затем, доплыв до камышей, надо было опуститься на дно и искать корень под водой. Можно было до этих мест добраться и в обход, со стороны камышей, проваливаясь все время по колено в ил и тину. Так или иначе, но мы как-то добирались до нужного места и ныряли, стараясь подхватить растение под самый корень. Тащить суйрик надо было умеючи, а то дернешь и оборвешь, останется в руке только один стебель. Если ты неловок, или нетерпелив, или трусоват, то лучше тебе с суйриком и не связываться.

Но еще больше, чем сладкий корень, привлекали нас птичьи гнезда. Их было множество в Блипанском болоте – так называлась длинная узкая балка, вся в болотистых кочках, поросших черной, длинной травой (со странным, между прочим, названием «куншаши» – волосы рабыни). Трава эта была длинная, тонкая, необычайно жесткая и острая, как бритва. Босыми ногами по этому болоту и пяти шагов не пройдешь, а птицы облюбовали именно эти кочки в камышах. На самом озере их мало – когда дует ветер и поднимаются волны, тростник клонится и сбрасывает гнезда в воду. В болоте же всегда тишина и спокойствие. Чтобы добраться до этих кочек, мы плетем себе из травы рукавицы и сапоги и скачем в них с кочки на кочку. Но беда, если сорвешься! Тебя сразу же начинает засасывать зеленая тина. Птиц мы не ловили, выбирали только яйца. Целые ведра, набитые ими, выносили мы из болота. Разная птица водилась в этой трясине, но особенно доставалось от нас чайкам. Что значит доставалось? Мы разоряли за лето, конечно, не одну тысячу гнезд, а птиц все не убывало.

Домой мы яйца не носили, а варили на месте и съедали тут же. Но так как одолеть все не могли, то

оставляли несколько десятков и для игры – катали их по земле и пробовали, чье крепче.

Однако далеко не все обитатели болота были так доверчивы и беспечны. Лебязьи и гусиные гнезда никогда не попадали нам в руки, Лебеди и гуси высиживали птенцов не на кочках, а в самой глубинной части болота, в его непроходимой, очень коварной топи. Со стороны она выглядела вполне невинно – просто зеленая лужайка, поросшая невысокой сочной травой, но стоило ступить на эту лужайку, как ты сразу по пояс проваливался в болотную тину, и она начинала тебя засасывать. Топь была так глубока, что достать до ее дна нельзя было даже самой длинной жердью. Конечно, никто из нас не старался даже проникнуть в эти заповедные места.

Когда птенцы оперялись, птицы уводили их на озеро, и в июне оно уже становилось тесным для этой прожорливой и голосистой молодежи. Охота за птенцами была самой захватывающей нашей игрой. Чтобы не уйти с пустыми руками, надо было хорошо изучить повадки птиц, знать их привычки, хитрости. Птицы выводили своих птенцов на прогулку на заре, когда все еще спят: и зверь, и человек. И никогда они не пускали их на голый северный берег, где твердое песчаное дно, удобный сход и откуда отчетливо видно все, что делается на воде. Нет! Они обязательно уводили их в густейшие камышовые заросли – тут и червяков побольше, и ракушки есть, и, в случае опасности, спрятаться легче. Но мальчишки хитрее птиц. Как только сумерки начинали редеть, мы украдкой прокрадывались в камыш и залегали там. Птица – не зверь, чутья у нее нет, и часто она ведет выводок прямо на человека. Вот тут и поспевай ловить: летать птенцы не умеют, они еще бескрылые, а бежать – разве убежишь от мальчишек? Только некоторые, самые умные утята спасались от наших рук. Эти не убегали, а зарывались в траве, замирали и ждали, пока не пройдет опасность.

На суше ловить птенцов легко, но совсем не то на воде: нырнет утенок под воду, и нет его, те же, что не умеют нырять – гуси, чайки, лебеди, – просто забиваются в камыши и ждут, пока мы не уйдем. Зато утки ничего не боятся, подплывают к самому берегу. Попробуй-ка поймай! Они часто даже играют с ребятами, подпускают их к себе совсем близко. Но только мальчишка протянет руку – раз – и утенка нет, он выплыл уже на другом конце пруда.

Вот если утенок попадает в такое место, где дно поросло водорослями, тут ему уже не выкрутиться. Нырнув, он чаще всего запутывается в водорослях и попадает в руки охотника.

Мы любили озеро. Когда всходило солнце, все начинало петь, стрекотать, заливаться на разные голоса, прыгать, летать, искать пищу. Мы были полными и, нужно признаться, нерачительными хозяевами всего окружающего мира.

Любовь наша была жестокая: поймав кузнечика, мы отрывали ему голову и смотрели, как отлично обходится без нее: шевелит лапками, прыгает, даже карабкается по травинке. Или ловили стрекозу, втыкали соломинку и отпускали – лети, куда хочешь! И она поднимается так высоко, что исчезает с глаз, но соломинка ярко блестит на солнце, и мы бежим за ней по лугу, пока она не опустится на землю. А вы знаете, что можно подбить шапкой на лету такую легкую, осторожную птицу, как чибис? Попробуйте-ка подобраться к его гнезду, тронуть гнездо или потревожить птенцов! Что и говорить, только самая никудышная птица бросит своих птенцов, но нет на свете матери более героической, чем чибис. Чайка, та кричит и мечется, кружится над головой, но ведь это одна истерика – пустой крик! Другое дело чибис. Сверкая белоснежной грудью, блестящей, как серебро, беспокойно трепеща в воздухе своими зеленоватыми, почти бронзовыми, крылышками, эта храбрая ма-

ленькая птичка с длинным тонким клювом и чудесным султаном на голове налетает на своих врагов, как беркут на лисицу. Но отважная и храбрая, она бессильна справиться с мальчишками и становится их жертвой...

Были у нас более мирные занятия. На берегах озера, на его твердых песках, можно было заводить разнообразные игры. Мы играем в асыки, ак-суек (белая кость), сокыр-теке (слепой козел), бура-котан (верблужий загон) и во многое другое.

Об асыках, бабках я рассказывать не буду, их, вероятно, знают все. Скажу только, что были среди нас такие удалцы которые одним метким ударом выбивали всю шеренгу бабок. Что же касается меня, то я играл плохо – у меня не было ни меткости, ни верного глазомера. Наверное, поэтому я и не стал охотником.

Ак-суек – игра совсем другого рода. Играющие разделяются на две партии. Они раздеваются и складывают одежду в разные, далеко отстоящие друг от друга кучи. Это – две орды. В ордах остаются ханы – это те мальчики, которые не могут бегать: хромые, слабосильные. Поочередно от каждой орды отделяется один из играющих, в руке его обыкновенная баранья кость. Он уходит далеко от своей ставки и, размахнувшись, изо всей силы закидывает кость в траву. Играющие бросаются искать. Победителем считается тот, кто, отыскав кость, донесет ее до своей орды и вручит хану, а это совсем нелегко. Игроки противоположной орды стараются перехватить бегущего по дороге. Все играющие тоже бегают, участвуя в игре либо с той, либо с другой стороны. Догнавшему, с какой бы стороны он ни был, кость отдается без сопротивления.

Игра в «слепого козла», по существу, не отличается от обыкновенных жмурок. Зато очень своеобразна и столь же шумна игра бура-котан. Опять играющие делятся на партии и садятся друг против друга так, чтобы между ними оставался широкий проход. Затем

выбирается тот, кто должен проскочить по этому проходу и выбежать на свободное место. Между ним и играющими происходит диалог. Он спрашивает: «Этой загон?» Играющие отвечают хором: «Жансугура» (или «Утепа», или «Атгельды»), одним словом, называется имя любого из участвующих в игре. «А как его пройти?» – спрашивает снова тот, кто водит. «Вприпрыжку! Вприпрыжку!» – отвечает хор. И после этого мальчик скачет, а все ловят его за ноги и стараются повалить. Это трудная игра, и от скачущего требуются обезьянья ловкость и увертливость.

Я описал только три игры, а сколько их еще было!

Дорогой Дос! Милый, милый, незабвенный друг! Так я и не исполнил, своего давнишнего обета – не написал о тебе ни поэмы, ни рассказа, не переложил на стихи ни твоих тихих жалоб в ненастную погоду, ни шепота твоих ласковых волн в ясный день. Но как тебя благодарить за все те маленькие радости, которые ты дарил нам в нашем горьком детстве! Как бы без тебя были бедны мои воспоминания об этих годах. И какое огромное богатство принес я благодаря тебе в свою трудную, овеванную огнем и дымом сражений юность! За все, за все благодарю тебя, мой друг, мой Дос! Ты и сейчас такой же красивый, как и в дни моего детства, но теперь твои песчаные берега далеко не пустыньны. В тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году здесь создан мощный совхоз «Докучаев». День и ночь окружающая тебя земля гудит от тракторов, а ведь мы с тобой помним времена, когда здесь бродили только косяки лошадей да овечьи отары. А наш аул? Он еще в тысяча девятьсот двадцать восьмом году переселился в исконное место Кара-Агаш и снова обрел все, что радовало сердца наших отцов: и леса, и озера, и пахотную землю, и заливные луга.

КОЛОДЕЦ, ВЫРЫТЫЙ ИГОЛКОЙ

ПУТЬ В ПЕКЛО

Однажды, когда я уже совсем собрался идти на озеро, Мустафа вдруг поймал меня за руку и сказал:

– Куда? Сегодня из дому ни шагу, слышишь?– И так посмотрел, что у меня сразу душа в пятки ушла.

Был он издерганный, больной, нервный человек с тяжелым характером. Всегда-то хмурился, супился и был готов к внезапным вспышкам. В такие минуты его большие, глубоко запавшие глаза начинали сверкать недобрым огнем, бледнело лицо, усыпанное глубокими оспинами, а на скулах наливались и ходили желваки. В состоянии гнева он был безумно жесток, беспощадно избивал своих детей и калечил жену. «Таргыл Мустафа» – тигр Мустафа называли его соседи. Но этот тигр был добрым и кротким с сиротками и особенно со мной. Он как бы задался целью заменить мне отца и мать. Они меня называли Шакыжан, и он меня стал звать так же. Я же обращался к нему по-прежнему – кишкене-ага, то есть младший дядя. Отец любил спать со мной рядом; клал меня с собой и Мустафа и, только засыпая, отпускал от себя, говоря: «Иди, иди, Шакыжан, спи! А то у меня уже и глаза слипаются. Покойной ночи, милый!»

Он до этого никогда не ругал меня, даже не повышал голоса. И вот теперь все-таки повысил. Его суровость подействовала на меня, как удар хлыста: голос мой

дрогнул и пресекаясь, по телу побежали мурашки. Я не то что не смел убежать, я не в состоянии был двинуться. Хуже всего было то, что я хорошо понимал, в чем дело. Сегодня дядя меня поведет к молде (мулле) и отдаст ему меня. Молда – это учитель. Еще в первый день после нашего переезда на Дос дядя открыл мне свои намерения:

– Кто знает, может быть, ты даже и в муллы выйдешь, – сказал он мне, – будешь читать Коран по покойным родителям. Пусть их душенькам будет тепло на том свете. Здесь-то ничего хорошего они не видели.

Хорошо говорить дяде – будешь учиться! Хорошо говорить – выйдешь в муллы! А если я знаю, у кого я буду учиться, и боюсь и ненавижу своего будущего молду – Хабибуллу Газизуллина, тогда что? Теперь я беспристрастно могу оценить достоинства и недостатки этого страшного человека. Но прежде два слова о том, кто он и откуда появился в нашем ауле.

Привез его к нам в аул четыре года назад (значит, в 1904 году) из Троицка сам дядя Мустафа. В этом городе жил знаменитый прорицатель, угадчик снов и ишан¹ Зейнулла Расулов. Это был оборотистый человек. Во дворе своего дома он открыл медресе², где за солидную плату обучал свыше тридцати учеников. В этом же доме он имел собственную мечеть. Духовные занятия не мешали его светским делам: он торговал скотом, имел магазин, числился купцом первой гильдии. У него было много последователей, которые по отношению к нему считались мюридами – учениками, а у себя в деревне или в ауле, куда они возвращались из паломничества, их называли уже прадарами, то есть посвященными. Вот таким прадаром крупного скототорговца и ишана Расулова и стал Мустафа. Загнав насмерть свою несчастную клячку, он съездил за триста верст в город Троицк, приобщился к небесной мудрости

¹Ишан – духовный наставник у мусульман.

²Медресе – мусульманская духовная школа.

святого, внял его благочестивым словам и в полном восторге от всего виденного, слышанного и передуманного увез к себе в аул его дворника. Да, именно дворником купца Расулова был мой учитель и наставник Хабибулла Газизуллин. В то время он был молодым парнем, обладал приятным голосом – жалобным и унылым, как подобает всем исполнителям духовных песнопений, и знал наизусть несколько сур (стихов) из Корана. А много ли нужно знать аульному учителю, если и весь аул состоит из шестидесяти кибиток? К его чести надо сказать, что он сам был ошарашен сначала слишком уж смелым и далеко идущим предложением дяди – ни больше ни меньше, как возглавить школу и стать молдой.

– Но, дорогой мой, я ведь и писать-то не умею, только читаю, и то по складам, – сказал он робко.

– И не надо! – воскликнул в запале дядя, которому сейчас на все наплевать. – Будешь ломать ребятам языки, учить их молитвам. Больше не требуется. Кому что там писать?

Вот так и стал дворник купца Расулова, с благословения моего неграмотного дяди, учителем. И, по правде сказать, ничего удивительного в этом нет. Как на средневековом Западе, так и в мусульманском мире разговорный и даже литературный язык не имел ничего общего с языком религиозным, на котором были написаны такие боговдохновенные книги, как, скажем, Коран. И здесь, так же как на католическом Западе, перевод этих книг на язык народа считался грехом и ересью, – надо было просто заучивать наизусть целые страницы, написанные на арабском языке, не вдаваясь в смысл и даже не понимая его. Были люди, знающие наизусть многие десятки страниц Корана, но не понимавшие ни одного слова из того, что они произносят. Вот это и считалось наукой. Именно это и привез нам татарин (он был единственным иноплеменником в нашем ауле). С момента его при-

езда прошло пять лет, и единственное, чему он за эти годы обучил своих учеников, – это довольно бойко читать некоторые самые необходимые и распространенные молитвы.

Наружность Газизуллина была запоминающаяся: висячие усы, козлиная бородка, голова редькой, шишковатый узкий лоб, лицо тонкое, длинное, без единой кровинки. Худой, низкорослый, с маленькими слабыми руками и узкими плечами, он выглядел совершенным заморышем, однако характер у этого заморыша был преотвратительный. Сделавшись муллой, он себя почувствовал мозгом, сердцем и совестью целого аула и соответственно стал вести себя: весь-то он топорщился, все-то он что-то доказывал окружающим, подозревал всех в недостаточном почтении к себе и к своей учености; с детьми же он обращался, как сущий изверг. Главным методом воздействия была у него порка. Около озера Дос нельзя было найти настоящей розги, такой, чтобы она рассекала кожу до крови с одного удара, так он не поленился – привез розги из Жаман-Шубара. Эти тонкие, оголенные от коры прутья были самым настоящим орудием пытки. Он не расставался с розгами ни на минуту. Во время уроков они все время шипели и извивались в его руках. Но скоро и розог ему стало мало. Тогда он с ругательствами отбрасывал их в сторону и начинал рвать учеников за уши, пинать ногами, даже таскать за языки. Но скоро и этого ему показалось недостаточным. Тогда он ввел обязательные порки по четвергам. Пороли всех поголовно. Пришел четверг – задирай рубашку и ложись на пол! Учитель подходил по очереди к лежащим и сек их розгой, сек, сек, как секут шашкой, так, что гибкий тонкий лозняк рассекал кожу до мяса. Брызгала кровь, а кричать было нельзя – разъяренный молда мог тогда, засечь до смерти. Закусив губу бледный от упоения и страсти, он хлестал и хлестал до тех пор, пока жертва переставала даже стонать. Только девочкам доста-

валось меньше. Ударив их несколько раз розгой по подолу, он отпускал их домой, не забывая крикнуть вдогонку:

– Прочь отсюда, грязные твари!

Кто мог заступиться за избиваемых? Власти? Но они считали, что это в порядке вещей. Родители? Но они даже пожалуй, были рады этой экзекуции, ибо известно, что место, рассеченное лозой учителя, не горит адски в огне.

– А то как же?– говорили старики.– Учитель ребенка будет бить на земле да аллах еще на небе наказывать? Нет это уж против господней справедливости, двух наказаний за одно и то же и на земле не положено.

Дома дети принадлежали молде не меньше, чем в школе. Только под вечерок заберутся они в укромный угол и начнут играть, как вдруг появится поистине сатанинская фигура молды (его и звали Шайтан-молда, иными словами – сатана), те, понятно, врассыпную. Но разве ребенку убежать от разъяренного Шайтана?.. Почти всегда ему удавалось поймать «преступника» и избить его до синяков.

Но молда был не только жесток, он был еще и труслив: больше всего боялся он сплетен, скандалов и угроз. Какая-то незримая черта отделяла этого человека от живых людей. Он охотно болтал со старухами, но как огня страшился молодых женщин или девушек. В их веселую компанию его, бывало, и на аркане не затащишь. Спустя много времени после событий, описанных мною, он вдруг женился на дочери татарина из далекого татарского села. Но опять-таки вышло все не как у людей: месяц прятал Газизуллин жену от посторонних взглядов, а через месяц непонятно почему и как, отправил ее обратно к отцу и больше до самой своей смерти не думал ни о браке, ни семейной жизни. И вот странность! При всем этом молда был даже щедрый и бескорыстный человек: он не умел отказать, когда у него просили в долг, не знал,

как просить настоящую плату, не мог постоять за свои материальные интересы, и поэтому, несмотря на довольно солидные доходы, он не отложил себе ни копейки и умер таким же бедняком, каким был всю жизнь. Именно за эту бескорыстность его звали за глаза Шакша-бас – ущербная голова, или полоумный.

К этому-то Шайтан-молде и поволок меня в одно прекрасное утро Мустафа. Молчали мы оба. Он потому, что боялся, чтобы я не расплакался, я потому, что слова не шли у меня с языка. Мы еще не дошли до школы, как я услышал равномерный и довольно громкий гул и гам – именно гул и гам, а не шум. Как будто в один загон согнали великое множество скота – овец, коз, коров, – и все они ржут, мычат, блеют – каждый по-своему и все по-разному. Я уже знал – это ученики зубрят священные тексты, сидят, раскачиваются, зажав уши, и гудят, гудят. Входим в кибитку (школа при Шакша-басе не имела своего помещения, а кочевала от хозяина к хозяину). В день моего поступления она помещалась в доме Рымбая – отца одного из учеников, мальчика по имени Исахмет, ослепшего после оспы. На полу, поджав под себя ноги, сидели ученики. У каждого из них на коленях лежала либо книжка, либо просто лист бумаги, пришпиленный к короткому пруту. Ученики сидели, уткнувшись в учебники, и громко повторяли прочитанное. Кто что орет – разобрать, конечно, невозможно. Молда сидел в центре этого круга и хладнокровно ел каймак с баурсаками. Направо от порога пристроилась какая-то женщина с пряжей. Не обращая внимания на шум, переступив порог, Мустафа кладет правую руку на сердце.

– Ассалам алейкум, – говорит он громко и почти-тельно: Хабибулла много моложе его, но ведь он учитель.

– Алейкум ассалам, – отвечает молда, быстро встает с места, отставляет пиалу с каймаком и идет к нему навстречу, протягивая руку.

Почет велик, но меня он не удивляет. В ауле все знали: только трех человек уважает и боится молда в Жаман-Шубаре. И первый из них – мой дядя. Дело, конечно, не только в том, что молда труслив и мало-душен. Но как забыть то, что именно Мустафа привез его, дворника, не умеющего даже читать, в свой родной аул и сделал молдой. Что-что, а старые хлеб-соль молда помнил. Кроме него учитель боялся еще двух женщин: Кульшай – младшую жену богача Молдахмета и «Большую бабушку». Кульшай была преядовитая и бойкая бабенка. Как-то молда не остерегся и, как и всех своих подопечных, выпорол ни за что ни про что ее первенца, выпорол просто потому, что пришел четверг – день всеобщей порки. Тот, ревя, прибежал к матери. А мать накинула платок да и побежала к молде.

– Ах ты бродяга!– заорала она, врываясь в комнату.– Ах ты сатана бездомный! А хочешь, я тебе сейчас, как куренку, голову откручу?! Я ведь не посмотрю на то, что ты святой человек!

Ее едва оторвали от перепуганного учителя.

«Большая бабушка» – третий человек, которого боялся молда, – и верно была великаншей. Я до сих пор помню ее огромное, как поднос, лицо, орлиный нос с широко раздутыми ноздрями, свирепые огромные глаза. Она была вдовой, рано похоронившей своего мужа. Большой ругательницы и сквернословки я не знал в целом ауле. Любимым ее словом был «бармак» (очевидно, фи́га), и когда она кого-нибудь называла так, спорить с ней было уже невозможно. Она часто приходила к вероучителю и ругала его. Дело в том, что ее озорной внук Ашим все время попадал, так сказать, индивидуально под розги Шайтана, что бабушка считала выпадом против нее лично.

Кроме этих трех человек, молда не боялся в ауле никого и ничего.

Итак, встретив Мустафу с подчеркнутым уважением, Хабибулла повел его на свое место, усадил на

подстилку из кожи жеребенка, крикнул ученикам: «Эй вы, твари, потише!»– и уставился на дядю в любезном ожидании.

– Молдеке!– почтительно сказал Мустафа, указывая на меня, все еще стоявшего на пороге.– Знаешь ты этого мальчика?

Молда посмотрел на меня во все глаза и сделал вид, что не узнал,– он ведь был большой ломака, этот заморыш.

– Нет, не знаю,– ответил он коротко,– кто такой?

– Да это же сын покойного Мукана!

– Разве?– спокойно удивился молда, не сводя с меня глаз.

Я отлично понимал, почему молда меня не узнает. Он как и большинство людей его типа, сразу шагнув из грязи да в князи, всегда и всюду старательно подчеркивал свое презрение к бедности, а я ведь был очень худо одет.

– Вот привел его к вам учиться,– сказал Мустафа.– И прямо говорю: шкуру с него спустите, если за дело – только спасибо скажу, пусть без шкуры бегаёт.– И так посмотрел на меня, что я сразу вспотел.

– Ну что же!– равнодушно согласился молда.– Пускай поучится. Эй, садись с ним!– Это уже относилось ко мне, и он ткнул пальцем в черного, как негр, мальчишку – сына нашего соседа Рахимбая, который сидел возле порога.

Но я не двинулся с места. В самом деле, почему я должен сидеть рядом с Оразалы Рахимбаевым, когда тут же рядом сидит мой двоюродный брат, сын Мустафы, Габбас? Он старше меня, уже целый год учится здесь, считается очень способным, так почему же этот шайтан разъединяет его и меня? Очевидно, эта же мысль пришла в голову и Мустафе.

– Молдеке, а с Габбасом посадить его нельзя?– спросил он тихо.

– Нельзя, прадаp,– ответил молда,– Габбас уже учит Коран, а сын Рахимбая вот уже второй год не может

слезть с алиф-би (алфавита). Вот пусть они и изучают его вместе.

– Два года и все алиф-би?– Мустафа удивленно посмотрел на молду.

– Совсем дубина!– сокрушенно объяснил молда.– Твердит буквы, а думает об асыках. Порю, порю, а все без толку,– ишак, умеющий говорить одни глупости! Вот и все!

Оба помолчали. Молда молчал потому, что у него не было для меня лишнего экземпляра «Иман Шарт» (правила веры) – старого учебника, который начинался с алфавита, а сам написать алфавит молда не умел. Дядя же молчал потому, что переживал одну из самых торжественных минут в своей жизни. Вот свершилось! Он привел сына своего покойного брата в школу и сдал в руки молды. Теперь пусть его учат, как хотят и как умеют. Сам Мустафа уже ничем больше помочь не может своему племяннику: он и часа не был в школе и даже не знает, что алиф – первая буква арабской азбуки – похожа на палку, молитвы читает по памяти, так что в них не остается и десятой доли смысла. Но если мальчика выучат хотя бы молитвам, то и это будет хорошо. Тогда он сможет читать по покойникам. От сына бедняка большего и требовать нечего. Поэтому, помолчав, дядя показал на Оразалы и приказал:

Садись с ним!

Делать было нечего. Я сел. Потом Мустафа исполнил несложный ритуал посвящения: встал на колени, вынул из кармана серебряный рубль и подал молде. Молда молча, не меняясь в лице, взял его, сунул в карман, и оба они стали молиться. Со стороны я наблюдал и видел, как разное они молятся: молда молился холодно, спокойно и бесстрастно, просто бормотал себе под нос какие-то загадочные магические формулы – и все. Но дядя! Дядя!.. Руки его дрожали, лицо его сразу стало бледным и мокрым от слез. Потом он встал и, тихонько вытирая глаза, пошел к двери. Но тут хозяйка дома крикнула ему вдогонку:

– Кайнага!¹ Вкуси с нами пищу!– И встала, чтобы принести чашку айрана.

Нельзя не уважать приглашения, нельзя отказать хозяину, предложившему тебе разделить с ним трапезу. Мустафа послушно опустился на прежнее место, но есть ему не хотелось. Ел он медленно, неохотно, с трудом, и крупные слезы бежали по его изуродованному оспой лицу. В другое время и я был бы тоже тронут до слез, но сейчас мое сердце, молчало: ведь это он толкнул меня в пекло – на самый порог ада.

ПЕРВОЕ НАКАЗАНИЕ

– Эй, ты, иди-ка сюда!– приказал мне учитель. Я встал и подошел к нему.

Молда ткнул пальцем в Оразалы, и в голосе его прозвучала угроза.

– И ты, черная собака, тоже иди сюда! Быстро!

Мы оба подошли к мулле и опустились перед ним на колени. Мулле не понравилось, как я держался. В самом деле, если Оразалы стоял на коленях сгорбившись и походил на провинившегося щенка, то я свободно шарил глазами по сторонам, и вид у меня был независимый.

– Гляди прямо перед собой, дурак!– крикнул мне Шайтан.

Я вздрогнул и опустил глаза, а учитель все смотрел на меня не отрываясь, и на лице его появилось выражение гадливости и пренебрежения.

– Что ты, в навозе вывалялся, что ли?– спросил он меня наконец.

Увы! Он был прав: я именно вывалялся в навозе. Играл в асыки, упал в навозную жижу и вымазал себе колени и рукав. Думал замыть, но только размазал грязь, и огромное бурое пятно захватило теперь не только рукав, но и все плечо и бок. Вечером это

¹Кайнага – деверь.

прошло незаметно. Я пришел и поскорее юркнул в постель. Только дядя Мустафа недовольно сказал мне:

– Что это ты весь мокрый? В грязи, что ли, купался? Фу! И воняет же от тебя!

Но на этом дело и кончилось. Однако, как только утром я встал и оделся, сестра Ултуган так и вцепилась в меня.

– Это ты что? В навозе купался?– крикнула она и всплеснула руками.– Бог мой! Измазался с ног до головы... И пробовал еще отмываться!.. Вот проклятый мальчишка!

И она дала мне несколько таких звонких полновесных подзатыльников, что я заорал истошным голосом.

– Да полно! Что ты мучаешь мальчишку?– вступилась за меня сердобольная тетка.– Что, не отстираешь, что ли? За ночь все высохнет. Ну не сегодня пойдет в школу, а завтра. Только и делов! Мустафа...

– Не глупи!– твердо отрезал из своего угла Мустафа.– Как это так завтра? Сегодня среда – день удачный и легкий, а завтра четверг, а потом пятница – тяжелые дни, а там суббота – школа закрыта, а в воскресенье никаких дел не начинают, значит, опять жди понедельника. Ничего, что измазался, пойдет как есть.

Так я и пошел в школу в измазанной рубашке и грязных штанах. Штаны я, правда, засучил выше колен, так что ничего не стало видно, но вот пятна на рубашке скрыть было невозможно.

А Шайтан все смотрел на меня, не спуская глаз.

– Скот бессовестный!– сказал он по-арабски, но я по выражению лица понял, что это он меня выругал.

Потом он перевел грозный взгляд на Оразалы, и тот сразу поник, зашмыгал носом и стал беспокойно мигать маленькими черными глазками.

– Дай-ка мне твой алиф-би!– принес Шайтан, протягивая руку.

Взял листок, посмотрел. И вдруг лицо его исказилось от гнева:

– Ты что же это мне суешь, а?– спросил он тихо и зловеще, наклоняясь над скорчившейся фигурой нерадивого ученика.– Ты что, его маслом намазал и слопать хотел? Нос им вытирал? Да говори же, окаянный?

Но Оразалы только трясся и молчал как немой.

– Молчишь, проклятая тварь! Ну хорошо!– выдохнул Шайтан, отодвинул от себя чашку, прикрыл ее концом скатерти и вдруг откуда-то выхватил лозу.

– Молдеке! Ай, молдеке!– громко заплакал Оразалы, не смея подняться с колен.

– А вот тебе сейчас и будет молдеке!– усмехнулся Шайтан и с силой опустил розгу на спину провинившегося ученика.

И тут случилось чудо! Как только разгневанный мулла коснулся розгой спины несчастного, прутья разлетелись на куски. Молда так и оцепенел. С секунду он с изумлением смотрел на крошечный черенок, оставшийся у него в руке, а потом внезапно поднес его к глазам и стал вертеть и рассматривать со всех сторон. В классе захихикали, а молда вдруг закричал:

– Подрезали! Подрезали, окаянные! Кто это сделал? Кто? Кто?

Обезумев от злости, а может, и от растерянности, он мычал от ярости, шарахался из угла в угол. Потом ринулся к Оразалы, все еще стоявшему на коленях, и с размаху пнул его ногой в бок. Оразалы отлетел, завизжал и хотел вскочить на ноги, но Шайтан подбежал и ударил его еще раз.

– Убью!– мрачно прохрипел он, заноса сапог для следующего удара.

Тогда несчастный закричал:

– Да это же не я, не я!

– А кто же?– так и ринулся на него Шайтан, застыв с поднятой ногой.

– Да не я! Не я же!– исступленно орал Оразалы, а сам незаметно пятился к дверям.

– Куда?– взревел Шайтан.– Куда прячешься, грязная скотина?

И вцепился своей жертве обеими руками в уши так, что они мгновенно вспухли и налились кровью.

– Ой-бой! Ой-бой!– орал во все горло несчастный.– Ой, я скажу, отпустите! Ой, ой, я же не могу говорить, когда вы... Ой, вот этот! Вот этот!– И Оразалы показал пальцем на огромного великовозрастного детину, который, улыбаясь, молча глядел на учителя.

Шайтан бросил на детину яростный взгляд, приоткрыл было рот, чтобы что-то крикнуть, но встретил наглую улыбку, насмешливые спокойные глаза и сразу же осекся. Мы все отлично знали: молда не тронет этого парня, сына богатея из соседнего аула. Однажды он вырвал розгу и загнал Шайтана в угол к величайшей радости и ликованию всех учеников. Вспомнив это, учитель оттолкнул Оразалы, и тот с тихим воем откатился в угол. Газизуллин разгневанно зашагал по комнате. Ученики, прекратившие было зубрежку, снова начали бормотать каждый свое. Только Оразалы, сидящий рядом со мной, все еще продолжал дрожать и поскуливать. Вид у него был такой жалкий,– а ведь каким героем он бывал на озере!– что я не выдержал и фыркнул. Шайтан в это время стоял ко мне спиной. Казалось бы, увидеть и услышать он ничего не мог, но тем не менее сразу же повернулся и подошел ко мне.

– Ты чего зубы скалишь, скотина?– спросил он грозно.

Я посмотрел на его нахмуренное личико хорька с тараканьими усиками и бородкой клинышком и вдруг фыркнул снова. Тогда Шайтан размахнулся и закатил мне здоровенную оплеуху. Я ойкнул и схватился за щеку. Он так же, молча, ударил меня кулаком по уху. У меня искры посыпались из глаз, я упал и закричал громко, заливисто, отчаянно. Ведь никто никогда до сих пор со мной так не обращался. Шайтан начал бить меня ногами. Тут уж я лег на живот и начал орать, как резаный.

– А, ты еще кричать?– рявкнул молда.– Ну, подожди! Оттащила его от меня хозяйка дома.

– Ты ведь убьешь так мальчишку!– сказала она укоризненно.– Еще и не учил, а уже бьешь! Ведь он и листа бумаги в руках не держал. Ах, какой грех!

– Садитесь, твари, по местам!– крикнул молда уже спокойнее.– Ну?

– Это еще не все! Мы еще с тобой поговорим,– пробурчал молда, глядя на меня бешеными косящими глазами.– Ну, бери лист, смотри буквы!

Так началось мое ученье, так я впервые вкусил сладость науки.

КАДЫМ

По-арабски кадым – значит старый, иначе говоря, кадым – это обучение грамоте по старинке. Как в еврейской, греческой, а потом и в старославянской азбуке, по-арабски каждая буква имеет свое название. Скажем, по-славянски две первые буквы называются аз (а), буки (б); по-гречески эти буквы будут называться альфа, бета; по-арабски соответствующие буквы – алиф, би. Запомнить эти названия нетрудно, труднее другое: каждая из букв арабского алфавита имеет три разных начертания, смотря по тому стоит ли она в начале, в конце или в середине слова; таким образом, арабский алфавит при двадцати девяти буквах имеет сто восемь начертаний, или графем. Но эти бы еще полбеды. Кроме строчечных букв, в арабском алфавите имеются надстрочечные точки и точки подстрочечные, от них в ряде случаев и зависит произношение буквы. В одном случае буква будет читаться как «б» (точка снизу), в другом случае – как «и» (две точки снизу), в третьем случае – как «н» (одна точка сверху), в четвертом – как «т» (две точки сверху) и т.д. Вот и попробуй разберись тут. Но и это еще не все: в арабском языке произношение и начертание не совпадают. Например, в казахском языке буква «г» и произносится как «г», в арабском же она имеет два

разных произношения; два произношения имеют и такие буквы, как «т» и «х»; буква «с» имеет их три, а «з» – целых четыре. Далее: арабская письменность, так же, как и все семитские языки, не знает гласных, в обыкновенном письме они просто подразумеваются, а в Коране пишутся условно, опять-таки над строкой или под строкой. Поэтому, скажем, имя пророка Мухаммеда по арабской транскрипции, если отбросить надстрочные знаки, будет написано как «Мхмд». Вот тут и разберись. Учитель же помочь не может, он сам в этом не разбирается. Поэтому оставалось одно: сидеть и зубрить, зубрить бессмысленно, тупо, заткнув уши и бормоча бессмыслицу, так, как в русской классической гимназии гимназисты в это же самое время зубрили латинские вокабулы. Зубрежкой алфавита и искусством читать по складам начиналась и кончалась первая часть обучения – еже. Дальше шел второй курс – сура, что означает буквально – поэма. И в то же время сура – глава Корана, состоящая из многих сотен стихов. Мы должны были научиться, пусть совершенно бессмысленно, но без запинки читать любые главы Корана. И все это, повторяю, еще не беда. Несчастье в том, что преподавал эту науку нам азбучно неграмотный человек, который не только показать, но и объяснить с нами как следует не мог. По-казахски он говорил плохо – с пятого на десятое; по-татарски же мы не понимали, а значение арабских и фарсидских слов (слов древнеиранского литературного языка) не знали ни мы, ни он. Однако как бы там ни было, а за зиму я уже выучил почти весь Коран наизусть, и молда нашел, что я могу перейти к изучению «тюркских» книг, то есть к сочинениям, написанным на чагатайском языке. Чагатайский язык – это золотая латынь Средней Азии. Но если по-латыни люди когда-то говорили и писали друг другу письма, то чагатайский язык – язык искусственный, возникший на базе древнетюркского языка, с огромной примесью

иранских (фарсидских) и арабских слов. И все-таки книги, написанные на этом языке были нам куда понятнее, чем арабский Коран, да и сам учитель, когда доходил до этих книг, преображался. Тут он хоть что-то понимал и мог объяснить. Он даже переставал ругаться, реже избивал нас и все чаще и чаще радовал своим замечательным пением. Подчеркиваю: именно радовал, ибо, слушая его пение, я понимал не только почему дядя Мустафа привез этого неграмотного дворника в наш аул и выдал за молду, но и то, отчего все ему поверили. Голос у молды был негромкий, высокий и очень приятный. Пел ли он суры из Корана, читал ли религиозные поэмы – все у него звучало одинаково: грустно и торжественно. Потом я узнал, что священные тексты он пел на мотив старинных татарских песен. Вероятно, если бы такое пение услышали благочестивые люди – шейхи, ишаны и столичные муллы, – они выбросили бы Шайтана из аула за богохульство. Но мы слушали его певучие рыдания и плакали, и что самое поразительное, пожалуй, даже неправдоподобное после всего того плохого, что я сказал о Хабибулле Газизуллине, – плакал и он сам, пел и плакал. Что ж, ведь и он был, в конце концов, человеком, значит, и у него были свои хорошие качества и даже достоинства. Об одном я уже говорил: он не был ни скупым, ни жадным, ни расчетливым и никогда ничего не делал специально из-за денег. Пожалуй, сродни этому бескорыстию было и другое самое главное его достоинство. Он всей душой любил поэзию и старался, как мог, передать это чувство нам. Он учил нас петь «макам» – что-то вроде исламских псалмов, но особенно любил слушать и исполнять сам средневековую тюркскую поэму «Мухаммедия». Как преображался он, когда нараспев, почти рыдая, прославлял своим высоким красивым голосом подвиги и страдания пророка! Как чисто и светло было тогда его одухотворенное, почти страдальческое лицо! Сколько настоящего вдохновения звучало в его голосе!

На иной мотив он пел, вернее, декламировал Коран. Его суры он произносил на особый каирский мотив, тоже очень грустный, заунывный и певучий. Он заставлял петь лучших учеников и, слушая их, качал головой, скорбно улыбался, шевелил бровями, а под конец плакал... Было у него несколько любимых хоровых песен, и он очень строго следил за их исполнением. Если же он слышал, что мы поем вне школы, то выходил из себя и ругал нас бессовестными скотами. Видимо, он считал это вторжением в его область, в его святая святых. Этот малограмотный человек преподавал нам грамматику (сарф) и синтаксис (наху) арабского языка и, наконец, — что бы вы думали? — логику (мантык). Затем шли труды и трактаты по мусульманской литературе. Так я «изучил» «шуртоссала» (правила намаза), «тагалли-мусалит» (науку о намазе) и целый мистический, трактат «тухватулмулук» (собрание сокровищ) — книгу туманную зауную, написанную на каком-то странно вывернутом схоластическом языке. Сам учитель не понимал не только ее смысла, но даже не знал приблизительного значения многих ее слов, ибо они отсутствовали в словаре, которым он пользовался. Но венец всей науки — та единственная цель во имя которой благочестивыми родителями и предпринимается обучение ребенка, — это полное усвоение всего текста Корана. Подготовительная ступень к нему — «хафтиек». Это почти недоступный для понимания сборник молитвенных стихов и избранных изречений, надерганных из священной книги, вернее — Коран в изречениях. Только одолев «хафтиек», приступают к изучению Корана. Эта святая святых мусульман представляет собой объемистый том в шестьсот страниц. Написан он на староарабском языке. Выучить его можно только механически, не вдаваясь ни в суть, ни в смысл написанного, — воспринимать текст, как магическую формулу, так, как заучивались латинские молитвы в школах средневековой Германии или Чехии. Понятно, что не только дети,

девяносто пять процентов учителей не понимали ни слова из того, чему они учили.

Я назвал эту главу «Колодец, вырытый иголкой». Это не образ и не метафора, — я просто приложил к своим школьным годам старую казахскую поговорку: «Коран учить, что колодец иголкой рыть». Когда дядя потащил меня к молде, он именно тащил меня рыть колодец иголкой.

И все-таки я делал быстрые успехи. «Ну, слава аллаху, — говорил облегченно Мустафа, — теперь уж душе Мукана желать нечего: сын читает Коран за его упокой. Чего же еще нужно?»

И вот зимой ежедневно, а летом два раза в неделю (с озера Дос далеко ездить на кладбище) мы посещаем могилы родных. Ездим тогда, когда в школе нет занятий. Ограды на кладбище нет, вместо нее — глубокая канава и деревянные ворота. Около двух-трех могил богатеев заборчик, сооруженный из жердей. На краю кладбища — два осыпающихся холмика: могилы моих родителей. Мустафа отпрягает лошадь, стреноживает ее и разводит с подветренной стороны костер из кизяка. Дым ест глаза кобылы, она мотает головой, но без костра ее заживо съедят комары. После этого открываю ворота, стоящие, как я говорил, в пустом поле, и мы входим на кладбище. Прямо от ворот бежит одинокая дорожка к могилам моих родителей. Ее протоптали мы: никто чаще нас не ходил сюда, — и других таких тропочек на кладбище нет. Как только мы останавливаемся, нас сразу же облепляют комары. Их сотни тысячи, может быть, миллионы, может быть, сотни миллионов. Они лезут в рот, в глаза, в нос, не дают дышать. От них слепнешь, гложнешь, перестаешь слышать что-нибудь. Над всей землей стоит звон.

— Читай ясна! — приказывает Мустафа.

Приказание дяди мне очень не нравится. Хорошенькое дело — читать ясна! Это длиннейшая сура, с которой не справишься и в полчаса. А ведь ничего

иного, кроме этой суры, Мустафа не признает. Он считает ее специально успокойной молитвой.

– Кишкене-ага,– молю я,– зажгите кизяки! Что, мы хуже лошади, что ли?

Мустафа сурово смотрит на меня.

– Не грехи понапрасну! Первый огонь откуда появился? Из ада. Так чем же он пахнет? Адским смрадом. Разве можно смущать им умерших?

Вот и поговори тут! А дядя, видя мое недовольное лицо, неторопливо и благочестиво продолжает:

– Комаров боишься? Эх ты, малонер! А вспомни-ка писание: все тело пророка Аюпа кишело червями, а он что? Как только червь, насосавшись до отвала святой крови, отпадал, он поднимал его с земли и говорил: «О тварь, сотворенная аллахом, что ж так рано ты отстала от своей пищи? Ешь, пей и хвали мудрость создателя, пославшего тебе пропитание!» И только когда черви добрались до языка, он взмолился: «Господи! Пощади мой язык и сердце! Чем же я буду возносить тебе хвалы и чем буду любить тебя, если черви слопают и их?» Вот видишь, как говорят святые люди? А ты комаров испугался!

Я начинаю читать и чувствую, что спасенья мне нет: не только лицо, все тело зудит от сотен укусов. Моя ситцевая рубашонка насквозь пронизана этими тварями. От их укусов бесятся даже лошади, даже здоровенные волы задирают хвост и, обезумев, бегут неведомо куда. Я не в силах вытерпеть эти адские муки и, читая, все время отмахиваюсь одной рукой. Все мое тело зудит, как огромная рана. Дядя, молчаливый, неподвижный, с головы до ног усаженный комарами, недовольно хмурится, глядя на меня, молчит: перебивать молитву нельзя. Я лечу по святым словам галопом и проглатываю всю молитву за пятнадцать минут. Тогда Мустафа поднимает голову, делает молитвенные движения, я также поднимаю руки, опускаю их и провожу ими по лицу сверху вниз. Все это у меня получается

быстро, кое-как, в мыслях у меня одно – скорее бы кончить да уйти. Но я не смею тронуться раньше дяди, а он молится долго, неистово, весь уйдя в молитву, и крупные слезы текут по его худому болезненному лицу. Так он стоит молча пять, десять, пятнадцать минут, потом ложится на могилу брата, обхватывает ее руками и начинает плакать и причитать.

Я вскакиваю и бегу. И от одного причитания дяди можно разреветься, а тут еще комары заели до смерти. С меня довольно!

ДЯДЯ ШАИН

У каждого в детстве есть свои герои, которым он стремится подражать. Что касается меня, то у меня их было несколько. До сих пор не могу забыть знаменитого силача Канапию Тоганасова, сильнее которого, говорят, не было никого не только в нашем ауле, но и во всей округе. Был он невысок, но очень широкоплеч и мускулист. Когда я вспоминаю его выпуклую грудь, его, точно литые, мускулы, он представляется мне настоящим Геркулесом, эдаким Иваном Поддубным казахского аула.

Позже я завидовал удальству и молодечеству жигита Аتكельтыра, о котором было сказано выше.

Вызывал у меня восхищение красивый и обаятельный Габдол Кабанбаев. В ауле не было лучшего песенника, чем этот парень.

Но больше всех я уважал дядю Шаина. Он прожил на свете более восьмидесяти лет. Это седовласый, белобородый старик, один из старейших народных учителей Казахстана. Знал я и его жену Зулиху. Я увидел ее вскоре после того, как они поженились, и это была, может быть, первая свадьба в ауле, когда жених не заплатил за невесту калым – событие неслыханное, вызвавшее массу толков и разговоров. Я знал, как это произошло. В то время дядя Шаин был бродячим

портным и ходил по людям из аула в аул. Вот в одном из них он и повстречал свою будущую жену. Они сразу же полюбили друг друга. Шаин в то время был очень красив. Я до сих пор помню его лихо закрученные усы, тонкий нос с горбинкой, огромные брови. Однако как же взять девушку без калыма, тем более что она давно просватана за другого и за нее уже получено много скота?! Оставалось одно – бежать. Они бежали и отдались в руки русских властей.

Ждали погони, но ее не последовало. Муллы ограничились тем, что проклинали молодых. Показаться в родных местах супруги осмелились только лет через десять, когда у них были дети. Отщепенец и бунтарь, дядя Шаин и фамилию-то выбрал себе не в согласии с шариатом. Он вдруг стал себя именовать Тлегиновым, а следовало бы ему зваться Кожахметовым, так как Тлеги – его дед, а не отец.

Интересна биография Шаина. С тринадцати лет его взял в подручные татарин-коробейник, переезжавший со своими товарами из аула в аул. Коробейничество в нашей степи было возможно только летом, а зимой, чтоб мальчишка не бегал без дела, хозяин отдал его в школу. Эта школа была нового типа.

Школу такую казахи в то время называли «тотеоку» – прямая учеба. В исторической науке она носит название «джадид», что значит новый или, точнее, новый метод обучения детей в мусульманских школах того времени.

Чтобы была понятна эта терминология современным читателям, надо вкратце рассказать историю возникновения такого метода.

Известно, что в исламском или, вернее, арабском мире старорелигиозную школу называли «кадым» – ветхий, о чем подробно рассказано в предыдущей главе.

Джадид в исламском мире возник во второй половине девятнадцатого века как идеология буржуазии и отличался от кадыма тем, что в его алфавите были все гласные буквы, что помогало детям быстро осваивать

грамоту. Кроме того, наперекор кадыму, в этих школах изучали такие предметы, как математика, география, естествознание.

Имея такое преимущество перед кадымом, новый метод в своей основе был тоже реакционным. Он, в идеологическом отношении, проповедовал панисламизм и пантюркизм.

Одним из первых выпускников-казахов такой новой школы и был Шаин. Он обучался в Баглане¹, а по окончании учительствовал в соседних аулах, но метод, применяемый им, оказался слишком передовым (он принадлежал к самому левому крылу джадидизма), а мысли слишком смелыми. Поэтому в учителях он не засиделся. Тогда, недолго думая, он купил себе швейную машину «Зингер» и – неслыханная вещь в казахском ауле! – стал портным. И машину «Зингер», и портного (занятие, унижительное для мужчины) в казахских аулах видели впервые. И, по правде сказать, первые месяцы дяде Шаину жилось очень не сладко, но, красивый, молодой и безусловно очень талантливый, с хорошим вкусом и подлинным художественным чутьем, он скоро преодолел предубеждение и стал просто необходимым. Никто не шил красивее, скорее и дешевле его, и никто не был изобретательнее в выборе фасонов, а до него в казахских аулах о фасонах вообще не слышали, – все одевались одинаково. Русские и татарские фасоны, то есть одежду городского покроя, ввез к нам в аул именно дядя Шаин. Мы, ребята, тайком бегали к нему (летом он жил в юрте, зимой – в землянке с дощатым полом), обращались с вопросами, ответ на которые не могли получить у своего учителя. Иногда он занимался с нами грамматикой, и тогда происходило настоящее чудо: мальчик, год просидевший у молды Шайтана и зазубривший всего несколько букв, вдруг начинал бойко читать в течение одной недели.

¹Ныне станица Звериноголовская.

Знания этого чудесного портного и молды Шайтана были, конечно, несопоставимы, но почему его не допускают даже на порог школы, я узнал только через несколько лет.

Однажды Шайтан изложил нам свою нехитрую космографию: Земля плоска, вот как крыша этого стола, и так же поката. Лежит эта доска на рогах быка, бык стоит на корабле, корабль плывет по морю, под морем этим пар, а что под паром, то лишь ведает один аллах. Вот про все это: море, пар, быка – я, захлебываясь от восторга, и пересказал дяде Шаину. Он выслушал меня до конца, а потом, вынув совершенно круглую картофелину, поднес ее к лампе.

– Послушай-ка теперь меня, – сказал он, – Земля кругла, как эта картофелина, и вертится вокруг Солнца также, как я кручу эту картофелину вокруг лампы, и получается: там – ночь, тут – день, тут – ночь, там – день. Вот и все!

Узнал я от него в тот день и некоторые другие истины.

– Что? Тот свет? Страшный суд? Загробная жизнь? Молда говорит? А что, он на том свете был? Его видел? Плюнь-ка ты на все эти сказки! Живи, пока живется, а умрешь – ничего не будет. До рождения ничего не было и после смерти ничего не будет. Так и знай!

Услышав эти и подобные им истины, я перестал удивляться тому, что дядя Шаин, так много знавший, сделался портным.

До сих пор помню: поздно вечером я забегаю к дяде Шаину. У него тепло, светло, горит «молния» (единственная лампа такого рода в нашем ауле!), он в безрукавке сидит у швейной машины, строчит и что-то мурлычет себе под нос.

– А, пришел! – встречает он меня. – Заходи-ка! Заходи! Ну, рассказывай, что было в школе.

И пошла беседа. Дядя Шаин очень образован: он хорошо знает фольклор и восточную литературу, – от него-то я впервые услышал и некоторые сказки из

«Тысячи и одной ночи» и наиболее замечательные рассказы из «Сказок попугая». Хорошо знает он и произведения арабских, фарсидских и чагатайских классиков и не только пересказывает их, но иногда и поет наиболее запомнившиеся ему строки, аккомпанируя себе на гитаре. Поет он и такие классические поэмы казахского фольклора, как «Кыз-Жибек» и «Ер-Таргын». Однажды я присутствовал при таком разговоре. Кто-то из старейших его спросил: почему он сидит дома и жужжит на машинке, а не идет учить детей?

– А еще время не пришло, – ответил дядя Шаин просто и серьезно. Помолчал, подумал и прибавил: – А придет оно тогда, когда жаворонки совыют гнезда на овечьих спинах.

И, весело улыбаясь, он стал рассказывать об этом счастливом времени. Но до этого было еще далеко, а пока к рассказам дяди Шаина прислушивались не только мы, ребята. Однажды (это было в 1910 году) явился к нему урядник, и заявил:

– Так что придется вам из этих мест выбирать.

– Почему? – спросил Шаин, не удивляясь.

– По простой причине: газеты читаете, власти ругаете, говорите чего не надо. Так вот, очень прошу, чтоб через два дня вас не было, а не то – не обессудьте!

– Позвольте! Но это же неправда! Какие там разговоры!

– А вот такие самые, за которые у нас сажают. Честью не хотите, по этапу пойдете. Так что очень, очень прошу!

Все считали, что с дядей Шаином покончено, а ведь по-настоящему его жизнь только-только началась. В первые же дни Советской власти он стал учителем – окончил для этого специальные курсы в Оренбурге и вплоть до выхода на пенсию продолжал работать в школе. Педагогом он был замечательным, терпеливым, знающим, и ребята в нем души не чаяли. Умер он весной 1959 года.

НАПРАСНЫЙ ТРУД

Жить мне было очень тяжело. И с каждым годом становилось все тяжелее, особенно потому, что рос я забиякой и задирой. Чаше, чем с другими, мне приходилось схватываться со своим двоюродным братом Габбасом. Надо сказать, дядя Мустафа почти всегда, иногда даже явно несправедливо, брал мою сторону и, только когда я уже переходил все пределы, говорил: «Теперь уж ты виноват» — и закатывал мне довольно-таки увесистую оплеуху. Я обижался и бережно копил в душе эти маленькие обиды, мечтая когда-нибудь отомстить дяде за «все». Тетя Слеусин, жалея меня, никогда, ни при каких обстоятельствах даже пальцем не тронула.

Мустафа был еще беднее моего отца, и поэтому летом мы питались только молоком (было две коровы) и кумысом от одной кобылицы, хлеба же, который доставали в русском поселке, было в обрез. Но дядя мой, зачастую отказывая в нем даже своим детям, никогда не обделял нас с сестрой. Бывало и так: тетка потихоньку отломит по куску и, чтобы никто не видел, сунет нам. Особенно бедствовала семья дяди зимой: кроме сыра и творога, у нас уж положительно ничего не было. Осенью резали мы теленка, чтобы суп хотя бы пах мясом, но на всю зиму его, конечно, не хватало. А Мустафа при всей своей нищете был еще человеком гордым, независимым, никогда он ни о чем никого не просил и ни перед кем не преклонялся и не заискивал. Он и в гости-то ходил редко, если уж очень приставали. Так сам жил и детей учил так же.

В доме дяди часто бывал длинный и тощий человек, которого звали тоже Мустафой. Это был уже старый человек, вдовец, имевший четырех сыновей, старшему из которых было пятнадцать лет. У нас в доме его звали «Длинношей Мустафа», наверное, в отличие от дяди. Судьба Длинношеего сложилась очень неладно. Он батрачил в русском поселке, не имел своего угла, и вот

на старости о нем вспомнили родственники из Жаман-Шубара, перевезли к себе, построили ему какую-то хибарку, а потом сказали: «Живи как хочешь!» – и забыли о нем. Жить ему было очень плохо, и верно, поэтому он подружился с дядей. Оба были бедняками, оба чуть не подыхали с голоду, оба были несчастны так, как только может быть несчастен нищий в заброшенном казахском ауле. Так неужели же у них не найдется о чем поговорить друг с другом? А разговор их действительно стоило послушать!

За годы, прожитые в русских поселках, Длинношей Мустафа обрусел, говорил он на смешанном русско-казахском языке.

- Ну как, тезка, дела? – спрашивал Мустафа по-казахски.
- Слава богу! – отвечает Длинношей по-русски.
- А здоровье как? – продолжает интересоваться дядя.
- Да ничего, вот кормлю сироток.
- Ну и хорошо кормишь?
- Да как сказать? Чтоб хорошо – то нет, а чтобы говорили, что пропал курсак¹, – так тоже нет, не говорят, а там бог знает, как будет!

Затем он длинно и, надо сказать, очень убедительно костерит родственников, которые его сюда сманили да бросили на произвол судьбы, а потом вдруг говорит:

– А ваши жаман-шубаровцы, прадар, лентяи, им только бы сложа ручки сидеть, сами отказываются от богатства.

– А откуда же ты его возьмешь?

– Как откуда? – кричит Длинношей. Он очень легко возбуждается. – Как откуда? Землю надо пахать, работать надо! Взять соху да поднимать зябь. Знаешь, какой тут хлеб вымахает! Земля здесь плодородная, жирная. Соберешь урожай, зерна – девать некуда будет. Вот ты и хозяин!

Он был неисправимый мечтатель. Смотрит, бывало, на безводную степь, на поганые болота у поселка и грезит наяву:

¹Пропал курсак – в смысле пропадает с голоду.

– Вот озеро бы тут сделать! Гусей бы пустить! И был бы ты хозяин. Русские давно бы все кочки выбросили к шайтану, а кустарник бы спалили, и была бы вода. А то – стыдно сказать: друг у друга ведро воды воруют.

Люди слушали его речи, качали головой и удивлялись: старик, а что выдумывает. Но, очевидно, выдумывать было в крови всего семейства Мустафы: сыновья его тоже занимались невесть чем. Один из них, вконец обезображенный оспой (его звали Корявый), хорошо плясал, другой залихватски играл на гармошке. И то и другое было искусство для аула невиданное. Сначала аульная молодежь чуралась этих чудаков, но потом они стали необходимы на каждой вечеринке. Что же касается меня, то мне пляски Корявого казались верхом искусства, чудом ловкости, молодцеватости.

Злой рок, всю жизнь преследовавший Длинношеего и его семейство, не оставил его в покое и в нашем ауле. Случилось нечто в высшей степени неожиданное. Сначала Мустафе как будто и повезло (ох, это страшное счастье неудачников – начало и причина их последней катастрофы!). Если болото осушить ему так и не удалось, то целину он все-таки поднял и вместе с другими бедняками даже засеял около трех десятин просом. Оно возшло хорошо, пышно. Шли большие дожди. Знающие люди говорили, что при таком урожае можно будет снять по полтораста пудов с десятины. Длинношеего хвалили все. Вот, мол, нашелся умный человек, пришел и научил. А то бы мы, дураки, никогда ни до чего не додумались бы. Уже находились подражатели и поклонники, уже считали выручку.

Но кончилось все бедой. Дело в том, что просо посеяли на земле бая Туртая, то есть земельной-то собственности в казахской степи тогда не было, но Туртай именно в этом месте разбил летовку, а раз так, то и земля около этой летовки считалась его собственностью. Туртай вначале к затее Длинношеего отнесся вполне добродушно:

– Ну, коли взойдет хорошо, дадите мне мешок от избытков, и аллах с вами!– сказал он, а затем вдруг начал требовать ровно половину урожая – ни больше, ни меньше.– А то и сами ничего не увидите,– прибавил он.

– А как же это? Куда же все денется?

Он загадочно улыбался и отвечал:

– Увидите, увидите!– больше ни в какие разговоры не вдавался.

И действительно, скоро все увидели нагое, черное поле, колосья, втоптанные в глину, табуны коней, пасущихся на этом уже почти голом месте. Бросились к Туртаю, а он, улыбаясь, сказал:

– Не дали мне, что я у вас просил, ну и сами ничего не получили, оно и к лучшему – ни мне, ни вам, значат, без обиды.

Длинношей бросился к старосте нашего аула – Нуртазе, но тот только руками развел:

– Я не аллах, второй урожай вам не выражу. А что же теперь можно сделать? Выбрали место там, где не надо. Табуны у нас пасутся вольно, за потрапу никто не отвечает.

Что было говорить дальше? «С сильным не борись, а с богатым не судись!»– гласит народная мудрость. Наверно, никогда в жизни Длинношей так не чувствовал ее горькую справедливость, как в этот день. Понял он и другое: больше ему в ауле не жить. Взял своих детей, собрал скарб, какой был, взвалил на спину, да и ушел пешком от своих благодетелей на прежнее место.

ПРОПАВШАЯ УШАНКА

В этом же году зимой случилось и еще одно происшествие, запомнившееся мне на всю жизнь. Однажды я узнал, что к нашему дальнему родственнику Рахимбаю из города Кургана приехал какой-то необычный гость. Держится этот гость очень важно, с достоинством, по виду и осанке настоящий жигит, а одет во все городское –

сатиновая рубаха, тиковый костюм, драповое пальто на беличем меху, очень дорогая ушанка с бархатным верхом и щегольские казанские пимы с красными разводами. Богаче не одевались даже дети Альти, а ведь он миллионер!

– Посмотрели бы вы, как он отсюда уходил, – качали головой старики, глядя на богатого гостя, – не то что пальто, рубахи на нем целой не было. Да и откуда было ему ее взять! Мыкался из дома в дом да побирался. Добрые люди его еще предупреждали: «Куда идешь? Ведь замерзнешь или с голоду сдохнешь, пока дойдешь». И ошиблись, слава аллаху! Он по-иному решил: ушел нищим, вернулся богатеем.

Звали этого чудесного человека Ыбыш. Он не скупился на рассказы о своей жизни в городе. Говорил, что вначале пришлось ему очень трудно, работал он, буквально не разгибаясь, работа была тяжелая, черная, выматывающая.

Что греха таить, и до сих пор ему иногда приходится поднимать на верхний этаж паровой мельницы пятипудовые мешки с мукой.

Однажды я его спросил, сколько он может поднять зараз.

Он задумался, а потом ответил:

– Да ведь как когда. Обычно таскаю по шесть пудов, а на спор и восемнадцать снесу. Однажды ударились мы об заклад, так я пронес на самый верх мельницы четыре мешка зерна, а это, считай, двадцать четыре пуда. Нести их надо три пролета, в каждом пролете шестьдесят четыре ступени. Ну-ка, сколько это ступеней? Сосчитай!

Сосчитать я не смог, но у меня от восхищения даже дыхание сперло. В самом деле, ведь Ыбыш – сын бедняка ушедший когда-то в город в таких страшных лохмотьях, что добрые люди даже сомневались – дойдет ли? А смотрите, каким он вернулся, как ходит по аулу, во что он одет, как держится!

Как он добился этого? Смотрю на его литые мускулы, которые так и переливаются при каждом движении, на выпуклую грудь и спрашиваю:

– А бороться ты не пробовал?

Он пожимает плечами.

– Да предлагали мне выступать в цирке, призывали, ну, я подумал, подумал и не пошел. Мне ведь и мешков по горло хватит.

Так я впервые услышал от Ыбыша, что за борьбу в городе платят деньги и что место, где происходит борьба, называется «цирк».

Ыбыш расхаживал по аулу, хвалил городскую жизнь, рассказывал о ней были и небылицы и сбивал парней идти в город попытать счастья. Те слушали охотно, но отмалчивались. Поехать за двести пятьдесят верст в русский город, где нет ни родных, ни знакомых, на это охотников не находилось. Ыбыша почти каждый день приглашали в гости из дома в дом, и он целый месяц что называется гулял. Ну что за угощение в казахском ауле?.. Баранина да бешбармак... И все всухую – ни пива, ни водки. Шариат запрещает правоверному прикасаться к спиртному. Но Ыбыш, по правде сказать, был очень плохой мусульманин и время от времени уходил в соседнее русское село и возвращался только дня через три. Старики шепотом сообщали, что он там тешил шайтана: пил с русскими окаянную самогонку. А потом поползли по аулу еще более тревожные слухи: Ыбыш мучил молодых батраков, звал бросить все и не гнуть спины за грош. Мало того, он вдруг однажды открыл нам страшную тайну, от которой у меня голова пошла кругом. Царь, оказывается, у нас никуда не годится, народ им недоволен, его скоро сбросят с престола, и тогда всем будет свобода. Дальше – больше. После царя Ыбыш, ни много ни мало, замахнулся на самого Мухаммеда и шариат.

– Что? Свинья – поганое животное? По шариату ее мясо нельзя есть? Пошлите к шайтану и коран и шариат!

Свинья такая же скотина, как овца или баран, у нее замечательное, сочное, вкусное мясо.

– А ты его ел? – опасно спрашивали его верующие.

В ответ он хохотал:

– Десятый год ем и вот какой с нее стал!

Держался он с людьми странно и недостойно – всеми уважаемых людей ни в грош не ставил, а якшался с последними оборванцами, щеголял всем русским – шапкой, сапогами, костюмом. А ведь старая мусульманская мудрость гласит, что христианская одежда – первый шаг к крещению, к русским обычаям. «Избави же нас, всемогущий, от всего русского!» – говорили баи. Но больше всего смущала их ушанка Ыбыша. Да, да, не смейтесь! Его щегольская, удобная, очень легкая ушанка, совсем не похожая на огромные неуклюжие тяжелые тымаки – малахаи из шкур поярковых ягнят, которые носили в ауле буквально все мужчины. Для шапки, которую носил Ыбыш, и материал должен был быть иной – мех какого-нибудь пушного зверя. И вот весь аул как будто взбесился – молодежь достала выкройку и начала наперебой шить себе ушанки. У кого водились деньги, тот покупал пушнину у охотников, у кого не было – просто выпрашивал по соседям.

– Нет, это не Ыбыш, а сама беда привалила к нам в аул! – сердились старики. – Вот еще ушанку какую-то выдумал! Весь аул покоя лишил. Уничтожьте ее, проклятую, да и все!

Но легко сказать – уничтожить. Как это сделать? Каждый ведь носит, что ему нравится. И вдруг кого-то словно осенило. Да какая же это ушанка? Это же крест, сшитый в виде шапки – вот и все!

Что делать? Надо спросить ученых. А кто более учен и знающ, чем знаменитый хазрет¹ из рода Алтай-Агатай, что живет за пятнадцать верст от нас? Он не только великий ученый, тридцать лет проучившийся в священной Бухаре и в совершенстве изучивший двенадцать

¹Хазрет – высший духовный сан у мусульман.

наук, обнимающих всю божескую и человеческую мудрость, он еще заклинатель духов, и даже сам шайтан боится приблизиться к нему. Кроме того, он творит чудеса: и летом и зимой к нему стекаются со всех сторон больные, и он исцеляет их всех особым священным волхвованьем. Я видел, как это делается: сперва, осеня больного священной книгой, хазрет выискивает и, конечно, находит хозяина его болезни, то есть духа-возбудителя. Затем, сотворив над больным особые заклинания, он берет тарелку и пишет кисточкой по краям ее священные тексты. Потом хазрет смывает написанное, а бурюю воду дает выпить больному, и так как краска вывезена из Мекки и в ней есть тоже священная сила, – больной выздоравливает. На прощание вручается талисман, и этим лечение оканчивается.

Кроме всего хазрет еще и пророк. Вдруг он объявляет верующим: такого-то числа, во столько-то часов, по таким и таким-то местам степи проследует рать нечистых духов. Правоверные, творите молитву, приносите жертвы! И вот верующие покорно несут святому все, что он ни потребует. К этому-то чудотворцу и провидцу и отправили верхового с шапкой Ыбыша для экспертизы. Ыбыш в это время гостил у Нуртазы и, ложась спать после сытного ужина, и в мыслях не имел, конечно, что его шапка летит теперь по степи в сумке нарочного.

Наутро посланец возвратился и объявил:

– Святой отец сказал: «Конечно, это не шапка, а крест. Всякий, надевший ее, уже получил крещение. Но ничего. Я буду день и ночь молиться аллаху, и он простит обманутым грех неведения и суетности. Только шапку надо уничтожить немедленно».

Может ли кто послушаться святого отца? Нуртаза своими руками бросил ушанку в печь, а утром, не моргнув, вынес гневный взгляд и упреки Ыбыша. Он был совершенно спокоен несокрушимым спокойствием праведника.

– Ничего нельзя было сделать, – объявил он Ыбышу. – Хазрет же приказал! Зачем народ смущать? Ты весь аул перевернул: водку пьешь, поганую чушку ешь, русское платье носишь. От тебя аллах отступился. Это твое дело, тебе гореть в аду! Но наших не тронь! Вот возьми десять рублей за свой крест и не делай шуму.

И, говорят, Ыбыш на прощанье сказал богатею Нуртазе вот что:

– Подавись ты своей десяткой! Подожди, скоро тебе голову свернут, как петуху, недолго тебе народ уж осталось запугивать да обирать! Недолго, шайтанов кум!

Никто и никогда не говорил уважаемому Нуртазе, хозяину ста кобылиц, такие слова.

– Ах ты негодяй! – закричал он. – Для тебя, смутьяна, и царь плох! По-твоему, царя тоже пора сбросить? Высоко руку поднимаешь, подлец! Сорвешься!

– Дурак! – вдруг улыбнулся Ыбыш. – Что я за богатырь, чтобы идти на царя. Не я, а народ поднимет руку! Понял, ишак? Народ! А после царя и вам всем каюк придет.

На этом все и кончилось. Больше Ыбыша в нашем ауле не видели.

ЧАЛАЯ КОБЫЛА

Здесь я перехожу к событию на первый взгляд и незначительному, но тем не менее сыгравшему огромную роль в моей жизни. Не случись этого, годы моего детства и отрочества прошли бы совершенно иначе, может быть, даже тогда смогло исполниться желание моего дяди Мустафы и я стал бы муллой.

Он говорил:

– Вот я за свои страдания и страдания моего несчастного брата прошу у аллаха только одной милости: пусть наши дети встанут на ноги и заживут не так, как их несчастные отцы. Пусть по одну сторону от моей юрты стоит кибитка Сабита, а по другую – моего сына. Посмотрю я на них, полюбуюсь и закрою глаза навеки. Больше от аллаха ничего не жду.

Может быть, исполнил бы милосердный аллах молитву своего верного служителя, если бы между мной и дядей не встал шайтан. Смешно сказать, но шайтаном оказалась все та же чалая кобыла, о которой я говорил, рассказывая о замужестве своей несчастной сестры. Это была замечательная лошадь, лучшая во всем ауле. Да что в ауле? Даже во всей округе, по единогласному отзыву односельчан, такой лошади ни у кого не было. У Нуртазы было сто лошадей, а такой лошадью он не владел. Мало того, у Туртая ходил по

степи тысячный табун – среди них не было ни одной, мало-мальски похожей на нашу лошадь. Она была так высока, что до челки ее рукой не достанешь, а на круп ее можно было положить взрослого человека. Чалая была так быстра, что обгоняла всех лошадей нашего аула. Глядя на нее, завидовали все соседи. А какая у нее была крутая лебединая шея! Какие чуткие уши! Какая густая, чуть не достающая до колен грива! Какой хвост! Каждый год она приносила нам по жеребенку. Она была иноходцем и жеребят приносила точно таких же. Четырех жеребят принесла она нам, и всех их пришлось продать. За первого отец получил муки и мяса, и их хватило на всю зиму нашей семье. За второго дядя Мустафа похоронил отца, за третьего он похоронил мать. Все три жеребенка остались в нашем ауле, и я их видел каждый день. Три жеребенка, как две капли похожие на мать и такие же стройные, как она, каждый день проходили мимо меня. Подумать только, говорил я себе, ведь если бы мы их не продавали чужим людям, у нас был бы уже порядочный косяк лошадей, и мы считались бы хозяевами не хуже других. Всех этих жеребят я считал нашими и всех любил одинаково. Но была у меня одна надежда – на четвертый год принесет чалая кобыла нового жеребенка, и он уже будет всецело моим. Тогда я буду первым жигитом в ауле, только родился бы жеребчик, а не кобыла. И вот все вышло по-моему: чалая и на четвертый год принесла черного жеребенка с белой звездочкой на лбу. К середине лета жеребенок начал линять и стал по масти напоминать мать. Я был счастлив, так был счастлив, что мне казалось – вот уже исполнился предел всех моих желаний, вот я уже первый жигит нашего аула. Да оно и понятно, ведь мой конь будет лучшим конем в округе, недаром говорят соседи: «Какой славный конек растет у Мукана! Даже посмотреть, и то приятно».

За год жеребенок вырос, окреп, возмужал. И тут злая весть вдруг коснулась моих ушей, принес мне ее

сын богача Нуртазы, пятнадцатилетний здоровый разбитной детина Мырзагазы.

– А ты знаешь, какая над тобой беда нависла?– спросил он меня.

Я пожал плечами. Что еще со мной может стрястись? Разве мне может быть еще хуже, чем есть? Оказалось, что может.

– Нет, ты в самом деле ничего не знаешь?– удивился Мырзагазы, всматриваясь в мое лицо.– Ну, беда, парень, прадар в мае поведет твою чалую кобылицу на ярмарку в Пресногорьковку.

– Это зачем?– спросил я, еще ничего не понимая.

У Мырзагазы округлились глаза, и он рассердился.

– Да ты что, в самом деле дурак или представляешься?– крикнул он зло.– Зачем лошадей водят на ярмарку? Продавать, конечно!

Тут я мгновенно понял, что случилось, и заплакал, а плакал так, что парню стало меня жалко.

– Ты вот что,– сказал он.– Что тут заливаешься зря, да еще передо мной? Чем я тебе могу помочь? Ты к своему дяде ступай! Вот перед ним и реви. Скажи ему: «Если мою кобылу продашь, я из дому уйду». Небось испугается.

Легкое ли дело сказать такое дяде Мустафе. Я даже подумать об этом не мог. А Мырзагазы продолжал:

– Что же, он тебя за человека, выходит, не считает, что последнее твое добро мотает? Ведь не две же у вас кобылы, а одна! Ее из-за одного молока и то держать стоит! И смотри, какой хитрый, небось свою плохонькую кобыленку не продает, а продает твою, хорошую. А как ты вырастешь да будешь жигитом, так на какого коня сядешь? Ишака или верблюда, может быть, оседлаешь? А кобыла-то какая! Во всей округе такой нет! Такой кобылы лишиться! Ах ты несчастный, несчастный!

Говорил Мырзагазы долго, и слова его падали на благодатную почву. Домой я пришел разбитый.

Было уже изрядно темно, только в очаге догорал последний огонек. Моя пятнадцатилетняя сестра

Ултуган – стройная, черноволосая девушка, с очень румяным и худощавым лицом, накрывала стол. Когда я вошел и встал на пороге, она вдруг внимательно поглядела на меня.

– Что это с тобой?

Я молчал.

– Побили тебя, что ли?

Я молчал. Вошел Мустафа, только что окончивший вечернее омовение, еще с мокрыми руками, и Ултуган, посмотрев на меня еще раз, пошла расставлять чашки. При дяде, которого она уважала и боялась, спрашивать меня ей было уже неудобно.

– Я сейчас, только помолюсь, дочка, – сказал Мустафа.

И, не обращая больше внимания на нас, расстелил молитвенный коврик и сел на него (стоять на коленях он не мог, все сваливался на один бок). Я отошел и лег у порога лицом вниз. Отчаяние душило меня. Я задыхался от слез.

Послышались шаги, снова подошла Ултуган и наклонилась ко мне.

– Ну что с тобой? – спросила она, беря меня за голову и поворачивая к себе.

Я вырвался от нее и отвернулся.

– Ну?! – В голосе сестры слышались слезы. – Ну, так и есть, побили мальчишку опять!

Загремели ведра, и я понял, что пришла тетя, и услышал ее слова, обращенные к сестре:

– Что это ты как с похорон? А это кто лежит?

Ултуган молчала. Постояв с минуту и так ничего и не поняв, тетка приказала:

– Иди, заваривай чай! Что ты стоишь?

К чаю я так и не встал. И Ултуган, и тетка несколько раз подходили ко мне, пытались поднять, заговорить, узнать, в чем дело, но я только по-прежнему отворачивал лицо. Оторвать от земли они меня не могли. Дядя же Мустафа, сидевший за столом, молчал и ни о чем меня не спрашивал. Он, кажется, понимал, в чем дело.

Мы с Ултуган спали на одной постели. Когда все стали укладываться, я по-прежнему остался лежать на пороге. Сестра ласково сказала:

– Ну, вставай же! Пора! Спать идем!– И так как я все-таки молчал, взяла меня на руки и унесла на нашу постель. Через минуту весь дом замолк.

– Ты слышал?– шепнула тогда мне сестра.– Дядя хочет продать чалую и жеребенка.

Я молчал.

– Ах, значит, ты об этом и плакал, несчастный!

Я молчал. Она вздохнула.

– Ну, плачь не плачь, а ничего не поделаешь,– все равно продаст. Уж лучше не лить зря слезы,– сказала она твердо и заплакала.

Все шло с роковой неотвратимостью. На другой день Мустафа не пустил чалую на выгон, а заарканил около кибитки. Все это молча, не глядя на меня, не замечая моих слез, не принимая моего ищущего взгляда. Так прошел еще день. Я сидел за кибиткой около кобылы, привязанной к колышку. Вышел Мустафа, запряг свою кобылу, потом подошел к чалой и посмотрел на меня. Я до сих пор хорошо помню его жестокий, холодный взгляд. Он отвязал чалую и повел ее к кибитке. Тут уж я зарыдал горько, навзрыд, не таясь и не прячась. Мустафа больше на меня не глядел. Он молча запряг мою кобылу, поймал жеребенка, взнуздал его, залез в тарантас и гикнул на лошадей. Выехал в степь и сразу же перешел на крупную рысь. Позабыв все и громко рыдая, я бросился за тарантасом. Сколько так бежал, не знаю. Я уж ничего не помнил, ничего не видел, ничего не понимал. Дядя Мустафа ехал быстро, в мою сторону не оборачивался, как казалось, меня не видел, но вдруг, проехав с версту, резко остановил лошадь, спрыгнул наземь и, подождав меня, поманил к себе. Ревя во все горло, я бросился к нему и остановился, готовый рухнуть на колени и просить о пощаде. Тогда он вдруг схватил меня за шиворот, притянул к себе и стал так

хлестать по щекам, что я сразу же и ослеп и оглох, а потом сильным толчком отпихнул от себя. Я упал на землю, сильно ударился затылком, а он, не оглядываясь, вскочил в тарантас и погнал лошадей. Сколько я так пролежал, не знаю. Вечером меня нашел одноаулец, поднял, посадил в седло и, придерживая, отвез домой. Это случилось в 1911 году.

НОЧНОЙ БУРАН

Купил нашу чалую кобылицу Ибрай Кутынов. Кобылу пустили в табун, а жеребенка привязали к колышку вместе с другими жеребятами. Я возненавидел своего дядю всеми силами души. Ведь единственной радостью в моей жизни был жеребенок. И того он отнял у меня. Кстати сказать, мне и до сих пор непонятна истинная причина его поступка. Ну конечно, давила нужда, а я и сестра сидели на его шее. Конечно, он был моим опекуном и, значит, мог распоряжаться моим имуществом до совершеннолетия, но ведь это мотивы формальные, ими не мог руководствоваться такой справедливый человек, как Мустафа – прадар Мустафа, как его почтительно звали в ауле. Он ведь с самого начала не пожелал говорить со мной о жеребенке, наоборот, избегал моего взгляда, отворачивался, когда я на него смотрел, и за единственную попытку получить от него объяснение ответил тем, что избил меня.

Непонятно мне и другое: у дяди был сильный страшный противник – бай Нуртаза, который молчаливо ненавидел дядю за его насмешливость, непочтительность, резкость отзывов о нем и его жизни. И, зная все это, дядя не мог не понимать, что продажа чалой кобылы, – может быть, единственный неправильный поступок в его жизни – будет подхвачен баем, раздут, разглашен по всей округе. Враги сделают все возможное, чтобы на его незапятнанной доньше репутации появилось несмываемое черное пятно. Знал и все-таки пошел на это.

А Нуртаза, конечно, не спал. День и ночь у меня звучали в ушах его презрительные слова:

– Ну что ты бегаешь вокруг жеребенка, слезы льешь? Дяди боишься? Мало он тебя гоняет да бьет? Мало? Мало? Теперь и я скажу – мало! Я думал, ты настоящий мужчина, а ты тряпка, гнилая труха, ни черта из тебя путного не получится. Последнюю кобылу и ту у тебя отнял, шайтан, а ты у него дома живешь, руки ему лижешь. Уходи от него и подавай жалобу волостному. Ко мне приходи! Ведь я тебе не чужой, куском хлеба не обижу. Я сам дам ход делу, и получишь ты свою кобылу обратно, только и всего. А то ходит, хнычет, как маленький. Эх, не видит тебя покойный Мукан! Он бы тебя за твои нюни...

Слова Нуртазы оказывают нужное действие – я все больше и больше ненавижу своего обидчика и, конечно, давно бы ушел, если бы не сестры Ултуган и Маржам – маленькая двоюродная сестричка, которой только что пошел третий год. Только их я и люблю на свете. А отношения с дядей становятся все напряженнее и напряженнее. Чувствуя мой внутренний бунт, он часто грозит мне кнутом, страшит меня всеми карами земными и небесными. Достается мне и за то, что пропускаю уроки. Но до уроков ли мне, если я с утра, как только пригонят лошадей с ночного, торчу на выгоне и плачу около моего жеребенка. Он очень красив и строен. У бая Кутынова – его нового хозяина – пятнадцать жеребят, но все выглядят ишачатами по сравнению с нашим. Кутынов гнал меня, ловил и учил кнутом так, что на теле оставались красные полосы. Жаловался Мустафе (тот угрюмо отмалчивался) и все-таки ничего не мог поделать. Даже страх перед старухой Зейнеп, которая именно в эти часы бродила по выгону, не мог оторвать меня от жеребенка.

Зейнеп была настоящей ведьмой, такой, о которых пишут в детских сказках, – лохматая, босая, простоволосая, с распущенными длинными космами, длиннющими черными когтями и безумными острыми

глазами на желтом-желтом исхудалом лице. Она подкрадывалась к ребятам и пугала их своим страшным и пронзительным криком. Ребятишки, конечно, как воробьи, разлетались в разные стороны, но ведьма была умна; она не гонялась за всеми, она выбирала одну жертву и преследовала ее до тех пор, пока та не падала на землю. Тогда она молча, как волчица, перескакивала через упавшего огромным прыжком и уходила. Сейчас я понимаю, что это была больная несчастная женщина, ну, а тогда она всем нам казалась настоящей ведьмой, которая бродит по степи, пугая своим видом всех случайных прохожих. Но кому до нее было дело? Ведь трогать она никого не трогала, только пугала.

Эта самая Зейнеп много раз гонялась и за мной, доводила меня до полного изнеможения и, когда я падал, тихо засмеявшись, перескакивала через меня и убегала.

Кончились мои скитания поздней осенью, когда аулы переехали на свои зимние места и расстояние между мной и моим любимым жеребенком сразу возросло до пятнадцати верст. На прощанье младший брат бая Райыс, подкараулив, когда я крался к жеребенку, избил меня плеткой и гнал на коне до самого дома. На другой день, придя на выгон, я не застал ни жеребенка, ни его хозяина, ни самого аула – откочевали все. Озеро Дос опустело до весны.

В эту зиму я и ушел от Мустафы. Внешним поводом была затрещина, которую он, надо сказать, вполне справедливо закатил мне, вступившись за своего сына Габбаса. Желая досадить дяде, я дразнил его сына, вызывал на драку, приставал к нему, и вдруг однажды, как из-под земли, появился Мустафа и со словами: «Не задирай без дела!» – ударил меня по щеке. Это и было последней каплей, той каплей, которую, по правде сказать, я жаждал давно. Не сказав больше ни слова, я повернулся и молча выбежал из юрты. А на дворе крутила настоящая метель, такая, что за три шага ничего не было видно. Стояла жесточайшая зима 1911

года. Много несчастий и даже смертей свалилось на аулы в этот год, – людей и скотину мучил страшный джуг¹, не переставая дул бешеный северный ветер жынды-желъ. Были дни, когда между юртами протягивали веревки, иначе добраться до дома соседа было невозможно. Когда я выбежал на улицу, на дворе стояла уже непроглядная темень. Как не сбиться и найти дорогу к юрте Нуртазы? Я остановился, обдумывая, куда идти. Сзади кричали: «Вернись! Вернись, Сабит! Эй, слышишь, Сабит!» Это звали меня Мустафа и Габбас, но я даже не обернулся и пошел. Куда? Сам шайтан не разберет, куда. Иду и проваливаюсь в сугробы то по щиколотку, то по колено и во тьме не вижу, по дороге ли я иду или сбился и пошел в глубь степи. Везде сугробы, сугробы, сугробы да непроглядная воющая тьма. Кибитка Нуртазы рядом, а я все иду, все иду и ничего не вижу. Сбился я с пути? Зашел в степь? Если так, то это верная смерть. До ближайшего аула четыре версты, мне не дойти, ветер валит с ног, а упасть в такую бурю – это значит погибнуть тут же. Еще больше пугают меня волки. В этот проклятый год они обнаглели до крайности и стали бегать по ночам между домов. Часто мы находили их следы около самой двери, а были случаи, когда они вскакивали по сугробам на крыши хлебов, проламывали там дыру и, спрыгнув к овцам, резали чуть не половину отары. Говорили, волки загрызли путника, сбившегося с дороги; говорили, что за знаменитым в нашем крае охотником Аتكельтыром, ежегодно забивавшим по нескольку десятков волков (его так и звали «Волчий бог»), звери гнались до самого аула и спас знаменитого охотника только его неутомимый вороной. Я вспоминаю все эти страшные слухи и дрожу не только от холода, но и от

¹Джуг – гололедица, при которой прошлогодняя трава оказывается скованной тонкой, но крепчайшей кромкой льда. Скот, который ходит по полям и зимой и летом, не может разбить эту кромку копытами и погибает от голода.

страха. И вдруг до меня доносится явственный волчий вой. Гляжу и вижу: на меня из тьмы смотрят два светящихся зеленых глаза. Мне сразу становится так жарко, что я мгновенно становлюсь мокрым. Я ясно слышу их вой и вижу их зеленые свирепые глаза. Боже мой! Как же спастись от неминуемой смерти? Кто мне поможет? Что мне делать? И вдруг я спотыкаюсь обо что-то и падаю лицом в снег. Сейчас же вскакиваю и начинаю ощупывать незримую преграду. Ба! Да ведь я зашел на кладбище и запнулся о тесовую ограду могилы, а это, пожалуй, хуже даже и волков. Никого на свете я так не боялся, как мертвых. «Так, значит, это не волки были, – пронеслось у меня в голове, – это мертвецы гнусавили. Они вышли из своих могил и сейчас налетят на меня за то, что ночью я посмел ворваться в их убежище. А бежать все равно некуда: несколько шагов в сторону – и я сойбюсь с дороги и пропаду». Обдумав все, я принимаю героическое решение: перелезаю через ограду и прижимаюсь к ней. Сразу становится легче дышать. Я могу хоть глаза открыть, по ним уж не хлещет ветер, но другая беда – через пять минут я начинаю замерзать и уж не чувствую на себе одежды. Мне холодно так, как будто меня голого выбросили на трескучий мороз. Пробую прыгать, растирать руки, тереть уши – ничего не помогает. Я дрожу, дрожу и вдруг снова замираю от ужаса: до меня доносится какой-то странный гнусавый, шепелявый звук. Откуда он исходит? Кому принадлежит? Не поймешь. Но совершенно ясно, что это гнусавит человек, живой ли, мертвый, но человек. Я ясно увидел, что на меня катится по снегу что-то черное, бесформенное. Я вгляделся и задрожал от радости: Самайке! Юродивый нашего аула. Самайке происходил из богатой семьи, но родители его умерли, когда он был маленький, и родственники выбросили мальчишку прямо на улицу. С тех пор он и побирался. Вид у него был ужасный: в двадцать лет он выглядел немощным двенадцатилетним подростком – маленький, худенький, с огром-

ными гнойниками на шее, с волосами, наполовину съеденными паршой. Кроме того, он был глух и картав, – еле-еле ворочая языком, бормотал какую-то невнятицу. Жил подавляниями, а спал – где придется. Кормить его кормили, но в дом не пускали: боялись заразы. Поэтому даже в такие метели он блуждал по улицам.

– Самайке! Самайке! – закричал я во все горло.

Он взглянул на меня и кинулся прочь. Отчаяние придало мне силы, я догнал его и поймал за рукав. Он в ужасе закричал и заплакал.

– Самайке! – молил я его. – Это же я – Сабит.

Когда я раза четыре повторил свое имя, он посмотрел на меня и, узнав, сразу же успокоился.

– Это ты, Хатит? – спросил он, картавя. – Откуда идешь?

– Проводи меня к Нуртазе, – попросил я.

Он пристально посмотрел на меня, и что-то даже осмысленное появилось на его лице.

– Ну латно! – прошепелявил он и затрусил по снегу.

Я пошел за ним. Самайке всегда бежал вприпрыжку и что-то напевал под нос. Я смотрел на него и думал: «Неужели же и я буду таким? Ведь я тоже сирота, тоже ограблен и выброшен на улицу». Вот и дом Нуртазы, Самайке доводит меня до ворот и останавливается.

– Ити сам! – говорит он. – Там собаки!

И снова бежит во тьму, в буран, в ночь – в какое-то только ему ведомое место, где находят себе приют даже такие несчастные, как он.

ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ

В раннем детстве в течение нескольких месяцев зимой я не видел ни мяса, ни куска хлеба, ничего, кроме прелой картошки, которую зарабатывала моя мать иглой; в доме Мустафы также часто не случалось хлеба. Но такой унижительной нужды, какую я испытал у богача Нуртазы, я все-таки не знал никогда. Домом командовала хозяйка Бибизара, или, как мы ее звали,

Бзяля. Во время обеда я только и слышал ее крик; «Да разве на вас, дармоедов, напасешься! Вы эдак нас и по миру пустите!» – и при этом плескала в пиалу черпак похлебки, жидкой, как вода. Особенно доставалось мне. Смотря в лицо маленькими, злыми, сверлящими глазами, она говорила с насмешливой улыбочкой:

– Жрешь, жрешь а все не сыт! Правильно умные люди говорят: «У сироты семь животов». И куда в тебя столько лезет?

В доме было несколько батраков. Для них и для себя хозяйка варила в казане жиденькую лапшу, для запаха туда опускала кусок дешевого мяса, клала обыкновенно шею, ножки, постные косточки. Хозяева ели из большой деревянной чашки, все мясо попадало им. Если к этому еще добавить, что ели мы один раз в день, что и хлеб-то на столе появлялся далеко не всегда, то можно себе представить, как я голодал. Нуртаза имел сотни голов скота, не считая волов, которых у него тоже было немало, а в доме не было ни приличной постели, ни одежды, и все, кроме старшей дочери, одевались бедно и неряшливо. Когда приезжал почетный гость, у детей отбирали единственное одеяло, и им приходилось прикрываться своей одеждой.

Мырзагазы, о котором я уже рассказывал, – старший сын хозяина, разбитной, умный парень – имел всего-навсего только одну смену белья – штаны и полотняную рубаху; висели они на нем мешком (ради экономии всю одежду для семьи шил самоучка-портной, к Шаину, как более дорогому, Нуртаза никогда не обращался), и когда этот «мешок» стирали, Мырзагазы сидел голышом.

– Ну что же? Настоящий человек – и в рубище человек, – парировал Нуртаза упреки. – Скуп, да не глуп. Плохо одет мой сын? Верно, плохо, но все знают, кто он, и почет ему не за одежду, а за то, что он сын Нуртазы, а разрядиться и всякий дурак может. – Или цитировал Коран: – «Несть в роскоши спасение, аллах любит бедняков».

Работали мы в доме Нуртазы с темна до темна и к ночи еле стояли на ногах. Попробуйте напоить сто коров и быков, двести овец, около десяти лошадей! Попробуйте убрать за ними навоз, а во время зимних буранов очистить двор от заносов! Да не бросить снег где попало, а вывезти за околицу. Попробуйте все это сделать, и я посмотрю, какой у вас будет аппетит! Проработав так целую зиму, батраки получали в расчет двухлетнего бычка стоимостью в десять, ну от силы в пятнадцать рублей. Я работал не меньше других, и все-таки то и дело называли меня дармоедом. Мне не разрешали гулять и играть с ребятами. Я вообще не мог без спроса выйти из дому. Однажды после работы я пошел поиграть, да всю ночь и проторчал на улице – мне не открыли дверь. Но сидеть дома было совершенно невыносимо: у Нуртазы никогда не зажигали ламп. Как только смеркалось, значит, часов в восемь-девять, все заваливались спать и храпели до рассвета. Меня же, пока усталость не заглушала все, изводили насекомые: их было такое количество, что тело горело, как в огне. Ведь моя единственная рубаша не стиралась с того момента, как я покинул дом дяди. Только теперь я понял, что значит «жить в людях». Но что я мог поделать? Вернуться обратно? Но как? Я уже опозорил моего дядю перед всем миром, и он мне, конечно, никогда не простит этого. И вообще, какой же мужчина может вернуться с повинной головой, рассчитывая на великодушие своего врага только потому, что ему плохо живется в другом месте? Немыслимо это было и по другой причине. Нуртаза спешил свести счеты со своим врагом, и скоро я услышал, что от моего имени уже подано прошение, что ему дан законный ход и в конце зимы сам волостной приедет в наш аул специально для разбора моей жалобы.

Но больше, чем все горести и невзгоды, меня терзала тоска. Я не мог перенести разлуки с Ултуган и Маржам. Ултуган поистине была моим добрым ангелом-

хранителем. В семье дяди ее уважали за твердость характера и трудолюбие. Другие девушки в ее лета любят поболтать с подружками, погулять, покачаться на качелях. Ултуган, всегда серьезная, сосредоточенная, сидит дома и работает: то шьет что-нибудь, то стирает. «Умница, – говорили про нее люди, – настоящим человеком будет. Понимает, что ей не на кого надеяться. Учится сама зарабатывать себе хлеб. Ты смотри, как она шьет! Никакая машина не поспеет за ней, и стежки ложатся мелкие, аккуратные – один к одному, скоро станет первой портнихой!» Такая слава доставалась моей сестре дорого. Со всего аула ей носили шитье, и она охотно брала его, но никогда не получала за свою работу ни копейки – и ей не догадывались платить, и она не просила. Отношения у нас были странные, Я уважал ее как старшую, но все-таки чувствовал себя мужчиной и держался несколько свысока, покровительственно – таскал ей лакомства с праздников, утиные яйца с болота, ягоды с берегов Доса. Она вечером меня укладывала спать, утром будила и умывала, смотрела, чтобы меня никто не тронул, и как наседка, налетала на обидчика. Так, сама еще девочка, она заменяла мне мать. Как же я мог прожить без нее? Вторая моя любовь в доме Мустафы была двоюродная сестренка – Маржам, единственная дочка моего дяди. Любовь к ней перешла ко мне как бы по наследству от отца и матери. Мой отец так любил свою маленькую племянницу, что, как бы ему трудно ни было, как бы он ни болел и ни стонал, – стоило к нему в кровать положить Маржам, как он сразу забывал свою боль.

После смерти родителей мы с сестрой особенно горячо привязались к этой малютке. Что же касается меня, то я души в ней не чаял. Сколько птичьих гнезд разорил я для нее! Сколько диких утят и гусят искалечил! Сколько раз завязал в болоте, выискивая сладкие корешки! И вот пришлось покинуть и ее и Ултуган. Я выдерживал характер, сколько мог, а потом

взвыл от тоски и начал выслеживать кого-нибудь из них на улице. Но как не повезет, так уж не повезет! Сколько я ни терся около кибитки, все было напрасно. Тогда я поймал Оразалы, который все еще ходил к Шайтану и изнывал над мистическими трактатами, и через него передал сестре, что хочу ее увидеть.

– Хорошо,– ответила ему Ултуган,– пусть ждет меня за кучей хвороста.

Всякими правдами и неправдами я выбрался из дому и тайком добрался до назначенного места. Тайком потому, что Нуртаза строжайшим образом запретил мне разговаривать с кем-нибудь из членов семьи Мустафы. И вот тут в первый раз в жизни сестра обидела меня до слез. Она не бросилась ко мне, не заплакала, не закричала. Нет, совсем напротив! Когда я, задыхаясь, подбежал к ней, она спокойно обняла меня, прикоснулась к моему лбу холодными губами и спросила:

– Зачем же ты пришел? Раз ушел, так уж не показывайся на глаза!

Меня как будто водой окатили. Я вырвался из ее объятий, но она поймала меня за руку и прижала к себе.

– Ну что ты бежишь от меня? Что обижаешься? Если ты сам не можешь себе помочь, то что могу сделать я – девчонка в чужой семье? Только мыкать с тобой горе у чужих порогов! Да ведь ты и сам этого не захочешь! Будь мужчиной! Не терзай меня понапрасну! Не старайся видаться! Что суждено, тому и быть!

Она говорила очень решительно и твердо, но я-то чувствовал – сейчас она не выдержит и расплечется.

– И вот еще что,– продолжала она, помолчав.– Уходи ты из аула. Зачем ты позоришь и себя, и меня? Что ты ютишься, как нищий, у чужих людей? Ведь у нас есть замужняя сестра Зауре. Она живет хорошо, иди к ней, слышишь? Уходи из аула!

Тут голос ее прервался, она прижалась лицом к моему плечу и горько заплакала. Я стоял, смотрел на нее и молчал. Ни одной слезы не мог выдавить из себя

в эту тоскливую минуту! Ни одного ласкового слова! Как будто кто-то схватил меня за горло, сжал и не отпускает.

Вдруг кто-то гневно и грубо окликнул нас сзади по именам. Две огромных сильных руки схватили нас за плечи, потрясли и с размаху бросили друг на друга.

– Вы что здесь делаете?– прорычал великан. И в ту же секунду я узнал его. Это был один из ближайших родственников Нуртазы – Рамазан, здоровый усатый мужчина лет сорока.

– Ах ты негодница!– заорал он.– Подстрекашь брата! Когда твой чертов дядя отнял последнюю лошаденку у него, ты молчала, а теперь ты тут как тут. У, гадина бессовестная! Я тебе покажу...

И он толкнул ее в плечо так, что она, как пушинка, отлетела в сторону и упала лицом в сугроб. Ведь она была очень слабенькой, худой, хрупкой девочкой, моя бедная сестра. А он еще занес ногу и, кажется, хотел ударить ее в бок. В ужасе я вцепился в сапог обидчика.

– Прочь!– заревел он.– Изуродую!– И поднял меня за воротник.

Но тут вскочила сестра, подбежала к нему и вцепилась в его руку.

– Дядюшка! Дядюшка!– закричала она.– Не трогай его! Это я, я его зазвала. Ты меня бей!

Ее жалкий, слабый, совсем детский голосок, казалось, образумил Рамазана. Он посмотрел на нас и грозно сказал:

– Ну, так и быть, в последний раз! А еще раз застану – пеняйте только на себя. Мальчишка, иди домой! А ты, проклятая девка, смотри у меня! Я ведь...

Не ожидая конца его гневной тирады, я стремглав бросился бежать.

В тот же день вечером Рамазан рассказал о моем свидании с сестрой, и Нуртаза собрал экстренный родовой совет. Он грубо требовал, чтобы я назвал имя того, кто подбил нас искать свидания. И так как я

молчал (ибо, по совести, что я мог сказать?), то он под конец решил так:

– Раз ты запираешься, значит, собираешься снова с ней видаться. А раз так, то я тебя у себя не оставлю. Не могу! Вот приедет волостной, разберет твою жалобу, и тогда лети на все четыре стороны! Хоть опять к Мустафе иди, если он тебя примет. А сейчас, голубчик, будешь слушать меня. Не я к тебе пришел, а ты ко мне: плакал, просил, жаловался, я сдуру взялся тебе помочь, да и завяз в это дело, а раз так, то я уж доведу его до конца. Знаешь пословицу: «Никогда не хватай отца за бороду, но уж если схватил, не отпускай!» Отправлю тебя к зятю Сулеймену! Вот и все! Поедешь или нет?

– Поеду,– ответил я. Терять мне было уже нечего.

– А отвезти найдется кому?– спросил кто-то.

– Найдется,– ответил Нуртаза,– есть попутчик.

Попутчиком оказался Кажимбай, гостивший в нашем ауле. Это был старик лет семидесяти: сутулый, полный, низенький. У него были красные глаза, и ходил он еле-еле. Но вид у него был еще бодрый, а черные усы и борода даже и не поседели. Он знал моего отца и с готовностью согласился меня сопровождать.

– Бедный ты, бедный!– сказал он негромко и искренне.– Пусть аллах сжалится над несчастным сиротой!

До аула Сулеймена было не очень далеко – верст шестьдесят, не больше, но ехали мы это расстояние шесть дней. Виной тому был сам Кажимбай. С утра, рассказав мне дорогу и как надо по ней ехать, он разваливался в санях и сейчас же начинал клевать носом.

– Разбудишь меня на развилке!– говорил он уже костенеющим языком.– Я там покажу куда.

Спал он невероятно крепко, а проснувшись, долго не мог понять, где он, бессмысленно смотрел на меня, тер лицо, таращил налитые сном водянистые глаза, переспрашивал каждую фразу: «А?А?А?» – и только минуты через три понимал, на каком свете он живет.

– А? Что случилось?– проснувшись, спрашивал он.

Я отвечал, что мы доехали до развилки, и допытывался:

– Куда же ехать?

– Ах, куда! Да, верно, куда же ехать? Постой! Постой! Где же это мы сейчас находимся?

Он смотрел на снег, на степь, соображал что-то и начинал расспрашивать, мимо чего мы проезжали и когда. Что я мог ему ответить? Кругом снег, степь, все белым-бело, все дороги похожи одна на другую, и ничего не поймешь. Но старик долго смотрел на степь и вдруг решал:

– Туда ехать! Вон чернеет зимовка! Держись на нее!

Ошибался он редко, но все-таки ошибался. Иногда, приехав в какой-нибудь аул, мы понимали, что сделали зря верст пять-десять, но Кажимбая это нимало не смущало. Он ведь совсем не торопился домой. Жизнь в дороге была такая привольная! Он только и делал, что ходил по гостям. Встречали его везде хорошо, приветливо, кормили до отвала. Поэтому-то мы и ехали шестьдесят верст шесть дней. В первый день сделали десять верст и заночевали, на второй день опять сделали около этого и снова заночевали. Так и шло – десять верст и ночевка.

А когда наконец доехали, то я не возрадовался.

В семье зятя мне пришлось очень солоно. Сестре моей Зауре было тридцать лет, а ее мужу Сулеймену – лет пятьдесят пять. Это был высокий блондин, крепкий, сильный, с неожиданно черной бородой и усами. Сестру мою он не терпел и постоянно ругал. Заправляла всем домом его первая, любимая жена Канапия. Он ее любил и никогда бы, конечно, не ввел к себе в дом вторую женщину, если бы не бесплодность Канапии. С момента второго брака прошло уже больше пятнадцати лет, и моя сестра принесла ему пятерых – трех девочек и двух мальчиков. И после этого ее превратили в бессловесную рабыню. Ею помыкали, как хотели, и муж по любому ничтожнейшему поводу обливал ее

площадной бранью, ругали и дети, которых отец сумел воспитать в презрении к матери. Дошло до того, что они называли себя детьми любимой Канапии, а никак не постылой Зауре. У Канапии был брат, его звали Тасмакы. На улице детей часто дразнили. Спрашивали:

– Так кто же ваш нагаши?¹

Законным дядей приходился им я, но так как они не признавали меня, так же как и свою мать, то кричали:

– Тасмакы! Тасмакы!

– Тасмакы вам чужой человек, – говорили им, – а законный ваш дядя – Сабит.

Тогда они заливались слезами и бросались на меня.

– Что тебе тут понадобилось? Уходи!

Это повторялось столько раз, что наконец я не выдержал: собрал свои пожитки и с одним из случайных попутчиков вернулся в родной аул.

Приехав, я тайно повидался с Ултуган.

– Почему ты вернулся? – пытала меня Ултуган, конечно, угадывая все. – Разве тебе было плохо у Зауре?

Я пожимал плечами и отмалчивался.

РАЗДЕЛ

В самом конце зимы приехал волостной, а с ним целая свита не то прислужников, не то просто прихлебателей. Самые богатые дома аула гостеприимно распахнули перед ними свои двери. Волостной и свита сидели за столом, угощались кониной, пили кумыс и вели неторопливую беседу. Мы, ребята, смотрели на них из ниш в печи, сделанных для того, чтобы ставить лампы, и у нас дыхание захватывало от восторга.

Во главе стола сидел наш царь и бог – волостной Шакан Торсанов. Ему было около сорока лет. У него русая, красиво подстриженная борода, длинные пушистые усы с загнутыми вверх концами, большие черные глаза и худощавое красивое лицо. «Вот что

¹Нагаши – дядя по матери.

значит порода!– умильно говорили его почитатели.– Сразу видно белую кость. Нет-нет, лебедя с серой утицей никогда не спутаешь».

– Это он-то белая кость? Это он-то лебедь?– возмущались другие.– Внук свинопаса, незаконный сын курганского двоядана. Ведь он байструк! Его и фамилия-то по-настоящему не Торсанов, а Светлов. Ездил этот Светлов в гости к Тлемису, да и ненароком спутался с его женой, вот Шакан и появился на свет. Знаешь, что о нем спел на ярмарке Тогжан? Ага! То-то, что не знаешь. Слушай, что он за белая кость.

И рассказывали не то анекдот, не то быль: однажды летом волостной встретил слепого акына на рынке и заставил петь ему. Тот спел, да недостаточно прославил в своей песне волостного, а того распирало от важности.

– Какие неблагодарные люди пошли,– сказал он.– В прошлом году я подарил этому нищему лошадь, а в этом он даже меня и знать не хочет.

Тогда один из холуев волостного крикнул акыну:

– Эй, слепой, что ты, и оглох тоже? Не знаешь, кто такой Торсанов? Почему ты не поешь о нем как следует?

– Ну как не знать,– спокойно ответил слепец.– Сейчас спою как следует.

И действительно спел:

С детства знаю я тебя, мой милый.
Мать твою в Кургане, где Кресты,
Со Светловым молодым дружила,
И от русского родился ты.

Сконфуженный Торсанов обратился к своей свите:

– Дайте ему еще лошадь и выгоните в шею! Что он тут мелет всякий вздор!

Таков был волостной, и такие разговоры ходили о нем в народе. Конечно, все это говорили только за глаза.

Итак, волостной сидит за столом. Справа от него толмач Петр Бекетов – русский казак станицы Островки. Это толстый, рыхлый, лысый мужчина, с чисто выбритым морщинистым лицом. Одет он как-то

странно – не то по-казахски, не то по-русски: на нем китель из синего сукна и брюки с широкими красными лампасами; на ногах широченные казахские сапоги. Казахский язык он знает отлично, но говорит на каком-то странном смешанном жаргоне, куда время от времени вставляет искаженные русские слова. Делает он это, конечно, из величайшего презрения и пренебрежения к казахскому языку.

Мне рассказывали очевидцы, как за день до вынесения решения он отчитывал Мустафу. Тот униженно стоял на коленях и молчал, а толмач равнодушно кричал:

– Зря тебя называют божьим человеком. Какой шорт ты прадар? Ты враг кудая¹, тебе в тамык² прямая дорога, там и будешь товарищем шайтану. Ты сделал айшат³, забрал имущество сироты. Бессовестный пес! Твое горло – шайтан-горло, тебя надо судить и по этапу сослать на каторгу в «Ит жеккен»⁴. Жалко мне только твоих детей, подлец! А то б ты у меня давно был там.

И чем больше толмач своим коверканным жаргоном кричал на дядю, тем почтительнее и униженнее сгибал свою старую больную спину Мустафа. Он знал – защиты искать негде, Нуртаза – аксакал, а он кто? Больной калека, горький бедняк – вот и все. Кому он нужен? Кто за него заступится?

После внушения было зачитано следующее решение:

«Так как доказано, что сын Шукее Мустафа полностью себе присвоил имущество сирот – детей своего умершего брата Мукана, – я, волостной голова, заслушав объяснения сторон и разобрав дело, решил:

Отобрать у Мустафы, сына Шукее, в пользу Сабита, сына Мукана, корову с двумя телками нынешнего и прошлогоднего отела и изъять все остальное иму-

¹Кудай – бог.

²Тамык – ад.

³Айшат – захват.

⁴«Ит жеккен» – дословно: место, куда ездят на собаках.

щество, оставшееся от покойного Мукана и незаконно присвоенное вышеозначенным Мустафой».

Вот и все! И ни полслова о чалой кобыле и жеребенке.

Решение волостного привел в исполнение наш аульный старшина Машик весной, во время откочевки аулов на летние пастбища, в результате чего у Мустафы остались одна корова да телочка, другую же корову с двумя телятами отобрали в мою пользу; нашли и изъяли также всю посуду, все вещи, принадлежавшие отцу, даже кибитку разорили почти до основания: содрали войлок, унесли верхнюю часть юрты. Когда аул откочевал, на месте остался один Мустафа. На летнее пастбище выехать ему было не на чем, да и незачем. Его жизнь была кончена, приговор волостного обрекал его на голодную смерть.

В день дележа я лежал на кухне Нуртазы и плакал, плакал, плакал. Особенно жалко мне было мою тетку Слеусин, ведь она одна держала на своих плечах всю семью – трех сыновей, дочку и больного мужа. Зимой ходила за скотиной, летом заготавливала корм. Топила, кормила и обстирывала всех. И редко, редко на ее долю доставалось доброе слово – все больше ругани и побоев. Муж бил ее, а она, сильная и здоровая, не смела не только поднять на него руку, но даже уклониться от побоев. А самое-то главное – довела ее нужда. Можно бы, конечно, отдать сыновей в батраки к баю, но тетка об этом и слушать не хотела. Все дети жили при ней. И только в тот черный тяжелый год, о котором я рассказывал, старший из сыновей, Хамза, которому только что исполнилось восемнадцать лет, уехал с группой жигитов в город Курган. Сильный и ловкий, он сделался там грузчиком и сумел за лето зашибить порядочную деньгу. Тогда Мустафа и Габбаса отправил на заработки. Тринадцатилетний мальчишка сделался учителем в каком-то далеком заброшенном ауле. Значит, в момент катастрофы у искалеченного

болезнью старика не осталось ни юрты, ни лошади, ни коровы! Как же жить дальше? Я думал над этим и плакал.

С моим имуществом поступили так: все, кроме телки, продали за сто двадцать рублей. Двадцать рублей судьи оставили себе, а сто рублей дали под проценты, из расчета десять годовых, торговцу Касену-хаджи¹ из соседнего аула до моего совершеннолетия.

А с оставленной мне телкой случилось следующее: однажды приехал в наш аул и остановился у Шайкена самый богатый представитель нашего рода Альти Кокенов. Это было важное событие. По случаю его приезда устроили той.

Мы, ребята, набились в юрту и жались около дверей, ожидая обычного угощения. Рядом с Альти сидели Нуртаза и еще несколько самых почетных людей из нашего аула. Гости мучительно долго ели жирную конину. Когда показалось дно блюда, вспомнили и о нас.

– Нужно угостить и ребятишек!– прохрипел Альти.

– Они собрались сюда специально, чтоб облизать ваши уважаемые пальчики,– лебезил Нуртаза.– Одедите из своих рук.

Альти, старик лет семидесяти, с худым лицом, красными слезящимися глазами, набрал полные пригоршни (я до сих пор вспоминаю его руки с черными вздутыми венами, похожими на пиявки) конины и крикнул нам:

– А ну, ребята, идите сюда!

И, оделяя каждого, спрашивал!

– Ты чей?

Пришла и моя очередь.

– Сын Мукана,– ответил я.

Старик помолчал, что-то подумал и опять про-
бряхтел.

– Это какого же?

¹Хаджи – человек, совершивший паломничество в Мекку.

– Вашего сотрапезника,– шутливо и почтительно ответил ему Нуртаза.– Того, кто ел хлеб с вашего стола.

– А-а,– вспомнил Альти и сунул мне полные пригоршни мяса.– Ну как же, как же! Помню, помню! Хороший был человек, работающий, честный, да будет земля ему пухом! А умер, так и осталось за ним полжуждика. Ну уж ладно! Я не сержусь.

– Так он с вами не расплатился?– спросил Нуртаза.

– А из чего ему было платить?– ответил Альти.– Нет, конечно. Да разве за ним одним пропали мои деньги! Э! Ладно, я уж не считаю!

– Как же так, пропали!– воскликнул Нуртаза.– Вы такое говорите, хаджи, что даже слушать неприятно! Мукан умер, так имущество его осталось. Зачем его душеньке принимать на себя лишний грех перед аллахом? Мы, родственники, вам заплатим.

– А это еще лучше,– спокойно ответил Альти, глядя меня по голове.– Кушай, мальчик, кушай! Хороший был у тебя отец. Если долг его заплатите, то и душенька его возрадуется.

И вот для того, чтобы душа моего отца не мучилась на том свете, тут же решили продать телку и, наверное, не очень подорожились, потому что покупатель нашелся быстро. Альти положил себе в карман полтора рубля.

Так было покончено с наследством моего отца.

СЛУЧАЙНЫЕ ЗАРАБОТКИ

ПОХИЩЕНИЕ ДЕВУШКИ

У одного из зажиточных людей нашего аула – Садырбая – умерла жена. Садырбай в ауле и далеко за пределами его был известен тем, что, во-первых, как две капли воды походил на червонного короля из колоды карт, а, во-вторых, еще больше, чем на короля, походил на своего брата Андрея (в наших местах казахи, у которых не живут сыновья дают новорожденным русские имена. Этим они обманывают ангела смерти). Они как бы нарочно играли на этом сходстве, даже бороду и то подстригали одинаково. Различить их можно было только по одежде и по выговору: Садырбай не выговаривал «р». Так вот этот картавый Садырбай и стал неожиданно вдовцом. На другой день после похорон жены он пришел к Нуртазе и завел с ним длинный слезливый разговор о достоинствах покойницы, о том, какая она была добрая, как она его любила, как в хозяйстве ему помогала. Нуртаза слушал, гладил бороду и поддакивал, и тут вдруг Садырбай в горестном умилении воскликнул:

– Хошь не хошь, а пгиходится мигиться! Пготив смегти сгедства нет, вот что!

Нуртаза благочестиво согласился с опечаленным вдовцом – действительно, смерть не переспоришь.

– К тебе пгосьба, – продолжал Садырбай, – пгошу, отпусти ко мне Сабита, Ты же знаешь, по умегшему согок дней полагается читать Коган, – вот пусть и читает.

Нуртаза повернулся и крикнул:

– Слышал, Сабит? Поедешь?

Ему давно хотелось сбыть меня с рук, только он не знал, как это сделать. И мне тоже надоели его попреки, ругань, грязь, непосильная работа с утра до ночи. Поэтому я сразу же согласился.

В тот же день мы выехали из аула. Я уж говорил, – братья (мои будущие хозяева) считались зажиточными людьми: у каждого из них была летняя белоснежная юрта, у каждого ходили по степи косяки лошадей – голов двести да коров – сорок-пятьдесят. Лошади у них было только одной масти – гнедые, в пятнах. Несмотря на это, они были скупцами и принимали в дом далеко не каждого, а только тех, кого или боялись, или уж очень уважали. У моего хозяина Садырбая было двое детей: дочь Айгун и сын Тастан; у Андрея своих сыновей не было, и он усыновил племянника Жакыпа. Когда я впервые увидел Жакыпа, это был человек лет сорока, женатый, имеющий детей.

Как ни скуп был Садырбай, но его кибитка показалась мне дворцом по сравнению с юртой богача Нуртазы. А приданое его дочери – молчаливой, скрытной, худощавой Айгун – поразило меня своей роскошью. Девушка эта была уже давно на выданье, она, может быть, даже несколько засиделась в девках (для старого казахского аула девушка в девятнадцать лет уже перестарок) и одевалась очень богато. Носила двубортное канифасное платье и безрукавку малинового бархата, обильно обшитую серебряными монетами; в небольших черных косах звенели тяжелые серебряные подвески с побрякушками, в ушах болтались массивные серьги, пальцы унизаны серебряными кольцами, а правую руку пониже локтя обвивал серебряный браслет, изображавший змею; голову ее венчала

бобровая шапочка с султаном из пуха филина (верное средство от дурного глаза). В общем, она была такой франтихой, что даже смерть матери не заставила ее расстаться с украшениями, она только сняла султан.

Брат ее Тастан был баловень, забияка, учение ему не шло в голову, и он сбежал из школы. Вначале в доме Садырбая мне очень понравилось: кормили меня досыта, а работы не спрашивали, ибо, разве это работа – ходить на могилу покойницы и читать Коран – несколько страниц каждое утро. Голос у меня был звонкий (я хорошо запомнил уроки молды), и читал я торжественно, трогательно и в высшей степени жалостливо. Неграмотный Садырбай, не понимавший ни слова из моих арабских песнопений, слушая меня, умильно хмыкал носом, кивал головой и вытирал слезы.

– Свет моих глаз, – сказал он однажды растроганно, – спасибо тебе и твоему хозяину. Живя у меня сколько хочешь!

А я лучшего и не желал. Но все-таки мне пришлось покинуть этот гостеприимный кров.

Однажды, когда я вышел из юрты, меня вдруг поймал за руку жигит Назир. Мы, ребята, всегда восхищались его ловкостью, его игрой на домбре и песнями. У него был приятный голос и необыкновенная способность быть везде первым: на свадьбах он был тамадой, в играх – заводилой, в борьбе он побеждал всех своих сверстников. Знали ребята и другое – он любил мучить малышей: как будто играет, но руки у него жесткие, сердце безжалостное, он всегда норовит сделать больно. Вот этот-то Назир раз затащил меня в кустарник и начал допрашивать:

– Ну как тебе нравится на новом месте? Хорошо, что нравится. А скажи, хозяин крепко спит или нет?

Садырбай спал плохо – ночью все время просыпался, свершал намазы и засыпал только на рассвете. Когда я сказал об этом Назиру, он не поверил и рассвирепел так, что больно вцепился мне в плечо.

– Врешь, сопляк!– зашипел он.– Убью!

Но потом, видимо, поняв, что врать мне не к чему, добавил:

– Слушай меня внимательно: скажи Айгун, пусть она вечером, как только стемнеет, приходит к этому кусту. Слышишь? А не скажешь, я тебе голову оторву, понял?– И так блеснул глазами, что я ему сразу поверил, такой действительно оторвет.

Но передать поручение я все-таки не посмел. Через два дня Назир поймал меня опять и поклялся бородой пророка, что если я не исполню его требования, он сегодня же убьет меня. Что было тут делать? Я подошел к девушке и заплетающимся языком передал ей просьбу Назира.

– Уйди, бессовестный!– крикнула она сердито.– Небось сейчас же и раззвонишь по всему аулу!

Я дал ей самую страшную клятву, что буду молчать. И она вдруг неожиданно сказала:

– Ну хорошо! Скажешь, что приду.

И действительно пришла. А дальше произошло что-то совершенно нелепое, то, чего я до сих пор не могу постигнуть: откуда-то об этом свидании узнал весь аул, только до отца пока еще не дошло.

– Это ты, окаянный, все раззвонил!– шипела на меня Айгун.– Кроме тебя ведь этого никто не знал.

Но знал, очевидно, кроме меня, еще кто-то, потому что чем дальше, тем шло все хуже. Дело в том, что Айгун была просватана в соседний аул, а аул этот находился верстах в пяти-шести от Жаман-Шубара. Ее нареченный, сын одного их местных баев, был великан, силач и, как видно, человек очень решительный и смелый. Его звали Махмет. Я его увидел, когда он, по казахскому обычаю, приехал выразить свое соболезнование по поводу смерти матери его невесты. Остановился он не в доме невесты, а по соседству с ним. Меня приставили ходить за его конем. И вот однажды он поймал меня на скотном дворе, подтащил к себе и

спросил, что я знаю об отношениях Назира и Айгун. Я пожал плечами и сказал, что ровно ничего.

– Будто?– спросил он, прищурившись.– Ну хорошо! А я сейчас расскажу, о чем вы с ней говорили.– И совершенно неожиданно, почти слово в слово, выложил весь наш разговор.

– Ну, а теперь скажешь?– спросил он.

Я упорно, но, кажется, не особенно уверенно повторил, что ровно ничего не знаю.

– А тогда я тебя изобью,– сказал он гневно.– Отшибу все печенки, будешь таким же дохлым, как твой дядя.

Я опять повторил, что ничего не знаю, и тогда он вдруг отпустил мое плечо.

– Ну и зря, парнишка!– сказал он спокойно и даже ласково.– Весь аул уже знает, а я, думаешь, не знаю? Я все, брат, знаю! Ну и черт с ним! Из-за этого я от невесты отказываться не собираюсь! А вот ты оказался негодяем, врешь, слова не можешь честно сказать. Не ожидал я от тебя! По правде скажу, не ожидал!

В общем, я рассказал все. Он выслушал молча, не перебивая, и даже похлопал по плечу.

– Вот теперь спасибо. Вижу, что ты честный паренек,– похвалил он меня.– Но только смотри, об этом больше никому. Мне сказал, и ладно.

На этом мы и покончили. Прошло несколько месяцев, аул откочевал на зимовку, и вот однажды, когда все мужчины уехали на ярмарку и дома остались только женщины и дети, я проснулся от страшного крика.

– Ойбой!

Я открыл глаза и увидел, что происходит что-то совершенно невероятное: ярко горит лампа, и по комнате носятся люди с ременными плетками. В одном углу, вся собравшись в комок, сидела жена Жакыпа, около нее потрясал плеткой какой-то незнакомый молодец. Несколько человек окружили Айгун и спешно одевали ее. Все сундуки были открыты, одежда цветастыми грудами лежала на полу, ее связывали в

узлы. Только я приподнялся на постели, как на меня налетел кто-то с нагайкой и рывкнул!

– Лежи, коль жизнь дорога!

Я юркнул под одеяло и замолк. Между тем разбойники одели Айгун, и тогда один из молодцов, в котором я только в эту минуту признал Махмета, закричал:

– Бессовестная! Гуляет с Назиром, а калым должен платить Махмет! Потому-то твой отец, старый пес, так и тянет со свадьбой, два раза хочет взять деньги. Ах ты гадина, гадина!

Он кричал на Айгун, а она молчала, не то оттого, что была перепугана до смерти, не то оттого, что сознавала свою вину.

Грабители не торопились – ведь им известно, что мужчин нет. Они спокойно увязали в узел все ценное, что было в доме, потом связали меня и жену Жакыпа, а ей еще заткнули рот куском войлока и, захватив с собой девушку, ускакали из аула.

Наутро вернулся картавый Садырбай. Не знаю, как и от кого он узнал о моем, конечно, совершенно невольном предательстве, но разговор у нас был самый короткий; он просто схватил меня за плечи и выкинул на улицу.

– Пгопади пгопадом, пгоклятый!– крикнул он мне вслед.– Видеть тебя не могу!

На этом и кончилась моя духовная карьера.

РУССКАЯ ТЕХНИКА

Однажды в нашем ауле случилось совершенно необычайное: Нуртаза привез с ярмарки какую-то удивительную железную телегу, впрочем, она и на телегу-то была мало похожа – длинные оглобли, два колеса очень маленькие, совсем не под стать телеге, длинные железные зубцы, похожие на пилы. Телега стояла на улице, и возле нее толпился народ.

– Что это такое?– спросил я кого-то.

Тот только молча пожал плечами. Ответил Нуртаза:

– Машина, траву косить, называется косилка.

Тон у него был счастливый и ликующий.

Машина, косящая траву! Что за чудо! Одну только машину я знал до сих пор – швейную компании «Зингер», ту, на которой работал Шаин. Ничего не понимая, я задал дурацкий вопрос:

– Какую траву? Которая растет на земле?

– Нет, ту, которая на небе вырастает! – огрызнулся Нуртаза. – Совсем ты дурак, парень!

Посредине толпы стоял незнакомый мне жигит, который не торопясь объяснял любопытным:

– Вот в эту коробку наливают масло, а это нож – он и косит, а вот этот приводной механизм – он и двигает ножами, а сюда запрягают лошадь.

Это был механик Беккож, единственный казах, умевший обращаться с сенокосилкой. Нуртаза его привел, чтобы он обучил косарей.

– Русские на всякие выдумки хитры, – сказал дед Сактар. Ему было около семидесяти лет, но это был в высшей степени бодрый и деятельный старик, всем он интересовался, все знал. – Вот, помню, лет пятьдесят тому назад девушку одну хорошую замуж выдавали. Ну, понятно, смех, игры. И вдруг появляется среди нас парень, он все с русскими якшался и даже русские слова знал, мы его за это Талмаш (толмач) звали. «Хотите, говорит, я вам сейчас одно чудо чудное покажу, огонь из ладони высеку». Мы засмеялись. «Высекай!» А ночь была темнейшая, ничего, как есть, не видно. Вот он отошел от нас шагов на десять, сделал руку совочком, и вдруг смотрим: огонь среди пальцев сверкнул! Мы так и обомлели. «Как же это может быть?» – пристали мы к нему. – Покажи, объясни!» – «Ладно, говорит, покажу, но с условием: пусть девушка, которую я сам выберу, поцелует меня в губы. Согласны?» – «Ну конечно, согласны!» – «Хорошо!» – говорит. – Тогда смотрите!» И показывает нам спичку. Вот и все чудо!

Все слушатели засмеялись.

– Чего хохочете?– рассердился вдруг Сактар.– Думаете, раньше люди глупее вас были. Нельзя знать того, что никогда не видели. Вот вы на косилку дивитесь, а для нас таким же чудом спичка была. Ведь до русских казахи огонь высекали из кремня. А будете вы стариками, ваши внуки выдумают машину умнее, чем эта косилка, и будут смеяться над вами, как вы сейчас смеетесь надо мной.

Ровесник Сактара, древний, больной старик Турке, сказал одышливо, тихим, дребезжащим голосом:

– Ты правильно говоришь, Сактар. Вот самовар – самая обычная вещь, сейчас в каждом доме стоит, а ведь я помню, как с ярмарки привезли первый самовар в наш аул. Легко сказать, с ярмарки! В то время ближних базаров не было. А добратся за сто верст было труднее, чем сейчас до Москвы доехать. Кое за чем в Оренбург приходилось ездить, а до него ведь пятьсот верст! Соображайте, кто мог туда поехать! Единственную клячонку ведь не погонишь! Гони уж целый косяк! Ну и редко кто сам от себя переправлял туда лошадей. Все больше перекупщики наживались. Была, помню, тогда...

– Да ты о самоваре, о самоваре рассказывай!– закричали слушатели.

– Да,– продолжал невозмутимо Турке, жуя своими сизыми губами.– Был в то время знаменитый базар – Макаржи (Макарьевская ярмарка). Где она, никто сейчас не знает. А тогда знали. Недаром же поется:

Торгует в Макаржи богатый люд,
Не впутывая себя в бесплодный спор...

Значит, верно, был такой город. И вот однажды приехал оттуда Есеней и привез самовар – машину, которая сама воду варит. А как мы тогда варили? Чай кипятили в таскуменах – каменных чайниках.

– Неужели были каменные чайники?– спросил кто-то.

– Что ты! Чайник был чугунный, но тяжелый, как камень, поэтому так и назвали. А вот молоко кипятили

камнями. Наберем камней, накалим в огне и бросаем в молоко, оно закипает. Вот и все! А тут машина, которая сама варит, – самовар, одним словом. Собрались по этому случаю жигиты со всего аула, пошли к Есенею самовар смотреть. Смотрим: стоит новенький блестящий самовар на столе. Толпятся вокруг него люди и что-то с ним делают. Только зря делают, – никто не знает, куда воду наливать, куда угли класть: вертят, смотрят, щелкают, дуют во все отверстия, и никто ничего понять не может. «Подождите, – говорит Есенея, – раз никто ничего не понимает, я на этот случай знатока привез. Он всю эту науку постиг и в самоварах отлично разбирается». И действительно, подходит русский, сразу стаскивает самовар на пол – видно, что дело знает, – подозвал баб, снял крышку, – а никто из нас не догадался, что он открывается, – и стал показывать, куда воду наливать, куда угли класть. «Смотрите, говорит, не перепутайте, а то ничего не выйдет». Механик, значит, был. Дал ему Есенея за науку двухлетнюю лошадку. А вот еще случай расскажу. – Но тут старик закашлялся, задохнулся и махнул рукой.

Нуртаза, который все время сидел молча и смотрел себе под ноги, вдруг поднял голову и сказал:

– Ну, самовар, спички – все это ерунда. А вот как первый поезд появился в степи, знаете? Нет? Ну так я расскажу. Это было лет двадцать пять тому назад, может быть, немножко меньше. В тот раз мы поехали с Торсаном в Кзыл-Жар (Петропавловск) и только стали подъезжать к нему, смотрим: пересекает нашу дорогу другая, а на ней лежат две железные полосы, такие длинные, что конца и глаз не ухватит. «Это что такое?» – спрашиваю я Торсана. «Железная дорога». – «А разве и такая есть?» – «Есть, говорит, это та, по которой поезд пойдет». – «Что такое поезд? Куда пойдет?» А Торсан все на свете знал – что на земле, что под землей делается, – шибко ученый был. «Поезд, – объясняет, – это много скрепленных между собой телег. Их тащит первая телега с трубой, назы-

вается она паровоз, внутри у нее огонь, он ее и гонит. Ездить эти телеги могут только вот по этой железине, иначе увязнут и провалятся, такие они тяжелые. А называется это все поездом. Вот прибудем в Кзыл-Жар, я тебе покажу». И действительно, как только мы прибыли на место, повел меня Торсан поезд смотреть. А там народу полным-полно, и постройка для тех, кто на это чудо хочет посмотреть, специальный дом такой, называется он «бакзал» (вокзал). Вот встали мы, ждем, слышим, что-то пыхтит, стучит, гремит. Кричат: «Смотрите! Смотрите! Пошел! Ойбой, пошел!» И правда, по железкам прямо на нас чудище ползет – колеса огромные и все из чистого железа, дым столбом валит, да черный такой, да густой, впереди два фонаря: каждый с колесо. «Вот это паровоз, – говорит Торсан, – смотри не попади под него, а то он и раздавить может». А за паровозом кибитки, кибитки, кибитки – одна за другой, одна за другой разного цвета. Каждая кибитка с большой дом в две комнаты.

– Ойбой! – крикнул кто-то, никогда не видевший железной дороги и потрясенный рассказом Нуртазы.

– Стал поезд проходить мимо нас, – рассказывал Нуртаза, – да как заорет, – я так и присел. Как будто громом меня ударило, даже в ушах зазвенело.

– Этак и сердце может лопнуть! – восхищенно заметил кто-то из слушателей.

– А вполне, – согласился Нуртаза и продолжал: – Вот и задумались мы, сколько такой паровоз зараз потащит. Попробуйте сосчитайте: в каждую кибитку влезает сорок возов, а всех кибиток двадцать, а то и больше.

Все посмотрели на Нуртазу и покачали головами, но сосчитать никто не мог.

– Он столько тащит, сколько тысяча лошадей, – определил Нуртаза и победно оглядел слушателей.

– О боже, помилуй нас, грешных! – воскликнули слушатели. – Только у Альти и наберется столько лошадей.

– А есть еще кибитки, в которых люди ездят, так в каждой такой кибитке помещается сто человек. Ну-ка, сосчитайте, сколько народа везет такое чудовище?

– Тысячу человек!– крикнул кто-то испуганно.– Значит, весь наш Жаман-Шубар...– И остановился, не в силах закончить эту мысль.

– Да что такое наш Жаман-Шубар,– продолжал горячо Нуртаза.– В Жаман-Шубаре больше, чем двести пятьдесят человек, никогда не бывает. Ну, считайте – в поезде пятьдесят кибиток, в каждой в среднем по пятьдесят человек. Сколько ж это будет? Четыре таких аула свезет поезд.

Все замолчали: четыре Жаман-Шубара в одном поезде!

– А быстро он ходит?

– Сорок верст в час,– гордо ответил Нуртаза.– За это время и одну кобылицу не успеешь выдоить.

– Для него, значит, и расстояния нет?– удивился кто-то.

А другой мечтательно и робко сказал:

– А вот бы...– И не закончил.

– Что вот бы?– азартно подхватил Нуртаза. Для него сейчас все было нипочем. Он уже не считался ни с временем, ни с пространством.– Что вот бы?

– Вот бы его нам запрячь, когда мы на Дос переезжаем,– продолжал чей-то робкий голос.– Он бы в час нас туда доставил, а то мучаешься, мучаешься с волами¹.

– Хм!– усмехнулся кто-то.– Чему позавидовали? Волы с нас денег не берут, задаром везут. А как станешь за поезд платить, так сразу без штанов останешься. Ты знаешь, сколько с тебя сдерут? У русских все дорого, у них и дома не то, что наши юрты.

Нуртаза и здесь нашел, о чем рассказать. Он описал, какой купеческий дом видел в Кызыл-Жаре: в нем три

¹Мечта жаман-шубаровцев сбылась: в 1955 году была проложена железнодорожная линия Курган – Пески. Сотни тысяч тонн разного груза перевозят ежегодно по этой ветке: машины, тракторы, цистерны с горючим. Обратию идут составы, груженные зерном.

этажа и великое множество комнат. Сколько он стоит, никто не знает, и сосчитать этого невозможно. Но верно одно: чтобы купить такой дом, не хватит всех отар и всего имущества богача Альти. А ведь таких домов в городе не один, а сотни. Говорят, что далеко на севере почти все дома такие. В Москве и в Петербурге иных домов и нету. Вот какие мастера русские!

Кто-то, кажется, Сактар, сказал, что вообще все, что есть в наших кибитках – белье, посуда, одежда, – все сделано руками русских и на русских фабриках.

– А что умеют делать у нас в степи? – спросил Иманали. – Войлок валять, телегу сколотить, юрту сбить. Вот и все? А жилище! Ведь до русских казах даже и землянку-то путем не умел поставить. Только лет пятьдесят как начали складывать печи и огораживать дворы, а то ведь и этого не было.

– Верно, не было! На моих глазах это произошло, – продолжал Сактар. – Я еще помню, как зимой мы мерзли. Ух, и мерзли! Зуб на зуб не попадал, а согреться негде. Наши отцы смекали – надо бы у русских поучиться, как огонь провести, да сделать ничего не могли...

– Это почему же? – спросил кто-то.

– Почему? – Сактар подумал. – Историю нашего рода надо знать, тогда и спрашивать зря не будешь. В эти места наши предки откочевали с Сырдарьи еще сто лет назад, когда мой прадед был жив. От калмаков (калмыков) бежали, нашли защиту у русских. Здесь тогда казачьи станицы все стояли, казаки радушно приняли беглецов: «Селись! Живи! Земли не жалко! Вся степь твоя». Ну и стали наши прадеды обживаться, да строиться, да у русских уму-разуму учиться. Но не тут-то было... Начали их муллы да ханы мутить, особенно много дел натворил Кенесары, сын Аблая. Он, собачий сын, весь народ поднял. Ну только в наших местах ему не повезло, крепко морду набили. Я помню, как наши отцы его отсюда турнули.

– Это и я помню, – вставил вдруг Турке. Он до сих пор сидел совершенно неподвижно и даже как будто не

слышал ничего.– Я тогда молодым был, тоже участвовал в погоне. Хорошего жару мы ему дали, долго, должно быть, спина чесалась.

Все помолчали.

– Да, без русских теперь не проживешь!– сказал кто-то и обратился к Нуртазе:– Ну, еке, вези, что ли, свою машину в поле. Посмотрим, как она там будет сено косить.

Это предложение понравилось. Все встали, зашумели, обступили Нуртазу.

– Ну что же,– согласился он, довольный тем, что стал центром внимания.– Пойдемте!

Диковинную машину вывезли в поле, запрягли в нее быков, и тут кто-то предложил:

– Вот что, пойдемте к Канапии! Он такую же машину купил, так посмотрим, какая в работе будет бойчее.

– И смотреть нечего!– ответил Нуртаза важно.– Моя, у меня восемнадцать зубцов, а у него четырнадцать.

Но к Канапии все-таки пошли, и через полчаса две невиданных машины, величественно переваливаясь, как верблюды, затарахтели к озеру. Берега его были покрыты жесткой прошлогодней травой «кау». Эту кау не брала ни одна коса, но она, как объяснил Нуртаза, была нипочем для его чудесной машины.

– Ну уж если кау возьмет, то она всю траву, как огнем слижет,– говорили удивленные люди и все еще не верили.

Все, кто был в состоянии ходить, стар и млад, высыпали на холм, куда поднялись обе машины.

– Пускай ножи!– заорал Нуртаза.– Эй, отойдите назад! Бабы, назад, назад! Что столпились? А то сразу без рук, без ног останетесь!

Машины тронулись. И вот мы увидели чудо из чудес – жесткая, как железная проводка, непокорная, неподатливая трава, желтые, черные бурьяны, которые, кроме огня, не брал ни один дьявол, затрещали и аккуратно, полосками стали ложиться сзади машины. Люди уже не восхищались, они только стояли поодаль и восклицали:

– Алла! Алла!

Машина работала за сто человек.

– Сколько же стоит такое чудо?– спросил кто-то.

– Сколько?– улыбнулся Нуртаза.– Я тебе скажу. Ты вот в этом году своих баранов на ярмарку отогнал, говоришь, хорошую цену взял?

– По три рубля на выбор,– ответил робкий голос.

– Вот по три рубля? А я за эту машину двести пятьдесят, как копеечку, отвалил. Соображай же, сколько твоих баранов она стоит!

Все замолчали.

– А у Альти таких десять,– сказал кто-то.– Это же, значит, тысяча овец!

Послышались удивленные восклицания. А старик Сактар задумчиво произнес:

– Увидел волк отравленный курдюк посередине поля и говорит: «Вот это мне нравится! Это я люблю!» Съел, да и сдох. Вот так же и с косилкой – купи да по миру пойдешь.

Все засмеялись.

– Ничего!– вдруг решил Иманали.– Говорят же: «Одному черту не на что надеяться, а что увидало око, то и от руки недалеко». Будет и у нас эта машина!

Люди разошлись с холма, потрясенные и взволнованные всем виденным. Только и разговоров было по аулу – хороша машина, да дорого стоит. Для баев ее придумали, беднякам она не под силу. А если сломается, кто ее будет чинить? Все равно без русской науки уже не проживешь. Недаром же наши деды говорили, что русский самого черта перехитрил.

СИЛАЧ КАНАПИЯ

Самый храбрый и самый сильный человек, которого я знал в детстве, был Канापия. Я уже мельком упоминал о нем в предыдущей главе. Канापия слыл силачом, которого никто не мог положить на лопатки. Две обихих страсти сблизили меня с ним: любовь к песне и борьба.

Канапия был не только силач и сорвиголова, – это был очень добрый, скромный человек, который любил песни, хорошую шутку, интересный рассказ, своих друзей, а особенно маленьких ребят. Он учил нас правилам борьбы, приучал к выносливости и, наблюдая за нами, когда мы играли во дворе, заставлял бороться друг с другом. Он был терпеливый учитель, а я делал все, что он приказывал и показывал, и скоро стал самым сильным борцом среди своих сверстников. Особенно хорошо я усвоил прием Канапии – особый вид подножки, когда противник валится так, что с размаху грохается на землю. Канапия был очень доволен моими успехами, уделял мне гораздо больше внимания, чем другим моим сверстникам. Может быть, он просто жалел сироту. А я готов был сделать для него все на свете, старался во всем ему подражать. Но увы! Мое увлечение казахской борьбой имело и свои теневые стороны, уж я не говорю про синяки, но отчаянно страдала одежда. Летом еще туда-сюда, потому что большей частью мы боролись голыми, но зимой – то рукав тебе оторвут, то ворот вырвут, то втопчут рубашку в грязь.

Покойный отец понимал, видимо, что значит для мальчишки быть первым в драке, – никогда не ругал меня, в каком бы виде я ни пришел с улицы, но Мустафа, не терпевший шумных игр и борьбы, был ко мне беспощаден. Однажды он излупил меня даже палкой. Канапия знал это и, как мог, огораживал меня от плачевных последствий моего увлечения. Был случай, когда он на свои деньги сшил мне новую рубаху взамен старой, назло разорванной моим побежденным соперником. Когда же я перешел к Нуртазе, мне так доставалось от него за борьбу, что пришлось отказаться от любимого занятия. Да и как было не отказаться, когда по поводу каждого пустяка он устраивал скандал. Когда я вернулся как-то с разорванным воротом, он закричал на меня:

– Дурак! Балбес! Подумай, чем ты занимаешься? Борьбаться вздумал, негодий! Ты бы лучше придумал что-

нибудь такое, чтобы тебе с голоду не сдохнуть! А он, поди же, чему научился! Еще раз узнаю, что ты дерешься, голову начисто откручу, так и знай!

И второе, что выводило из себя Нуртазу, это песни. Я любил их и знал великое множество. Начало этому увлечению положила моя мать. Я уже говорил, что она была искусной певицей. В молодости ее песнями заслушивался весь аул, и, наверно, тогда это были радостные, веселые песни беззаботной девушки, которая мечтает о счастье. Но уже совсем иные песни она пела в замужестве. Бывало, сидит ночью, заливается слезами и тянет, тянет тоскливую, однообразную, но очень чистую и печальную мелодию. Мне очень нравились ее песни, и я часто приставал к ней:

– Мама, научи меня петь!

Она смущенно отнекивалась.

– Солнце мое! Да разве я песни пою? Разве так поют? Я просто плачу от тоски, вот и все.

Но я настаивал:

– Научи, слышишь!

Тогда она, видя, что я готов расплакаться, снова начинала тихо и жалобно стонать какую-нибудь песню. Так я запомнил многие из них. Но время выветрило из моей памяти почти все, и до сих пор я помню только две песни: «Неудачливый Американ» с припевом «Ахаукдик-ай» и «Ширайлым» («Моя красавица»), в которой говорится о внезапном исчезновении красавицы...

Куда более понятливой и памятливой оказалась моя сестра Ултуган. Она тоже слушала эти песни и, как я потом имел случай убедиться, запомнила их почти все.

С переходом в дом Мустафы мне казалось, что кончилась и моя песенная наука. Даже простую домбру он считал игрушкой дьявола, и когда ее однажды принес в дом его старший сын Камыз, он разбил инструмент о стену, а куски бросил в печку. Мустафа, правда, в молодости сам был веселым и общительным парнем – певцом и затейником, но годы нужды согнули

его плечи, легли морщинами на лицо и, став божьим человеком – прадаром, он раз и навсегда отказался от всяких песен и увеселений.

И в самом деле, что может быть на уме у человека, который весь день лежит на кровати и стонет. До песен ли ему! И вот оказалось, что все-таки до песен. Я заметил, что в редкие промежутки между приступами одолевавших его болезней Мустафа, отдышавшись, начинает тихонько что-то мурлыкать под нос. Я прислушался. Это были самые настоящие песни, – песни, а никак не молитвы, как думали его дети, не смевшие даже спросить своего сурового отца, что такое он бормочет сквозь зубы. Один я, пользуясь правом сироты, задавал ему довольно-таки рискованные вопросы. Так вышло и с песнями: я до тех пор приставал к нему, пока Мустафа не сознался, что некогда он был искусным домбристом и певцом, а еще, немного погодя, согласился и меня научить этому искусству, но с условием, чтоб об этом никто не знал. Вот с этого и начались наши уроки. Я все схватывал на лету, и Мустафа не мог на меня нарадоваться.

– Ты пошел в прадедушку Шукея, – говорил он, – тот был и акыном, и певцом, и домбристом, и ты будешь таким же.

Расставшись с Мустафой, я, однако, не отохотился от песен. Помог мне Касым, наш близкий родственник. Он был толст, неуклюж, совсем не имел голоса и поэтому не пел, а только играл на домбре. Но зато как он играл! Его толстые, казалось, неповоротливые пальцы с величайшей легкостью бегали по струнам, извлекали тончайшие, звонкие мелодии. Нет казаха, который бы не играл на домбре. Были домбристы и не хуже Касыма, но Касым, кроме того, играл еще и на кобызе. Это было уже настоящее и редкое в казахском ауле искусство. По крайней мере, у нас в Жаман-Шубаре, кроме него, на кобызе не играл никто. Да оно и понятно: кобыз в старом ауле считался магическим инструментом, и чаще

всего им пользовались шаманы для изгнания нечистых духов. Говорят, что мой прапрапрадед Байбарак был баксы¹. Про него сложили странную сказку. Оказывается, его кобыз не только играл, но мог, как беговая лошадь, участвовать в байге² и всегда брал призы. Вот однажды враги и захотели перехитрить Байбарака. В день скачек привязали они кобыз на высокую сосну, но волшебный инструмент не подвел своего хозяина – вырвал дерево и все-таки прискакал первым.

У Касыма было холодное, суровое, жесткое лицо и шаманские проворные пальцы. Люди говорили, что он бы, и верно, был шаманом, если бы на него сошел высокий дух предков. Но он суетен и неводержан, поэтому дух великого Байбарака никогда не осенит его. Как бы там ни было, но Касым очень охотно учил меня играть на домбре и наотрез отказался посвятить в таинства обхождения с кобызом.

– Нет смолы, чтобы перетирать смычок, – говорил он, – а без этого струны визжат, а не играют. Они ведь не из жил, а из конского волоса.

В общем, к моменту прихода в дом Нуртазы я уже довольно свободно владел домброй и даже немного пел. Нуртазе это очень не нравилось, и часто он кричал на меня:

– Дурак ты из дураков! Был дураком, дураком и останешься. Никакого прока из тебя не получится! Хотел тебя сделать молдой, послал читать Коран, тебя выбросили, как щенка, за твои пакости. А тебе и горюшка мало, ходишь да на домбре бренчишь, песни всякие наглые орешь, с ребятами дерешься. А все почему? Потому что ты бесталанный! Ты что ж, дурацкая голова, думаешь на это прожить? Медный грош тебе цена со всеми твоими учителями, медный грош с дыркой! Знаешь пословицу: «Играющий в бабки – сопьется, играющий в мяч – разобьется, а

¹Баксы – знахарь.

²Байга – состязание на конях.

пастух побьется, побьется – и до своего доберется». Ну вот и понимай, кем тебе быть!

Такие разговоры он вел все чаще и чаще, в последнее время чуть не ежедневно, и до того они мне опротивели, что когда Нуртаза однажды предложил мне поехать на косовицу, я с радостью согласился.

Выезжали мы в поле в таком порядке: первым на лошади ехал я, за мной, впряженные в косилку, шли волы, на косилке сидел механик. Косили мы совершенно дикий участок степи – пространство между озером Дос и Жаман-Шубаром. Это были настоящие маленькие джунгли – дикие, непрочесанные, заросшие травой, свалывшейся, как войлок. Конечно, ни серп, ни коса не брали эту заросль. Ничто, кроме огня да вот патентованной косилки фирмы «Мак-Кормик», не могло с ней справиться.

Работа шла трудно, но споро: каждый день требовалось менять волов и работать с утра до полуночи. Мы бы и ночью работали, да мешала роса. Косилка не брала влажную траву, и поэтому наш рабочий день начинался поздно, часов в одиннадцать, а кончался в полночь. Машина работала так быстро, что, конечно, мы не успевали за ней убирать. Вскоре вся степь оказалась заваленной сеном, но Нуртазе все казалось мало. Говорят же: «Бедняк тягается с богачом, а богач – с самим творцом». Нуртаза тянулся за Альти, а у Альти работало десять машин, и косил он огромную площадь протяженностью в семьдесят-восемьдесят верст. На этом пространстве не было ни аулов, ни зимовок, ни куст не цвел, ни дерево не росло, ни источник не бил из земли, но трава вырастала там густая, непроходимая, жесткая, высокая, в рост человека. Нас было мало, а соперник хозяина мог сразу выставить пятьдесят-шестьдесят батраков. Поэтому все скошенное косилками Альти сено было убрано и стояло скирдами, высокими, как гора.

Смотря на эти стога, Нуртаза расстраивался и кричал нам:

– Видите, как честные люди работают! Вот у них, верно, сено, а у нас что?

Кормил нас Нуртаза ужасно: в безводную степь он посылал нам перебродивший, горький, как полынь, кумыс да сыр – жесткий, как камень, и сыпучий, как песок. Его делали из обезжиренного творога, а творог этот готовили из снятого молока. Конечно, существовать этим было невозможно, и пастухи стали воровать. Однажды сын Нуртазы, Мырзагазы, привез откуда-то (он сказал – из дому) жирную овечку с завязанным ртом, и с тех пор пошло: каждые два-три дня у нас стало появляться в котле по барашку. Мы ожили, повеселели и даже начали принимать гостей. Но вот как-то Мырзагазы мне сказал:

– А ну, парень, садись-ка на вороного да скачи к Назиру и Каналии, скажи: пусть едут к нам – у нас овечка готовится.

Что мне могло прийти больше по сердцу, чем ехать к Каналии? Я оседлал свою клячу и поскакал. Приехал к стану Каналии и увидел: огромное стадо овец, наверное, несколько тысяч голов, сгрудилось в степи. Оказалось, вся эта отара задержана Каналией за потраву. Овцы потоптали большой кусок покоса, и Каналия решил задержать весь гурт целиком, пока хозяин, богатый бай, проехавший вперед, не заплатит штрафа.

– Меньше двадцати пяти овец не возьму, – заявил Каналия.

– Ну, – ответили пастухи, – столько овец без хозяина никто дать не может. Пошлем гонца, пусть он сам приедет или приказчика пришлет.

На том и порешили. Когда я приехал, все сидели около юрты и ожидали ответа. Кроме Каналии и пастухов там были еще Назир, младший брат Каналии, и некий Таспай Калабаев. А пока суд да дело, в котле уже варилась одна штрафная овца. Я соскочил с лошади и передал почтительное приглашение Мырзагазы. Каналия выслушал его до конца и покачал головой.

– Поехал бы, да как к нему ехать? Овцы-то у него ворованные. Правда, мы знаем – Нуртаза человек бедный, не то что мы, богатеи, ему батраков кормить нечем. Так-то, парень!

– Так какой же будет ответ?– спросил я.

– А передай им,– ответил Канапия,– что короткая веревка в узел не вяжется. Если ты промышляешь воровством, не приглашай гостей на краденое. Скажи своему хозяйскому сынку: когда он зарежет первого некраденого барана, тогда пускай и ждет меня в гости, а до этого – ни-ни! А ты оставайся, покушай нашего мяса. Не бойся! За него никто шею не наломает. Слезай, слезай! Не стесняйся.

– Да песню нам спой,– вставил Назир.– Канапия интересуется, как ты поешь.

– Верно, интересуюсь,– подтвердил Канапия.– Говорят, что ты хорошо поешь, а я даже и не слышал. Не стесняйся! Спой!

Легко ли устоять против такого соблазна? Я слез с лошади и сразу же забыл думать и о Нуртазе, и об его сыне, и о краденном баране, который варился в нашем котле. Меня попросили спеть «Заркум» – поэму о легендарной войне Мухаммеда с царем Ирака. Она полна самых невероятных происшествий, и поэтому слушать ее очень интересно. Надо сказать, что в ту тяжелую зиму, когда я впервые очутился у Нуртазы, эта поэма, текст которой я купил за гривенник у проезжего торговца и выучил наизусть, очень выручала меня. Благодаря ей я никогда не ложился спать голодным, потому что, надо отдать справедливость, люди, зазававшие к себе в дом сказителя благочестивых повестей, кормят его досыта.

Итак, я взял домбру и начал петь на сочиненный мною мотив.

Найду ль слова создать стихотворенье?
Простят ли мне ошибки в изложении?
Еще во времена хазрет-Расула
Случилась битва всем на удивленье.

В рассказе не жалею я дыхания.
От слушателей требую вниманья.
Я расскажу легенду о пророке.
Внимайте, люди, музыке сказанья!

Настанет день, и мир покинем, милый,–
На землю не вернуться из могилы.
В Медине четверо друзей пророка
И тысячи асхабов верных жили.

Свои дела оставив в назиданье,
Они ушли от нас в страну преданья.
Их истинный пророк увел на небо...
Однажды в час намаза на собранье.

Они вошли в мечеть большой толпою,
Ведомы путеводною звездою.
И Жабраил слетел к любимцу бога,–
Небес веленье он принес с собою.

Шептал архангел на ухо пророку
Привет от господ, покорность року
И возгласил: «Арабский царь Ирака
Сзывает войско по всему Востоку!

Прослышал шах Заркум твои все планы,
Несет он людям гибель, голод, раны
И смерть! Собрав бесчисленное войско,
Завоевать он хочет ваши страны!

Восстань, пророк! Зови на бой асхабов!
Молись, чтоб милость бога помогла бы!
Кричат верблюды в солнечной Медине,
Боятся сабли только, трус и слабый!»

Когда я пропел эти строки, горячий и легко возбуждающийся Назир не вытерпел, вскочил с места и издал воинственный крик:

– Па-а-ау-ой!

Но Канапия остановил его:

– Не мешай! Не мешай. Это еще только начало.

Я продолжал петь и спел о том, как войско Мухаммеда, проделав трехмесячный путь по проклятой безводной пустыне, наконец добралось до Ирака и напало врасплох на войско проклятого Заркума. Обе стороны посылают на единоборство своих богатырей. Со стороны пророка выходит преподобный Гали – зять Мухаммеда. Это мусульманский Голиаф, рост его сорок аршин. Когда он издает воинственный крик, все падают оглушенные. Его заколдованный меч Зульфугар пробивает землю на семь слоев. Его боевой конь Дульдуй быстрее птицы, его дубина Гурзи весит четыреста двадцать пудов и бьет врагов, как мух. Когда великий хазрет пророка Гали побил всех рыцарей проклятого Заркума, нечестивый высылает на него богатыря Хакана. Выхав на поле битвы, тот обращается к преподобному с такой дерзкой похвалой:

– Эй, – кричит Хакан, – эй, батыр Гали!
Многие к ногам твоим упали,
Но ведь я, Хакан, непобедимый,
Гибели избегнешь ты едва ли...

Тут Назир опять не выдержал и воскликнул обеспокоено:

– Ой-бой! Как бы эта собака в самом деле не побила хазрета.

– Молчи! – приказал Канания, тоже захваченный рассказом. – Послушаем, что дальше.

Ты летаешь по полям сраженья,
Губишь ты врагов без сожаленья.
С башни я следил за ходом битвы,
Все откладывал я час отмщенья.

Но ты старшего убил мне брата,
Младшего, по имени Мульката.
Лопнуло теперь мое терпенье,
В бой несет меня мой конь крылатый!

Ты – храбрейший под небесным сводом,
В мире ты не жил с моим народом,
Надо бы прогнать тебя с презреньем,
Но поклон мой доблести и годам!

Ты теперь заплатишь головою,
Ты теперь заплачешь над судьбою!
Что, безумец, с братьями ты сделал?
Я пришел, и смерть пришла со мною!

– Ах, собака, собака! – покрутил головой Назир. – Что же отвечает Гали?

И только я хотел ответить врагу гневными словами пророка, как вдруг послышался испуганный крик:

– Ой-бой! Скачут! Спасайтесь!

– Голос нашего Таспая! – воскликнул Канания, вскакивая.

– Назир! Ну-ка, посмотри, в чем там дело?

Назир вышел из шалаша и сейчас же вернулся. Теперь лицо его было серым, как пыль.

– Ну, беда! – сказал он. – Со стороны дороги скачет тьма-тьмущая всадников. Во весь опор несутся к нам, не с добром, конечно, спешат. Это нам за овец!

Мы выбежали из шалаша: с той стороны, где стоял гурт, неистово выкрикивая что-то, скакал, убегая, всадник. Это был Таспай, оставленный стеречь гурт. За ним мчалась группа всадников, человек пятьдесят, никак не меньше.

Лицо Назира то бледнело, то желтело. Он весь дрожал. Канания гневно крикнул:

– Не дрожи, щенок! Ступай прочь! Сам себя пугаешь, дурак!

– Но нас трое, а их вон сколько! – пролепетал Назир.

– Я тебе морду разобью в кровь! – вдруг гаркнул Канания, оборачиваясь и занося кулак. – У, ублюдок! Что мы, чурки, что ли? Пусть сунутся! Мы их встретим!

Но, по совести говоря, чем могли мы их встретить? Ничего у нас не было, кроме вил да граблей. Мы даже

ускакать от них и то не могли. У них настоящие кони, а у Канапии не лошади, а замороженные клячи. И все-таки Канапия стоял около шалаша, смотрел на быстро приближающихся всадников и спокойно ждал. Таспай, маленький и жалкий, доскакав до нас, на всем скаку спрыгнул с коня и пополз, как мышь, в пук соломы. Но соломы было так мало, что ноги его торчали наружу. Я тоже стою у входа в шатер и заранее переживаю неотвратимую гибель Канапии – ведь врагов свыше пятидесяти, вооруженных до зубов, а он один, и у него в руках нет даже палки. Всадники тем временем все приближались. Двое скакали впереди – один за другим. Вот уже я ясно различаю первого и, прежде всего, огромную длинную дубину в его руках, занесенную, как пика. Он готовится сразить врага на скаку, под ним вороной низкорослый конь, ноги всадника бьют лошадь по брюху. Назир бросился к косилке и схватил лежащий на земле валик. (Когда не было ничего под рукой, и он мог стать грозным оружием.) Но Канапия не шелохнулся, Он ждал врага с голыми руками. Приблизившись метров на сто, всадник гикнул, взвил над головой сойыл¹ и поскакал уже прямо на Канапию. Тот стоял по-прежнему неподвижно.

С редкой отчетливостью помню я то, что произошло дальше. От страха я бросился в шатер, но только забежал в него, как устыдился и выскочил обратно. Сердце мое билось так, что я слышал его стук. А тем временем всадник на вороном коне доскакал до нас, занес палицу и со всей силой, так, что кругом все загудело, опустил ее на голову Канапии. И случилось чудо, самое настоящее, доподлинное чудо! Произошло что-то такое неуловимое, чего я и понять не смог: всадник проскакал дальше, а его дубина очутилась в руках Канапии. То, что произошло вслед за тем, было еще удивительнее. Я уже говорил, что за первым

¹Сойыл – палица.

всадником скакал второй. На всю жизнь врезалась мне в память его черная борода, Не то он не понял, что произошло, не то не успел вовремя повернуть лошадь, но дубина Канапии просвистела в воздухе, и враг рухнул наземь как срезанный, а Канапия вдруг очутился на его лошади и поскакал навстречу всадникам. И началась потеха! Канапия, почти играя, гнал впереди себя нападающих. Но что было делать с Назиром? Его кто-то ударил по лицу, и он упал, схватившись за расквашенный рот. Я и Таспай, который тихонько успел вылезти из соломы стояли и наблюдали за происходящим.

Об этой битве нужно было писать стихи. Как хазрет Гали, носится по полю на коне сраженного врага Канапия. Где просвистит его дубина, там рушится всадник. Канапия вел себя расчетливо, он не бросался в гущу нападающих, а бил отставших одиночек, то есть он все время сражался один на один и, вероятно, сумел бы благополучно ускакать, если бы не Назир. Тот лежал с разбитым лицом: из носа и рта хлестала кровь. Вокруг него стояли люди и вязали ему руки. Увидев это, Канапия отбросил дубину, подскочил к брату и спрыгнул с лошади.

– Ну и меня вяжите!– сказал он.

Его сразу окружили, схватили, скрутили. Он стоял бледный, со сверкающими глазами, глядел на врагов и молчал. Тут подскочил еще один всадник. Я давно не видел человека страшнее. Это был лупоглазый, черный, рябой великан.

– Ну, сейчас я уж напьюсь твоей кровушки!– сказал он злорадно.– Держись, душа моя! – И занес над головой Канапии крученую ременную плетку – страшное оружие в руку толщиной.

– А ну убери!– закричал вдруг всадник на вороном коне, тот самый, у которого Канапия вырвал дубину. Рябой послушно опустил плетку.– Надо узнать, кто он такой?

Другой, уже немолодой, с проседью в бороде, ответил:

– А что тут еще выяснять? Кончить его, да и все! Пусть ищут виновного! Мало он наших побил, что ли?

– А ну замолчи!– строго приказал всадник.

Он подъехал к Канапии и очень ласково спросил:

– Богатырь мой, светик мой, кто ж ты такой?

– Пленник,– ответил Канапня, еще дрожа от возбуждения,– твой пленник. Что, ослеп? Не видишь, что ли?

– Да ты не злился!– мягко и терпеливо возразил всадник.–Ты лучше назовись, скажи нам свое имя!

– А что мне о себе говорить?– крикнул Канапия.– Я в своем ауле, к тебе в дом не суюсь.

Всадник на вороном коне все смотрел на него.

– Слушай, говорят, здесь есть такой храбрец-жигит сын Тоганаса. Ты о нем не слышал?

Канапия молчал.

– А может, это ты и есть, светик?– Голос всадника звучал все мягче и мягче.– Тебя звать Канапия? Так?

Канапия все молчал.

– Это ты?– спросил всадник, улыбаясь.

– Я,– ответил Канапия и отвернулся.

– Развязать ему руки!– крикнул вдруг предводитель.

В рядах всадников произошло замешательство. Кто-то что-то стал возражать, кто-то вскрикнул: «Зачем же?»

– Молчать!– гаркнул всадник во все горло.– Я вам поговорю! Кто виноват, что его мать родила львом, а вы родились зайцами?

После мы узнали: всадник был известный жигит и силач из рода Кошебе-Балты, кочующего по долине реки Уй. Он возглавлял карательный отряд, посланный баем, чтобы отбить гурт овец, задержанный Канапией.

Прошло лето, а за ним осень. Наступила зима 1912 года. Я по-прежнему не у дел: хожу по домам и читаю на память киссы. А что такое киссы? Это сказки, поэмы, эпические произведения. Сейчас, когда я вспоминаю эту невероятно пеструю литературу, я ее могу разделить на четыре категории, каждая из которых рассчитана на определенного покупателя.

Религиозно-дидактическая литература – поэмы и сказания, проповедующие идеи исламизма, религиозность и подвижничество. Сюда относятся: «Вознесение пророка к престолу господню» (разговоры Мухаммеда с аллахом), «Заркум», «Сал-Сал», книга о газавате – священной войне, «Смерть Магомеда» (религиозные заветы пророка, преподанные им своим ученикам перед смертью).

Ко второму циклу относится литература преимущественно романтического порядка. Это – «Рустам и Зарап», «Жусуп и Злиха», «Лейли и Меджнун», «Сай-фульмалик» и другие.

Третий цикл составляют сказки: «Шахмаран – царь змей», «Золотая рыбка», «Тысяча и одна ночь» и т.д.

И, наконец, четвертая категория, самая, пожалуй, обширная, – это эпос о походах казахских батыров: «Камбар», «Кобланды», «Алпамыс», «Ер-Таргын» и другие, поэмы на романтические темы: «Козы-Корпеш и Баянсулу», «Кыз-Жибек», «Макпал», «Сулушаш» и другие.

Книги эти попадали ко мне разными путями: некоторые я покупал сам, другие же приносили слушатели.

Каждое лето, обыкновенно в августе, к нам в аул прикатывал коробейник. Рябой, здоровенный рыжий татарин с лицом, осыпанным золотистыми веснушками. У него были рыжие усы, рыжая борода клинышком и рыжие густые брови. О своем приезде он извещал гармошкой, звуки которой доносились версты за две от аула. Это была единственная гармонь

в этом конце степи, и, услышав ее залихватские лады, мы бежали со всех ног к околице. Он привозил нам иголки, гребешки, пахучее разноцветное мыло, по две копейки кусок, дешевые, линючие, но очень цветастые ткани, а самое главное – книжки. Это были тоненькие брошюры или толстенные тома в бумажной обложке. Издавало их Казанское издательство братьев Черкасовых и Каримовых, единственное мусульманское издательство. Любая брошюрка стоила пять копеек. За гривенник можно было купить настоящую книгу. Издавались эти книжки очень компактно, почти сплошным текстом, без виньеток, заставок и, конечно; без всяких рисунков, которые запрещает шариат. Мы называли эти брошюры «Таска баскан», то есть книги, выданные на камне. Так понималось в ауле литографское искусство. Были книги и другой категории – стеклографированные ташкентские издания, но у нас они не пользовались спросом. Стеклографированный текст либо сливался так, что было трудно читать, или оттиски получались слабые, неотчетливые.

Покупались книги и на ярмарке, которая устраивалась каждый месяц и продолжалась с неделю, привозили их и из города.

Когда меня звали в какой-нибудь дом читать или петь киссы, я летел туда сломя голову, потому что знал: в этот день я буду сыт. Значит, к хозяину пришли гости, сидят они за столом, едят мясо и ведут важные неторопливые беседы, вот и потребовался им сказитель. Но бывало и так, что, придя в дом, я не мог из него уйти – старики требовали все новых и новых богоугодных рассказов. Я, понимая, что этому не будет конца, старался спастись бегством. Чаще всего это не удавалось, меня ловили, усаживали и заставляли снова петь. Но ведь мне шел только двенадцатый год, разве я мог угодить всем?

Ради справедливости следует сказать, что слушатели мои были людьми добрыми и невзыскательными. Они внимали моим словам, как словам самого пророка, и,

кажется, не видели большой разницы между Кораном и этими киссами. Услышав слова:

Был пророк живым взят в кущи рая,
И в раю, корону надевая,
Богу-другу, у его престола,
Он о верных говорил, рыдая...–

они уже плакали навзрыд.

– О господи! Какие же муки ради нас, недостойных, принял любимый! Разве мы стоим этого? Спаси и помилуй!

Другие слушатели, наоборот, заставляли меня петь о богатырях и войнах, сидели молча, кивали головами, и глаза их светились.

Молодежь же заставляла меня петь про любовь.

Скоро ремесло сказителя перестало меня кормить. Я перепел весь свой репертуар, и приглашения прекратились сами собой. Ведь в Жаман-Шубаре и было-то всего-навсего около шестидесяти домов, из которых добрая половина вообще все киссы на свете считала глупостью и попрошайничеством.

Попробовал я перейти к одному из своих родственников, Иманали, у которого и еды было вдоволь, и жилище было светлое, просторное, но и тут беда: не ужился с его сыном, озорным, бодрым Адвокасом. Он то дружил со мной и играл мне на домбре (несмотря на то, что был моложе меня на два года, он искусно исполнял целый ряд мелодий), то налетал на меня и гнал из дому. «Уходи! Сейчас же, бесприютный пес! Кто звал тебя сюда?» – кричал он мне. Я, конечно, обижался, уходил и скитался из дома в дом. Собственно говоря, я был на побегушках и выполнял поручения всего аула, но и это кормило меня очень скудно. Как всегда, выручил случай.

Однажды зимой я гнал скотину на водопой. Незамерзающий колодец находился за три-четыре версты от аула, и добраться до него зимой было трудно. При-

ходилось идти со скотом по узкой тропинке. И вот на одном из поворотов тропинки я увидел целое стадо коров,двигающихся мне навстречу. Что тут было делать? Коровы бодались, сталкивали друг друга в снег, снег доходил им до брюха. Погонщик оказался позади. Он окликнул меня:

– Эй, Сабит!

Я поглядел и узнал Кайыза Альжанова, молодого, высокого, широкоплечего жигита с серыми глазами! Он был весельчак, борец и перестал заниматься борьбой только после того, как ему сломали плечевые кости. Брат его Али (у них было неразделённое хозяйство, состоящее из сорока лошадей, ста пятидесяти овец и тридцати коров) – полная противоположность ему. Был он человек хилый, богомольный и молчаливый, ненавидящий домбру, как беса преисподней. Поэтому я избегал заходить к ним. Не любил я еще и сноху Кайыза – сварливую, мелочную, скупую бабенку, которая постоянно гнала меня из дому. Но теперь Кайыз сам пригласил меня и еще прибавил:

– Непременно приходи, а то сильно подведешь.

– Зачем?– спросил я.

– Видишь, какое дело, у нас будет Макан, пастух Туртая. Он слышал про твои киссы, очень просил тебя прийти.

Я знал Макана – коренастого парня среднего роста, загорелого, с пробивающейся бородой и усами.

Как только настал вечер, я пошел к братьям. Надо сказать, таких скупцов я еще не видывал,– они даже пятикопеечное ламповое стекло покупали раз в год, а если оно разбивалось не вовремя, ждали следующего года. Пятачок ведь тоже деньги в хозяйстве! Зажигали же они эту лампу только при гостях, в знак особого уважения.

Когда я вошел, женщины стояли у печки и что-то готовили. Увидев меня, старуха крикнула:

– Этот еще куда прет, окаянный!

И сейчас же из соседней комнаты послышался оклик Кайыза:

– Это ты, Сабит? Иди, иди сюда! Мы тебя ждем.

Я вошел. Огромная печь разделяла избу на две половины: грязную – кухню, и чистую, в которой спали и обедали. Через все помещение тянулись широкие дощатые нары. В комнате стоял полумрак и сильно пахло керосином: это в углу чадила коптилка без стекла, и над ней вилась черно-бурая ленточка гари. Только потом в этой тьме я стал различать людей. Кайыз и Макан сидели на нарах один возле другого, благочестивый Али лежал у стены и молчал, видимо, спал. Я поздоровался с хозяином и его гостем.

– Ну, паренек, – сразу же сказал Кайыз, – не будем тратить золотого времени, спой нам какую-нибудь кассу.

Я удивленно посмотрел на него. Как же петь кассы, – когда нет домбры? Но он значительно кивнул в сторону спящего Али, и я понял: о домбре здесь говорить нельзя.

– Начинай! Начинай! – подстегнул меня Кайыз. – Начинай с Алпамыса-батыра.

Былину об Алпамысе я знал давно, с самого детства, но напев выучил недавно от Казыбека Тажиева. Это был замечательный сказитель. Каждую песню он превращал в спектакль. Есть в былине о батыре старик Байбура, так стоило послушать, каким старческим, дребезжащим становится вдруг гибкий голос Тажиева, когда он доходил до его реплик, – менялось не только его лицо, но и вся фигура: старчески западал рот, потухали и становились тусклыми глаза, расслабленно тряслась голова, руки вдруг тяжелели и бессильно опускались вдоль туловища. Зато сам Алпамыс был в его исполнении настоящим богатырем. Тажиев говорил подбоченья, гневно хмурия брови, голос его приобретал силу, резкость и отрывистость. Старуха, одна из героинь этой былины, злая ведьма и колдунья, была в изображении Тажиева горбата, беззуба, она

шипела, шамкала, извивалась, как змея, и ехидничала. Но зато как нежна, как грациозно-стыдлива была чудесная красавица Кульбаршин! Каким мечтательным, задумчивым и чистым делалось лицо сказителя, когда он изображал ее. Короче говоря, у Тажиева я почерпнул очень много: прежде всего, я научился не просто петь, а передавать характер действующих лиц. Сейчас, думая о Тажиеве и вспоминая его замечательные киссы, я все больше и больше убеждаюсь в том, что, получи он образование, живи в наше время, он стал бы большим артистом.

Конечно, до искусства Тажиева мне было далеке, но все-таки я, видимо, в этот раз спел неплохо. Когда я кончил, Макан сказал:

– Вот видишь, аллах счастье у бедняка отнял, а талант оставил. Ничего, ничего! Все выправится! «Козленок без матери хоть и блеет от тоски, но пьет воду. Сирота хоть и в слезах, но растет». – Он ударил меня по плечу. – Очень уж ты мне понравился. Буду жив, станешь и ты жигитом! Ты, говорят, ходишь побираешься. А мне как раз нужен мальчик. А что, – обратился он к хозяину дома, – будет мне хворост в костер подкладывать да книжки читать, вот вся его работа. Одenu его, накормлю. Что, если поговорить об этом с Нуртазой?

– Да ты сначала его самого спроси, – улыбнулся Кайыз. – Что Нуртазу-то спрашивать? Он ему не отец и не дядя.

– Ну как? – обратился ко мне Макан. – Пойдешь со мной?

Я молчал.

– Ну что думаешь? Иди! Будем лошадей пасти. Целый день в степи. Мяса сколько угодно, о сыре и твороге и говорить нечего. Кормить я буду тебя как на убой – самой жирной кониной да супом. Твоя работа только котел кипятить да сказки мне рассказывать. Ну, разве когда лошадь отбившуюся поедешь разыскивать, так опять не пеший, а на коне. Пойдешь?

Я молчал.

– Ну что ж ты думаешь? Ты на себя посмотри – кожа да кости. А у меня сразу станешь человеком.

– И дурак будешь, если не пойдешь, – вставил свое слово Кайыз. – Кроме Макана, над тобой никого не будет. Вдвоем в степи нескучно: ешь, сколько хочешь, да пой киссы. Вот и все дело. А здесь сдохнешь, как собака, с голоду.

Так попал я в пастушеский кош Макана.

ТАБУНЩИК

Кош – походное жилье, крошечная юрта особого рода, палатка, шалаш, словом, нечто такое, где можно переспать ночь, а днем скрыться от дождя и зноя. Кош должен быть легкий и так прост, чтобы его можно было свернуть, переезжая на другое место. Внизу остов – деревянное кольцо с отверстиями для кольев, так называемые шариины, по бокам кольца, покрытые кошмой, вверху дымоход, прикрытый, пока печь не топится, тоже круглым куском кошмы – тундуком, вот и все. Влезть в такую палатку можно только ползком, в ней находится очаг, там варят пищу, обедают. Ставят кош посередине пастбища, и когда стада перекочевывают в другое место, снимают и переносят дальше.

Наш кош стоит в снежной степи, недалеко от озера Дос. Здесь пустое ровное место, по нему гуляют вихри и намечают сугробы. Сугробы высокие, как стены, и расположены зигзагообразно. Лошади бродят по снегу, разгребают его копытами и ищут под ним прошлогоднюю траву. От этого зимний выпас весь покрыт канавками и бугорками, которые издали кажутся похожими на стадо овец.

В нашем табуне около 1200 лошадей, из них 800 принадлежат Туртаю. Что за выносливое животное лошадь! Иногда, когда особенно морозно и ветрено, морда лошади кажется совершенно сизой, а шерсть переливается, как бобровый мех. Ходит эта лошадь,

выискивая корм, по сугробам, проваливается в них чуть не по брюхо, и вдруг заносит правое или левое копыто и начинает разгребать и выбрасывать снег. Лошади работают упорно, каждая на своем участке. И вот через полчаса на тебеневке сугробов уже и в помине нет, а расстилается ровная оледеневшая земля с такой же оледеневшей травой. Когда лошадь ее щиплет и пережевывает, лед хрустит у нее на зубах. Я присматриваюсь к лошадям и узнаю их повадки. Лошади очень нежные матери. Расчистив площадку, они сначала пускают на нее своих жеребят и только потом пасутся сами. Когда вся трава на месте выпаса кончается, приходится перегонять табун на новое место. Это далеко не простое и совсем не легкое дело, ведь весь путь покрыт сугробами. А что под ними – гладкая равнина или впадина, – никогда не узнаешь, пока не ухнешь в снег по пояс, а то и по горло. Лошади, встречая такую невидимую и непреодолимую преграду, останавливаются, топчутся на месте и ни за что не идут дальше. Так и стоит весь табун перед каким-нибудь оврагом, ржет, жметя и не двигается. Очень многое зависит и от того, какой вожак идет впереди. Вожак идет первым по снежной целине, пробивает снег грудью, а вслед за ним по глубокой траншее следует и весь табун.

Так, переходя с места на место, мы и коротали зиму. Макан не солгал, действительно еды нам хватало за глаза. Нет нужды, что у нас была только жирная конина да сухой сыр. По мнению Макана, здоровее конского мяса нет ничего на свете.

– А то как же? – рассуждал Макан. – Вот я целыми днями на холоде, а не мерзну. А почему? Только потому, что конину ем. Привези в эту степь человека, который питается говядиной или овечьим курдюком, он сразу в сосульку превратится. Что, не веришь? Вот возьми котел с супом, – говорил он, – и вынеси его на самый сильный мороз, какое бы мясо в нем ни варилось, жир

сразу застынет коркой, а конский жир только густеет, и все. Или вот – переешь баранины, говядины или верблюжатины, что с тобой будет? Заболеешь, занеможешь, начнешь стонать да охать, да еще, пожалуй, от заворота кишок умрешь. А конина сразу же переваривается, и никакой тяжести в животе от нее не бывает. Нет мяса легче, чем конское! Теперь возьми конское молоко – кумыс. Это же первое средство от чахотки. Тело у лошади стойкое против всякой заразы; ходит она летом по полю, какая только гадость на нее не садится – и комары, и оводы, и мошка, лошадь становится вся в ранах... Другая скотина сейчас же подохла бы, а лошади ничего. Понял? Теперь я тебе другое расскажу, – продолжал Макан. – Несколько лет тому назад поехал я навестить своего дядю. Там тоже степь, а в ней табуны пасутся. В этих степях змей тьматмущая, но пастухи их не боятся. И знаешь почему? Ни одна змея не ужалит ни лошадь, ни человека, если от него конским потом пахнет. Ляжешь спать, разбросай вокруг себя конскую сбрую, змея близко не подползет. Если собрать пот с одного коня, его хватит переморить целое логово змей – все сдохнут. И знаешь почему так? Лошадь – самое благородное животное на свете: мутную воду она не пьет, к стоячей не подойдет, даже в реке, если ей дать волю, доплывет до середины и только там напьется. А теперь посмотри, как лошадь ест: выбирает траву, какая лучше, выше, сочнее. А что может быть здоровее травы!

Макан очень любил лошадей. Он, кажется, не спал бы, не отдыхал бы, все время объезжал бы табуны и смотрел, все ли в порядке.

Если волкам все-таки удавалось выкрасть из табуна какого-нибудь захудалого слабосильного жеребенка, он переживал эту потерю, как свое личное горе. Он часто обижался на хозяина, который то и дело его обманывал при расчетах, но никогда не вымещал обиды на лошадях.

– Лошадь сама по себе, она за него не ответчица, – говорил он.

Одевался он всегда очень легко, постоянно носил круглую шапочку, такую маленькую, что она не закрывала даже макушки, и только в самые трескучие морозы неохотно натягивал огромный казахский малахай – большую теплую шапку-ушанку. В солнечные же дни он и шубы не одевал, – а зима в наших краях стоит лютая. Даже в самые теплые дни градусник показывает 15-20 градусов ниже нуля, а Макану хоть бы хны – ездит нараспашку. Обмораживаться в лютые морозы ему иногда приходилось, но никогда не страдал он от этого. Через несколько дней обмороженное ухо или ладонь начинали шелушиться, и показывалась красная, как медь, кожа. И этим все кончалось. И чем сильнее свирепствовали морозы, тем больше загорало и смуглело, как под жарким солнцем, его постоянно открытое лицо. Стоило посмотреть на то, как по утрам в любую погоду он выходил из шалаша, снимал рубаху и, крикая от наслаждения, растирался снегом до пояса. Ел он только два раза в сутки – утром и в полдень. Зато отбирал самые жирные куски и запивал их жирнейшим супом; пять-шесть горстей мяса, две-три чашки супа – и он сыт на целый день.

Туртай ценил своего пастуха и еды для него не жалел. Работники привозили нам туши молодых жирных кобылиц, головы сыра и кизяк для топки.

Зимой лошади не разбредаются по полю, а медленно переходят от участка к участку, добывая, как я уже говорил, прошлогоднюю траву. Мы в это время сидим с Маканом в нашем коше и поем песни. Я пишу «поем», потому что не только я ему пел, но и он мне. Поет он единственную известную ему поэму «Кор-оглы». Поэма эта в различных вариантах бытует у многих тюркских народов. По-казахски «кор» – могила, и, значит, «Кор-оглы» – «Сын могилы». Сюжет поэмы таков: в могиле у мертвой матери рождается младенец. Он растет не по

дням, а по часам и каждую ночь через вырытый лаз выходит из могилы, а ночью опять возвращается к матери и сосет ее грудь. Так проходит сорок дней. За это время младенец становится богатырем. И вот когда он на сороковую ночь возвращается к матери, то видит: на могиле лежит дракон и закрывает лаз, по которому он спускался в могилу. Происходит битва, дракон побеждает, батыр принужден отступить. Он уходит с родной могилы, встает на колени и, плача, обращается к умершей, прося дать ему в последний раз отведать материнского молока. Этот плач сироты, пожалуй, одна из самых сильных лирических песен казахского фольклора. Если ее исполняет хороший певец, старики и взрослые плачут навзрыд, слушая жалобные, полные безнадежной тоски мольбы богатыря, которому не найти приюта даже в материнской могиле.

А кроме того, Макан знал много сказок, легенд и достоверных историй, которые рассказывал мне в длинные зимние вечера.

Вот одна из них, удивительная, но совершенно достоверная история о чудесном жеребце, по кличке Ак-Жамбас!¹

АК-ЖАМБАС

Ак-Жамбас – так звали одного из жеребцов Туртая. У этой клички было свое происхождение. Однажды летом из табуна, оборвав веревку, убежал в степь взбесившийся верблюд (бура). Бесятся верблюды во время спаривания, и тогда это смиреннейшее, неприхотливое, терпеливейшее животное, с которым легко справляется каждый ребенок, становится хитрым, свирепым, а главное, злопамятным. Поистине нет в степи более страшного беса, чем этот взбесившийся верблюд. Он способен, без усталости, упорно гнать

¹Ак-Жамбас – белая берцовая кость.

человека до тех пор, пока тот не упадет в изнеможении. И тогда бура загрызет его.

Итак, из табуна Туртая сбежал бешеный верблюд, и его надо было поймать во что бы то ни стало. По слухам, он находился в соседнем табуне другого бая, но кто осмелится вступить в единоборство с этим шайтаном и набросить ему на шею петлю? Выбор пал на Бакея, тоже пастуха. «Ну что ж! Я, пожалуй, съезжу за ним, – говорит Бакей, – но мне надо такого коня, чтобы я не только мог догнать этого дьявола, но, в случае чего, и ускакать от него». Выбрали гнедого жеребца. Бакей несколько дней объезжал его, потом подтянул подпругу, выбрал длинную березовую дубину, специально высушенную для того, чтобы ее легче было держать в руках, и отправился за беглецом. Но бура, еще издали увидев пастуха, вскочил на ноги и бросился на него. Бакей, подпустив верблюда, огрел его по шее дубиной и помчался наутек. Обозленный бура побежал за ним, но тут Бакей, улучив момент, снова треснул его по боку и опять отскочил в сторону. Он мог бы его свалить одним ударом по голове, но хозяин строго-настрого приказал доставить беглеца живьем. Однако справиться один на один с взбешенным верблюдом невозможно. Оставалось спрятаться и переждать, потому что бегством от буры не спасешься, – он неутомим в преследовании. За десять верст возле небольшой рощицы находилось пустующее зимовье. Вот Бакей и поскакал туда. Чтобы выиграть время, он завлек верблюда в болото, а сам поскакал напрямик. Пока верблюд барахтался в топи, Бакей влетел во двор пустого дома (в ауле все откочевали на пастбища), накрепко запер ворота, ввел коня в дом и заложил вход бревнами. Бура высадил грудью ворота, влетел во двор и залег около самых дверей дома. Так он пролежал, не двигаясь, двое суток. Бакей два дня не пил и не ел, сено для лошади доставал через окно. На третьи сутки бура отошел от двери, вышел из ворот и стал пастись недалеко от дома, обирая колючки какого-то бурьяна.

Воспользовавшись этим, Бакей незаметно вывел жеребца и выскочил через задние ворота. Только этим он и спасся. Верблюда потом поймали, вернули в табун. Но история на этом не кончилась. Через год верблюд, случайно встретив жеребца (а ведь в табуне не одна сотня лошадей), бросился на него. Между конем и верблюдом произошло настоящее единоборство: жеребец вырвал кусок мяса с передней ноги верблюда, а верблюд нанес ему глубокую рану в бедро. И когда рана зажила, шерсть на ней выросла седая, белая. С тех пор жеребца и зовут Ак-Жамбас.

И дальше Макан рассказал, какой удивительный этот жеребец. К его косяку не смеет приблизиться ни волк, ни конокрад. Он с одинаковой яростью бросается как на голодного зверя, так и на незнакомого человека. Даже если незнакомец подберется на лошади, то и тогда он сумеет сорвать его зубами с седла или искушать коня. На чужих жеребцов Ак-Жамбас не нападает, чужих кобыл не отбивает, но и другие жеребцы не смеют приставать к нему.

– А пристанут раз,– прибавляет Макан,– так потом век не забудут.

В первый же день моего появления на пастбище Макан показал мне Ак-Жамбаса издали. Это был действительно не конь, а чудо: статный, высокий, на голову выше всего табуна, с гривой по колено, с длинным густым хвостом.

– Ты смотри, близко к нему не подходи,– предупредил Макан.– Он тебя еще не знает, пусть попрыгает.

Ак-Жамбас привык ко мне скоро. Сначала еще косился недружелюбным взглядом, храпел, а потом вовсе перестал обращать внимание.

Дни шли за днями. Я варил обед для Макана и днем помогал ему пасти лошадей. Предсказание Макана сбылось: я быстро поправился, лицо мое округлилось. Я уже мало походил на того беспризорника, которого хозяйки гнали от порога к порогу. Привык я к степи,

которая сначала угнетала меня своим однообразием, и к одиночеству, хотя, по правде сказать, это было самое трудное. Страшно было оставаться одному в коше по ночам, волки рыскают около самого коша, отыскивают и гложут вываренные лошадиные кости. Правда, они никогда не смели сунуться в самую палатку. «Волк боится запаха гари, – верят казахи, – и в черный, то есть в закопченный, кош не сунется», но все равно я боялся оставаться один и все время просил, чтобы Макан брал меня с собой сторожить табуны. И еще пугали бураны. Макан угадывал заранее их приближение.

– Ну, паренек, – говорил он, – держись! Завтра опять завертит, слышишь, как лошади храпят! Надо сгонять их в один табун, а то потом и не соберешь.

Одна буря мне особенно памятна. Макан вернулся с объезда и сообщил, что лошади храпят, собираются скопом, подбирают животы. Это не к добру. Надо пообедать пораньше, одеться потеплее и отогнать лошадей на новое место, где корма побольше, а то как бы во время метели ноги не поломали бы в ямах.

Так мы и сделали: поели, оделись потеплее, сели на коней (у Мукана для таких случаев постоянно наготове два оседланных коня) и поскакали собирать табун. Макан словно в воду глядел: еще и ночь не успела спуститься, как закрутила метель. Я сразу же ослеп и оглох. Было темно. Крутящиеся вихри скрывали даже голову моей лошади. Было трудно дышать. Макана я потерял, метель крутила меня по полю. Я не знал, где нахожусь и где табун, помнил только одно: надо крепче держаться за гриву, иначе выбросит из седла. На счастье, жеребец мне попался хороший, и я, помня наставления Макана, кинул поводья, дав ему полную свободу.

О, какая же это была долгая, проклятая нескончаемая ночь! Я все кружил, кружил по полю, куда-то ехал, не видя и не слыша ничего. И мне уже не верилось, что может наступить этому конец. Но конец бывает всему, и шайтаны-то, по словам стариков, шныряют только ночью. Взошло солнце, ветер утих,

и я увидел, что нахожусь в центре табуна, а мой жеребец спокойно пасется посередине уже расчищенной от снега прогалины.

К полудню буран прекратился вовсе, и я начал сгонять разбредшихся по полю лошадей. И тут мне сразу бросилось в глаза, что недостает многих лошадей. Стал искать Макана, его тоже не было. Куда же он мог деться? До вечера я ничего не мог понять и потерянно кружился по степи. Только когда уже стемнело, я вдруг услышал топот и увидел, что на меня несется табун: Макан гнал отбившийся косяк.

– А косяк Ак-Жамбаса здесь? – крикнул он мне с седла.

Я ответил, что нет. Макан беспомощно взмахнул руками и побледнел.

– Ну, пришла божья кара, – сказал он. – Как же так вышло?

Я пожал плечами.

– Ну ладно, оставайся тут, я пойду проверять табуны.

Скрип копыт по снегу, ржанье – то залиvistое, то короткое, как хозяйский окрик, то тонкое, как крик ребенка, – стояло над степью. Это матки, потерявшие жеребят, и вожаки, не сумевшие сохранить косяки, сзывали отставших. Косяк распадался и перестраивался. Макан объехал все стадо и вернулся обратно.

– Ну, и впрямь божья кара! – сказал он. – Около сорока лошадей нет, целиком весь косяк Ак-Жамбаса пропал, да из других косяков лошадей одиннадцать. Значит, с Ак-Жамбасом случилась беда.

– Какая беда? – спросил я.

– Волки напали, вот какая беда, – сердито огрызнулся Макан.

– А может, его косяк в топь попал? – спросил я. За день до этого мы с Маканом объезжали стадо и на самом краю поля заметили следы двух волков. Мы поехали по ним, думая обнаружить волчье лежбище, и вдруг наткнулись на топкое солоноватое озеро.

– Несешь ты черт знает что! – окончательно рассердился Макан. – Ак-Жамбас умнее нас с тобой. Он

никогда не терял ни одной кобылицы. У него всегда весь косяк вместе. Нет! Нет! Не иначе как только волки.

Он опустил голову и задумался.

– Так куда же он мог все-таки уйти? Те волки шли к озеру Атантай. Там густой камыш, как раз место для волчьего лежбища. Есть еще место, где они живут, – это озеро Шокшалы, но туда волки лошадей не погонят: оно с ветреной стороны. Значит, надо искать косяк только около Атантая, туда они его и погнажи.

– А зачем погнажи? – опять спросил я, ничего не понимая толком. Макан говорил о волках, как о разумных существах, почти как о табунщиках.

– Ах, господи! Ты что, совсем не соображаешь?! – воскликнул Макан с настоящей досадой. – Да потому, что волки нападают только на отбившихся от табуна лошадей, на целый косяк никогда не нападут. Вот они и ловчат: окружают косяк и гонят его в топь или в овраг, а там уж разделяются с каждой лошадей поодиночке. – Он задумался. – Да, да! Не иначе как на Атантай. Ты оставайся здесь, а я поеду. Смотри, не давай разбредаться лошадей. Сейчас они проголодались, будут целую ночь пастись смирно, не поднимая головы. Оставайся, не бойся: если человек при табуне, волки никогда не нападут.

И он ускакал.

По правде сказать, очень трудно пришлось мне в эту ночь. Ведь я больше суток проторчал в седле, больше суток не ел и не спал и поэтому чуть не падал от усталости. Пошел бы в кош, да волков боялся. Мне казалось, что они бродят вокруг коша или подбираются к самому табуну. Кучи снега, сбитые копытами, сухие и белые кусты курая, просто бугры – все, все мне казалось волками, подбирающимися ко мне на брюхе. И вот я заставляю свою кобылу (а я уже успел переменить лошадей) безостановочно блуждать по полю. Метели нет, а я все кружу, кружу и кружу. Так прошло полчаса, потом час. Курай же оставался кураем,

сугробы сугробами, и я успокоился, и веки мои начали тяжелеть. Светит полная луна, ветра нет и в помине, воздух тих, прозрачен, остро пахнет свежестью, и такое безмолвие, что если сорвется с курая пласт снега, то и это слышно. Лошади бродят или спят стоя, задремала и моя кобылка. Я закрыл глаза и...

– А, попался! – раздалось около моего уха, и мгновенно кто-то сильный и свирепый рывком выбил меня из седла, бросил поперек лошади и, закутав с головой, помчал по полю...

«Конокрады», – подумал я и затих.

– Мальчик! – вдруг раздался надо мной тот же страшный голос. – Если я тебя отпущу, отдашь мне половину табуна?

Голос был неестественно грубым, я сразу все понял и закричал:

– Дядя Макан, пусти, а то я задохнусь!

Макан захохотал и скинул с меня армяк.

– Ну, напугался? Наверно, чуть жив от страха?

– Нашелся Ак-Жамбас? – спросил я.

– Нашелся! Нашелся! – весело ответил Макан. –

Ладно, идем в кош, а то проголодались, там уж я все тебе расскажу.

– А волков не боишься? – спросил я, подходя к кобыле.

– А волки тоже устали, спать пошли. Поехали, не мешкай!

Кош был завален снегом до самой макушки, и нам его пришлось буквально раскапывать, зато потом все пошло быстрее быстрого. Кизяк – очень жаркое топливо, был он у нас всегда в достаточном количестве, растопка оказалась сухой, появился и мешок с аварийным запасом конины. Это был наш постоянный обычай – обязательно, на всякий случай, в углу палатки должен лежать про запас самый жирный кусок мяса или казы¹. Одним словом, самые лакомые и питательные куски.

¹Казы – брюшное сало с ребрами, из него готовится конская колбаса.

И вот, наевшись досыта, Макан начал рассказывать. Говорил он долго, нарочно останавливался на самых интересных местах (он любил иногда похвастаться), а потом вдруг объявил неожиданно перерыв и закончил рассказ уже утром, после того как выспался и обтерся до пояса снегом. Здесь я сжато передаю все, что услышал от Макана.

– Ну, как ты знаешь, поскакал я к озеру Атантай и верст через пять вдруг наткнулся на следы косяка. Весь снег в этом месте был так сбит копытами и перемешан, что я сразу понял, вот здесь лошадей вспугнули волки и они шарахнулись в сторону и побежали. Произошло это все еще до бурана или во время него. Следы были заметены снегом. Сколько было волков, я сосчитать не мог, но никак меньше десяти. Слез я с лошади, стал рассматривать следы и понял, что произошло: волки окружили косяк со всех сторон и гнали его по сугробам, лошади сбились, сгрудились и скакали, прижавшись друг к другу, – так у них всегда бывает, когда косяку грозит опасность. По этим же следам было видно и другое: и сзади, и спереди, и с боков косяка скакала одна и та же лошадь и поочередно бросалась на волков. Видно было, что как только волки прорывались к стаду, они всегда натыкались на копыта и зубы вожака. «Эх, моя лошадка, – подумал я, – одна-одинешенька, отбиваешься ты изо всех сил, а врагов-то много; одного волка убьешь, девять останется, пятерых убьешь, и то пять останется – не выдержишь, обессиленная, свалишься, и тут-то тебя растерзают в клочья». И так мне горько от этих мыслей стало. Скачу дальше и вдруг слышу: заржала где-то лошадь, но только где-то очень, очень далеко. Я ушам своим не поверил, остановил коня, сижу в седле, прислушиваюсь: точно, это ржет Ак-Жамбас. «О аллах, – воскликнул я, – благородный конь, слава Всевышнему, ты еще жив!»

И пока я так стоял, прислушиваясь, жеребец подомной отдохнул и поскакал по глубокому снегу – уверенно, как по дороге.

И тут я увидел весь косяк, а в стороне от него, проваливаясь в снег по брюхо, метнулось при виде меня несколько матерых волков. А Ак-Жамбас поднял морду и заржал. – Тут Макан остановился и всхлипнул.

– Ну что ты, – спросил я, – ведь все кончилось благополучно?

– Ну как же мне не плакать, – ответил Макан, вытирая слезы, – стоял мой жеребец весь в поту, в пене, от него пар валил клубами. Запоздай я на полчаса, он рухнул бы в снег и волки разорвали бы его на части, – он уж совсем выбился из сил. Я быстро побежал к нему, вытер ему глаза, накрыл армяком, снял с жеребца уздечку и взнуздал. Потом я осмотрелся и догадался, что тут произошло: если волк был спереди, Ак-Жамбас бил его передними ногами, если заходил сзади – просто лягал.

– Но почему же волки дальше лошадей не погнали? – спросил я.

– А вот почему, – сквозь слезы улыбнулся Макан. – Оказывается, косяк стоял в десяти шагах от оврага. Если бы Ак-Жамбас не остановил косяк, все бы лошади полетели вниз и волки живо расправились бы с ними. Вот он, мой красавец, и остановился около самой пропасти. И выходит – вперед ни шагу уже нельзя.

– А обратно? – спросил я.

– А обратно ж волки! – воскликнул Макан. – Они свое на уме держат – загнать коней в овраг, пусть они ноги поломают, тогда им и конец. Вот какой их расчет был. А жеребец оказался умнее: дошел до края и остановился. Видишь, что получается?

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ

Так проходили дни. Теперь я был уверен, что самая лучшая профессия на свете – это быть табунщиком, самое большое счастье – это пасти коней. И если бы не случай, то я, верно, так бы и остался пастухом. Но говорят же: «Коль уж не повезет, то и супом зубы поломаешь». Так случилось и со мной.

– Светик мой,– сказал мне однажды Макан,– надо мне на день-другой съездить в Жаман-Шубар: белье там постирать, в баньке вымыться, ну и еще разные такие дела, а вместо себя пришлю человека, ладно?

– Хорошо,– сказал я,– поезжай! Мы и без тебя управимся.

К этому времени я уж привык к степи, к лошадям, перестал бояться волков, и мне казалось все нипочем.

– Ну вот и отлично!– похвалил меня Макан.– Ты у меня совсем взрослым стал. Но помни, за табуном хорошо следить надо. Сам знаешь, сколько волков здесь появилось. Так ты от табуна, пока не приедет мой человек, ни на шаг не отходи, а если волки нападут, не пугайся. Отогнать их нетрудно, они боятся огня. Найди-ка ты палку посуше да подлиннее и воткни ее в печку, в кизяк, пусть себе понемножечку тлеет, как волки подойдут, выхватывай палку да беги прямо на них. Только прямо на них беги! Не бойся! Они сразу, как зайцы, без оглядки убегут.

Вот как, оказывается, просто избавиться от волков! Буду знать. Макан поймал для меня сильную смирную лошадку, а ту, что была подо мной, отогнал в табун, попрощался и ускакал. Остался я один, и вся храбрость с меня слетела. Палка-то, конечно, палкой, но почему Макан с таким значением говорил о волках? Зачем объяснял, как одному бороться (легко сказать!) с целой волчьей стаей? Видно, он знал что-то, да не договорил до конца. На сердце у меня стало очень беспокойно. Некоторое время мне всюду чудились волки. Я едва дождался посланного Маканом пастуха.

Он приехал еще дотемна, и я узнал в нем знакомого жаман-шубаровца Бекена Айтлесова. Даже не взглянув на табун, он сразу же бросился в угол, где у нас лежало мясо, и с торжеством выволок из угла целый бараний курдюк, только что присланный Туртаем. Он взглянул на него и даже зажмурился от удовольствия.

– Ты смотри,– воскликнул он,– как кормит вас старый черт! А дома у него и голой кости не допросишься. Ну хорошо! Я сейчас с ним поквитаюсь. Парень, вздуй-ка огонь! Положи в котел мясо, да полнее, полнее, чтоб да краев было.

Что тут было делать? Ослушаться я не мог. Он был пастухом, а я всего-навсего подпаском. Я раздул огонь, набил котел снегом и положил столько мяса, сколько мы обычно клали на двоих. Но Бекен, следивший за мной, вдруг закричал:

– Эй! Эй! Что ты делаешь? Что такое кладешь? Что я, кот, что ли? Для чего я приехал, скажи на милость? Ну?

Я молчал, а он сурово нахмурился и ответил:

– Я приехал мяса наесться досыта! Вот для чего. А ну-ка давай нож! Я тебе покажу, как надо резать.

И он стал кромсать огромные куски баранины и конины и доверху набил ими котел. Этого не мог бы одолеть ни один обжора на свете, но Бекен посмотрел и остался доволен.

– Ну, я объеду табуны, а ты вари! – крикнул он мне, уходя.– Скорее! Я голоден как волк.

Ездил он долго. Когда котел вскипел, мясо разбухло и полезло из котла, я подумал: «Если варить так, верхние куски останутся непроваренными, если стоять и перемешивать, уйдет бог знает сколько времени, а Бекен вот-вот возвратится». Поэтому, на свой страх и риск, я вынул лишние куски, но котел все равно остался набитым доверху. «Неужели ему этого не хватит?»– подумал я.

Пришел Бекен, обрадованно воскликнул:

– Как, уже готово?– Подошел к котлу, заглянул в него, схватил черпак, начал мешать и вдруг закричал:

– А филе где? Где грудинка? Ребро? Ах ты мошенник! Уже сожрал!

Я стал ему объяснять, что мясо не поместилось в котле, пришлось часть вынуть. Тут он рассердился так, что наскочил на меня с кулаками.

– Вот пес!– крикнул он.– Хозяйское добро бережешь! Боишься, что хозяин обеднеет. Клади сейчас же все обратно! Живо! Живо, слышишь? Пусть доварится, я подожду.

Что было делать? Пришлось подчиниться.

– Неужели все съешь?– спросил я, когда котел опять был битком набит.

– Не твое дело! Помалкивай! – зыкнул он.– Смотри у меня!

Я чуть замешкался у котла. Прямо рука не поднималась губить столько добра, но Бекен вскочил и подошел ко мне.

– Опять половину собираешься спрятать? Смотри, морду разобью! Сразу узнаешь, кто я такой!

Между тем куски мяса, лежавшие внизу, сварились. Я вынул их, залил подливкой, положил на блюдо и стал крошить, но Бекен не дождался, пока я кончу резать, он хватал все, что лежало на блюде: мясо, сало, хрящи – и глотал их, как волк, не разжевывая. Зачерпнет полные пригоршни, проглотит, снова зачерпнет и снова набивает рот, да так жадно, что чуть не давится. Он уплетает, а я все крошу. Есть такая казахская присказка: «Один обжора на званом пиру ел, ел мясо – да и подавился куском. «Что такое с ним?»– спрашивает хозяин сидящего рядом гостя. «Подавился, и все!»– равнодушно отвечает сосед.– Кусок не лезет а он пихает, ну, а глотка ведь не аллах, это только тот ничем не давится».

Бекен тоже стал давиться. Сначала он ел пригоршнями, затем стал брать в рот по большому куску, через некоторое время перешел на кусочки, а потом вздохнул, опустил руки и сказал:

– Нет, не могу, не лезет!

А ведь он съел только половину, другая половина еще кипела и подпрыгивала в котле.

– А с тем что же делать?– спросил я, кивая на котел.

– Завтра, завтра,– ответил он мне невнятно.– Завтра утром будем есть...

– А бульон,– спросил я.– Он ведь сыром приправлен, может, ты...

– Издеваться, собака, вздумал!– вскочил Беден, но тут же ойкнул, схватился за живот и повалился набок. Он уже не мог ни кричать, ни двигаться, его распирало. Вечером он пришел немного в себя, охая, выполз из коша и сел на лошадь.

– Поеду к табунам,– сказал он.

Вид у него был такой скверный, что я предложил:

– А может, мне поехать?

– Не надо! Ложись и спи,– проговорил он, с трудом ворочая языком.– Встанешь пораньше, согреешь бульон и мясо.

Я лег и, верно, крепко заснул, а проснулся от истошного крика. Не понимая ничего, я выбежал наружу. У входа стояла лошадь Бекена, хозяин ее свесился с седла, мычал, метался, изрыгая остатки съеденного. Он мотал головой, лоб его был покрыт крупными каплями пота. В эту минуту мне показалось, что он умирает.

– Бекен, дать тебе что-нибудь?– закричал я испуганно.

Но он с отвращением махнул рукой и отвернулся от меня.

– Издеваться, щенок!– прошептал он страдальчески.– Ну, погоди, я встану..

Где ему было встать! Он двигаться и то не мог. Кое-как я помог ему слезть с лошади, чуть ли не под мышки, волоча по земле, притащил в кош, положил на кошму и прикрыл овчинами. Он поворочался, поворочался, поохал, постонал и наконец забылся в тревожном, горячечном сне. Я тоже прикорнул у очага, но только закрыл глаза, как услышал залиvistое ржанье целого табуна. Я выбежал наружу, вскочил на своего конька и стремглав понесся в ту сторону, откуда раздавалось это ржанье, полное такой боли и ужаса, что меня мороз пробирал по коже. Лошади, разбредшиеся в разные стороны в поисках корма, теперь сбивались в

один табун, теснили друг друга и ржали. Мимо меня, поминутно завязая в снегу то по щиколотку, то по колено, пробежал целый косяк лошадей. Я проехал сотню шагов и застыл от ужаса: два волка терзали еще живую лошадь. Один из них, огромный матерый, величиной с большую телку, вцепился в горло жертвы; другой же, располозовав ей брюхо, вытягивал кишки. Вся шерсть его была в крови. Лошадь билась на снегу и отчаянно ржала. Я вспомнил рассказы Макана: волк, задрав лошадь, прежде всего выпускает у нее кишки, а она еще жива и ржет. Весь снег был пропитан кровью и казался багряно-черным. На меня волки даже не обратили внимания, только тот, что рвал горло несчастной жертвы, скосил разбойничай светлый глаз.

«Огня!» – вспомнил я. Повернул лошадь, тоже полумертвую от страха, и поскакал обратно.

Бекен лежал на кошме и стонал по-прежнему. Когда я сказал, что волки задрали лошадь и нам теперь несдобровать, он только слабо махнул рукой и вяло выругался: – Что лошадь! Я сам еле жив. Шайтан с ней. Что я, нанимался им, что ли? Поезжай ты.

Я вытащил из печи тлеющую палку и поскакал обратно, но уже не застал ни лошади, ни волков.

На следующий день приехал Макан. Когда я ему рассказал, в чем дело и каким образом я потерял одну лошадь, он сразу переменялся в лице.

– Это очень плохо, мой милый, – сказал он. – Не пощадит тебя хозяин. Ты знаешь, какая он собака.

Мне стало ясно, что, хотя за пастуха оставался Бекен, отвечать за все буду я.

На другое утро меня разбудил чей-то голос. Стоя возле коша, хозяин гневно, хотя и не очень громко, выговаривал Макану:

– И зачем ты с ним связался? Он же всюду приносит несчастье! Его в дом пустить, что беду впустить. Хорошо, что только одну лошадь волки зарезали, а

если бы целый косяк в овраг загнали? Чтоб его сегодня же тут не было. Слышишь?

Потом он зашел в кош, посмотрел на меня, гневно сплюнул и сразу набросился на притихшего и только слабо стонущего Бекена.

– Ты что, жрать сюда, что ли, приехал? Ишь наперся, еле дышит. Вон отсюда, бездельник!

Он еще покричал немного, а потом оседлал лошадь и вместе с Маканом поехал осматривать табуны, А вечером Макан запаковал мои вещи, посадил в сани и виновато сказал:

– А на меня не сердись: я тут ни при чем. Слышал, что хозяин говорит?

Вот таким образом я и не сделался пастухом.

Макан жив и по сей день. Ему недавно исполнилось восемьдесят лет. Он живет в том же самом ауле, только называется теперь этот аул Жана Жол, то есть Новый Путь. Последний раз я его видел летом 1964 года. Застал я его за работой – он косил. Взмахи руки старика были точными и сильными, трава так и ложилась полосами.

– Ну, дядя, ты еще силен! – сказал я.

Он остановился, перевел дыхание, провел рукой по лицу, по редкой жесткой бороде (только кое-где в ней серебрились белые нити).

– Аллах! – ответил он спокойно. – Не дал мне аллах детей, вот я и кошу сам.

– Да уж пора бы и на отдых, дядя! В ваши-то годы...

– А что мои годы? – вскинул он на меня глаза. – Мои годы не так уж велики. Отец-то почти до ста дожил! А косу бросил только за год до смерти.

– Ну, пошли же и вам силы, аксакал! – сказал я.

– Пошли, пошли, – сказал он равнодушно и снова взялся за косу.

ЛЮБОВЬ К ПЕСНЕ

ЗНАХАРКА КЫМБАТ

От дяди я убежал, от Нуртазы ушел, Туртай меня прогнал, так как же я буду теперь жить? Надо сказать, что мнение моих земляков на этот счет разошлось.

– Ему что горевать? У него дед был баксы, и сам он будет баксы,– говорят одни.

– Куда ему до баксы!– презрительно возражают другие.– Ты на его морду посмотри: круглая, как колесо, румяная, постоянно зубы скалит. Разве такие колдуны бывают?

Про то, что я буду баксы, наверно, говорят не только оттого, что у меня был дед знахарь, но и потому, что я сам бываю у знахарки.

Зовут знахарку Кымбат. Это сухонькая женщина, похожая на малокровную девочку, тщедушная, слабая, с крошечным личиком, на котором сидит тонкий и острый, как шило, нос. У нее ярко-рыжие волосы, глазки маленькие, но пронзительные, как буравчики.

На шее у колдуньи зияет темный провал,– именно не ямка, а провал,– так же темны и впадины на висках. Она одинока, у нее ни мужа, ни детей. Одноаульцы охотно и подробно рассказывают о ее муже. Он тоже был колдуном, и, наверно, поэтому на могиле его (он похоронен у озера Дос) не растет трава. Люди об этом толкуют разное, но все согласны, что это неспроста.

Одни говорят: «На могиле настоящего знахаря трава никогда не вырастет». Другие возражают: «Не в том дело, что знахарь, а в том, что у него не было детей, от этого и могила голая». Может быть, так, может быть, этак, но одинокая, мертвенно-сухая глинистая насыпь среди веселых зеленых холмиков и до сих пор стоит у меня перед глазами.

Чокан Валиханов пишет: «Девяносто девять баксы из ста – просто шарлатаны». Значит, он допускает, что один из ста колдунов все же обладает какой-то силой, и, конечно, это так. Не так уж редко среди них попадаются настоящие и очень сильные гипнотизеры. Я нисколько не сомневаюсь, что Кымбат обладала незаурядной силой внушения. Печать отрешенности от мира лежала на ней еще с детства. Девочкой она охотно ночевала на кладбище (куда, напоминая, вход женщинам воспрещен), летом убегала от людей и ходила по пустым, обезлюдившим зимовкам. Верно, поэтому отец, отчаявшийся пристроить свою сумасшедшую дочку за хорошего человека, выдал ее за такого же колдуна, как и она, и даже калыма не взял. Так они и жили одиноко – колдун со своей колдуньей, пока колдун не умер, передав жене свою «силу».

Я знаю много рассказов о чудесной силе Кымбат, но расскажу только об одном случае, происшедшем у меня на глазах. Однажды летом в нашем ауле начался переполох: сошел с ума Байдильда. Кто такой Байдильда? Это пятый сын нашего одноаульчанина Коцигула, во всем похожий на своих братьев, то есть такой же сильный, огромный, рослый. Ему двадцать пять лет, он батрачит, и хозяева говорят о нем:

– Он один работает за пятерых. Корову из колодца вытащит, дикого коня руками поймает.

И вот этот-то парень сошел с ума! Обстоятельства, при которых это произошло, тоже примечательны. Я уж говорил, что около моего родного аула было полное безлесье, голая степь, песок, а летом одна осока да

болотная ива – ни лесины, ни полена дров. Положим, без дров-то мы обходились – топили кизяками, а вот без строевого леса жить было невозможно, его приходилось воровать. Ближайший лес был полужазовый, полужаженный, находился он от нашего зимовья верст за тридцать. И сборы за лесом походили на подготовку к военному походу, да оно, собственно говоря, так и было: собираясь в этот лес, жаманшубаровцы ехали на кровопролитное столкновение с врагом, на бой не на жизнь, а на смерть.

Воровать лес надо умеючи, чаще всего для этого пользовались отвлечением внимания. Посылали разведчиков, которые заманивали лесников совсем в другую сторону, и когда обманутые сторожа понимали, в чем дело, тяжело нагруженные волю уже неторопливо шли по жаманшубаровской дороге.

И вот в один из таких удачных набегов, собственно говоря, даже после него, когда молодые парни по дороге домой шутили и боролись друг с другом, вдруг мирно дремавший в телеге Байдильда с истощенным криком спрыгнул на землю и вприпрыжку бросился бежать неведомо куда. Сначала думали, что ему во сне что-нибудь почудилось. Но когда люди наконец бросались за ним, поймали, связали, они поняли, что он сошел с ума. Служил этот Байдильда у Нуртазы, ехал на его арбе, и поэтому, поговорив между собой, жигиты послали к его хозяину верхового. Нуртаза прислал тарантас, запряженный двумя лошадьми, и приказал везти безумного не к себе, а к брату больного, Калену, верст за двенадцать от нас. С тех пор страх навис над нашим аулом, как грозная туча. Жигиты уехали к больному, а женщины и дети дрожали, боялись темноты и ходили ночевать друг к другу. Так прошла неделя, а болезнь Байдильды становилась все тяжелее. Сначала его просто связывали, а когда он начал рвать на себе веревки, его стали пеленать в кошму и уж после вязать веревками. Но он зубами рвал кошму, бился и

все-таки развязывался. Тогда его стали привязывать к остоу телеги. Он все равно отвязывался. Послали за Кымбат, но она была в отъезде, у других больных. Когда ее отыскивали посланные за ней верховые, она выслушала все и сказала:

– Нет, сейчас не поеду! Все мои главные духи в разгоне. Пусть соберутся.

Духи ее собрались примерно через неделю. И она не приехала, а примчалась, не вошла, а ворвалась с гиком, с шумом, вся изгибаясь, вопя что-то совершенно несурзное. Так вопит раздираемая волком коза. Как ветер, летела она по улицам, соскочила на всем ходу с коня и, беснуясь, вопя, хрипя, приплясывая и размахивая плеткой над головой, ворвалась в шалаш, где лежал больной, связанный по рукам и ногам. Больной увидел ее и закричал: «Апатай! Не бей! Не бей меня!»

А через пять дней Байдильду развязали, и он стал тихим, покорным и послушным, как теленок. Потом я интересовался, как же его лечила Кымбат. И мне рассказали вот что.

Связав больного ремнями, она поставила его на ноги и приказала двум жигитам крутить его вокруг себя до тех пор, пока у парня не закружится голова и он лишится чувств. Затем она раздела его донага, обернула в овчины, а поверх закутала в войлок и положила в глубокую яму.

– Если больной застонет или закричит, немедленно бегите ко мне! – приказала она человеку, приставленному к бесноватому. Но больной не подавал голоса. Он спал целые сутки и только потом, пробудившись и придя в себя, спросил: «В чем дело? Что случилось?».

После этого Кымбат спустилась в яму, развязала больного и вывела наружу. Этим и кончилось ее лечение.

Не знаю, что помогло – потрясение, или длительный сон, или что другое, но Байдильда исцелился.

Итак, я бегаю к бабушке Кымбат, провожу у нее целые вечера и прислушиваюсь к ее причитаниям.

Сидя на пороге своей кибитки, колдунья громко причитает:

Эй, муж Домбай, эй, муж Домбай!
Когда зову, явись, Домбай!
Болящим и скорбящим
Дай исцеление, Домбай!

Длиной в стрелу – жало змеи!
Длиной с кереге – сама змея!
Когда зову, явись, змея!

Можете себе представить, как это забавляло нас, ребят. Однажды я даже здорово пострадал за свою приверженность чудесной профессии знахаря. Мы играли в баксы, и я, подражая Кымбат, чуть не удушил парня, которого излечивал от безумия. Мальчишка, ревя истошным голосом, бросился к отцу, и тот пришел к Нуртазе с жалобой.

– Либо сам поучи сына Мукана, либо давай я возьмусь за это.

И рассерженный Нуртаза (этих ему еще неприятностей не хватало!) тут же, в присутствии жалобщика, избил меня чуть ли не до полусмерти.

Так я излечился от желания стать знахарем...

ПРОДАВЕЦ ПЕСЕН

«Не смог стать знахарем, стану же певцом», – решил я. Певцов в ауле у нас двое – Касен Жубандыков и Габдол Кабанбаев. Это были признанные популярные певцы, заслужившие свою славу. Касену в это время было уже лет пятьдесят. Это был высокий плотный мужчина, длиннолицый, длинношей, с густыми срастающимися бровями, с черной бородкой и длинными прямыми усами, но особенно мне запомнился его кадык, катающийся по горлу, как большое яйцо. Касен очень, заботился о чистоте и сохранности своего голоса. Перед выступлением отказывался от всего

острого, пряного и кислого, не ел даже копчений, был франтом (у него водились деньжата) и очень следил за своей одеждой. Певцом он был профессиональным и долго жил у известного бая Балгы. Покинул он его после трагической смерти своей маленькой дочери, – она упала в котел с кипящим сыром. Из-за этого Касен разругался с баем, взял с него большой кун¹ и ушел. Штраф, наверное, был действительно огромным, потому что в то время, о котором я рассказываю, у Касена была хорошая кибитка, очень прилично обставленная, пять-шесть дойных кобыл, столько же коров и с полсотни овец. Жил он только вдвоем с женой, белобрысой, худощавой, стройной женщиной. Она была вспыльчива, зла на язык, и в ауле ее побаивались. Касен был скуп – сам в гости не ходил и к себе никого не приглашал. Пел редко. Только на больших сборищах и праздниках, после долгого упрашивания, и то далеко не всегда, он соглашался блеснуть своим талантом. Ну уж если блеснет, то заворочит всех и вся.

Любил он понежиться. Летом, после полудня, когда спадает жара и тени становятся длинней, он расстилал около своей кибитки кошму, клал на нее подстилку из конской кожи, потом две большие пуховые подушки и тогда только ложился. Его жена Катыш сидела около него и наливала ему чай. Он отпивал его мелкими глотками и, небрежно бренча на домбре, вполголоса напевал свои замечательные песни. Я неоднократно пытался тихонько пробраться к нему, но меня каждый раз прогоняла Катыш.

– Сгинь, окаянный!– кричала она.– Что ходишь да вынюхиваешь, бездомный щенок?

И вот случилось так, что она же заставила своего мужа научить меня одной из самых лучших песен. Я уже рассказывал о том, как попадали в наш аул лубочные книжонки о богатырях. Привозил их рыжий татарин вместе со всем своим разнообразным товаром. Он

¹ Кун – штраф за убийство.

заваливал аул зеркальцами, гребешками, рыболовными крючками и, наконец, душистым мылом разного цвета и формы. Оно-то и прельстило мое воображение. Кусок его в виде чудно пахнущего куриного яйца розового цвета стоил три копейки, такую сумму взять мне неоткуда, но рыжий татарин оказался очень покладистым продавцом, – с еще большей охотой он менял свои товары, чем продавал их. И вот, обуреваемый жадой получить такое бесценное сокровище, как это чудесно пахнущее розовое яйцо, я первый раз в жизни пошел на довольно серьезное преступление: забрался ночью в овечий закут, надрал у овец целую охапку шерсти (они в это время линяют), да и принес рыжему. Он же без всяких разговоров достал из ящика кусок мыла, и, сунув его мне, сказал:

– Молодец, малайка, еще тащи!

Еще так еще! На следующий день я принес ему еще больше шерсти.

– Ай, малайка, молодчина! Молодчина! – сказал купец. – Приходи завтра к вечеру, я тебе самых лучших пуговиц дам. Будешь благодарить, ни у кого лучше нет. Не пуговицы, а алмазы.

И действительно дал. Это были такие чудесные пуговицы, что от взгляда на них у меня даже перехватило дыхание: синие-синие, прозрачные, они сверкали, как пригоршни самоцветов. Их было целых шесть, и я почувствовал себя настоящим богачом. В палатке торговца в это время сидела Катыш. Она поглядела на пуговицы и даже всплеснула руками:

– Ах какие! – воскликнула она. – Дай-ка мне поглядеть.

Нашла дурака! Отдать такое богатство в чужие руки! Я уж хотел дать стрекача, но Катыш улыбнулась и сказала:

– Эй, мальчишка! Я ж тебя отлично знаю. Ты все время крутишься возле нашей кибитки и не даешь мне покоя. Ладно, ладно! Знаю, зачем ты ходишь! Приходи к нам сегодня вечером, я попрошу «самого», чтобы он тебя научил хорошей песне, ладно?

Ну, еще бы не ладно! Я прибежал к ним не вечером, а часа через два, как только солнце пошло на убыль и Касен вылез из кибитки подышать свежим воздухом. Он с домброй в руках лежал на своих подушках и пил чай. Я робко подошел и стал поодаль. Он взглянул на меня, улыбнулся, и я понял, что он уже знает, зачем я пришел.

– Эй, мальчик, ну-ка, иди сюда,– крикнула Катыш.

Касен кашлянул, приподнялся и сел.

– Этот сопляк хочет стать акыном,– сказала Катыш.– Ну что ж, научи его чему-нибудь, а?

– Научить-то я, пожалуй, научу,– согласился Касен,– а что он мне даст за это?

– Да за ним не пропадет, только научи,– сказала Катыш и подмигнула мне.

– Э нет, деньги на бочку!– упрямо сказал Касен.– Мне наука тоже даром не досталась.

– Да ты много с него не требуй,– опять заступилась за меня Катыш.– Он же маленький, нет у него ничего! Хотя что я говорю, у него есть пуговицы, он тебе их отдаст.– И она обратилась ко мне:– Давай, давай, хороший мой, свои пуговицы!

Аллах милосердный! Что пуговицы! Не только шесть пуговиц, последнюю рубашку я скинул бы и отдал Касену за его великое искусство.

Касен сдержал свое слово и научил меня замечательной песне «Черный верблюд», которую сам Касен услышал от великого Биржан-сала. Надо сказать, это действительно замечательная песня, она начинается на очень высокой ноте – быстро и громко, потом все замедляется, гложет и, наконец, замирает на очень низкой и густой ноте. Две строфы этой песни я помню и по сей день.

Груза верблюд не поднимает, могучую спину ломает.

Станет пустыней земля, лишь аул откочует.

С детства мы вместе росли и резвились, любимый,

С кем веселиться я буду, когда ты уедешь?

Лужа не делается без лопаты колодцем,
Кони не могут скакать по глубоким трясинам.
Разочарованный, я от отчаянья плачу.
Значит, так в книге судеб мне написано богом...

Больше Касен ничему меня не учил, да и зачем ему было связываться со мной? Чем я, нищий мальчишка, мог заплатить ему или его жене за эту чудесную науку?

ГАБДОЛ КАБАНБАЕВ

В наш аул семья Кабанбаевых переселилась в тяжелый для них год. Пала корова, есть было нечего, и аул решил помочь новоселам. Сам Кабанбай и все его сыновья были плотниками. Они и дома строили, и арбу могли сколотить, и всякими мелкими поделками занимались, но вот год, как в ауле не было ни бревнышка, ни доски, никто ничего не заказывал, и поэтому два младших сына Кабанбая пошли в батраки к Нуртазе, а сам старик домовничал и вел несложное хозяйство. Старший сын старика, Габдол, был замечательным певцом, не хуже Касена, только приветливей, проще и доступнее. Кто бы ни попросил его спеть, будь это почтенный муж или мальчик, бедняк или бай, он никому не отказывал. Песен он знал множество, но именно те, что существовали только в устном творчестве. Был он неграмотный, книг не читал, поэтому поэм и сказов, напечатанных в книгах, не знал. Зато песни! И какие песни! Он помнил десятки тысяч строф на сотни различных мотивов.

Когда стало известно, что он умеет петь, его наперебой начали приглашать на праздники и торжества, и он «гастролировал» неделями и месяцами по всем ближним аулам. Без него было тоскливо, скучно, и мы ждали его возвращения чуть ли не со слезами на глазах. Приехав, он пел нам все новые и новые песни. Мы, ребята, были его самыми усердными слушателями

и почитателями, но не было у него более восторженного и более преданного слушателя, чем я. Он научил меня двум песням, обе они и до сих пор – одна целиком, другая, правда, не полностью – сохранились в моей памяти. Это «Сулушаш» и «Макпал». На сюжет «Сулушаш» мной написана поэма, и, так как она довольно близко передает сюжет песни Габдола, я отсылаю читателя к этому моему юношескому произведению. Что же касается «Макпал», то мне хочется передать ее содержание. Надо оговориться. Много позже я слушал поэму под этим же заглавием в аулах Актюбинской, Кзыл-Ординской и Джетысуйской областей. Имена героев сохранились, но сюжеты разнились друг от друга довольно сильно. Прежде всего изменения касались самой Макпал, именно того, откуда она родом и где живет. Каждый певец обязательно делал ее своей землячкой. Так, у Габдола она была девушкой с берегов Сырдарьи, и начиналась поэма так:

Обещанье – как стихотворенье,
Где слова не терпят измененья.
Как сравниться луже с синим морем?
Высыхает русло – нет течения.

Рок земной влюбленных разлучает,
На несчастья бедных обрекает.
Молодой Сегиз, жигит отважный,
Возле Сырдарьи овец гоняет.

В январе морозы наступили,
Рыжих лис в капкан ловили.
Был Сегиз влюблен в Макпал безумно,
Так, как только в старину любили.

Дальше в поэме описывается, как произошло знакомство и возникла любовь, а потом следуют строфы:

Был Сегиз-храбрец рожден в год «курицы»,
Первым он считался балагуром.
Джуг на Сырдарье случился как-то,
В Арку¹ табуны погнал он хмуру.

¹Арка – центральная часть Казахстана.

Суета сует... Что мир наш значит?
По любимому Макпал все плачет.
А на Сыр, чтоб выбирать невесту,
Жабы-батыр по дорогам скачет.

Жабы – первый богатырь и богач Каракалпакии.
Увидев Макпал, Жабы посылает к ней сватов и увозит
в свой аул. Уезжая с нелюбимым мужем, несчастная
Макпал отдает снохе платок, смоченный слезами.

Ты добра мне сделала немало,
Волосы в косички заплетала,
Передай же мой платок Сегизу,
Я его слезами пропитала.

Весть о замужестве любимой доходит до Сегиза. Он
мчится в ее аул, но уже не застаёт Макпал. Тогда,
обращаясь к той же снохе, он просит:

Табуны согнал я к водопою,
Можно ли луну достать рукою?
Полечу я за Макпал в погоню,
Укажи мне путь ее звездою!

Ему отвечает автор поэмы:

Платье у Макпал с каемкой алой,
Караван ушел туда, где скалы.
Со слезами след шагов верблюда.
Женеше Сегизу показала.

И вот Сегиз скачет вслед за возлюбленной. По дороге,
в надежде, что Макпал услышит, он громко поет:

Две струны на домбре... За струною
Не летит мой голос. Что с тобою?
Ты ушла, назад не оглянувшись,
А ведь сколько дней была со мною...

Голос его доходит до ушей Макпал, и она обращается
к матери:

Льются в море реки и речонки,
Жалобно коза зовет козленка.

Мать, останови в пути верблюда,
Слышу я Сегиза голос звонкий!

Тогда мать спрашивает ее?

Наш джайляу Егиз называют,
Кони здесь у озера гуляют.
Что ты прѣсишь придержать верблюда?
Разве эти песни слух пленяют?

И снова просит несчастная Макпал:

Да, джайляу Егиз называют,
Кони здесь у озера гуляют.
Мать, останови скорей верблюда,
Эти песни сердце разрывают!

Наконец Сегиз догоняет караван. Два богатыря схватываются в смертельном поединке, условившись, что невеста достанется победителю. Сегиз побеждает, Макпал возвращена ему. Со своим бывшим соперником он расстается мирно, отдав ему в жены собственную сестру, тоже красавицу, лунолицую, светлую, как солнце. Но самое интересное в поэме – ее по-настоящему поэтический конец. Итак, Сегиз увозит Макпал к себе в Арку, но там она вдруг заболевает, ее гнетет страшная тоска, она хочет зачерпнуть воды из Сырдарьи.

Лебедя бьет сокол над водою,
Недуг злой сразил Макпал стрелою,
Шепчет о своем Макпал желанье:
В Сырдарье черпнуть воды рукою.

Чуть не умирающей увозит ее Сегиз на родину, и она поправляется, испив воды из родной реки. Радостный муж везет любимую на свою родину, но счастье их недолговечно: Макпал заболевает снова, ей опять не хватает глотка родной воды. Это повторяется до тех пор, пока супруги не решаются навсегда переселиться на берега Сырдарьи. Там в любви и согласии кончают они свои дни. Последняя строфа поэмы такова:

Плачут струны домбры на прощанье,
Встретились они среди страданья

И в свой час покинули земное,
Утолив сполна свои желанья.

Поэма очень длинна, ее исполнение занимает целую ночь, но в памяти моей сохранились только эти отрывки. Поется она на особый мотив, и одну из ее мелодий (а их несколько) в свое время записал, слушая меня, Александр Затаевич и опубликовал в своем труде «Тысячи казахских песен».

Мы, ребята, считали Габдола первым певцом в мире, но он не соглашался с этим и даже сердился.

– Э, какие мы певцы!– говорил он.– Что я, например, по сравнению с Аханом-сери?

– А ты его видел?– спрашивали мы.

Лицо Габдола сразу светлело.

– Один раз,– отвечал он с почтением.– Я тогда на гору Сырымбет ездил, там его и видел. Вот это певец! Вам бы его послушать!

Нам бы его послушать! Об этом мечтали мы все. Я первый мечтал и не знал, что моя мечта так близка к осуществлению.

КРАСАВИЦА УМСЫН

В этой главе я хочу рассказать о чудесных происшествиях, которые случились со мной во время путешествия на гору Сырымбет, о том, что я там увидел, а главное, как повстречался с великим Аханом-сери и услышал его песни. Прежде всего, как я попал на эту гору.

В 1913 году, когда я снова жил у Нуртазы, присхали к нему три знатных гостя: Машик, Ботпай и Шери Торсанов. Прислушиваясь к их разговору, я понял, что они собираются посетить гору Сырымбет, где находилась ханская ставка, для того, чтобы решить давний и очень неприятный спор. Суть его, коротко, состояла вот в чем: отец одного из приезжих, именно отец Шери – Торсан, подал облыжный донос на двух своих

одноплеменников – Машика и Ботпая. Они-де конокрады, воруют лошадей у казахов, кочующих в горах Сырымбет. Дело завертелось, и русский судья, судебная камера которого находится в поселке Кривоозерном, вызвал всех троих на допрос, суд и расправу. Но все трое испугались и больше всего сам доносчик. Он написал покаянное письмо наиболее влиятельному из всех казахов округа, некоему Кокыш-тюре, что хочет взять донос обратно, и послал с ним своего сына Шери. И вот теперь все трое едут к нему, прося защиты и помощи. Они везут ему богатые подарки и, пока Кокыш-тюре будет улаживать это темное дело, будут жить в Сырымбете у своих родичей. Как и надо было полагать, у всех троих – и у сына доносчика, и у тех, на кого донесли, – настроение было очень неважное, и, вероятно, поэтому они меня заставили петь и прослушали все песни, которые я знал. А потом один из них – Машик – сказал Нуртазе:

– Знаешь, отпусти-ка его с нами! Уж больно тоскливо ехать. Так пусть он хоть в дороге нас повеселит, да и сам новым песням научится! Где и учиться песням, как не в Сырымбете!

– Ну что ж, надо подумать! – ответил Нуртаза важно. А утром меня спросил:

– Ну как, не подведешь ты меня? Сумеешь себя держать как следует?

Я ответил, что сумею и буду очень рад потешить хороших людей своими песнями.

– Вот то-то, потешить! – сказал Нуртаза сурово. – Потешить-то потешить, но ведь надо знать как! А то что-нибудь такое сотворишь, что мне потом и глаза туда будет стыдно, показать. Тебя ведь знают как моего родственника, а ты паясничать станешь! Смотри, ты ведь не шут. Помни, я отпускаю тебя к чужим людям. Держи себя степенно, строго, сам со своими песнями не суйся. Попросят – спой, не ломайся, а не попросят – молчи и разговора такого не затевай, лишнего не

болтай. Помни: едешь с почтенными людьми, они тебя и оденут хорошо.

И верно, наутро брат Машика, Таспай, принес мне одежду своего сына: рубашку, пиджак, пальто, сапоги городского фасона, все почти новое. Сын Таспая был моим сверстником, и все пришлось мне, как сшитое на заказ.

– Смотри,– сказал Таспай, обряжая меня,– не моя это затея одевать тебя, а моего брата. Оно конечно, голого тебя в люди не повезешь, надо хоть немного приодеть, но помни, сукин сын, если что запачкаешь или же, не дай бог, порвешь или на сапогах подметки протопчешь, голову тебе откручу! Ты сам теперь того не стоишь, что на тебе надето. Впрочем, я сам за тобой следить буду.

Выехали мы рано утром на двух телегах, в каждой по три человека: кучер и два путника. В первой телеге, где ехал Таспай и Машик, кучером был я; в другой, где ехал Ботпай и доносчик Шери, за кучера ехал некий Шокпыт. Несколько слов об этом Шокпыте,– уж очень он любопытная фигура! В момент нашей встречи ему стукнуло пятьдесят. Это был маленький, невзрачный человечек с козлиной бородкой и желтым морщинистым лицом. Шокпыт был известен тем, что никогда ни в какую ночь не сбивался с дороги, вернее, дорог в то время вообще в казахской степи не было, были тропы, заросшие сплошной травой, были стежки, едва заметные днем, а он их разыскивал в любую темень и, не глядя, вел свою лошадь по ним туда, куда надо. И добро бы стежка эта была прямая, а то ведь бежит, вьется змеей, сливается с другими стежками, то сходясь, то расходясь. У каждого аула, где насчитывалось хотя бы десять кибиток, была своя тропа. Иногда тропинка совсем пропадала, словно под землю уходила, а он ехал уверенно, прямо, не сбиваясь и не оглядываясь и даже не расспрашивая прохожих. Вторая его особенность заключалась в том, что он был незаменимым себе-

седником: чего он только не знал и о чем он только не рассказывал, но больше всего я наслушался от него всяких историй насчет собак, и с этим была связана его кличка, от которой он никогда не отрекался и, кажется, даже гордился: «Собакокрад». Где и каких собак он только не воровал для своего хозяина Торсана! В какие города он за ними только не ездил. Был он и в степи Атбасара, и на берегу реки Ор, и в Караколе, крал собак и в городе Кургане, и в Троицке, и в Кызыл-Жаре. Узнав, что где-нибудь завелась какая-нибудь необычайная собака, Шокпыт бросал свои дела и отправлялся прямо за ней. Он готов был высиживать дни, недели, месяцы, только чтобы не возвратиться с пустыми руками. И собаки были ему покорны. Самый злой пес смиренно шел за ним, виляя хвостом.

За одной собакой он охотился целый год, но это уж был пес что надо: волков он брал, как зайцев, и когда его привезли в аул, за год задавил пятнадцать самых матерых и хитрых хищников. Потом я уже услышал, чем люди объясняли чудесную силу Шокпыта, говорили, что от него пахло псиной, ибо его выкормила собака, ставшая ему после смерти матери кормилицей.

От Шокпыта я впервые услышал о мифической собаке Кумай. Это страшное животное, которое берет не только волков, но и льва душит, как зайца. В степях до сих пор есть пословица: «Его не осилит на небе кудай, а на земле Кумай». Происхождение у Кумая чудесное. Рождается якобы эта собака не от суки, а от гуся, которого зовут в наших местах Ит-Ала-Каз.¹ Гуси этой породы отличаются тем, что яйца кладут в гнезда других птиц. Гусыня кладет четыре яйца. В народе говорят: «Из двух яиц вылупляются гусята, а из других двух – щенята». Опытная птица заранее знает эти яйца и разбивает их. Если же такое яйцо случайно останется целым и птица его высидит, из него вылупится щенок,

¹Ит-Ала-Каз – дословно: собака – пегий гусь.

который превратится в огромную непобедимую собаку Кумай. Вот такую собаку и видел якобы Шокпыт.

Но сказки сказками, а Шокпыт действительно имел фантастическую власть над собаками. Он овладел волею собак так же, как гипнотизер волею слабосильных.

Вот приезжаем мы в аул, стучимся в какую-нибудь кибитку, просим у хозяина разрешения переночевать. Люди мы почтенные, известные далеко в округе, разрешение нам дается сразу. Все, кроме Шокпыта, вылезают из телег и направляются в дом отдыхать. Шокпыт, как бы он ни устал, прежде всего идет проведать цепного пса. Собаки в ауле часто встречаются дорогие и очень хорошие. Особенно славятся так называемые серо-куцые собаки Ашима. У них массивное туловище, выпуклая грудь, сильные когтистые лапы. Голова у этих собак плоская, сплюснутая, как у змеи, морда острая, из-под отвислых мясистых губ высываются огромные волчьи клыки. Да что волчьи! Волков эти собаки давят, как куропаток, только бы нагнать их. Бывают собаки этой породы смиренные, как телята, бывают и свирепые, как тигры. Шокпыт признавал только свирепых. Отыскав глазами такого пса, он направлялся прямо к нему. Пес громко лает, срывается с цепи, но Шокпыт идет прямо на него и только тихо, ласково приговаривает: «Кушим! Кушим! Кушим!»¹ И та вдруг перестает лаять и только глухо порывается, а Шокпыт идет и все приговаривает что-то, и собака вдруг, словно не выдержав, начинает усиленно вилять хвостом и, истерически визжа, бросается к своему новому другу, а тот отвязывает ее и, разговаривая, проводит несколько раз по двору. А вечером за обильным и богатым ужином (мы останавливаемся только у самых богатеев – все знают, кто такие Торсан и его сын Шери) Шокпыт первый берет нож, отрезает лучший кусок, прибавляет к нему

¹Кушим – собачка.

берцовую кость и кладет около себя. Это – хозяйской собаке. «Ну, беда,– догадывается хозяин,– это и есть собачий святой, знаменитый Шокпыт, несдобровать нашей собаке. Вон как он ее приручил, теперь она за ним, как теленок, пойдет». И хозяин умильно просит, чтобы Шокпыт не забирал его собаку.

– Не бойтесь! Не бойтесь!– великодушно заявляет Шокпыт.– Я краду только у чужих, а раз я у тебя хлеб-соль ел, можешь быть спокоен.

И вот этого-то Шокпыта Шери Торсанов превратил не только в своего раба, но и в шута. У этого человека не было ни семьи, ни имущества, ни лишней рубахи, ни копейки денег. Он работал только за хлеб. Но этот безропотный слуга, этот раб в полном смысле этого слова, был очень хорошим и добрым человеком. Я узнал об этом в первую же ночевку. Мои спутники заранее договаривались, кто у кого остановится. Ночевали мы порознь, то есть два гостя и кучер устраивались особо. В первый же день, когда зашел разговор, у кого ночевать, Шери вдруг отказался заезжать в дом некоего Жусупа Жансакалова.

– Вы же знаете...– сказал он хмуро путникам.

А вечером Шокпыт взял меня за руку и отвел в сторону.

– Слушай! Вы ночуете сегодня у Жусупа. Там есть одна сумасшедшая молодая баба Умсын. Я тебе кое-что дам, чтоб ты ей передал.

Я в страхе покачал головой. Действительно, этого еще мне не хватало!

– Дурачок,– ласково сказал Шокпыт,– ты что же, думаешь, если она не в себе, так на людей бросается, нет, она тихая, смиренная и очень, очень учена: окончила двенадцать наук, вот и зашел у ней ум за разум.

Я вспомнил школу молды Шайтана, и причина эта показалась мне очень правдоподобной, но сошла Умсын с ума все-таки не от наук. В тот же вечер Шокпыт рассказал мне:

– Ты слышал, Шери не захотел останавливаться у нее в доме. Вот то-то и оно-то! Он во всем и виноват: выкрал ее из родного дома и увез к себе в аул, а старшая жена его выжила молодую. Куда ей было деваться? Вот родственники Шери подумали, подумали, да и выдали ее замуж за младшего брата Шери Бакена. Умсын родила ему девочку и сошла с ума. Что будешь с сумасшедшей делать? Вот муж, чтоб не возиться, и отправил ее снова к родителям, а дочку оставил у себя. Сейчас дочке уже лет восемь, она мне перед отъездом и сунула вот этот подарок: отдай, мол, маме. Я обещал. Ну, а теперь, видишь, мы ночуем в другом доме, значит, я уж ее не увижу. Так отдашь?

Я согласился. Тогда Шокпыт вынул из кармана красный шелковый платок, завязанный в узелок.

– Тут кольцо, – сказал он. – Смотри не потеряй! Да, не дай бог, не проговорись!

Отдал он мне это кольцо в самое время. Дорога раздваивалась, и мы с Шокпытом расстались: наша телега повернула налево, его – направо. Как только Шокпыт скрылся из виду, Машик тронул меня за плечо и спросил:

– О чем вы с ним говорили? Ну, ну! Не ври! Я же все видел! Он тебе передал что-то, а ты за пазуху сунул. Ну, так в чем дело?

После этого мне осталось только признаться.

– А ну давай посмотрим, что за подарок, – сказал он. – Да не бойся, не бойся, не выдам.

Пришлось достать платок. Он развязал узелок и вынул золотое кольцо с щитком. На щитке красивой арабской вязью было выгравировано: «Маме от Кулямай».

– Верно говорит пословица: «У сироты сердце памятливое», – сказал Машик. – Ведь догадалась послать. Интересно, кто это ей надпись сделал?

– Да черкес Базалай, – ответил другой мой спутник, Таспай. – Он у них в доме долго работал, посуду чеканил.

Таспай задумчиво пощелкал языком.

– Вот и подумай. Девчонке сейчас самое большее лет восемь, а когда мать увезли, она была грудная, ничего не понимала, а видишь, оказывается, все помнит. Кто же ей сказал, что она дочь Умсын?

– Кто бы ни сказал, а знает, – заметил Таспай. – Помнить мать она не может, конечно, тосковать тоже будто не тоскует. Живут они неплохо, мачеха, ничего не скажешь, добрая, дом – полная чаша. А сердце к матери тянется, видишь, колечко ей прислала. А девочка хорошенькая, беленькая такая, чистенькая и лицом вся в мать.

– Ну нет, до Умсын ей далеко! – сказал Машик. – Такой красавицы, как Умсын, я еще и не встречал. Конечно, гурия в раю еще красивее, но из людей лучше ее не было и не будет.

В это время лошадь, которой я, заслушавшись, перестал управлять, зашла на обочину.

– Стой! Стой! – заорал Таспай. – Куда прешь? – И замахнулся на меня. – Развесил уши.

Я так сконфузился, что покраснел.

– Оставь его! – тихо сказал Машик. – Пусть послушает. Я в его годы, бывало, тоже, как кто начнет рассказывать, раскрою рот, забуду все на свете и слушаю. А история эта интересная. Слушай! Слушай, парень! – обратился он ко мне. – Потом, может, кому рассказывать будешь. Ведь вот, какая беда приключилась...

Я изложу эту историю коротко, как помню ее, без тех многочисленных отступлений, которыми обильно разукрасил ее Машик.

Умсын была внучкой Жансакала, богатого бая, имевшего полторы тысячи лошадей да овечью отару в две-три тысячи голов. Единственным наследником его был отец Умсын – Жусуп, солидный, немногословный человек, лет пятидесяти, уже успевший побывать в Мекке и получить звание хаджи. Кроме Умсын, детей у него не было, и он отдал ее в учение к знаменитому хазрету Токпету, получившему высшее мусульманское образование в Бухаре. Девушка в короткий срок

усвоила все премудрости своего учителя, и он признался отцу, что ученица превосходит его в знаниях.

– Это истинная правда, – перебил Машика Таспай. – Во всем нашем округе нет никого учение молды Бахрама, а он поговорил как-то час с Умсын и сказал: «Все мои знания ничто по сравнению с тем, что знает эта девушка». И верно, она не только Коран знала наизусть, но и каждое слово умела толковать.

– Что Бахрам! – пренебрежительно махнул рукой Машик. – Кто он такой? Нет! Сам великий Ахан-сери был влюблен в нее! Эта девчонка посрамила его, – она свободно говорила с ним по-арабски. И после этого разговора он лишился покоя и стал посылать ей стихи. Я вот даже наизусть помню одну строфу. – И он прочел:

Видит человек двумя глазами,
Песню слушает двумя ушами,
И два ангела лишь знают,
Что пленен твоими я речами.

Правда, хорошо?

– Хорошо-то хорошо, – ответил Таспай, – да хотел бы я знать, что эти стихи означают.¹

– Я тоже ничего не понимаю, – ответил Машик. – Но ты представляешь, с каким соперником столкнулся Шери Торсанов? Ведь что ни говори, а это сам Ахан-сери! Да и Умсын отвечала ему взаимностью. Но Шери такой человек: если женщина понравится, ничего ему не жалко, все отдаст, а деньжата у него в то время водились большие. Он ездил на Ирбит, скотом торговал, а потом по аулам чай, сахар, мануфактуру, керосин развозил. Я у него был приказчиком и во всех его делах первым помощником. Оба мы теперь ответчики перед аллахом за ее душеньку.

Начали мы по-хорошему, стали сватать девушку. И так, и этак старались. Что там! Слышать не хочет! Конечно, что ей Торсанов, когда у ее отца самого

¹В оригинале стихи написаны по-казахски, с большой примесью арабских слов.

четыре белых юрты: одна – для себя, другая – для почетных гостей, третья – для приемного сына, четвертая – дочке в приданое. Так что ей Шери!

Ну, думали, думали. Решили обратиться к Шаймердену Есильбаеву. Богатый человек, весь край держал под своей властью, а самое главное, уж не знаю почему, но крепко не любил отца Умсын. Поехали к нему, рассказали, в чем дело. Он так и вскочил. «Так чего же вы копаетесь!– кричит.– Берите да везите к себе! Добром не хочет – силой возьмите! А у отца что спрашивать? Что он может сделать? Какие у него заступники? Какая у него сила? Так и передай Шери,– наказывает мне,– пусть время зря не тратит, а высылает своих жигитов за ней. Только мне сообщите, что бы там ни случилось».

Ну, раз Шаймерден сказал, думать нечего! Так и сделали, как он советовал.– И после недолгого молчания Машик взволнованно добавляет:– Нет, что говорить, грех, грех на моей душе...

Как произошло само похищение – об этом Машик не говорит. Но по его голосу я чувствую, что он винит себя во многом, и самое главное – в гибели девушки. У него даже на глазах слезы появляются, когда он говорит о том, что произошло дальше.

– Ведь как, бедная, плакала! Как молила: «Сжальтесь надо мной! Куда вы меня увозите? Зачем я вам нужна? Отпустите меня ради самого алаха!» Ну да кто с ней разговаривал? Рот заткнули и увезли насильно. Злое это было дело! Поганое! Обязательно накажет нас аллах за этот грех!– заканчивает Машик и замолкает, склонив голову.

– Ну, говори, говори!– понукает его Таспай.– Что было, того не воротишь! Дальше-то что?

– Дальше?– переспрашивает Машик.– Дальше еще хуже пошло. Увезти-то он ее увез, а к себе в аул с ней сунуться не посмел. Побоялся своей жены Аклимы – дочери Нуркана. Сильней Нуркана в ту пору в нашем конце степи никого не было, сам Торсан его боялся.

Вот Аклима и послала письмо своему свекру, отцу Шери, – Торсану. «Как мне известно, ваш сын привез себе вторую, приبلудную жену. Так вот, жду вашего приказания: что мне делать? Возвращаться домой к отцу или ждать, что вы приедете и наведете порядок?»

Торсан, как получил это письмо, так сейчас же и прикатил. Приехал и сам Нуркан. Как они взяли Шери в оборот, так тот сразу на колени встал: «Простите!» Ну и вышло, что Умсын никому не нужна. Куда же ее девать? Родители от нее отказались, Шери тоже. Осталась она одна в чужом ауле совсем беззащитная, беспризорная. Вот и стала задумываться, бегать от людей и, наконец, сошла с ума.

– Не сразу! – поправил Таспай. – Она же потом замуж за брата Шери, Бакена, вышла, ребенка ему родила, потом уж что-то с ней стряслось.

– Вышла! – укоризненно покачал головой Машик. – Люди заставили выйти, вот и вышла. Потому и рассудка лишилась. Ну как же, была любимая дочка, умница-разумница, недотрога, неженка, а видишь, что случилось: все ее корят, все над ней насмеваются, делают вид, что не верят, будто ее насильно увезли, сама, мол, на шею вешалась. Ну и сторонятся ее, как заразы. Она плакала, плакала, да и сошла с ума.

– Я ее видел в это время, – кивнул головой Таспай, – она была совсем не в себе: все с себя срывала, голая по юрте бегала. Такое говорила, что и в голову сразу не возьмешь. Как ее, безумную, домой приняли? Не понимаю.

– Мать настояла, – ответил Машик. – Сама присхала за ней. Дома Умсын немного пришла в себя. Сейчас сидит, читает Коран, потихоньку слезы льет да молится. Вот и вся ее жизнь!

Машик посмотрел на меня своими черными умными глазами.

– Вот что бывает с женщиной, когда она выходит замуж за нелюбимого. Помни это, паренек! А подарок

передай ей незаметно. Если начнут расспрашивать, откуда да как попал к тебе, говори правду, но Шери ни полслова. Слышишь?

Приехали мы к Жусупу поздно вечером. Я подивился на его юрту: огромная, белая, богато убранная, такая широкая, что в ней можно, как говорят, на жеребце проскакать. Мне она показалась настоящим дворцом. Не помню, как я уснул, а утром меня разбудил голос мальчишки, домашнего слуги.

– Тебе велели напоить лошадей!– сказал он.– Никого уже нет. Все встали. Поднимайся скорей, лодырь!

Этот мальчишка был сам шайтан. Он не понравился мне еще вчера. Как только мы приехали, он стал сейчас же крутиться около меня, задавать ехидные вопросы, подсмеиваться надо мною и всячески показывать свое превосходство. Но о том, что мне приказали напоить лошадей, он сказал просто, без всякого зазнайства.

– А где напоить-то?– спросил я.– Озеро тут есть?

– Поезжай прямо и увидишь,– ответил он.

Я вскочил на спину одной лошади, другую взял за повод и поскакал. Озеро находилось за бугорком, и мне пришлось порядком повозиться, прежде чем я вогнал в воду лошадей. Правда, берег озера показался мне топким, но я почему-то сразу не обратил на это внимания. Лошади прошли несколько шагов и остановились, словно вкопанные, ни туда, ни сюда. Завязли чуть не до брюха. Надо было что-то решать. Я спрыгнул на землю и только сделал несколько движений, как по щиколотку ухнул в липкую, вязкую грязь. Мне показалось, что кто-то схватил меня за ноги, за новые щегольские сапоги, и потянул вниз. Скоро я провалился уже по колено, а потом, когда, желая вытащить ногу и ища точку опоры, хотел упереться во что-нибудь рукой, ушел по локоть в тину. Еле-еле выбрался я наружу, а вслед за мной, тяжело дыша, проваливаясь на каждом шагу, чавкая по грязи, выбрались и лошади. Только что я перевел дух, как прискакал мой недруг. Он так и сиял от восторга.

– Эх ты, голова и два уха!– кричал он мне еще издали.– Я куда тебя посылал? На озеро, а ты, как свинья, в болото полез. Как еще жив остался! У нас один такой чумной так и задохнулся.

Что я мог сказать? Я ведь отлично понимал, куда и зачем он меня направил. Но что я мог сделать? Полезть драться? Так он старше и сильнее меня. Пожаловаться? Так мне же и попадет.

– Ну ладно!– сказал он наконец.– Хорошо, что жив остался, Поезжай, помойся да лошадей помой, тут недалеко есть озеро. Идем, покажу дорогу.

Озеро находилось совсем рядом и действительно оказалось прекрасным: чистым, песчаным, с хорошим твердым дном и удобным спуском. Сперва я напоил лошадей, потом вымыл их и, наконец, выстирал свою одежду. Но сапоги – прекрасные, почти новые сапоги городского фасона, с ними-то что я буду делать? Ведь оба оказались без подметок.

Уныло смотрел я на свои ноги, а мой неприятель уже открыто насмехался надо мной:

– Ничего, не робей! Была бы голова, а сапоги найдешь. Иди, да не показывайся хозяевам на глаза.

Ну как было не показаться, когда оба хозяина стояли возле околицы и ждали моего возвращения. Они еще порядком не успели разглядеть, в каком я виде, как мальчишка налетел на них и начал кричать, показывая на меня:

– Да он у вас какой-то полоумный, ей-богу! Я его на озеро посылал коней напоить, а он, как кабан, в болото лезет. Если б не я, так утонул бы давно вместе с лошадьми. Насилу-насилу вытащил и в озере отмыл.

Таспай грозно посмотрел и вдруг сильно дернул меня за вихры.

– Ах ты, грязная собака! Проклятый шайтан! Что ты сделал с сапогами? Вконец порвал их! Да вся твоя шкура не стоит того, что ты испортил!– И он кинулся на меня с кулаками и стащил бы с коня, если б не Машик.

– Ну, будет!– сказал он, заслоняя меня.– Экая беда! Пошлешь его к сапожнику, и через полчаса все будет в порядке, даже и не узнаешь.

Ругаясь и грозя, Таспай отошел в сторону.

– А ты кольцо-то не потерял?– спросил меня Машик вполголоса.

Я полез в карман и вытащил платок. Кольцо, завязанное в узелок, было цело.

– Ну и слава богу!– облегченно вздохнул Машик.– Пойди повесь платок и, как высохнет, отдай! Иди скорей!

Но идти было нельзя. Надо было подождать, пока гости и хозяева сядут за завтрак, только после этого я пошел к юрте, где находилась Умсын.

Это была тоже очень большая юрта: белая, нарядная, опоясанная коврами и расшитая красными узорами. Занавески, заменяющие дверь, были заброшены наверх, и я заглянул в юрту. Ее богатство поразило меня: разноцветные шелковые одеяла, подушки из голубого бархата; текинские ковры, а направо, под белым шелковым балдахином,– настоящая никелированная, как у нас называют, «варшавская» кровать. На подставке лежала раскрытая книга и рядом стоял шкаф с книгами. Между кроватью и грудой одеял и подушек, сложенных отдельно, на так называемом торе, я увидел нечто чудесное.

У зеркала кто-то стоял с распущенными волосами, которые сплошным потоком спускались сверху вниз. Я даже рот открыл от удивления. Человек? Но у человека не бывает таких длинных волос. Вдруг это загадочное существо повернулось ко мне, волосы рассыпались по обе стороны, и из них выглянуло женское лицо. Женщина взглянула на меня, откинув волосы назад, и движениями, несравнимыми по грации и легкости, накинула на голову белую шелковую ткань. Потом внимательно посмотрела на меня и тихо, ласково позвала:

– Светик мой, пойдика сюда!

Много я читал поэм, сказок и былин о красавицах, но что стоили все книги и описания перед этой женщиной? Все, что я скажу о ней, не даст, конечно, никакого представления о ее почти сказочной красоте. У нее были огромные черные глаза, открытый чистый лоб, брови вразлет. Она была среднего роста, но так стройна, что казалась высокой. Окаменев от удивления, я стоял перед ней, и тут прозвучал голос, нежный, как фарфоровый колокольчик:

– Ты откуда, мальчик? Не из аула ли Кокана?¹

– Да, – ответил я машинально.

Она помолчала и спросила:

– И ты бываешь в их доме?

– Бываю, – ответил я.

– И знаешь девочку Кулямай?

Тут я быстро полез в карман, вынул платок и протянул красавице.

– Что это? – спросила она улыбаясь.

– Подарок от Кулямай, – ответил я.

Красавица словно ожидала этого. Она не спеша взяла платок белыми тонкими пальцами, развязала узелок, вынула перстень и, глядя на него, спросила:

– Давая тебе этот платок, она плакала?

Я промолчал.

– Она плакала, – тихо сказала красавица. – Платок смятый. Она плакала над ним всю ночь.

Я молчал. Молчала и она, неподвижно смотрясь в зеркало. И вдруг по ее лицу промелькнула какая-то тень, как будто зыбь пробежала по чистому озеру. Мне показалось, что она вот-вот заплачет. С секунду она сидела так, потом протянула руку и схватила огромную книгу, что лежала раскрытой на подставке. Это был Коран, роскошно изданный, напечатанный на пергаменте. Она схватила его и вдруг быстро убрала руку,

¹Так в нашем ауле почтительно называли Торсана.

как будто у нее не хватило сил справиться с огромной книгой. Потом закрыла лицо тем платком, который я ей передал, и заплакала – тихо, горько. Не зная, что делать, я стоял на месте, испуганный всем происшедшим, и тут она вдруг отняла руки от лица, посмотрела на меня в упор и засмеялась. Это был такой страшный взгляд и смех, что я сразу похолодел.

Красавица, райская гурия, превратилась в страшную ведьму, которой пугают маленьких детей. Не помня себя от страха, я бросился бежать. С визгом Умсын полетела вдогонку. От страха и растерянности я никак не мог попасть в дверь, и, конечно, она схватила бы меня, если бы в это время в юрту не вбежала молодая женщина в белом платке и не бросилась бы между нами.

– Милая, милая! Что с тобой?– спросила она.– Кто тебя обидел? Этот мальчишка? Ай он негодный!

Сотрясаясь от рыданий, безумная забила в ее руках.

АХАН-СЕРИ

Едва мы выехали из аула, как разговор о сумасшедшей красавице и ее горестной истории незаметно перекинулся на Ахана-сери. Машик, оказывается, много песен Ахана когда-то знал наизусть, да и сейчас еще не все позабыл. Он прочел нам несколько строк. Как ни звучны были эти чудесные стихи, но добрую половину из них мы не поняли. Обилие арабских и фарсидских слов превращало песни Ахана в бессмыслицу.

– Красиво, а ничего не понять!– вздохнул Таспай.

– Ну еще бы!– усмехнулся Машик.– Понять такие стихи могут только очень ученые люди. А сам Ахан не только пишет, но и говорит так же. Иногда слушаешь, слушаешь и ничего не поймешь.

– А если он такой ученый, то почему не стал молдой?– опять спросил Таспай, для которого выше звания молды ничего на свете не было.

– Значит, аллах не судил,– вздохнул Машик.– Отец его был богач, но знаешь пословицу: «Один джут делает бая нищим, а одна пуля героя покойником». Вот так же и с ним. После одного голодного года пал у него весь скот, и сделался он бедняком. Этим все и кончилось. А Ахана отец еще с детства отдал в обучение молде, и мальчишка делал такие успехи, что за два года стал учение молды. Весь Коран читал без запинки и толковал самые трудные места.

– Апырай!– удивленно воскликнул Таспай и даже головой покачал.– Какие, оказывается, есть мудрецы на свете!

– Да, толковал весь Коран,– повторил Машик.– А потом вдруг свихнулся. Я так полагаю, голова закружилась от премудрости, стал гулять, да петь, да плясать, подобрал коня себе специального, одеваться стал нарядно, куда ни придет, всюду веселье, всюду друзья-приятели. И вот влюбился он в одну девушку. Что влюбился – хорошо, да то беда, что влюбился не в ту. Была его любовь просватана уже за одного бая, и родители успели получить за нее калым – сорок семь голов скота. Приехал жених к невесте в аул, встретился с ней тайно, то есть оно, конечно, только по названию тайно, все знали, как и что. А потом устроили пир на весь мир, после чего полагается увозить невесту к себе. Ахан-сери тоже был на пиру. Только стали расходиться гости по домам, как он схватил невесту, вырвал ее из рук свах да родственников, посадил в седло и поскакал с ней.

– Вот это молодец!– воскликнул Таспай.

– Молодец, да не совсем. Родичи-то были насто-роже, догадывались, что он замышляет. Не дали ему и ста шагов отъехать, невесту отняли, а его били-били, учили-учили, еле живым отпустили. Вот тогда он и сложил песню «Сырымбет». Хорошая песня, я ее наизусть знал всю.

– А ну пропой!– попросил Таспай.

– Попробую, если еще не позабыл,– ответил Машик и начал низким бархатным голосом:

Беру перо, чернила и пишу посланье...
Я шлю тебе привет, прелестный мой цветок!
Но, чтобы описать твоё очарование,
Мне вдохновение пошли для этих строк.

Беру перо, чернила и пишу посланье...
Моя царица, фея, нежный мой цветок!
Прими стихи мои, как роз благоуханье,
Любимица богов, прелестный мой цветок!

– Вот, оказывается, как запала ему в сердце эта девушка,– сказал он, окончив петь.– А еще убедил он себя, что не смог увезти девушку, потому что конь подвел. Был бы конь хороший, и девушка была бы его. Значит, великое дело конь, которого никто не может обогнать. Вот и стал он искать себе такого коня.

– Не знал, что Ахан понимает толк в лошадях,– заметил Таспай.

– Да он и не понимал!– улыбнулся Машик.– Понимал его друг Киикпай. Вот он и ездил по всей степи, искал нужную лошадь. Да где ее найдешь? Порода не та! Совсем отчаялся. И вот однажды заезжает к Ахану его родной дядя. Гнал он с Атбасарской ярмарки целый косяк лошадей – голов четыреста-пятьсот – и заехал заночевать к отцу Ахана. Зашел у них разговор о том о сем, дядя и говорит: «Слышал я, что ищешь себе хорошую лошадь и никак найти не можешь. Ну-ка, поезжай, посмотри у меня в табуне, может, что подойдет, найдешь – бери любую!» А надо тебе сказать, что на Атбасарскую ярмарку лошадей пригоняют с гор Алтая, а алтайская лошадь совсем особая, ты ее сразу узнаешь по лебединой шее. Но Киикпай только посмотрел на этих лошадей и мимо прошел. «Нет, говорит, это все не то». И вот едут они из табуна и видят: возле озера лежит лошадь, отдыхает, а около нее крутится саврасый жеребенок – эдакий лох-

матенький, еще зимняя шерсть не сошла, тощий, невзрачный. Другой бы, верно, и внимания на него не обратил, но Киикпай недаром славился на всю округу. Он сейчас же соскочил с коня, подошел к жеребенку, осмотрел его, потом повернулся к Ахану и говорит: «Ну вот и нашелся тебе конь, лучшего уже и не будет». Посмотрел Ахан на жеребенка – никакого вида у него: живот как тыква, ноги торчат, как палки, вислоухий и ни гривы, ни хвоста, болтается кисточка, вроде как у коровы. Обернулся Ахан к Киикпаю и говорит ему: «Лучше ничего ты для меня не нашел? От каких коней только что отказались, а этого ишачонка возьмем?».

«Эх ты!– говорит Киикпай.–Хочешь тулпара¹ заиметь, а толка в лошадях не понимаешь. Ты посмотри на грудь этого конька, ведь между его передними ногами и сейчас может человек пролезть, соображаешь, какие у него легкие и сердце? На таком коне можно скакать день и ночь без передышки. А передние зубы? Видишь, как они заходят друг за друга. Это бывает у лошадей, которые не знают, что такое усталость. А какое шишковатое надбровье? Чуть не с кулак каждое,– верный признак горячих, азартных коней, такой конь уж никакому сопернику не уступит. А морда? У нас, когда хвалят скакуна, то говорят: «Козлиная морда». Да разве это хорошо? Козлиная морда узкая и длинная, с ноздрями-щелками. В ноздри же этого коня можно вставить два пальца. Подумай-ка, сколько он набирает воздуха на бегу!»

– Вот это знаток!– с восхищением воскликнул Таспай.– Коня разбирает, как песню поет.

– Да,– согласился Машик.– Это уж точно, что знаток! Слушайте дальше: «Теперь взгляни на его голову,– продолжает Киикпай.– От нее кусочка не отрежешь, ничего нет лишнего. А шея? Она, как у тигра, круглая да мускулистая, такую не свернешь. Теперь обрати

¹Тулпар – крылатый конь в казахском фольклоре.

внимание, что спина у коня плоская, как стол, на хребет человека положишь. Спереди кажется, что задняя часть уже передней, а сзади – наоборот, передняя уже. А на самом деле и та и другая совершенно равны. Скакуны бывают трех родов: у одних зад высокий, а перед низкий; у других – перед выше зада; у третьих зад и перед равны. Конь с высоким задом хорошо скачет на гору, с низким – под гору, а тот, у кого все равно, – что с горы, что на гору скачет одинаково. Посмотри хорошенько, – говорит Киикпай дальше, – на его голени: они у него чуть-чуть скошены, как у тигра. Это значит, что он раз скакнет и сразу впереди всех будет. Уши, говоришь, как у ишака? Ничего не как у ишака, а как у кулана¹, – умеи различать! Когда кулан скачет по степи, он все время прижимает уши к затылку, чтобы ветер в них не дул. Вот поэтому животные с прямыми стоячими ушами и не могут быстро скакать, их ветер сбивает с ног». Разобрал он так кунана² по косточкам и по волоску, оказалось, что лучше коня, чем этот жеребенок, и не найдешь! «Хорошо, – говорит Ахан. – Я тебе, положим, верю, но как же я поведу такое страшилище к себе в аул? Меня же засмеют!» – «А мы сделаем так, – отвечает Киикпай. – Я возьму кунана к себе, как будто не ты, а я его купил, и буду целое лето откармливать. Конек здорово худ, верно, он раньше принадлежал бедняку. Но дядя твой тоже хитер, не зря купил он это чудо, – либо сам он знаток не хуже меня, либо ему другой кто объяснил, что это за тулпар. Боюсь, что не отдает он тебе его ни за какие тысячи». И правда, как услышал дядя, какого конька себе выбрал племянник, так он даже в лице переменялся. «Ну, говорит, не знал я, что ты так разбираешься в конях». – «Ничего я в них не понимаю, – отвечает племянник, – выбрал первого попавшегося, вот и все». Но дядя, конечно, не поверил. «Не отдам,

¹Кулан – дикий осел.

²Кунан – двухлетний жеребенок.

говорит, тебе кунана, если не скажешь, почему ты его выбрал». Пришлось тут Ахану повиниться и все открыть. «Верно, верно, – отвечает дядя. – Молодец Киикпай! Великий знаток! То же слово в слово сказал мне о коньке один старый лошаадник. Я этого конька купил за бесценок у русского бедняка. Ну, уж коли раскрыл ты мой секрет, бери десять лучших коней, а этого оставь мне». – «Нет, – говорит Ахан, – никаких других коней мне не надо. Держи свое слово». Спорили, спорили, наконец дядя говорит: «Ладно! От слова я не отрекаюсь, но ты меня обидел. Бери кунана, но знай: не принесет он тебе счастья!» – вышел из кибитки, сел на коня и уехал.

– Вот жадная собака! – выругался Таспай. – И что же, сбились его окайнные слова?

– В том-то и беда, что сбились, недолго тулпар радовал Ахана. Конь вырос таким, как и предсказывали знатоки. Быстрый, как ветер, непобедимый в состязаниях. Ахан назвал его ласковым именем Кулагер, а люди звали его Тулпар. Что правда, то правда, такого скакуна я никогда не видел. Да что я, – никто не видел и не помнил. В наших краях, как ты знаешь, славились две лошади: знаменитый Серко Кыйсыка и Савраска Даутпая. Я их видел обеих. Так вот, когда на богатой свадьбе назначили состязания Серка с Кулагером, то он не только прискакал первым, но оставил за собой серого на таком расстоянии, что за время, пока тот добежал, можно было свободно выдоить кобылицу. Вот какой это был конек! Дошло до того, что как только он появлялся, ему присуждали премии, не вступая с ним в состязание. Это его и погубило.

– Как же так? – воскликнул Таспай, который весь превратился в слух.

– А очень просто. Сейчас расскажу. Между Акмолинском и Омском кочует род Курсары – керейцы, и вот есть в этом роду Нурмагамбет, человек высокомерный, капризный, щеголь. Это такой барин, что не приведи аллах. Пускал он к себе не всякого, а с большим

разбором. А иному протягивал ногу вместо руки: «Здравствуй, мол!» Из-за него и погиб Кулагер. Вот как дело было. Умер у Нурмагамбета отец, первый богач по нашим местам, и перед смертью приказал: «Когда меня похороните, устройте ас – поминки и пригласите всех почтенных людей со всех шести округов. А поминки устройте такие: из каждых десяти моих лошадей зарежьте одну – самую жирную, из каждых десяти баранов – одного самого жирного, ну, а кумыс пусть уж сами гости привозят». Сосчитай, сколько это будет, если кобылиц у Нурмагамбета было десять тысяч, а овец – двадцать тысяч. Одних кибиток для гостей потребовалось поставить тысячу. Представляешь, что это был за ас?

– Да ты о гибели Кулагера говори, – попросил Таспай. – Что там кобылиц да баранов считать!

– Так я о ней и рассказываю. Собрались гости, и началась байга. Знаменитых скакунов согнали со всех концов степи и решили ради такого случая скакать на целых пятьдесят верст. Пришли два брата – Батыраш и Котыраш – владельцы двух белых скакунов, которых еще никто не мог обогнать, имели они при себе знающего человека вроде Киикпая. Вот этот проклятый – бельмо ему на оба глаза! – и увидел Кулагера. Увидел, только рукой махнул и говорит братьям: «Уводите своих тулпаров обратно. Кулагера одна только птица обогнать может». Что делать? Порядочные бы люди, конечно, призадумались, да не такие были эти братья. Для них все было просто, они решили убить Кулагера.

– Как? – вскочил Таспай, и по его лицу было видно, что большего преступления он представить себе не мог. – Они решили...

– Слушай дальше, – спокойно продолжал Машик, – я все расскажу. На пути скачек было высохшее русло реки, и густо рос в этом месте ивняк да тальник. Вот братья в этих зарослях и устроили засаду: набрали

парней поотчаяннее, роздали им дубины и сказали: «Вот тут и ждите! Как только прискачет Кулагер, выскакивайте и бейте по нему дубьем. Только умно бейте, норовите либо череп проломить, либо хребет перешибить». А напасть на Кулагера было нелегко, потому что он сразу, одним скачком, оставлял за собой всех лошадей и скрывался с глаз, а потом, вырвавшись на простор, ржал громко и победоносно. В это время надо было крепче цепляться обеими руками за кожаные ремни седла, иначе он сбрасывал всадника.

– Апырай! Вот это конь!– воскликнул Таспай.– Неужели эти мерзавцы...– И лицо его исказилось, как от сильной боли.

– Ну что им стоило, раз они такие нечестивцы! Только Кулагер поравнялся с тальником, как выскочили молодцы на свежих лошадях, окружили коня и начали лупить его дубинами. Только самого Ахана-сери не тронули. После первого же удара Кулагер упал на колени, и тогда один из нападавших переломил ему хребет.

Я посмотрел на Таспая. По его щекам текли слезы. Он отлично понимал, что значит для казаха лишиться коня, да еще такого коня! Я и сам чуть не разрыдался.

– Ну, а кун он получил?– спросил Таспай после небольшой паузы.

– Да, получил!– усмехнулся Машик.– Кто же будет слушать жалобы бедняка? Ничего он не получил. Просто просидел несколько дней Ахан над своим тулпаром, обливая его горячими слезами, потом отрезал его голову, положил к себе в сумку и пешком отправился домой. Череп этот до сих пор висит на его юрте. Вот об этом Кулагере и сочинил Ахан-сери свою знаменитую песню,– сказал Машик, помолчав.– Я слышал, как он ее пел и плакал: С тех пор он стал совсем полоумным: не то разум помутился, не то люди опротивели. Стал сторониться и близких, и посторонних. Все уедут на джайляу, он один остается на зимовке. Нашел себе новую забаву – стал охотиться с бойцовыми птицами: летом с ястребом да кречетом, зимой – с беркутом.

- Что ж, тоже утешение,– сказал Таспай.
- Утешение-то утешение, да, видно, бедняку горе на роду написано. Не принесла ему счастья и эта охота.
- Почему?– воскликнул Таспай.
- А вот слушай: Ахану в руки попал замечательный кречёт, всем кречетам кречет – хваткий, ловкий, бесстрашный, бьёт птицу на лету, без промаха. Брал не только гусей, но и лебедей, дрофу и ту мог забить. Ахан дал ему кличку Кок-Жендет – серый палач.
- Ну и что же?
- Отняли у него и кречета. Уехал однажды Ахан на охоту в Карауткульские (Акмолинские) степи, в то место, где реки Ишим и Нура подходят друг к другу и снова расходятся. Здесь Ахан и простился со своим кречетом: сманил его один охотник. Про это и сложена Аханом его знаменитая песня «Кок-Жендет». Я ее тоже в свое время пел, да позабыл.
- Эх, жалость!– воскликнул Таспай, огорченный несчастьями, которые сыпались на голову знаменитого певца.
- В нашем ауле ее поет Касен,– сказал я робко.
- Ну!!– разом воскликнули Таспай и Машик вместе.– А ты ее не помнишь?

Помнил я эту песню не твердо и не всю, но напев усвоил хорошо. Песня начинается высоким бравурным запевом, середина звучит мягко, лирично и печально, а конец опять поднимается почти до крика.

Я запел:

У Кок-Жендет – подставка золотая.
Пурпурный шнур и горница большая,
Сбивал он за день сто гусей и уток.
Где птица, ей подобная, другая?

– Эх, и геройский же у него Кок-Жендет!– воскликнул Машик.

Я пел дальше:

Когда тебя спускал я на гусей,
Кормились мы уловом десять дней.

Набили все перины и подушки,
Когда собрали пух добычи всей.

– Видишь, даже сосчитал, сколько он собирал пуха.
Ну, ну!

Летит под вечер шилохвосток стая,
Я Кок-Жендета горько вспоминаю:
Как, потеряв его, до Козы-Коша
Едва добрался я, всю ночь рыдая.

Так кончалась эта песнь.

– Понимаешь теперь, почему после этой потери
Ахан перестал показываться людям на глаза?– спросил
Машик Таспая.

Тот молча кивнул головой.

– А мы его увидим?– спросил я.

– Постараемся,– ответил Машик.

И на другой день мы увидели Ахана-сери. Подъезжая
к горе Сырымбет, мои спутники, разделились: Шери и
Ботпай поехали в ханскую ставку, а мы направились к
Ахану-сери.

– Надо обязательно его навестить,– сказал Машик.–
Говорят, в нем душа еле-еле держится, может быть,
больше и не увидим.

Таспай сплюнул. Теперь, когда первое впечатление
от рассказов Машика прошло, он опять стал самим
собою: осторожным и равнодушным Таспаем.

– Только чтоб тебя не обидеть,– сказал он,– а то за
десять верст объезжал бы я этого бесноватого, который
от людей сбежал, а с чертями связался. Говорят, он
женится на дочери старого колдуна. Да так оно, верно,
и есть. Иначе разве стал бы жить в заброшенном шалаше
на берегу проклятого озера, где только одни бесы и
шныряют по ночам.

– Ну, раз поехал, так не ругайся,– оборвал его
Машик.– Вот лучше скажи, как нам проехать?

Таспай подумал.

– Знаешь что?– произнес он наконец.– Тут недалеко,
около озера, живет мой приятель Даулеткерей,

поедем к нему и позовем туда Ахана. Они давние друзья и соседи, и Ахан не откажется, прийти.

– Если сери придет,– сказал Машик, подумав,– мы попросим, чтобы он дунул в рот этому мальчику и вложил в него дух песнопения. Может быть, тогда Сабит станет акыном. Недаром же его дед Шукей был певцом, а Сабит тоже что-то бормочет себе под нос, наверное, сочиняет песни.

Таспай с сомнением покосился на меня.

– Кто его знает,– процедил он неохотно.– Мальчишка безрассудный, глупый, смотри, Ахан дунет – и вселится в него не дух песнопений, а шайтан.

Я слушал их и не верил своим ушам. Неужели я действительно увижу Ахана-сери – великого, несравненного Ахана-сери, песни которого поет вся степь от края до края? Кто не знает его знаменитых «Сырымбет», «Алты Басар», «Кулагер», «Кок-Жендет», но, помимо этих песен, принадлежавших ему несомненно, сколько ему еще приписывается других! Такова его слава! С тех пор, как я пристрастился к пению, Ахан-сери представлялся мне каким-то сверхчеловеком, ангелом, поющим свои песни перед престолом аллаха. Ничего я не желал в жизни больше, чем увидеть его, и вот, кажется, это желание исполняется.

Даулеткерей оказался очень разговорчивым, веселым, гостеприимным человеком. Он зарезал для нас барана и сразу же послал за Аханом.

«Сегодня никак не смогу,– ответил Ахан через нарочного,– постараюсь завтра утром. Но если все-таки не приеду, прошу не обессудить».

– Ну, если запрямится, его не уговоришь,– сказал на это Даулеткерей.– Посмотрим, что будет завтра.

Всю ночь меня мучили кошмары, снились черти, ведьмы, колдуньи. Я метался и стонал.

– Ишь как его беспокоит дух Ахана,– сказал Машик хозяину.

Проснулся я поздно. Солнце стояло уже высоко, и в юрте никого не было. Я оделся и выбежал во двор.

Люди сидели на берегу озера и о чем-то громко разговаривали. Я подошел к ним.

– Вон едет Ахан!– вдруг воскликнул хозяин, показывая поверх тальника, покрывавшего весь берег озера.

И действительно, из-за густых зарослей показался всадник на бурой лошади. Он, конечно, видел нас, но повернул не к озеру, а в сторону аула. Все встали и пошли ему навстречу, я шел позади всех. Когда мы подошли к юрте Даулеткерей, всадник уже слез с коня и поджидал нас стоя. Вокруг него образовалась толпа, и он небрежно отвечал на приветствия.

Надо сознаться, на легендарного героя моей мечты Ахан никак не походил: был среднего роста, широк в плечах, но худощав. Лицо удлиненное, очень белое, лоб широкий и морщинистый, тонкие брови над узкими маленькими глазами, тонкие губы, острый подбородок. Еще бросились мне в глаза черные с проседью усы, борода клинышком, неожиданно толстый, мясистый нос и длинная шея. Пальцы у Ахана-сери были тонкие и длинные, как у музыканта. Хорошо помню, как он был одет. Его когда-то нарядное, вероятно, дорогое платье обветшало, выцвело и было изношено до предела. Он носил круглую бобровую шапку, мех на ней был вытерт, а зеленый бархат наверху был линялого, неопределенного цвета. Шею его обматывал когда-то белый, а сейчас желтый шарф с распутившимися концами. Его старенькая куртка, отороченная бобровым мехом, была сильно потерта и изношена; когда он ее снял, я увидел подкладку из дорогого узбекского шелка, висевшего лохмотьями. Поношены были и сапоги с длинными голенищами, и войлочные казахские чулки, и шаровары. Новой казалась только нарядная тесьма с серебряными кисточками, спускавшимися ниже колен, ею он подвязывал шаровары. Все вместе производило впечатление ветхости и заброшенности. И невольно – вот кощунство!– облик его напомнил мне старого облезлого ястреба, которого я часто видел у Ораза.

Ахан поздоровался с нами своим мягким и певучим голосом, хозяин взял его под руку и повел в юрту. Вместе с ним вошли и расселись гости.

Потянулась вялая, скучная беседа о том о сем – с зевками и паузами. Ахан сидел посередине и кратко, видимо нехотя, отвечал на вопросы, которые задавали собравшиеся. Разговор явно не клеился. Больше всех задавал вопросы Машик и, ничего не скажешь, это были сдержанные, уместные во всякой беседе вопросы. Машик вообще был умелым собеседником и вежливым человеком. Разговаривая, он никогда не задевал никого и никогда не переходил границ приличия, смеялся тихо, весело и добродушно. Вот Машик-то и попросил Ахана спеть нам какую-нибудь из его великолепных песен. Хозяин же просто встал из-за стола, подал Ахану домбру и сказал:

– Ну ты же понимаешь, сери, что эти уважаемые гости приехали к тебе, а не ко мне. Спой, как можешь, они за все будут благодарны.

Ахан взял домбру и провел пальцами по струнам.

– Давно я перестал этим заниматься, – сказал он. – Ну, чтобы не было обидно, попробую.

И сразу стало так тихо, что я услышал свое сердце. Ахан немного побренчал на домбре, настраивая ее, потом откашлялся, сказал: «Вначале я спою «Даус Ашар» – и запел. Это была очень звучная, красивая песня, да и пел ее Ахан мастерски. Машик не выдержал и воскликнул:

– Эх, старый конь не разучился еще скакать по полю!

На него зашикали, и он дальше сидел молча, лишь иногда в самых поэтических пестах восклицая: «Гао! Пау!»

Акан кончил, положил домбру на колени. Наступило молчание.

– Разве теперь умеют петь? – вздохнул Машик. – Так, бренчат себе на струнах. Эх, Ахан, Ахан! Найдется ли где на свете еще такой певец, как ты?

Ахан благодарно взглянул на него, взял домбру и стал ее снова настраивать, тогда все закричали: «Кулагер!», «Кулагер!»

Ахан кивнул головой и начал:

Мой Кулагер красавцем был, пойми,
Его мне дядя уступил, пойми,
Знаток коней, старик под Ерейменом
Коня злым оком проводил, пойми!

Камыш пушистый ветер гнет, взгляни.
Рванулись кони, кто ведет? Взгляни.
Но не видать меж них саврасой масти,
Конь вороной зашел вперед, взгляни.

Эти два куплета были пропеты ровным, спокойным голосом. Но вот Ахан подошел к гибели своего чудесного скакуна:

Бывало, конь мой ест траву и сено,
Теперь хоть бейся головой о стену!
И сколько бы врагов за мной ни гналось,
Но Сырдарья была мне по колено!

Эти слова он произнес срывающимся голосом, лицо его потемнело, а когда он пропел строку из последнего куплета «И волосы я рвал тогда, рыдая», по щекам потекли слезы. Некоторое время он сидел неподвижно, смотря прямо перед собой, а потом вдруг повалился на бок и, верно, больно расшибся бы, если бы хозяин, зорко следивший за певцом, не подхватил его. Чьи-то услужливые руки подали подушку.

Ахан лежал в глубоком обмороке.

– Дайте воды!– попросил кто-то.

Хозяин покачал головой и сделал нам знак выйти.

– Вот видите, что вы наделали!– сказал он потом Машику.– И я напрасно вас не остановил. Разве можно Ахана заставлять петь «Кулагер»? Теперь два-три дня будет лежать пластом, ни с кем не разговаривая.

Больше я Ахана-сери не встречал никогда. Он скончался в конце того же года. Значительно позже, став взрослым, я некоторое время занимался изучением его музыкального и поэтического творчества. Конечно, он был поэтом, но далеко не таким «великим», каким я представлял его в детстве. Его литературное наследие, очень небольшое количественно (всего около полутора тысяч строк), свидетельствуют о таланте – и таланте своеобразном. Но он поэт узко личный, так сказать, камерный, и самое ценное в его лирике – это стихи о любви. Однако и они мало-приятны, так как засорены арабизмами и фарсидскими словами. В стихах Ахана много аллитераций, вместо рифмы он употребляет ассонансы и сильно злоупотребляет тем, что в поэзии называется приемом единоначатия. Каждая строфа таких его произведений, как «Платья белого подол» или «Приметы скакуна», начинается одной и той же фразой.

Так как ни одно из стихотворений Ахана при жизни автора опубликовано не было, то буржуазные литературоведы включали в собрание его стихов очень много панисламистских и пантюркистских произведений. Но, конечно, это явный подлог. Люди, хорошо знавшие поэта, утверждают, что таких стихов Ахан никогда не писал, песен таких не певал и настроениями такими не болел. Да и трудно поверить, чтобы бедняк, лишившийся буквально всего, всю жизнь страдавший от несправедливости баев, мог восхвалять феодальный строй. Наоборот, в стихах Ахана чувствуется глубокая отрешенность от мира, в них бедный, обездоленный, больной старик оплакивает свое одиночество.

Итак, нового слова в казахской поэзии Ахан-сери не сказал и бессмертных песен не создал. Много сильнее Ахан как композитор. Около двадцати его мелодий, считающихся самыми красивыми и звучными во всей казахской народной музыке, до сих пор распевают по всем аулам.

Поездка на гору Сырымбет волновала меня чрезвычайно, и я не мог дожидаться, когда мы до нее доберемся. На это были важные основания: первое, я никогда еще до сих пор не видел гор; второе, по рассказам Нуртазы, гора Сырымбет была не просто горой, а горой, названной именем моего предка, то есть, так сказать, моя фамильная гора; и третье, на этой горе помещалась ханская ставка. «Хан» и «орда» – эти слова были мне известны с раннего детства. Мы играли в асыки, и, биток в этой игре – большая бабка, раскрашенная хной, – назывался ханом. А в одном из вариантов этой игры выигрывал тот, кто первый собьет хана. Есть и такой термин в этой игре – «хан таламак», то есть «грабьте хана». Еще о двух играх, опять-таки в ханы, я подробно рассказываю в других главах этой книги. Но эти все ханы не в счет тем ханам, о которых поют песни и рассказывают легенды. Хань песен были всяческие: злые и добрые, любимые и ненавидимые, но обязательно обладающие нечеловеческой властью и могуществом.

И вот теперь уж я увижу хана воочию, а может быть, и остановлюсь в его юрте. Перед отъездом Нуртаза подробно объяснил мне, к какому хану мы едем и чьим отпрыском является он в родословном древе Чингис-хана. Оказалось, что Кокыш, наш будущий хозяин, его прямой потомок. Увидев, что я потрясен до глубины души, Нуртаза сообщил мне кое-что и дополнительно: «Первым ханом считается великий Чингис. Родила его женщина по имени Борте, а отца не было, ибо произошел Чингис из лунного света. Последним ханом был тоже Чингис, внук Аблая, и после него ханов уже не выбирали: казахи приняли русское подданство. Значит, недаром говорится: «С Чингиса ханство началось, Чингисом оно и кончится». Больше всего ошеломило меня, конечно, то, что я до сих пор знал

лишь только одного человека, сотворенного из света, – пророка: именно так пишется о его рождении в киссах. А теперь, значит, есть два Мухаммеда. С потомком одного я буду разговаривать. В общем, я не находил себе места. Однако случайно подслушанный мной разговор здорово охладил мой пыл. Мы заехали в один из попутных аулов и остано-вились в доме старосты Оспана, приятеля Таспая. Это был пожилой человек, властный, строгий, очень желчно и даже зло настроенный. Говорил он громко, складно, чуть жестикулируя.

– Этого сына Чингиса так бедность заела, что он даже выехать на летовку не может. Ни у одного из потомков Аблая нет и косяка лошадей. И хорошо! Их в нашем крае ненавидят, как собак, о тюре (потомках хана) никогда никто ничего хорошего не скажет. Они и на людей-то мало похожи, – так, заморыши: маленькие, больные. Ну, а то как же? Вырождаются: дядя женится на племяннице, брат – на сестре, все боятся пустить себе в семью неблагородную кровь. И осталось их всего тридцать семейств. Тьфу! Одно звание, что ханы, а так – голь пережатая.

В ханской ставке все оказалось не совсем так, как говорил презирующий весь ханский род аульный староста. Ханское хозяйство действительно было беднее бедного. В тот год, о котором я рассказываю, у потомка Чингиса было всего-навсего две-три лошади да одна корова с телкой. Но дом, а главное, его внутреннее убранство выглядели очень богато, да и сам последыш имел вид богатого, очень прилично одетого человека, пожалуй, даже франта. В ханской ставке меня поразило все: и то, что дом построен на высоком каменном фундаменте, и то, что у него крепкая, железная крыша, и то, что здание выглядит новым, только что построенным, что в комнатах много ковров, дорогой мебели. Потом я узнал, откуда все взялось. Дом был построен русскими властями на казенный счет еще в тридцатых годах прошлого столетия и подарен вдове сына Аблая Айганым,

которую после смерти мужа нарекли ханшей. От ее сына Шынгысу и перешел этот царский дар к ханскому последышу – Кокышу. Что же касается ценных вещей, то это были дары. Дом этот считался как бы престольными палатами Чингисов, и каждый из потомков Аблая, последнего хана династии, женившись, приносил самую драгоценную вещь из приданого невесты в подарок владельцу первопрестольной палаты. А так как еще недавно ханских родов насчитывалось до сотни, вполне, понятно, что дом напоминал маленький музей. Находились палаты хана в гуще соснового бора, между двумя большими озерами, сама же гора Сырымбет, поросшая этим бором, издали напоминала двугорбого верблюда, опустившегося на колени.

Возле дворца разместилась так называемая Орда – маленький опустевший аул. Раньше в нем жило множество батраков, пастухов, конюхов, работавших на хана, теперь же во всей Орде находились две татарские семьи: одна из них – ханского азанчи¹, другая же – придворного поэта и певца Галиянура. И того и другого привязывала к ханскому двору только привычка. Недалеко от дома Кокыша стояла огромная мечеть, запертая на замок. Она могла вместить до пятисот человек, но из-за отсутствия молящихся открывалась только в религиозные праздники.

У последнего хана, Чингиса, было пятеро сыновей – Кокыш, к которому мы сейчас ехали, и его братья: Жакып, Чокан (знаменитый ученый и путешественник Чокан Валиханов), Мақы и Махмет; бездетным был только Чокан, а остальные потомки ханского рода жили семьями вне ставки. Хочется сказать о младшем брате Валиханова – Мақы. О нем очень редко упоминается в литературе, а между тем это личность в своем роде замечательная: во-первых, он был глухонемым от рождения, но это не помешало ему окончить специальную школу (привез и устроил его туда Чокан).

¹Азанчи – пономарь.

Затем он поступил в Академию художеств и окончил ее. К большому сожалению, альбом его зарисовок, который мне показывал Кокыш, сейчас утерян. Но я отлично помню то чувство благоговения, которое вызвали у меня эти тончайшие акварельные зарисовки. Думаю, что это был действительно очень талантливый и интересный художник. Судьба Маки сложилась так, что после окончания академии ему пришлось служить в Омском областном суде письмоводителем, где он и приводил в восторг начальство своим каллиграфическим почерком.

Кокыш показал нам и еще одну драгоценность – толстую переплетенную рукопись на русском языке. На первой странице ее была наклеена фотография Чокана: молодого, черноусого, в офицерской форме. «Писал сам Чокан», – значительно сказал старик. Забегая вперед, скажу, что через несколько лет я опять встретил Кокыша и взгляделся в него. Поистине, он был двойником своего знаменитого брата – то же удлиненное худощавое лицо, тот же плоский нос и даже разрез глаз тот же.

– Мы и ростом были одинаковы, – сказал Кокыш, – и вообще похожи, но он был куда умнее меня. Он учился, а я убежал из школы и остался неучем, Вот сейчас и бедствую.

И Кокыш действительно бедствовал. У него не было даже овцы, чтобы угостить приезжих гостей. Пришлось посылать за ней в русский поселок. И все-таки надо было жить у этого бедняка с неделю. Дело в том, что судья, к которому приехали мои спутники, был в отъезде, а когда вернулся, то к нему сунуться никто не решался, надо было сначала послать приличный подарок, то есть, проще говоря, взятку, а потом уже говорить о деле. Пока придворный певец Галиянуур, который взялся быть посредником, вел переговоры с судьей, мы жили в доме хана и – неслыханное дело! – сами покупали себе продукты!

– Отроду этакое не водилось у казахов. Только у великого хана впервые встречаем, – ворчали мои

спутники.– Дом доверху набит добром, а есть нечего. И не догадается продать что-нибудь.

Но сказать в глаза тюре что-нибудь подобное никто не решался, ведь дело было у судьи и многое зависело от ханского последыша.

СУДЬЯ-ВЗЯТОЧНИК

За решение «в иске отказать» судья сначала потребовал пятьсот рублей, потом спустил до трехсот, но на этой цене стоял уже крепко. Делать было нечего – пришлось платить. Но легко сказать – триста рублей! Это ведь десять самых лучших лошадей! Как же разделить эту сумму между собой? Когда дело дошло до денег, мои спутники, неразлучные, как братья, ласковые, предупредительные, чуть не передрались. Прежде всего оказалось, что каждый надеялся на другого, и поэтому денег нет ни у кого.

– Что вы от меня хотите?– орал Шери.– Вы меня просили привезти к тюре, я привез. Просили найти посредника, я нашел. Просили уломать судью, я уломал. Ну вот и все! А остальное дело ваше, не я сужусь, а вы.

– Что?– кричал Ботпай.– Мы судимся? А кто нас оклеветал? Кто разжег этот огонь? Твой отец. Так что ж ты от нас хочешь? Для нас даже пот наших лошадей – непосильный расход в этом поганом деле. Сами разожгли костер, сами и тушите, а нас своей сажей не марайте. А хочешь марасть, говори прямо, тогда ничего не надо. Будем судиться. Посмотрим, чья возьмет!

Все эти разговоры, конечно, велись только в четырех стенах, без свидетелей. Но кто-то об этом донес хозяину, и он вызвал своих гостей для разбора. Выслушав внимательно обе стороны. Кокыш решил, что платить должен тот, кто заварил кашу, то есть Торсан и его сын Шери.

– Есть у тебя деньги?– спросил Кокыш.

– В том-то и дело, что ни копейки,– уже смиренно ответил Шери,– ничего отец не дал. Я бы с радостью уплатил, да нечем.

У Машика тоже не оказалось ни копейки, о Таспае и говорить нечего. Тогда Кокыш развел руками:

– Ничего не понимаю! Как же Торсан послал вас сюда? Зачем? Ведь он сам часто говорил мне: «К начальству ходи пореже, а взятки посылай почаще,– вот и будет все ладно». Что же он вас послал с пустыми карманами?

– И я напоминал ему об этом,– сказал Машик,– но он какой-то чудной. Знаете, что он мне ответил? Поезжай! Поезжай! Что бог даст. Если будет его святая воля, то и судья ничего не возьмет. Мои дела всегда оканчиваются так.

– Да,– вздохнул Кокыш,– сплеховал, сильно сплеховал старик. Видать, нет уж прежней сметки. Да и то сказать, лета не те и деньги не те. Но что теперь делать?– Он сел и задумался.

Мои спутники тоже молчали. Всем было ясно: раз денег нет, значит, и говорить не о чем.

– Неладно! Очень неладно получается,– сказал Кокыш задумчиво.– Не знаю, что и делать. По вашей просьбе я послал к судье нарочного и просил его уладить дело. Ну хорошо, что он согласился, а если б заартачился да крикнул: «Кого ты хочешь подкупить? Взять негодяя!» Сидел бы бедняк как миленький, не так ли?

– Это так,– согласился Таспай.

Он страшно боялся и судьи, и тюрьмы, и, кажется, больше всего суда. Причем, по его представлению, что быть подсудимым, что свидетелем – одно и то же. Все равно позор. Он так и молился по дороге: «Господи, не попусти и не дай опозориться!»

– Мы на вас надеемся, как на самого пророка,– сказал он чуть не плача.– У нас только две опоры – аллах, да вы!

– Ну хорошо,– наконец решил Кокыш.– Торсан мой сверстник. Если он на меня понадеялся, значит, я его не должен подвести. «Творящий добро да не остановится на полпути!»– говорят старые люди. Пошлю я

нарочного второй раз к судье. Попрошу отсрочки на несколько дней. Но вы-то сумеете обернуться, не подведете меня опять?

Наступило молчание.

– Так не подведете?– второй раз спросил Кокыш.– Достанете деньги? Не придется мне краснеть перед судьей?

Опять все молчали и смотрели на Шери.

– Разрешите нам посоветоваться,– сказал Ботпай,– мы выясним наши возможности.

«Наши возможности» – это возможности Шери. Как только Кокыш вышел, все налетели на несчастного.

– Ты виноват,– кричали они,– ты нас втравил в это дело, ты и плати!

– Водит он нас за нос,– отвечал Шери.– Триста рублей – косяк лошадей! За такое пустое дело! Ни убийство, ни грабеж, даже не увечье. За такое дело дал лошадь, ну, самое большое – две, и конец. Нет, это не судья берет.

– А кто же? Галиянур?– спросили его.

– Ну при чем тут Галиянур?– махнул рукой Шери.– Он тоже подневольный человек. Это нищий тюре нас ложет и хочет оставить голыми, как мосол.

– Ну так пойди к судье,– любезно предложил Машик.– Пойди и выясни. Правда, зачем платить триста, если все можно обделать за две красненьких?

– Да что мне ходить? Я ведь не подсудимый,– обиделся Шери.– Был бы я на вашем месте, так пошел бы сам, а не посылал бы этого полудохлого от голода тюре. Я в таких посредниках не нуждаюсь.

– Ах так!– воскликнул Машик.– Хорошо! Ничего не плати. Убирайся к шайтану, возвращайся к отцу! Пусть нас сажают в тюрьму за кражу твоих лошадей. Посмотрим, кому придется хуже.

Положение Шери было безвыходное. Не верил он, что судья столько запросил,– легко ли – триста рублей! И в то же время понимал, что платить придется все-таки одному. Где же взять денег? Но недаром говорят: «Кому

не суждено умереть с голоду, тот и в степи найдет рыбу». Неожиданно ему повезло: приехал конокрад Жудырык.

– Да ну!– воскликнул Шери, узнав об этом.– Если Жудырык здесь, значит, деньги будут.

– А кто такой Жудырык?– спросил я у Машика.– Что, он даст деньги Шери?– И слышал удивительные вещи.

Жудырык, оказывается, известный вор. А отец Шери, Торсан,– известный всем приемщик краденых коней. Жудырык с ним постоянно держит связь, он приводит к нему лошадей, уведенных в восточной части, и забирает от него лошадей, украденных на западе.

– А что ты удивляешься?– сказал мне Машик, взглянув на мой открытый от изумления рот.– Что ты думаешь, один Торсан занимается этим делом? Эге-ге, милый! Баи Кустанайской и Тургайской областей постоянно держат между собой связь и переправляют друг другу целые косяки.

Что же касается Жудырыка, то его появление в этих местах тоже имеет свою историю. Оказывается, не так давно он со своим закадычным другом Сыздыком был арестован, судим и осужден на ссылку в Тургайский уезд. Однако, что для вора такая высылка? Он везде найдет применение своим способностям, были бы только покровители. Известный в тех местах Абдыгапар, вошедший впоследствии в историю как убийца Амангельды, взял обоих друзей к себе как штатных конокрадов. Все было бы хорошо, если бы Сыздык не сошелся с младшей женой хозяина. У Абдыгапара руки были длинные, а расправа короткая. Он убил Сыздыка на месте, а Жудырык успел убежать. И вот теперь приехал в ханскую ставку в самый нужный момент, чтобы спасти от позора сына своего старого хозяина. Шери послал за ним, и конокрад явился сразу же. Это был склонный к полноте, смуглый человек, с густыми усами и бритой головой. Договорились они в течение нескольких минут. В ту же ночь куда-то исчез Шокпыт

и вернулся дня через три с деньгами. Прислал эти деньги младший брат конокрада Жетпыс.

Триста рублей или меньше получил судья, сказать не берусь, но дело было решено. Как только Машик и Таспай получили на руки копию постановления об отказе в иске, они собрались уезжать, но их задержал Шери.

– Надо угостить судью, – сказал он. – Не маленький человек, всегда может пригодиться.

– Пусть моя спина смотрит на твоего судью, – возмутился Таспай. – Молю всемилостивейшего аллаха, чтобы он мне и ночью ненароком не приснился.

– Если он так тебе нужен, то ты сам с ним и гуляй! – присоединился к нему Машик. – А нам бы век его не видеть.

– А ты знаешь, что у него есть? – таинственно спросил Шерн. – Граммофон!

Что такое граммофон, друзья не знали и только развели руками.

– Машина, которая разговаривает, вот что у него есть! – воскликнул Шери. – И добро бы говорила, а то ведь и песни поет. Где ты ее еще увидишь? Она и в городе редкость, а у судьи есть!

Это меняло дело, и друзья остались. Пир происходил на берегу большого озера Кривоозерье, в кибитке пастуха. Судья приехал и граммофон привез. Этот важный человек был небольшого роста, тучный, с брюшком. Лицо его очень худощавое и тонкое, совсем не под стать могучему корпусу. Неожиданными были вздернутый маленький носик, а главное – очень большие синие глаза. Во всем остальном судья был типичным, царским чиновником начала нашего века: с выбритым подбородком, с длинными рыжими бакенбардами, с неизменным чубуком. Чубук этот он изо рта не выпускал, и чем больше пил, тем старательнее затягивался. При этом он хохотал во все горло, так хохотал, что на лбу и на шее его вздувались жилы. Судья чувствовал себя хозяином, бесцеремонно

вмешивался во все разговоры и всем мешал. Пил он очень много, приводя в изумление моих спутников. С ним пили только конокрад и Шери, остальные отказались. Несколько раз Шери пытался завести граммофон, но судья громким хохотом и криком (голос его походил на мычание коровы, раздираемой волком) заглушал музыку и песни. Наконец Жудырык сказал Шери на условном, только им понятном, языке:

– Рыжего козла надо уложить! Поднеси ему еще, а то ведь покою не будет. Раз уж пришли, надо же послушать эту машину.

Через полчаса судья лежал как мертвый. Вот тут мы вволю послушали говорящую машину: граммофон пел, кричал, смеялся, свистел, как соловей, а мы сидели вокруг, разинув рты. Что за чудо! Откуда звуки? Труба да черная круглая пластинка под иглой, которую как ни верти в руках, ничего не увидишь, а поверни ручку, и все запоет, заголосит, как русская девка, или порадует сердце переборами голосистой гармошки. Что же такое происходит?

– Да... Разве разгадаешь русские штучки! – удивлялись казахи. – У них и железо поет, и иголка играет, как домбра.

А смирный, веселый и добрый Машик сказал:

– Пусть живет долгие годы человек, который выдумывает такое на радость людям. Послушаешь – и на душе становится светло.

БАЛУАН-ШОЛАК

На обратном пути мы попали на ярмарку в селе Макарьевке. На ярмарку съехались богатеи из самых дальних аулов, приехали и наши земляки. Вечером все они собрались в одну кибитку, начали обсуждать, не пригласить ли всем землячеством Балуан-Шолака. Тут у меня даже сердце замерло. Балуан-Шолак – это легендарный герой, великан, который поднимает, как овечку, самого большого быка, одной рукой он может

скрутить железную полосу толщиной в руку. Говорят, что за полчаса он объезжает самую дикую лошадь, перепрыгивает через самый высокий забор, ударом головы пробивает стену деревянного дома, переплывает самую широкую реку, перегоняет любую лошадь, за один присест съедает целого жеребенка.

Его конь дороже самого богатого калыма. Он поет, как соловей, говорит, как мулла, играет, как музыкант. Его ни пуля не берет, ни шашка не рубит. Говорят, что жигит должен иметь восемь разных талантов, а у Шолака их было восемьдесят.

На предложение пригласить богатыря кто-то возразил:

– Так-то так, да вот, говорят, он чем-то русские власти прогневал, его всюду разыскивают, как бы не попасть нам в беду...

Все так и зашумели. Какая там беда? Если бы он скрывался, а то ведь открыто ходит, его весь рынок видит. Чепуха это. Стали договариваться, чем угощать дорогого гостя, и решили, что меньше, чем кобылой, не обойдешься, ведь с Балуаном свита в пятьдесят человек. Послали за богатырем самых уважаемых людей. Послы вернулись под вечер и сообщили, что Балуан обещал приехать. Тогда зарезали самую жирную лошадь, разложили костер, залили котлы, сели вокруг огня дожидаться. Я изнывал от нетерпения, так мне хотелось видеть этого легендарного героя. Ждать пришлось недолго. Через час послышались залиvistые лады гармошки и drobный топот многих копыт. Все затихли прислушиваясь. И вдруг хор мужских голосов согласно подхватил и понес слова песни, которая все приближалась и приближалась к нам. Мы бросились навстречу гостям. А всадники, доехав до костра, круто осадил лошадей и спешились. Сразу образовалась большая толпа.

– Где же Балуан-Шолак?– спросил я кого-то.

– А что, у тебя глаз нет, что ли?– ответили мне.--
Смотри и увидишь. Его тут ни с кем не смешаешь.

Увы, это было не так. Он был, правда, широкоплеч и довольно высок, но таких, как он, я видел много. У Балуана была мощная грудь, сильные руки, приятное лицо. Особенно мне запомнился большой орлиный нос, густые брови, большие черные глаза и густая-прегустая, круглая, совершенно черная борода. Зато одет он был, как в сказке: с плеча его спадал белый армяк из верблюжьего пуха – так и сверкала богатая шелковая подкладка, на голове красовалась шапка из белой мерлушки с верхом из бухарского шелка. Под армяком был надет новенький бешмет из черного бархата, подпоясанный шелковым поясом с бахромой. Синие суконные брюки были расшиты серебром и золотом, на ногах – легкие казахские сапоги на высоком каблуке. Никогда я до сих пор не видел такого франта.

Балуан оказался человеком веселым и общительным.

– Есть пословица: «Сначала обяжи, а потом послужи», – сказал он. – Вы звали меня повеселиться, давайте же начнем. Приведите-ка мне сюда лошадь!

– Привели самую большую лошадь. Он подполз под ее брюхо, подставил под ее живот правое плечо и вдруг легко понес ее. Все закричали, повскакивали с мест, а он осторожно поставил кобылу на землю, перевел дыхание и сказал:

– Теперь пусть ваш силач меня задушит!

Тут из толпы вышел высокий, плечистый детина, на вид куда более здоровый, чем Балуан-Шолак. Его и звали Верблюд.

– Сможешь меня задушить? – спросил Балуан-Шолак.

– Попробую, – вежливо ответил Верблюд, и схватил его за горло обеими руками.

– Крепче! – сказал Балуан и через минуту: – Еще крепче! Что? Неужели больше не можешь? Ну, смотри теперь. – Он резко крутанул головой, и Верблюд полетел.

– В старину разное бывало, – говорили зрители, – но такого никто не видал! Не видано это и не слыхано.

После обеда Балуан-Шолаку дали домбру, и он стал петь. Спел он «Ийях» – песню своего сочинения.

Потом на этот же мотив спел всем известную «Мне нынче сорок девять лет» и знаменитую «Галию». Пел он, как и говорил, слегка в нос. Голос у него был очень приятный, хотя и небольшой. Зато он исполнял свои вещи артистически. Казалось, сама прекрасная Галия сидит возле, смотрит и улыбается своему возлюбленному, а он поет, обращаясь только к ней.

Балуан-Шолак закончил песню и стал прощаться. Его с почетом посадили на коня, спутники тоже вскочили на своих лошадей, и вот с громкими песнями и смехом вся кавалькада всадников поскакала в степь.

А люди, смотревшие им вслед, говорили:

– Вот это жигит: сам никого не обидит и никому себя обидеть не даст. Пришел в мир улыбаясь и с улыбкой покинет его. Пусть матери рожают только таких!

И другую знаменитость я встретил тогда. Это был поэт и композитор Ибрай Сандыбаев. В момент нашей встречи ему было уже за шестьдесят, но голос его звучал так же молодо и чисто, как и тридцать лет назад. Память у Ибрая была изумительная. Он мог, не отдыхая, сутками исполнять по заказу любые казахские песни. Знал он наизусть и поэмы, и богатырские сказания, и суры из Корана. Он был любимцем своего народа. Таким я его и запомнил на всю жизнь.

Мы тоже тронулись в обратный путь. В дороге Машик сказал мне:

– Теперь ты многое повидал, многое узнал. А знаешь, говорят: «Свет увидал – сам атаманом стал». Вот я знаю, ты хочешь стать акыном. Таким, как Ахан-сери?

Я отрицательно покачал головой.

– Тогда, как Балуан-Шолак?

Я вспыхнул и опустил глаза.

– Молодец! – улыбнулся Машик, и было видно, что он очень доволен моим ответом. – Правильно! Постарайся быть таким. Жигит, которому никакое несчастье не сгибает шею, – цвет всех жигитов, выше его никого нет. Старайся быть таким, Сабит!

ПУТЬ ЯМЩИКА

РАНА В СЕРДЦЕ

Радостный возвращался я в аул. Да ведь и было от чего. Сколько далеких земель я объездил, скольких людей увидел, сколько рассказов услышал! Видел я русские деревни с деревянными домиками, как сказочные дворцы, видел мебель, настоящую фабричную мебель, привезенную из города, – крепкую, удобную, красивую. Видел чудесную машину, поющую человеческим голосом, и видел шайтан-арбу – велосипед, от которой обомлел даже Машик.

– Апырай!– сказал он.– Пожалуй, настанет время, когда мы все будем ездить на таких машинах, а лошадей оставим только, чтобы были кумыс да жаркое.

Попробовал я и овощи: морковь, картошку, огурцы – и, кажется, ничего более вкусного я не едал за всю мою жизнь.

Отведал и хлеба, настоящего белого русского хлеба. Он мягкий и пышный, как подушка, его рукой прими-наешь, а он опять поднимается. Год был урожайный, и, когда мы ехали, золотые хлеба стояли по правую и по левую стороны дороги.

– Оттого-то у русских и дома такие, и мебель в домах,– говорит Таспай, глядя на это богатство.

– Не кочуют они, в этом и вся сила,– пояснил Машик.– Гвоздик к гвоздику, колышек к колышку – и хозяйство

собралось. А мы только и знаем, что ломать да строить, вот если осядем на землю, и сами так будем жить.

– Дождись!– безнадежно махнул рукой Таспай.– Когда это еще будет.

– Будет!– упрямо кивал головой Машик.– Обязательно будет! Все к тому идет. Время, брат, заставит осесть. Оно мудрое.

И еще я увидел леса: угрюмые сосновые боры, веселые березовые рощицы, лесные полянки с мухоморами. Они промелькнули передо мной, как далекие видения моего детства. Ведь я родился в лесу и жил в нем до пяти лет. Но это настолько изгладилось из моей памяти, что когда я впервые, задрав голову, увидел вершину огромной сизой ели в человеческий обхват, у меня от удивления даже дух захватило. Неужели и такие бывают? Увидел я настоящую реку, многоводную, спокойную, тянущуюся на много сотен верст. И настоящую гору Сырымбет, мою фамильную гору, которую до этого считал сказкой.

Словом, весь мир увидел я! Раньше он был мне известен всего верст на двадцать пять-тридцать в округности, а теперь я познал такие просторы, что голова пошла кругом от всего виденного и слышанного.

Итак, потихонечку, полегонечку мы возвращаемся обратно. Все меньше и меньше встречается русских деревень, все реже попадаютс нам станицы – опять пошли аулы, стада и кладбища с одинокими деревянными мавзолеями – мазарами. И какими тоскливыми глазами смотрел я теперь на все это! Ну, в самом деле, кучка глинобитных домиков у озера – не меньше пяти и не больше пятнадцати,– а на холме – впереди – обязательно белая юрта, в ней, конечно, живет местный богатеи, а вокруг нее черным-черно: рваные палатки, очаги прямо на улице, закопченная земля. Возле белой юрты пасется много скота, возле черных – хорошо, если ходят две-три коровы.

У белой стоит тарантас, у черных – двухколесная арба.

Навстречу нам на дорогу выходят жители аула. Все они похожи друг на друга, потому что одна и та же игла обшивала весь аул. Вспоминаю, какие в русских станицах ладные, легкие, хорошо сшитые, удобные рубахи – то красные, то зеленые, то синие, то просто белые, какие цветные платки с огромными розами носят деревенские девушки, какими сапогами щеголяют парни, – и мне становится грустно. Эх ты, деревенская привольная жизнь! Ярмарки, гармошки, хороводы и посиделки, – как далеко все это от нас!

– У кого остановитесь? – спросил я Машика.

– У Нуртазы, – ответил он.

Давно ли мне казалось, что красноречивей и умней Нуртазы людей на свете не может быть, а теперь таких краснобаев увидел, что о Нуртазе и помянуть-то не хочется.

– Поезжай тише! – приказал Машик.

Правильно. В аул нельзя влетать на всем скаку, разбежавшуюся лошадь надо придерживать еще за околицей и въезжать в аул шагом или легкой рысцой. Только невежа, не знающий приличия, может вести себя по-другому.

– Еще тише! – приказал опять Машик.

Я поневоле придержал вожжи. Увидев проезжающих (а они редкость в это время года), к нам, крича, метнулась толпа ребят, и я узнал в них своих товарищей, они тоже узнали меня и закричали:

– Сабит! Сабит!

Прямо к телеге подлетел Шакен – мой двоюродный брат, младший сын Мустафы.

– Куда? Под телегу попадешь, шайтан! – крикнул Таспай и вырвал у меня кнут.

– Кто это? – спросил Машик.

Я ответил, что мой брат.

– Значит, свой своего признал, – засмеялся Машик. – Смотри, как стосковался! Так и летит под колеса. Стой, Сабит! Посадим его на облучок.

Но останавливаться не потребовалось: Шакен на ходу вскочил в повозку. Мы обнялись.

– Эй, нюня, что сопли распустил! Вожжи бросил!– крикнул Таспай.– Давай сюда! А то как раз влетим в канаву.

Пришлось объезжать весь аул. Юрта Нуртазы стояла посередине, а путник, въезжающий в аул, имел право ехать только окраиной. Так мы увидели юрту Мустафы.

Ох, этот упрямый своевольный Мустафа! Ничем его не сломаешь, никак не убедишь! В выюжную зимнюю ночь, в трескучий мороз я убежал из его юрты, чтобы никогда не переступить вновь ее порог, а прошло время и стал преступать его слишком даже часто. Ведь у Мустафы осталась моя сестренка Ултуган, которая меня любила так же, как и я ее. Наша взаимная привязанность и преданность разрушили все преграды, разделяющие нас. Нам уже не запрещали встречаться, и виделись мы открыто. И перед отъездом я тоже зашел в кибитку Мустафы, не таясь; и так же, не таясь, обняла меня сестра на прощание.

– Поезжай! Поезжай, милый!– сказала она.– Это хорошо, что тебя берут с собой. Людей посмотришь, себя покажешь, и мне,– тут она слабо улыбнулась сквозь слезы,– привезешь подарочек.

Подарок я ей вез, и даже два подарка: брошку за пятак и великолепный шелковый платок с красной каймой, уступленный мне за четвертак. Тридцать копеек – огромные деньги для меня. С каким трудом я собрал их по дороге.

Я ощупывал эти подарки за пазухой (брошка завернута в платок) и не сводил глаз с юрты. Вот-вот сейчас навстречу нам выскочит Ултуган. Но колеса стучат, ребята, крича, выбегают из всех кибиток, даже и взрослый кой-кто вышел посмотреть, кто едет, а сестры нет. Вот уж поравнялись мы с черной закопченной юртой Мустафы, вот уж проехали ее – никто не вышел нам навстречу. «Где же она наконец? Куда девалась?»– думал я, смотря по сторонам и задавая эти вопросы небу,

степи и кибиткам. Но и небо и степь молчали так, словно девушка Ултуган и не жила никогда на свете.

Когда наша телега наконец остановилась у дома Нуртазы, я схватил двоюродного брата за руку и оттащил в сторону.

– Где Ултуган? – спросил я.

Он молча отвернулся и вырвал руку.

– Ну?

Он молчал. Я повернул его за плечи и взглянул в глаза. Он плакал.

– Выдали замуж? – спросил я тихо, замирая от страха.

Вместо ответа он громко зарыдал.

После я узнал: ее выдали замуж в аул Жайлыган за вдовца лет пятидесяти.

– Он ровесник нашему Аتكельтыру, – сказал сосед, сообщивший мне эти сведения.

Аتكельтыр – пожилой человек с окладистой черной бородой – стоял поодаль. Он показался мне в эту минуту совсем стариком. Пятьдесят и шестнадцать! И ведь ничего не поделаешь: замужней женщине в отчужденную юрту возврата нет. И особенно меня поразило вот что: все знали что Мустафа; продавая шестнадцатилетнюю девчонку, совершает преступление, все ругали его за глаза, и все молчали, потому что это их не касалось.

– Что поделаешь? – говорили эти добрые люди. – Он глава семейства, значит, его право распоряжаться.

УЧИТЕЛЬ

В ауле произошло событие огромной важности; уехал старый молда Хабибулла Газизуллин, и Нуртаза привез нового учителя – молодого татарина с небольшими, подстриженными по-городскому усиками, голубоглазого, русоволосого, стройного. Звали татарина Идрис, фамилии не помню. Привез его Нуртаза прямо к себе, потому что пришла пора отдавать младшего сына Молдагазы в школу. Встретился Нуртаза с

Идрисом в доме жениха своей дочери Габбаса Ханафина, который в ту пору учился в Уфе в знаменитом медресе «Галия». Идрис был однокурсник Габбаса, и Нуртаза сговорил его за пятьдесят рублей поработать лето учителем в нашем ауле. Тот согласился, и обучение началось. Говорили про Идриса и так и эдак, и хорошо и плохо. Хорошо потому, что он учил по новому методу, такому совершенному, что человек овладевал грамотой и письмом в течение месяца. Этим да еще четырьмя действиями арифметики ему бы и ограничиться, а он учил еще и космографии, и географии, и даже биологии. Вот это-то и не нравилось старикам. Кроме того, шутка ли платить беззусому юнцу пятьдесят рублей! Ведь за такие деньги можно купить семнадцать самых наилучших овец!

– Ладно, не платите!– ответил Нуртаза.– Я его для своего сына привез, так пусть один мой сын у него и учится.

И действительно, сначала у Идриса учился один только Молдагазы, но новый метод говорил сам за себя, и к моему приезду к Идрису уже ходило около тридцати моих сверстников. Он даже завел нечто вроде постоянной школы – кибитку, где учил ребят, и там же жил сам.

Но особенно не любили жители аула Идриса за то, что он был еретик. Правда, его ересь ограничивалась только тем, что он рассказывал о шарообразности Земли и о том, как она ходит вокруг Солнца, но и этого было предостаточно. Кроме того, новый учитель не верил в предопределения, а ведь вера в судьбу – фатум – одна из основ мусульманской теологии.

– Человек свою жизнь создает сам, своими руками,– говорил новый учитель.– Только сам и только своими собственными руками, и никто ему в этом не может помочь. Если только у него есть голова и он слушает голос разума и науки, он живет счастливо; если он дурак и неуч и не родился богачом,– помирает с голоду.

Осуждали нового молду и за его отношение к обрядам: намаза он не делал, посты не соблюдал, а курить курил. Сколько раз к нему приставали с вопросом, зачем он так грубо нарушает шариат? Подобаешь ли это учителю?

– Учителю подобаешь только одно: хорошо учить ваших ребят, – резко ответил учитель, – а все остальное – дело его собственной совести. А разве я плохой учитель?

На это, конечно, ответить было нечего. Учил новый молда на совесть. Неграмотные быстро начинали читать, а грамотеи постигали дальнейшие премудрости: таинственный сарф (этимология), наху (арабский синтаксис), дурс ащи-фахия (хрестоматия). А однажды произошло событие, которое поставило Идриса так высоко над всеми учеными и богословами, известными нам хотя бы понаслышке, что все его недоброжелатели сразу замолчали. Самым ученым в наших местах считался хазрет Агатай, изучивший двенадцать наук. И вот Идрис однажды положил этого хазрета на обе лопатки, сразив его именно в вопросах богословия. Вышло это так. Как-то раз Нуртаза пригласил мудреца к себе. Хазрет явился и сразу же завел разговор о новом учителе. Разговор был резкий и прямой.

– Правда, что ты нашел нового молду и привез его к себе? – спросил мудрец.

– Правда, – ответил Нуртаза.

– И правда, что он учит твоего сына по-новому?

– И это правда.

– И не стыдно тебе на склоне лет связываться с богоотступником? – спросил хазрет.

Нуртаза пожал плечами.

– Мой молда верит в аллаха и свято чтит Коран и пророка. Что ж еще от него требовать? А кто теперь из молодежи соблюдает посты и намазы? А учит детей он хорошо. Я еще не видел такого способного и ученого юноши.

– Сатана был учение твоего учителя, а аллах все равно проклял его,– сурово сказал хазрет и прекратил разговор.

Когда на стол было подано мясо, вошел Идрис – молодой, франтоватый, с папиросой в зубах. Взглянув на эту папиросу, старик не выдержал.

– Глупец!– загремел он.– Сейчас же брось свое адское зелье, богоотступник!

Идрис спокойно прошел к столу и сел.

– Вот вы сердитесь на меня, хазрет,– сказал он кротко и укоризненно,– а насчет курения есть даже хадис самого пророка.

– Скажи его, если знаешь, обманщик,– рявкнул на него хазрет.

– А вот, когда любимый ученик Мухаммеда спросил пророка о курении, тот своими священными устами изрек: «Аддухани кейфятун, валяу кане махоркнятуан, уаин кане папирোসаин тайнбин» (в переводе с арабского это значит: «Курение поднимает дух, махорка бодрит, а выкуривший папиросу вкушает наслаждение»).

Наступила тишина. На хазрета было жалко смотреть. У этого великого ученого имелась своя слабость – он плохо разбирался в арабском тексте и был готов всему верить.

– Да, да,– пробормотал он смущенно,– это, наверное, из полного собрания изречений, а я ведь изучал только краткое. Да, да!

И уже молчал до конца обеда, искренне поверив, что изречение, сочиненное молодым учителем, принадлежит пророку.

– О-о!– говорили гости, расходясь по домам.– Вот это ум! Вот это премудрость! Оказывается, на свете есть люди учение хазрета.

Конечно, у такого учителя я мог бы перенять очень многое, но никакие силы не могли меня удержать в ауле после того, как его покинула моя сестра. Все, что я видел в Жаман-Шубаре: дома, улицы, люди,– все

казалось мне чужим, затаившимся, бесконечно враждебным. Ведь именно все это и погубило мою сестру. Покинуть аул стало для меня необходимостью. Но куда уйти? Чем заняться? Я лихорадочно искал выхода, и скоро он нашелся.

СТЕПНОЙ МЮНХГАУЗЕН

От нашего аула тянулась проезжая дорога. И вот в 1913 году к нам приехало начальство и объявило, что отныне наша дорога входит в сеть почтовых дорог империи. Затем последовало и еще более серьезное событие: был объявлен аукцион на занятие должности двух ямщиков. Делалось это так: на сходке жителей села, деревни или аула объявлялась правительственная цена за гоньбу и спрашивалось: кто согласен на меньшую? Должность получал тот, кто говорил самую меньшую сумму. Когда у нас в Жаман-Шубаре объявили такой аукцион, никто участия в нем не принял и никакую цену – ни высокую, ни низкую – не предложил. Большинство отговаривалось незнанием русского языка, а некоторые просто промолчали. В конце концов власти наняли в ямщики двух бедняков – Рамазана и Иманали. За сто рублей годовых они согласились держать четырех лошадей и возить путников в два конца: тридцать пять километров на запад (в русский поселок Антоновку) и двадцать пять километров на восток (в аул Толеке). С этого времени через наш аул начали проезжать всякие невиданные и неслыханные дотоле чины: почтальоны, приставы, урядники, чиновники особых поручений. И мои одноаульцы с восхищением рассматривали шашки, фуражки и форменные мундиры с блестящими пуговицами.

А я в это время ходил по опостылевшему мне аулу, изнывал от тоски и не знал, куда себя девать. Сжалился надо мной один из ямщиков – Рамазан. Сначала он

просто брал меня с собой, а потом, когда я попривык, стал отправлять и одного. Если я ехал на восток, то моим сменным в ауле Толеке был ямщик Байбан, ему я сдавал седока или груз и возвращался домой. Проезжать приходилось мимо зимовья Махамбет, где жила семья старика Корабая. Вот о Корабае мне и хотелось рассказать подробнее. До сих пор перед моими глазами стоит этот седой великан – желтый, худой, высохший, как вобла (ему перешло за восемьдесят). Он был кузнецом, работал всегда полуголым, и я помню, как меня поражал его гигантский костяк, где каждое ребро казалось огромным, как обруч сорокаведерной бочки.

Вот с этим-то стариком я и подружился, останавливаясь у него на обратном пути из Толеке. Самый бедный из всех бедняков аула, он не имел даже войлочной кибитки на зиму, довольствуясь какой-то рваниной. Летом он жил в шалаше, покрытом дерном. Возле этого шалаша стоял другой, еще поменьше. Это и была кузница. Молот в его руках да стельная корова на его дворе – вот и все, чем располагал этот бедняк. Но для меня его дырявый шалаш был притягательнее самой богатой юрты. Дело в том, что этот Корабай был замечательнейшим рассказчиком. Более потешных небылиц я не слышал во всю свою жизнь. Рассказывая свои необыкновенные истории, Корабай постоянно находился в движении: грохал по железу своим тяжелым, величиной с человеческую голову, молотом, что-то мастерил, что-то делал. В его маленькой кузнице душно, жарко, копотно, но он выходил из нее только для того, чтобы поесть да поспать. Всю жизнь Корабай обходился без подручного: сам мехи раздувал, сам железо ковал и сам его закаливал. Несмотря на его возраст, сила у него была колоссальная. Играючи доставал он из огня огромный кусок железа темно-вишневого цвета, бросал на наковальню, и оно под его молотом принимало любую форму. Он натягивал шины, и от рывков железные спицы трескали, как спички.

Сидеть сложа руки и безучастно смотреть, как работает другой, в ауле невозможно, в особенности, если этот другой – старик и ему больше восьмидесяти лет. Поэтому, когда я захожу к Корабаю, работаем мы оба. Я раздуваю мехи, а он равномерно, точно бьет по железу, неторопливо рассказывает.

– А то вот еще что было,– говорит он задумчиво.– Захотелось мне как-то провести своих одноаульцев. Запряг я быка в двухколесную телегу, поставил плетеный короб и поехал. И все было бы хорошо, если бы бык вдруг не понес меня по степи,– это с ним бывает, когда его одолевают колики. Земля в тех местах неровная – в буграх да яминах. Ну, думаю, ухнешь в такую яму – конец и мне, и телеге, и быку. А бык-то, бык-то несется сломя голову! Ну что делать?

Лицо Корабая становится на миг испуганным. Он ведь не только отличный рассказчик, но еще и артист.

– Ну, изловчился я как-то и повернул быка от этих ям в другую сторону. Опять беда! Там озеро. Глубокое и такое по берегам тинистое, что ногу поставить нельзя: завязнешь и не вылезешь. Но что делать? С одной стороны ямы, с другой – тина. Вот и выбирай?

Я молча киваю головой. Трагизм положения захватывает и меня, а лицо Корабая вдруг озаряется настоящим вдохновением.

– И вот,– говорит он,– бык влетает на полном скаку в озеро и катит телегу уже в воде. Вода залила ее, а он все прет да прет. Одна голова торчит, а он все прет. «Что же делать?»– думаю. Вот и вся телега уже скрылась под водой.

– А как же ты?– спрашиваю я.– Так и сидишь в ней?

– Ну разве усидишь?– улыбается старик.– Нет, я раздеваюсь и бросаюсь в воду,

– А ты хорошо плаваешь?– снова спрашиваю я, удивляясь разнообразным талантам этого человека, но он добродушно отмахивается рукой.

– Откуда? Разве я вырос у моря или у реки? Ну хорошо. Разделся я, свернул все вещи, сделал узел и прямо ухнул в воду.

– Апырай!– восклицаю я.

– Да, ухнул в воду и сразу пошел ко дну,– повторяет Корабай.– Уперся ногами в дно. Вижу, вода на аршин надо мной колыхнется. Испугался, стал барахтаться, и что ж ты думал?.. Поплыл!

– Дальше!– прошу я, перестав работать мехами.

– И вижу,– вдохновенно продолжает Корабай,– торчат из воды только рога моего быка: ни туловища, ни телеги нет. Одни рога! Алла! Алла! «Пропал мой бык,– думаю я.– Надо помогать». Подплываю, хватаю его за рога и тащу.

– Да ведь он же тяжелый, разве ты его одолеешь?

– Ай! Какой ты недогадливый!– качает головой Корабай.– Да ведь вещи в воде в пять раз легче, чем на суше. Лодку по воде тащит пятилетний ребенок, а на суше ее пять жигитов не одолеют.

– Это верно!– соглашаюсь я.

– То-то, что верно! Хорошо. Я как схватил быка за рога, так и поволок его, как дерево по воде за длинную ветку. Слышу, сзади вода льется. Овернулся, смотрю: это из короба, он уже из воды показался, а в нем тьматьмуца рыбы. Так ее много, что она возвышается над коробом, как двускатная крыша над русской избой.

– Да этого не может быть!– говорю я недоверчиво. Рыба не хворост, она обязательно соскользнет.

– Ну и опять дурак,– огорчается Корабай.– Она же сдавливает друг друга, прессуется.

– Ну дальше,– говорю я, начиная уже сомневаться.

– Вывел я быка на мелкое место, тут он уж сам пошел, а рыба как лежала, так и осталась лежать. Ну что поделаешь? Груз полсотни пудов, а кругом тина, колеса завязают по самые втулки. И вдруг я вспомнил: ведь выезжая, я бросил на дно короба мешок, эдак пудов на пять.

– Так ведь на нем рыба,– напоминаю я.

Но разве, Корабая сейчас собьешь хоть чем-нибудь.

– Что ж, что рыба?– пожимает он плечами.– Это же не булыжник и не кирпичи. Засучил рукава и сунул

между рыбин руку, правда, пальцы наколол в нескольких местах, но все-таки вытащил мешок. Набрал его до краев, оттащил на берег и вытряс, снова набил, опять вытряс. И так раз семь-восемь. «А остальное, – думаю, – и бык вытянет». И верно – вытянул. Сильный бык был, хаять не буду, копна сена ему, что перышко, да рыба, конечно, потяжелей.

– И куда же ты дел столько рыбы?

– Да в аул привез. Поставил телегу посередине и кричу: «Ну, землячки, берите, кому сколько надо!» Так за одну минуту и расхватили. Целую неделю аул кормился рыбой!

Рассказываю Корабаю про озеро Дос и про то, как мы ловили утят. Он пренебрежительно фыркает:

– Утку поймать легче легкого. Вот слушай, что я тебе расскажу. Поймал я однажды в силок селезня, содрал с него кожу с перьями, одел на голову, залез в озеро по самую шею и стал пробираться к стае уток. И так хитро я к ним подкрался, что ни одна даже на меня не оглянулась: все за селезня приняла. А я протяну под водой руку, схвачу одну утку за ногу, утяну под воду, скручу там шею ей и пушу плавать, потом вторую так, за ней третью. И так до вечера ни одной не оставил.

– Сколько же их было?

Он пожимает плечами.

– Ну кто же их считал! Много, очень много!

– А потом?

– А потом набралось столько битых уток, что все озеро полно ими, все плавают, и не поймешь, какие живые, какие мертвые. Я промерз и вылез на берег.

– И сколько вынес уток?

– А ни одной!

– Как же так?

– А очень просто. Только я вылез, поднялась с запада черная туча, подул ветер, и всю мою добычу прибило к берегу и выбросило волнами.

– И много оказалось уток?

– Да тьма-тьмущая! Лошадей на водопой пригнали, так они увидели, испугались и разбежались в разные стороны, потом четыре дня всем аулом их ловили!

– А то ведь еще вот что было,– как бы вспоминает Корабай.– Возвращаюсь я с джайляу. Вечер, поздно, конь устал. Давай, думаю, коня покормлю да и сам почаевничаю. А ведро у меня к седлу приторочено.

– А чай у тебя был?– спрашиваю я, зная, что у старика в доме никогда ни чайники, ни сахаринки.

– Ну откуда у меня чай!– добродушно отмахивается от такого нелепого предположения старик.– Да и зачем он? Мало, что ли, в степи шалфея? Завариваю его и за милую душу пью. Ну ладно. Слез я с коня, стал искать, куда его привязать. Вижу: у самого берега белеет что-то, вроде кола. Привязал коня к этому колу, да и пошел искать конский помет для костра. Вижу: целые груды его валяются около озера. Э, думаю, не иначе, как тут гурты гоняют. Набрал полную рубаху этого топлива и свалил в кучу. Достал кремь, разжег курай и, когда он запылал, стал бросать в него помет. И только бросил первый ком, как он вдруг «ш-ш-ш» – взвился и улетел, только крылья захлопали. «Что такое?» – думаю. Стал присматриваться. Ну и что же? Оказывается, жаворонки. Они на земле спали, а я в темноте-то и принял их шайтан знает за что. Стою, хлопаю глазами, и вдруг вижу, что около морды моей лошади что-то так и подпрыгивает, так и рвется, не пойму только что, но белое-белое, как снег. Подбежал поближе, и вдруг это белое взметнулось, полетело и кобылу потащило за собой. Я даже обмер. Смотрю, что дальше будет. И вдруг оторвалось это белое и, плавно махая крыльями, исчезло в воздухе.

– И что же это оказалось?

– Что?– удивился он моему непониманию.– Да лебедь же! Конечно, лебедь! Я, оказывается, привязал повод

за его шею. Думал, что кол. Хорошо, что еще ремень не выдержал, а то бы он и лошадь утащил за облака!

– И мука тоже бывает разная,– говорит Корабай, рассказывая очередную небылицу.– Однажды привез я домой мешок муки. Ведь страсть как люблю квашенный хлеб! Отдал жене, велел замесить. Сам лег спать, да и заснул. Просыпаюсь среди ночи и слышу, что-то пищит, трещит, ломается, словно потолок сейчас обвалится. А дома все спят. Что такое? Вышел я на улицу, посмотрел на крышу. Нет ничего! Возвратился – тоже самое: трещат стены, да и все! Разбудил я жену и сына. Сидим все трое, слушаем и ничего не понимаем. «Не домовый ли уж?»– спрашивает жена. Это она по своему глупому бабьему неразумению. Но я-то ведь знаю – домовый так не ходит. У домового поступь нежная, деликатная. И вдруг слышу – сын Асаубай как закричит: «Ойбой! Нашу печку разрывает!» Что такое? И вдруг я чую, тестом запахло. «Да это же наш хлеб»,– говорю. Жена как закричит: «Да я же, дура, поставила хлеб и совсем позабыла, а тесто поднялось, вылезло из квашни и распирает печку». Видишь, какие дела бывают!

– Что же вы сделали?– спрашиваю я.

– Что сделали? Был у меня большой нож, которым скот режут. Вот я его схватил, подбежал к печке и начал хлеб кромсать и резать, мякоть-то всю как есть вытащил, а корка осталась, присохла сильно.

– И много набралось?

– А кто его мерил,– машет рукой Корабай.

Таков был Корабай. Рассказывая свои небылицы, он увлекался, придумывая новые подробности, и искренне верил в то, что все это правда. Он был известный выдумщик. Его так и звали: «Брехун Корабай»

Потом я узнал, что и отец Корабая был кузнецом, и тоже работал всю жизнь, и так же ничего себе не нажил под старость. Из-за горькой бедности Корабай не выезжал обычно на джайляу: на корове-то не поедешь! Оставаясь на все лето в зимовке, он рассказывал

случайным путникам все эти чудесные истории о рыбах, пойманных быком, о лебедях, спящих жаворонках, о чудесной муке.

И все было хорошо в том чудесном мире, который он для себя создал. Здесь все приносило ему удачу, все увенчивалось успехом. Горе и нужда, преследовавшие его в жизни, оставались за пределами этого сказочного мира.

Милый, добрый старик! Вечный труженик! Ты бессмертен, как мечта! Сейчас, через пятьдесят лет, я с любовью и уважением вспоминаю твою высокую костлявую фигуру, озаренную огнем и желтым отсветом раскаленного железа, я отдаю тебе должное.

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

В 1913 году нашим волостным управителем был Нуртаза. Попал он на эту должность случайно. Дело в том, что все так называемые выборные должности фактически покупались. Важно было знать, кому дать и сколько дать. Ясно было одно: платить нужно много и обязательно чистоганом. Командовал всеми волостными выборами шести смежных волостей Альти, ибо богаче его поистине не находилось человека во всей степи! Он сам намечал подходящую кандидатуру и посылал гонца с предложением: «Вот я хочу тебя сделать волостным. Приезжай и возьми денег, сколько тебе нужно».

Кандидата выбрали, и Альти получал с него сторицей.

Не всем баям такая деятельность Альти была по сердцу. Пробовали они бороться с ним, но не хватило капитала. Случилось, что один из пяти областных управителей, ставленник Альти, сын известного Торсана Шакан, чем-то прогневал своего покровителя. И тот вызвал к себе извечного врага Торсана – Мустафу Ресеева – и сказал: «Хочу, чтобы ты был волостным. Бери у меня деньги и действуй!» В результате этих

«действий» вместо Шакана управителем выбрали Мустафу. Заместителем же, не без вмешательства того же Альги, назначили Нуртазу. Но тут нашла коса на камень. Обиженный Шакан не сдался, он написал жалобу губернатору: «Благодаря подкупам, – писал он, – а может, и затем, чтобы поиздеваться над русскими выборами, у нас выбрали волостным самого настоящего сумасшедшего, который в молодости сидел на цепи и бросался на людей, впрочем, он и сейчас бывает целыми неделями не в себе». К прошению были приложены свидетельские показания. Губернатор переслал жалобу Шакана петропавловскому уездному начальнику. Тот был в близких отношениях с Торсаном, и в результате появился приказ губернатора: «Мустафу Ресеева, как страдающего слабоумием и буйным помешательством, от волостного управления отстранить. Назначить управителем его заместителя Нуртазу. Подпись. Печать».

Так неграмотный Нуртаза стал волостным.

И вот однажды прискакал к нам в аул на взмыленной лошади некий Байбан и, потрясая каким-то огромным пакетом с четырьмя сургучными печатями, объявил:

– В наш аул приехал урядник, сидит и обедает. Послал он меня с пакетом. Велит сейчас же отдать волостному управителю. Где он?

– Да ты не горячись! Не горячись! – ворчливо оборвал его Рамазан. – Слезай с коня, отдохни! Сейчас свезем твой пакет, куда надо. Ну-ка, Сабит!

Конечно, мы ничего не поняли бы из мудрого канцелярского писания, но, к счастью, в это время у Нуртазы сидел его писарь Андрей Кабаков. И он кое-как разъяснил нам, что требует от Нуртазы господин, уездный начальник.

Я до сих пор помню общее содержание этого грозного приказа.

Все аулы, стоящие возле дороги, по которой следует генерал-губернатор, должны откочевать дальше

в степь. Скот близ дороги не пасти! В день проезда его высокопревосходительства посторонних лиц на дорогу не пускать! Собак на цепь! Построить мосты! Исправить дорогу! Расставить по дороге нарядные юрты с угощениями! На всех остановках для свиты его высокопревосходительства приготовить сорок отборных лошадей! Чтобы они были резвы! Чтобы они были одномастны! Чтобы их гривы были расчесаны! Чтобы они не брыкались, не кусались, не лягались! Чтобы их за неделю откармливали и отнюдь не употребляли для работы! Чтобы встречали его высокопревосходительство все должностные лица со знаками своего достоинства – аксакалы, старосты и волостные. Чтобы... Чтобы... Чтобы и еще десять таких «чтобы».

Нуртаза помрачнел.

– Эх, аллах! Аллах! – тяжело вздохнул он.

И с этого дня волостной потерял покой: вызвал всех аульных старост и аксакалов и всех их разогнал по аулам.

Специального гонца послал к Садвокасу – сыну Альти. Через несколько дней новая беда: приехал урядник и сообщил, что маршрут генерал-губернатора изменен. Его высокопревосходительство проследует не через Жаман-Шубар, а вдоль озера Дос. Нужно угнать оттуда все аулы.

Что делать? Спорить не будешь. Перегнали стада к отдаленному и неплодородному «Одинокому» озеру. А потом выгнали весь аул убирать помет скота. На прилегающих к дороге местах все должно быть чисто. Его высокопревосходительство не терпит скотства! А между тем приготовления к приему гостей шли своим порядком. В удобном месте, недалеко от Доса, были разбиты десять белоснежных, роскошно убранных юрт, а в них стояли столы с гостинцами – баурсаками, кумысом и бараниной. Но урядник посмотрел, покрутил носом.

– Его высокопревосходительство этого есть не станет! Он не киргиз! Ему надо господское угощение.

Пусть будет господское! Что уж тут поделаешь? Из русских деревень пригласили поварих, и те занялись приготовлением новых угощений.

К указанному времени все было готово и лошади стояли в конюшнях. Наконец пришло сообщение, что сегодня утром его высокопревосходительство выезжает из Метропки (Дмитровки) и вечером прибудет в аул, где и заночует.

Нуртаза – маленький, тощий, похожий на худого старого козла, – слышав это известие, затрясся и бросился к Садвокасу:

– Выручай! Прими на время мою должность!

Но тот только расхохотался ему в лицо.

– Ага, значит, я буду орехи щелкать, а ты лакомиться? Нашел дурака. В начальстве ходить любишь, а исправника боишься? Нет уж, справляйся сам, я тебе не слуга!

А время шло и шло, и уж темнело, когда со стороны аула вдруг показалось облако густой пыли.

– Едут! Едут! – взволновались аульцы. – Начальство едет, встречать надо.

– Нет, нет! Ни с места! – закричал урядник. Он стоял посреди дороги и не спускал глаз с приближающегося облака. – Встречать его высокопревосходительство выйдут только трое: волостной, его секретарь и я.

– Правильно! – обрадовался и засмеялся Садвокас. – Ну-ка, Нуртаза, садись на коня! Встречай губернатора!

Нуртаза пожелтел.

– Аллах! Аллах! – пробормотал он укоризненно. – Коли ты хочешь принести меня в жертву, то да будет твоя святая воля! – Он влез на коня, оглядел всех собравшихся, хотел что-то им сказать, да вдруг и расплакался. – О создатель, уповаю на твою милость! – сказал он сквозь слезы.

– Сиди прямей, а то упадешь! – крикнул Садвокас.

Трое встречающих сели на лошадей и поскакали навстречу кортежу. Аульцы, бледные и дрожащие, сгрудившись, как овцы, стояли молча и ждали. Никто из присутствующих никогда не разговаривал с началь-

ством выше волостного. Только Садвокас видел господина уездного начальника и поэтому кое-что понимал в деликатном обращении.

– А по-русски кто-нибудь говорит?– вдруг спросил он.

Пошушукались и указали на Кантая Туркина, но тот сразу побелел и замахал руками.

– Нет, нет!– заговорил он в страшном испуге.– Разве я говорю? Я по-русски могу только с купцом объясниться, а больше ничего не знаю. Я даже с унтером ни разу не говорил, а то, легко ли,– «генерал»! Увольте, братцы, у меня дети.

Опять пошушукались и показали на Рамазана.

– Нет, нет!– сказал Рамазан.– Мое дело сторона. Меня наняли, и я служу, пусть выбранные говорят, они – начальство.

Тогда все скопом взялись за Машика.

– Ты и в Омске бывал, и с начальством разговаривал, и виды всякие видел, так выручай теперь.

– Ну что ж,– степенно ответил Машик.– Если придется поговорить – поговорим.

У всех сразу стало легче на душе: есть у нас люди, которые в грязь лицом не ударят, даже с генерал-губернатором и то могут поговорить! Но возник и другой вопрос: как же начальство разговаривает? По-каковски? По-русски? Ой, вряд ли. По-русски простые мужики разговаривают, а начальство говорит как-то иначе. Прежде всего, с чего начать? Как к начальству обратиться? Можно ли просто сказать так, как мы говорим русскому купцу: «Израсте!» – или существует для начальства какая-нибудь другая форма, куда более совершенная.

Машик знал и это.

– «Израсте!» можно говорить только мужикам да купцам,– важно ответил он,– а начальство любит, чтобы ему говорили: «Здравия желаю!»

– Вот,– поднял палец один из аксакалов,– понимаете? Слова для начальства нужны особые, казенные. Вот Машик сказал что-то, а мы ведь такого и не

слышали никогда. А то выйдет, как в одном ауле. Один почтенный казах подошел к генералу, поклонился, да и выругал его матерно, думал, что это он его приветствует. Его кто-то из русских научил. Ну ладно, Машик, сначала «Здравия желаю!», а дальше что?

Машик подумал.

– Нет, – сказал он вдруг, – настоящее обращение другое. Сперва надо: «Ваше благородие», а если начальство улыбнется, продолжают: «Здравия желаю!»

Облака пыли рассеялись, и мы увидели повозки. По приказу Садвокаса на месте остались только аульные старшины с бляхами (эти бляхи я потом рассматривал подробно: были они величиной с ладонь, висели на длинной цепочке, и на них сверкала надпись: «Аульный старшина номер... аула... волости...»). Повозки доехали до аула и остановились. Их было никак не меньше пятнадцати – все огромные, новенькие, закрытые со всех сторон. Когда пыль улеглась, с одной из повозок спрыгнул на землю кто-то огромный, тучный, рыжий, с красиво подрезанной бородой. Он весь так и полыхал: сверкали его золотые пуговицы, горели на нем погоны, переливались аксельбанты и еще что-то такое же светлое и яркое. Высокий начальник постоял, поглядел, потом размеренной походкой подошел к помертвевшим от страха встречающим и что-то спросил их. Но аксакалы молчали, полумертвые от страха. Наконец кто-то показал рукой на Нуртазу, который все еще сидел на коне. Начальство посмотрело на него и поманило рукой – подъезжай, мол. Нуртаза подъехал. Его несчастное обезьянье лицо было серым от пыли и страха. Начальник, молча улыбаясь, с полминуты рассматривал его – «хорош, мол, волостной», а потом что-то коротко приказал, повернулся и пошел к своим повозкам.

– Лошадей приказал перепрягать, – выдохнул из себя Нуртаза, каким-то необъяснимым образом уловивший волю начальства.

– А разве они не заночуют? – удивились аксакалы.

– Спросите сами, не мне одному гореть в огне!– зло огрызнулся Нуртаза.

Выпрягли старую упряжку, запрягли других коней, в это время и появился перед начальством Машик. За суматохой его никто не заметил, а он шел прямым путем к повозке, которую считал губернаторской. И губернатор, увидев его, пошел к нему навстречу. Вдруг в одной из повозок откинулся кожаный верх и оттуда выглянул тучный человек с длинной густой черной бородой. Сверкал он еще больше, чем первый, а вслед за ним из повозок посыпались и другие господа, все они блестели, как новые пятиалтынные: золотые пуговицы, золотые погоны, золотые позументы, шнуры, ордена... Господа дошли до одной из повозок и остановились, оживленно разговаривая и громко смеясь. Тут-то и подоспел Машик. Он вихрем влетел в ближайшую кибитку и вылетел оттуда с раскрашенной чашкой в руках. Поклонился, перегибаясь чуть не вдвое, и почтительнейше протянул чашку с кумысом тому, кого считал губернатором.

Чернобородый взял ее, пригубил и с отвращением плюнул. Все вокруг засмеялись, заговорили, замахали руками и так, смеясь и разговаривая, пошли к кибиткам и стали усаживаться.

– Сабит!– позвал меня Рамазан.– Иди к третьей повозке и садись на облучок, будешь за кучера.

Начальство торопилось, оно приказало пустить лошадей вскачь по улицам аула, а выехали в степь и вовсю погнались. Такая пыль поднялась, что ничего не было видно. И вдруг полил дождь. Он собирался давно, уже с полудня небо заволокли густые тучи, не успели мы проехать несколько верст – хлынул настоящий ливень. Как во время половодья, по степи потекли ручьи, гроыхал гром и сверкали молнии. Скоро дорога превратилась в топкую непролазную грязь. Лошади сбавили прыть, а вскоре и вовсе пошли шагом. Моя лошадь еле-еле тащила повозку. Где мы едем? Куда мы едем? Никто ничего не знал. Ямщики стали

перекликаться, и скоро удалось собрать повозки в одно место. Стали обсуждать, что делать, но вдруг первый кучер крикнул:

– Начальство приказало не задерживаться, ехать прямо и как можно скорее.

Снова в непроглядной тьме двинулись вперед. Теперь кони еле-еле передвигали ноги. Еще верста, другая, и они совсем бы встали. Вся наша одежда была мокрая, тяжелая, ледяным холодом вода просачивалась за ворот. И вдруг повозки, наезжая друг на друга, резко остановились, поднялся крик. Возницы перекликались друг с другом, и из их крика я понял, что произошло. Понял и сразу похолодел: еще бы несколько шагов, передняя повозка с губернатором загремела бы с высокого откоса в озеро. Мы находились на самом краю яра, возвышавшегося над озером Шарколь на пятьдесят-шестьдесят метров. Само же озеро и вовсе считалось бездонным. Рамазан потом рассказывал: губернатор выскочил из повозки и стал креститься дрожащими руками.

– Бог спас! Бог спас!– говорил он, вытирая слезы.– Вот уж истинно – бог спас! А то бы я и жену не увидел!

Любил ли так губернатор жену или боялся ее пуще смерти, уж не знаю, но ехал он, как выяснилось, из Омска в Кустанай специально, чтобы повидать ее брата, приехавшего из Петербурга на каникулы.

Нуртаза после этого случая заболел от расстройства, а у жаман-шубаровцев на всю жизнь осталась в памяти удивительная история о том, как у них в степи едва не погиб самый большой человек – сибирский генерал-губернатор.

ДАЛЕКАЯ МЕЧТА

Всю эту зиму я провел у Рамазана и понемногу стал таким заправским ямщиком, что мне доверили возить начальство. Мы его делили на три категории: к первой относятся становые, ко второй – урядники. Собст-

венно говоря, различия между урядниками и станowymi немного: и те и другие орут, грозят кулаками, если скажешь, что лошади не готовы. У тех и других масса светлых пуговиц, светлые погоны, шашка и обязательно револьвер в черной кобуре. Одежда у них, правда, разная, но наш глаз плохо схватывает это различие. Для нас все они выглядят одинаково. Разница в другом. Как только околоточный «зыркнет глазом» на урядника, урядник сейчас же замрет, втянет живот, вытянется в струнку, стоит и не дышит. Как только урядник робко и заискивающе взглянет на околоточного, околоточный нахмурится или нехотя улыбнется, но так свысока, что и я почувствую себя удовлетворенным за все перенесенные неприятности.

Что же касается третьего разряда начальства, так сказать, «простого», то хотя пуговицы у них тоже светлые, но погоны узкие, без золота, и ведут они себя совсем по-человечески: не грубят, не кричат, не машут перед лицом кулаками. Зовут их «учителя». Я до сих пор отчетливо помню первого человека, который так себя назвал. Этот человек тоже был начальником, он носил светлые пуговицы и узенькие учительские погончики, звали его Испандияр, фамилия его была Кубеев, и был он самым настоящим казахом. Казах-чиновника, казаха-начальника, казаха в мундире мы никогда до того не видели и даже не подозревали, что такие бывают. По дороге мы разговорились. Разговор начал он сам, стал расспрашивать: кто я? что я? чей я? Я сказал.

– Как? Ни отца, ни матери? – удивился он. – А живешь ты у кого? Как же это ни у кого? Ну, а грамоту знаешь? Читать умеешь? Ну, очень хорошо, что умеешь. Вот прочти-ка!

Он вынул из сумки небольшую книжечку и подал мне.

«Примерный мальчик», – прочитал я на обложке арабской вязью и ниже: «Казахская книга для чтения» – и еще ниже: «Составлена по лучшим казахским сочинениям для чтения в школе и дома». Под этим стояла

подпись: «Испандияр Кубеев». Все это прочел я бегло и без задержки. На первой странице книги была напечатана известная всем казахам молитва: «Бисмилла» («Во имя бога»), а под ней небольшой рассказ: «Утро мальчика». До сих пор помню его начало.

«Проснулся я в семь часов утра. Сразу встал и быстро оделся, умылся и утерся полотенцем». Затем рассказывается про то, как примерный мальчик собрал свои книги и пошел в школу. В соответствии с этим второй рассказ назывался «Школа». Когда я прочел и его, учитель спросил меня:

– Ну, а у вас есть такие школы?

Я только плечами пожал.

– Почему нет?

В самом деле, почему?

Дальше шло стихотворение о том, что «Человек, и зверь, и птица – все берутся за дела...», а за ним еще несколько рассказов. Я прочел некоторые из них и наконец дошел до стихотворения «Сирота».

Сирота живет в труде бессменно,
Смертью кончится все неизменно.
Кто ж подумает тут о бедняге?
Правду говорят: «Все в мире тленно»...

Ты еще ребенок неразумный,
Ты еще не знаешь жизни шумной.
Жизнь твою раскрали люди в детстве,
Все твое расхитил мир безумный.

Льются слезы сироты-ребенка,
Весь твой скот расхищен до козленка.
Сам ты стал рабом в родном ауле,
Лев скорей бы пожалел ягненка!

И пока не будешь сильным в драке,
Станешь слушать лишь издевки, враки
На земле немало горьких сирот,
Что живут бедней любой собаки.

Где вода, что жажду утоляет?
Где же хлеб, что голод насыщает?
Где рука, что голову погладит,
Если горе сироту сгибает?

Разграбленное имущество, отобранный скот, слезы и жалобы сироты так расстроили меня, что я горько расплакался.

– Что ты, – сказал Исиапдияр, – слезами горю не поможешь.

И он мне рассказал поучительную историю о том, как сирота, брошенный всеми, поступил учиться, окончил школу и стал таким большим человеком, что все его обидчики снимали перед ним шапки и кланялись. Мораль же рассказа была такова: «Только учение может тебя вывести в люди».

– Ты по-русски-то знаешь?

Я покачал головой.

– Это плохо. В школу, где я преподаю, принимают только окончивших три класса. А как бы хорошо было тебе поступить к нам: у нас ведь все казенное – квартира, питание, одежда, – но надо сперва кончить аульную школу.

Аульная школа! Три класса! Где есть такое чудо?

На этот вопрос дядя Испандияр ответить не мог. Тут вдруг я вспомнил про сто рублей, отданные в рост, – остаток моего наследства, – и сказал об этом дяде Испандияру.

– Ну вот и отлично, – обрадовался он. – Сто рублей в ауле – большие деньги, их вполне хватит, чтобы окончить аульную школу и поступить к нам.

Доставив дядю Испандияра к Рамазану, я в восторге побежал к Нуртазе, чтобы поговорить о деньгах. Нуртаза слушал меня, ничего не понимая, какой учитель, какие деньги, какая школа, и вдруг заорал:

– Да ты что, рехнулся? Какое тебе ученье? Наслушался первого встречного бродягу и сам сошел с ума. Видно, с голоду под забором хочешь подохнуть? Шиш

ты получишь, а не деньги. Пусть лежат, целее будут! Вот и все!

Я открыл было рот.

– Сгинь с моих глаз, окаянный, не морочь голову! – загремел он и затопал ногами.

Так кончились мои мечты об аульной школе...

Встреча, о которой я рассказываю, произошла в 1913 году. Кубеев возвращался из Петропавловска в русский поселок Федоровку, где к тому времени он уже учительствовал шестнадцать лет. Наши разговоры, конечно, кончились ничем, но сколько он мыслей пробудил во мне, сколько новых надежд посеял!.. И до сих пор я с благодарностью вспоминаю и наивную книжечку с рассказом о прилежном мальчике и стихами «Сирота», и мои несбывшиеся тогда мечты о школе.

Еще два слова об Испандияре Кубееве. Он автор первого казахского романа «Калым». После окончания Оренбургских педагогических курсов он до конца жизни работал учителем в своем родном ауле. Там и умер он в 1957 году.

И еще один дорожный разговор запомнился мне на всю жизнь. Я сижу на облучке и правлю, а в санях развалился казах лет тридцати, стройный, высокий, с худощавым лицом со следами оспы и прямым тонким носом. На голове у него папах из собачьей шкуры, на плечах солдатская шинель на волчьем меху, а на поясе огромная кобура с револьвером. Это урядник Жампеис Омаров, и везет он в Кустанай срочный пакет, такой срочный, что даже отказывается откусать в ауле хлеб-соль. Это первый казах в форме, с револьвером на красном шнуре, которого я вижу, поэтому, робея, молчу, а он сидит на облучке и рассказывает:

– Я, брат, тоже был сиротой, сызмальства ломал спину у баев, знаю, что это за мед! Чуть меня в тюрьму не засадили, окаянные. Сыновья хозяина коней

воровали, а показали на меня; не сбежал бы я вовремя, так меня бы и тюрьме сгноили. А потом на русской женился и православную веру принял. Опять беда! Разузнали об этом родичи, выкрали меня, привезли в свой аул и потребовали: «Немедленно отрекись от христианства, а то убьем!»

И дальше он рассказал мне о том, как испугался и отрекся, а став опять мусульманином, отбил младшую жену у своего родственника и сбежал с ней в Петропавловск. «Там, думаю, не пропаду, я же хорошо знаю порядки». И действительно не пропал.

– Познакомился я с Дюсенбаем Турановым, – неторопливо рассказывает мне Жампеис, – а он служил в сыском отделении.

– Как, что за служба?

– Самая лучшая на свете служба! Секретная, государственная. Стой, сейчас поймешь. Вот я в полиции, например, служу, у меня револьвер на красном шнурке и форма, и кого захочу, того и посажу. Хожу я, не скрываюсь, меня все видят и боятся, а сыщики – другое дело, они промышляют тайком, переодевшись. Я с ними и стал дружить, а руки у меня в ту пору были беспокойные, быстрые. Такие руки раньше по локоть отрубали, понимаешь?

Я понял, но ради приличия сделал изумленные глаза. Жампеис рассмеялся.

– Не понял? Экая темнота ты, брат! Ну, воровал я. Что ты так на меня уставился? Ты думаешь, вор по охоте ворует? Он ворует, чтобы не сдохнуть с голоду. Вот так и я воровал. Ну посуди сам, чем я мог еще заниматься в Петропавловске? Милостыню, что ли, просить? Все равно никто не даст. Скажут: «Ты здоровый, иди работай!» Батрачить? Нет, довольно, набатрачил, по горло сыт. Одно, значит, осталось – воровать.

– Так неужели же вы... – спросил я, с удивлением глядя на его форму и револьвер. – Неужели...

– Что неужели?– снова рассмеялся урядник.– Неужели воровал? Нет, я пошутил. Сам не воровал, шармачи воровали, мне передавали. Знаешь, что такое шармачи? Ну вот беспризорники, вроде тебя. Только ты работаешь, а они поумнее делают – по карманам шарят. Вот я с ними и имел дело.

– А потом?

– А потом дела другие пошли. Сделался я конокрадом. Работали мы в окрестностях Петропавловска. Тут без связи с полицией не проживешь, моментально засадят, потому что у нее все конокрады на учете, значит, надо делиться. Вот я и был таким связным – сам жил и полиции долю давал, и конокрады тоже жили.

– А потом?

– А потом сам в полиции устроился, а теперь, вот видишь, урядник, казенный пакет везу, и кого хочу, того и засажу, хоть будь он волостной-разволостной, а если мне покажется что-нибудь не так, арестую именем закона. И все!

– А теперь вы уже не воруете?– спрашиваю я.

Он смеется.

– Экий ты болван, однако! Да разве об этом можно спрашивать? Ты, смотри, не болтай много, а то язык отрежут. Эх, жалко, что ты велик для приюта, туда только до десяти лет принимают, а то я бы тебя сейчас свез и отдал. Что будешь делать?

В самом деле, что делать? У меня такое чувство, что выхода нет: впереди стена, и назад дороги нет. Мы едем и молчим.

– Одно только я могу тебе сказать, парень,– вдруг решительно изрекает Жампеис.– Уходи ты отсюда, казахские баи хуже собак. Иди к русским! Они хоть кормят досыта, да и деньги будешь получать. Человеком сделаешься. Вот тебе совет.

Я промолчал. И совет дяди Испандияра и предложение Жампеиса – все это только мечта, мечта и больше ничего.

И второй человек дал мне совет уйти к русским, это муж моей двоюродной сестры – Аубакир. Он был джатак, то есть казах, живущий оседло в русской деревне. Когда он приехал к нам в аул на поминки умершего родственника, я так и обомлел. Даже у сыновей самых крупных баев я никогда не видел такой одежды. На нем был вельветовый пиджак и такие же шаровары, на голове дорогая ушанка, поверх бешмета черная шуба, на ногах белые пимы с красными узорами. А жена его, моя двоюродная сестра Катыш, была замужем десять лет, а одевалась как невеста. Женщине уже через год после замужества полагается повязывать голову белым пуховым платком, на сестре же красовалась цветастая гарусная шаль, платье из красного батиста (что перед ней жена бая!), просторный пиджак (это вместо допотопного-то камзола с узкой талией!). Она носила новешенькие, только что из магазина, красные ичиги, и ослепительные резиновые калоши. Жена джатака не только выглядела городской барыней, но и держалась так же. Правда, у моих односельчан о джатаках было особое и, наде сказать, довольно нелестное представление. Считалось, что это люди легкомысленные, неспособные накопить под старость копейку; все, что наживут, все проедят или, не дай бог, пропьют, а то просто пустят на ветер. Что поделаешь, любят форсить! Но что б там ни говорили мои одноаульцы, я хотел быть похожим на Аубакира.

Так созрело мое желание уйти к русским. Я сказал об этом шурину.

– Правильно! Хорошо придумал! – воскликнул он. – В ауле ты пропадешь! Приходи ко мне в станицу, там я тебе найду подходящую работу, через год будешь жить не хуже меня.

После этого разговора вопрос об уходе из аула был для меня решен, но для того, чтобы осуществить

решение, надо было найти предлог. Все мои родственники знали, что я очень тоскую по сестре, вот я и сказал, что хочу ее проведать. Летом один из дальних родственников (мало ли у меня их было!) – Ибрай – повез меня к ней в аул. О том, как встретились двое сиротинок – брат и сестра, – рассказывать не буду, читатель и сам догадается. Аул Жайлыган, где жила Ултуган, зимовал в чаще глухого леса, но ко времени моего приезда, юрта сестры находилась на полянке. Была она серая, войлочная, вся в прорехах и заплатках, а внутри ее – хоть шаром покати: ни вещей, ни мебели. Было, правда, немного скота, две дойные коровы да десяток овец и коз, еще двух коров с телятами и кобылу зять Болатбай отдал Мустафе за мою сестру.

Мы поговорили с Ултуган, и я рассказал ей о своем намерении уйти в станицу. Сестра горячо поддержала меня. Остаться у нее я не мог: в семье сестры не было мира. Отец ее мужа, Нуралы, беспокойный, сварливый старик, любил вмешиваться в чужие, и особенно в бабьи дела. Он сам много раз был женат, поэтому привык воевать с женщинами и знал, что ответить. За моей сестрой следил, не спуская глаз, и все-то в ней ему не нравилось: и прошла она не так, и ответила не хорошо, и почтения проявила мало, и много глупостей у нее на уме. Муж Ултуган Болатбай был человек мягкий, тихий, но отец беспрерывно настраивал его против сестры.

– Да разве это муж? – шамкал старый черт. – На таком муже только воду возить, жена целый день палец о палец не ударит, а ему на все наплевать.

– Отец, оставьте! – просил Болатбай.

И тут уж отец орал во все горло, а один раз даже ткнул кулаком в зубы своему пятидесятилетнему сыну.

Есть пословица: «Голодный вор всегда зол». С удивлением я заметил, что сестра моя тоже не сдается и очень хорошо умеет отвечать на попреки старика. Язык у нее был острый, и часто дело у них

доходило чуть ли не до драки. Во время одной из таких перепалок, когда старик бил себя в грудь кулаками и орал, как козел, а сестра отвечала коротким злым смехом и колкостями, Болатбай крикнул: «Хоть ты-то замолчи! Будь умнее старика!» Сестра огрызнулась, и тут кроткий Болатбай вдруг взбесился. Он схватил железную шебалу, которой выгребали золу из очага, и бросил ее в сестру. Шебала попала сестре в лоб и рассекла его до самой кости. Тогда я, не помня себя, схватил первое, что попало мне в руки – таз с помоями, – и кинул его в Болатбая, потом, громко плача, выскочил из кибитки и побежал в степь. Ясно помню, как я пробежал около трех верст, как поравнялся с небольшим озером, безжизненным, почти сухим, как за мной слышался топот копыт, и я обернулся. Это на неоседланной кобыле меня догонял Болатбай.

– Милый мой! Да что такое с тобой?– сказал он ласково, чуть не плача, и схватил меня за плечи.

Я гневно вырвался, но он поймал меня опять и обнял еще крепче.

– Ведь вот как скверно получается,– сказал Болатбай пристыженно.– Конечно, старик из ума выжил, а я послушался его, дурак! Да ведь сам понимаешь – отец! Ну, прости, милый, первый и последний раз. Обещаю, что и пальцем не трону твою сестру. Да брось ты плакать, чужак! Садись на коня и поедем обратно.

Мы помирились, но жить я у них не остался. Бравый вид Аубакира и его приглашение в русский поселок не давали мне покоя. Болатбай долго не соглашался отпустить меня, но я все-таки уговорил его.

– Ну хорошо!– согласился однажды Болатбай, которому, очевидно, все это изрядно надоело.– Поезжай! Я сам отвезу тебя, но помни: в случае чего, мой дом всегда твой дом!

И на следующий же день он повез меня к Аубакиру.

НА ЗАРАБОТКИ

ИСТОРИЯ ЗАХВАТЧИКОВ

Пока мы ехали по степи, Болатбай рассказывал о тех местах, которые мы проезжали. Он знал все: какое озеро осенью высыхает и порастает густой травой, какова его глубина, почему оно так называется и какова его история. Так, одно озеро, мимо которого мы проезжали, называлось Карагайлы, то есть «Сосновое». Это потому, что на этом озере есть остров и когда-то он был покрыт лесом. Однажды мы ехали между лесистыми холмами. Мой спутник объяснил мне, что правый и левый холмы называются Большой и Малый Утеп. Эти места силой захватил Есений. Раньше его аул кочевал по реке Обаган, но когда Есений побывал здесь, он решил перекинуть сюда свой род, а роду Нуралы предложил покинуть их родовые стойбища. Нуралийцы, конечно, не хотели уходить с родимых мест, но с Есением ведь не поспоришь! Он просто вызвал из Кутурлагана казачий отряд, да и вытряхнул отсюда нуралийцев нагайками. Сейчас они кочуют где-то верст за двести отсюда, за озером Куш Мурун.¹

– Ну, а дальше?– спросил я, потому что Болатбай замолчал и задумался.

¹ Куш Мурун – птичий клюв.

– А дальше сбылись слова стариков – ни одно зло не остается безнаказанным: сына у Есенея не было, и когда он умер, все его имущество растащили.

Часа через два, перевалив через гребень, мы увидели новое озеро.

– А это вот Огыз-Балык¹,– объяснил Болатбай.– Говорит, в нем когда-то жила рыба величиной с хорошего быка.

Проехали Огыз-Балык, перевалили еще холмы, и я увидел вдалеке небольшой аул.

– Вот и аул твоего зятя Сулеймена!– сказал Болатбай.– Я здесь частенько бываю. Соперница твоей сестры (то есть первая жена Сулеймена) умерла, и теперь твоя сестра полная хозяйка. Живут они богато, зажиточно, растят сыновей. Из-за детей Сулеймен уважает твою сестру. Слушай! А что, если они предложат тебе остаться у них, ты останешься?

– Нет!– ответил я решительно.– Что, у меня рук, что ли, нет? Зачем мне пялить глаза на чужое добро? Я и свое наживу.

– Вот это правильно!– воскликнул Болатбай.– Сто лет проживешь, а лучше не скажешь. Вот я и мой отец никогда не были богатеями, но живем, не побираемся. Будешь работать, аллах тебя не оставит.

Мы остановили лошадь у кибитки Сулеймена. Только я успел соскочить на землю, как выбежала сестра и начала душить меня в объятиях и плакать. Вид у нее был нехороший, больной.

– Зауре, ты что, как болела прошлой осенью, так и не поправилась?– спросил Болатбай.

– Да разве я больна,– ответила сестра и снова всхлипнула.– Тоска заела меня, вот что. Ну как же,– продолжала она плача.– О себе я не говорю, моя судьба – бабья: за кого тебя выдали, за того и иди. Вот попала я в этот дом тринадцатилетней девчонкой. Не

¹Огыз-Балык – бык-рыба.

хотелось идти, да что поделаешь? Говорят же, если камень разобьет тебе голову, значит, так на роду было написано. Я вот о нем, об этом птенце, плачу. Остался он один-одинешенек, и никто из сестер не может ему помочь. Думаю я о нем день и ночь и сохну.– И она замолкла, всхлипывая.

– Ладно, успокойся!– сказал Болатбай.– Аллах пошлет ему еще счастье. Ты вот послушай-ка, что он говорит. Хочет идти на заработки в русский поселок. Как ты скажешь? Я говорю: правильно!

– Ну конечно, правильно!– ответила сестра.– А даром кто же его будет кормить? Что толковать о чужих, если я, родная сестра, за чашку кумыса заставлю его работать, а станет лодырничать, так и от меня ничего не получит.

Я порадовался, что моя сестра стала полной хозяйкой дома. И странно было подумать, что совсем недавно она была последней служанкой, которой все помыкали.

Сулеймен приехал поздно вечером и тоже одобрил мое намерение пойти в поселок и советовал наняться в пастухи. Он просил нас остаться погостить, но мы решили ехать рано утром.

– Так устраивай его получше!– приказал Сулеймен Болатбаю.– Не продешеви, смотри! Осенью сам поедешь получать его жалованье. Если дадут телку, пустишь ее в свое стадо и, глядишь, года через два-три наберется ему на калым. Вот тогда его и женим.

Болатбай улыбнулся из-под усов.

– Знаешь,– сказал он,– говорят: «И дядя богат, и шурин богат, чем же я виноват, если мой бушлат из дыр да заплат?» У Сабита богатые зятья, они его не оставят, а до свадьбы еще далеко. Прощайте!

По дороге в станицу мы увидели в поле несколько деревянных домов с выбитыми стеклами, стоявших на отшибе. Когда мы поравнялись с ними, Болатбай остановил меня.

– Это все принадлежало Торсану, – сказал он, – целые улицы в его ауле состояли из таких домов. У Торсана было два дома, по четыре комнаты в каждом, у сыновей его – по дому у каждого, и даже батраки их и то жили в отдельных домах, а теперь осталось всего два, а остальные Торсан продал на вывоз в русские села.

– Почему? – удивился я.

– Что ему оставалось делать? – усмехнулся Болатбай. – Начисто разорился. Было три тысячи голов лошадей, а сейчас коли триста есть, и то хорошо. А триста лошадей для Торсана – это горькая нужда.

– Так куда же они подевались?

– Погибли от бескормицы. Знаешь пословицу: «Скот – богатство на минуту, до первого джута». В начале тысяча девятьсот одиннадцатого года у Торсана была еще тысяча лошадей, а к весне осталось только сто. Вот и считай. Вел старик торговлю – разорился начисто, сыновья в этом ему помогли. Все, сукины дети, размотали, ничего не оставили. Если бы не один выкрест, что помог деньгами, и вовсе пошел бы старик по миру. А много ли времени прошло с тех пор, когда он чуть не весь край держал в руках: сам одной волостью правит, его сын, Шакан, – другой, а Шери – третьей. Что хочешь делай, никто ничего не скажет. И творяли дела, нечего сказать! Особенно этот Шери! Ух, мерзавец! Первый конокрад на весь край! Бедняков просто по миру пускал, телки не оставлял – все брал себе. И никто не перечил. Известно, ворон ворону глаз не выклюет. Богатеи все один за другого, да куда жаловаться пойдешь, если начальство и так все знает? А запрятать неугодного в тюрьму да дело ему там пришить Торсану всегда было раз плюнуть. Я сам видел, как это делается. Одного посадят, а сто человек дрожат. Дошло ведь до того, что все, что понравится, – армяк ли, птица ли ловчая, лягавая быстрая, одежда, – все отдавали Торсану. А что прикажешь делать? А не дашь, отнимут силой, да еще и побьют, а то и в тюрьме насадишься, казенную вошь покормишь. Сначала они

насчет вещей промышляли, а затем за чужих жен взялись, стали их друг у друга отбивать. Тут что только было! Что было! И пьянка, и подкупы. Как в котле, все кипели и наконец промотались начисто, теперь уж ни власти, ни денег. И уж не бай, не начальник, не богач, – гол как сокол – рубащка да штаны! И от народа уж не тот почет. Правда, в дальних аулах и до сих пор перед ними шапки ломают, но у нас здесь – шалишь! Так и смотрят, куда бы укусить побольнее. Подожди! Подожди! Скоро их совсем, как волков, загонят да шкуру спустят. Отольются волку овечьи слезы! Настанет день возмездия! Ох, настанет! Пойдем посмотрим на его халупы. Что у него осталось?

Мы вошли в опустевший двор одного из домов.

Великий аллах! Что мы там увидели! По обычаю, перед уходом на джайляу все, а богачи особенно, производят последнюю чистку и ремонт покидаемых дворов: из загонов выносят навоз, чинят заборы и перегородки, заделывают дыры и бреши. Так велит древний обычай, почти закон. Но во дворе Торсана мы чуть не по щиколотку завязли в непролазной грязи: куча прошлогоднего овечьего помета, смешавшись с бурыми талыми водами, образовала непроходимое болото с черной гниющей водой, кое-где подернутой радужной оболочкой. Крыши домов были разрушены, а стены осыпались. На снегу как попало валялись сани, тележка, грабли, вилы; двери и окна висели на одной петле, а то и вовсе лежали на снегу.

Болатбай смотрел и хмурился, а скоро ему совсем стало невмоготу. Он плюнул и сказал:

– А ну пойдем, пока не стошнило, – и, садясь на лошадь, хмуро пробурчал: – Вот и прошло время, когда семья Торсана славилась своим богатством на всю округу. Смотри сюда: видишь, стена развалилась? Там раньше ходили гуси, полтора-два гусей, никак не меньше. Зимой в корытах им выносили овес. Они были такие жирные, что даже в лютые морозы лежали прямо на снегу. Ни воры их не крали, ни волк не брал, ничего

им не делалось. Никакая холера байскому гусю была не страшна. А сыновья у Торсана были такие деликатные, что кушали только гусятину, даже от жирной конины, бесстыдники, отказывались. А теперь украдут лошадь, зарежут ее и лопают так, что за ушами трещит.

Болатбай постоял, подумал и вдруг сказал:

– А ну давай пойдем на кладбище. Сколько в этом проклятом месте ни бываю, а кроме кладбища, пойти некуда, там хоть порядок есть, а на живых и не смотрел бы!

Ходим мы мимо могил, и Болатбай мне объясняет:

– Вот восьмиугольный деревянный склеп с большим куполом – могила самого бая Есенея, прочти-ка, милый, «Ясин!» А то кто его помянет? Аллах тебя за это благословит.

Читая, я не отрываю глаз от намогильного памятника. Он нежно-белый, чистый, как только что выпавший снег, и весь покрыт арабской вязью. Из нее явствует, что здесь похоронена жена Есенея Улпан. Золотая надпись глубоко врезана в камень. Памятник высок, выше человеческого роста. Болатбай говорит, что его выписали из Кетрампора (Екатеринбурга) и заплатили за него «табун одного жеребца», то есть пятнадцать-двадцать лошадей.

После кладбища мы проехали мимо мечети, и Болатбай сказал:

– «Каждому течению свое преграждение!» – говорят люди. Когда Торсан был богат и славен, в эту мечеть приезжали из самых дальних мест. Во время двух годовых праздников народу было столько, что люди не вмещались. Приходилось стоять под открытым небом. А теперь разорился Торсан, и люди перестали почитать не только его, но и выстроенную им мечеть, съезжается сюда народ всего с двадцати дворов, которым далеко в другое место ехать. Да, был когда-то бай владыкой, стал побирушкой. Поневоле вспомнишь: «Конец бая – голодная смерть», Подожди, еще не то будет!

К вечеру этого дня мы доехали до желанного Кутурлагана. До сих пор я знал о нем только понаслышке, и сейчас он меня поразил своим великолепием. В первый раз я видел поселок, состоявший из одних деревянных домов. Ни саманных построек, ни землянок, ни юрт, а именно просторные пятистенные избы, дома, состоящие из двух комнат. Большинство их стояло под тесовой крышей, но изредка попадались и крытые железом. В центре поселка – площадь и деревянная церковь с колокольной. Главная улица длиной версты на полторы, и, только проехав ее всю, мы выехали на окраину. На самом краю поселка-станции стояли два длинных многооконных здания. Болатбай объяснил, что это маслозавод и школа. За ними мельница, болотистый луг, камыш, осока и две еле-еле видимые точки, наверно, стога сена. Но когда подъехали ближе, мы увидели: то, что я издала принял за стога сена, оказалось двумя юртами.

– Вот тут и живет твоя сестра!– сказал Болатбай.

Боже мой! Много нищеты и бедности я видел в жизни, но это было что-то совершенно невероятное. Убожество, разрушение, грязь, лохмотья, войлок, висящий клочками, как шерсть на чесоточном верблюда,– все заставило меня остановиться и подумать: «Алла! Алла! И сюда я стремился!» Ведь самая закоптелая, провалившаяся, дырявая кибитка в моем родном ауле была все-таки как-никак жилищем, но с чем я мог сравнить это?

Две грязные маленькие девочки играли возле кибиток, и когда Болатбай спросил: «Чьи это кибитки?»– дружно ответили: «Вот эта – Аубакира, а та – пастуха Копабая».

По казахскому обычаю, услышав топот подъезжающей лошади, хозяева кибитки встречают приехавшего. Нам навстречу никто не вышел.

– Ну что ж, давай слезать,– сказал Болатбай печально.– Никто что-то к нам не выходит. Джатаки дома не сидят, а с утра до вечера бродят по поселку.

Мы соскочили с коней и вошли в кибитку. В углу спала женщина, одетая в грязное платье, с головой покрытая старым детским халатиком. Она спала прямо на полу на тряпье, а у самого бедного жителя нашего аула был топчан, хоть старый, да был, а если топчана не было, так стоял сундук, на нем одеяло да подушка. В каждой нашей юрте, даже такой бедной, как у моего дяди или отца, был разостлан на полу кусок кошмы или половик. В любой нашей кибитке висели на стене и конская сбруя, и седло, на полках стояла хозяйственная утварь, в очаге было место для котла, да и сам котел стоял тут же, была полка для посуды и посуда. А в кибитке Аубакира – хоть шаром покати: ни одежды, ни утвари, ни стакана, ни тарелки – все пусто, все голо, одно рваное тряпье да пара грязнейших подушек. Вот и все убранство! Помятый котел, самовар без крана, деревянное блюдо, деревянный половник да несколько битых чашек. Как только мы вошли, поднялась целая туча черных мух, тундук был закрыт, и свет проникал только из многочисленных щелей, поэтому юрта показалась мне в ту минуту тюрьмой, куда заточили всех мух на свете. Мухи, жирные, черные, облепили спящую, целые рои их сидели на ее худых, жилистых ногах и ползали по ее лицу и глазам, и если бы не мерное, спокойное дыхание, я бы подумал, что она мертва – задохнулась в этом смраде. Мухи, изнывавшие от голода, налетели на нас и облепили со всех сторон.

– О аллах!– вскрикнул Болатбай, отмахиваясь обеими руками.– Ведь эдак они насмерть заедят. Милый!– обратился он ко мне.– Ну-ка, скинь камзол, открой дверь да выгони их вон.

Я распахнул старую, висящую на одной петле дверь, снял с себя камзол и начал им махать, и сейчас же рой за роем полетели мухи.

В это время женщина сбросила с себя халат и села. Это была старуха, седая, морщинистая, косящая на оба глаза, с красными от сна щеками. Она ошалело таращила на нас глаза.

– Здравствуй, Улданай!– сказал Болатбай.– Что, или не признала? Я Болатбай, сын Нуралы из аула Жайлыган, помнишь?

– Откуда мне помнить?– пробурчала старуха в нос.– Мало вас тут? У меня память слабая.

– А хозяева где?

– А хозяева в поселок пошли.

Она отвечала недовольно, коротко, и мы, не задерживаясь, вышли на свежий воздух.

– Ух!– сказал Болатбай и сплюнул.– Раньше в этом доме было мало проку, а что сейчас творится, передать нельзя. Помилуй нас, аллах! Что с ними случилось такое? Две минуты пробыл, и то голова закружилась, даже смотреть страшно,

– Неужели это и есть кибитка Аубакира?– спросил я подавленно.

– Ну, а чья же? Его, конечно. Что ты так удивляешься?

Я рассказал, как он был одет, когда приезжал в наш аул.

– И ты думаешь, что на нем его вещи были?– улыбнулся Болатбай.– Откуда? У него не только вельветового, но и холщового костюма нет. Русские друзья дали свое покрасоваться, вот и все.

Я молчал. Очевидно, так оно и было.

– Ну хорошо, куда же нам теперь идти?– спросил Болатбай, постоял, подумал и вдруг решил:– Вот что, пожалуй, сделаем. Сегодня праздник, пойдем в русскую избу, закажем самовар, а там и твои родственники вернутся, они сейчас ходят по избам с мешком, собирают хлеб.

– Да что они, нищие разве?– удивился я.– Муки у них нет?

– Мука-то, наверно, есть, да таков уж обычай: как праздник, так они и обходят деревню с сумой.

Поздно вечером, напившись чаю и закусив, мы вернулись на болото. Пришли, когда в ограду из жердей загоняли стадо овец. Коров встречали хозяева – все русские. Мы с Болатбаем направились к овечьему загону, и тут я увидел Аубакира. Но, боже мой, как он выглядел сейчас! Одежда на нем висела лохмотьями, все было грязное и заношенное. Стоял он босиком и без шапки. Мы окликнули его, он нас узнал сейчас же, но поздоровался холодно, – должно быть, не ко времени приехали. К нам подошла толстая женщина, босая, в грязном платье и рваном платке. Она взглянула на меня и вдруг бросилась на шею. Я так и обмер. Это была моя двоюродная сестра Катыш. Провели мы эту ночь в разных кибитках: я ночевал у сестры, Болатбай – у соседа Копабая. У Копабая было три сына: младший – Кенжебай, средний, мой погодок, – Кайрке и Бейсемби – старше меня на пять-семь лет. Хотя семейство Копабая состояло из одних мужчин, кибитка его выглядела чисто и опрятно, да и утвари в ней было больше и обстановка хоть бедненькая, да все-таки была. Копабай накормил нас обедом, который приготовила женщина, приглашенная им из соседнего аула. После чая Болатбай рассказал Копабая, для чего я приехал.

– Аубакир его не возьмет, он пасет овец. Пастухов у него предостаточно. А мне нужен человек, ты оставь этого мальчика у меня.

– Что же, обсудим, – ответил Болатбай.

После обеда он вывел меня во двор и спросил:

– Как ты думаешь? Здесь останешься или вернешься?

Я бы, конечно, вернулся. Положение джатака пугало меня своей безнадёжностью, своей беспросветной нуждой. Наши батраки жили не в пример лучше, да и Болатбай, которого я хорошо узнал и даже полюбил за время совместной поездки, казался мне хорошим и добрым человеком. Он бы, пожалуй, принял меня, да

и я бы у него остался, но тут мне вспомнилась Ултуган. Перед самым моим отъездом она мне вдруг сказала: «Милый, пройдем-ка в лесок, поможешь набрать хворосту». И по ее тону я понял, что она что-то хочет мне сказать. И верно, только мы вошли в лес и я стал собирать хворост, она вдруг крепко обняла меня и заплакала. А потом закрыла лицо обеими руками, села на пенек и зарыдала так, что тело у нее затряслось и заходило, как во время припадка.

Я ее упрасивал, уговаривал, но она рыдала все громче и громче, и, наконец, когда этот плач стало невыносимо слушать, я крикнул:

– Перестань же! Перестань, а то я уйду, и ты меня больше никогда не увидишь.

Только тогда она немного успокоилась, вытерла глаза краем платка, усадила меня рядом с собой на пенек и сказала:

– Я ведь от обиды плачу. Вот ты мой брат, а что я могу тебе сделать? Чем помочь? Сам видишь, в какую я семью попала. Не в том беда, что муж старый, а в том, что день и ночь старик точит и точит его, а он только глаза в землю тупит. «Отец, мол,– ничего не поделаешь, надо покоряться». И получается: сын отца не может послушаться, а жена – мужа. Старик меня и до этого пилил, а как ты приехал – и совсем житья не стало.

– Так ведь я уезжаю,– сказал я.– Как-нибудь прокормлюсь и сам.

– В том-то и дело, что уезжаешь,– опять заплакала сестра.– И, наверно, с тяжелым сердцем. На меня сердись? Знаешь, недаром говорят: «У сироты сердце злое». Я вот даже боялась, что ты рассердишься и уедешь, не попрощавшись со мной.

– Ну вот!– удивился и огорчился я.– Как это, не попрощавшись, а кто у меня еще есть на свете, кроме тебя?

Тут Ултуган снова обняла меня, прижалась, поцеловала и сказала:

– Ты правильно делаешь, что уезжаешь. Поезжай, поезжай, милый! Ты уж не мальчик: руки у тебя есть, и обе здоровые, собирать милостыню не будешь. Если заболеешь, ну, делать нечего, приедешь, а здоровым в дом этой собаки не показывайся, обещай, мне это!

Я обещал...

Этот разговор в лесу, страдающее лицо сестры и припомнил я в ту минуту, когда Болатбай меня спросил о том, останусь ли я или уеду с ним обратно.

Выхода у меня не было. Я решил остаться.

ПАСТУХ

Итак, вместе с Кайрке, средним сыном Копабая, я пасу коров. Это, оказывается, далеко не просто. Всего в нашем стаде около пятисот животных. Встаем мы еще до восхода солнца и гоним коров на пастбище, а пастбище здесь огромное, ибо Кутурлаган не обычный русский поселок, а одна из казачьих станиц на линии Гурьев – Уральск – Оренбург – Троицк – Пресновка – Петропавловск – Омск и вдоль по Иртышу дальше, до самого Зайсана. Это все форпосты. Царское правительство опоясало и заковало этот край цепью крепостей – станиц. В станицах и условия землепользования особые: если на одну мужскую душу переселенца полагалось пятнадцать десятин, то в станицах надел не меньше тридцати. Поэтому казачьи поселки были, по крайней мере, в два раза больше обыкновенных русских деревень.

Кроме того, казаки получали еще много земель за выслугу, в награду и т.д. Таким образом, получалось, что соседний поселок Исаевка и станица Кутурлаган занимали одинаковые площади, хотя хозяйств в Исаевке было в три раза больше. На земле Кутурлаган много лесов и озер. У самой станицы два больших озера, они настолько велики, что противоположные берега их скрываются в тумане. Сеяли в станице

помногу, полосы отдельных хозяйств доходили иногда до двадцати гектаров и больше, много земли было и под выгонами. Комаров и оводов в этой местности водилось тьма-тьмущая, и коровы из-за них после полудня не находят себе места. Как только их начинают одолевать комары, они с ревом бросаются в озеро, залезают по брюхо в воду и стоят так до тех пор, пока не спадет полдневный жар,

Говорят: «Палкой и медведя научишь молиться». Мы «учили» бодливых коров и тех, которые убегали. Надо сказать, что орудия для этого у нас подходящие – огромные палицы с большими шарообразными утолщениями на конце (их делают из березы, вырванной вместе с корневищем). Такой дубиной можно с одного маху свалить быка. В нашем стаде два огромных, как верблюды, быка – черный и пегий, смирные, послушные, ленивые. Со скуки мы натравливаем их друг на друга и долго смотрим, как они, напряжнив мускулы и наклонив огромные головы, начинают толкать друг друга, и ни один не может стронуть другого; как потом глаза их наливаются кровью, языка вываливаются, с нижней губы течет слюна, и они вдруг начинают яростно наседать друг на друга, и если их теперь не разогнать ударами палицы, сами уж разойтись они не смогут.

К вечеру, когда сытые коровы отдыхают, мы кипятим чай в медном котелке. Заварки у нас нет, мы бросаем в котел шалфей и пьем чай с хлебом, а если не хочется чаю, доим корову и кипятим молоко. Иногда Кайрке оставался дома и вместо него выходил его старший брат, Бейсемби, муж одной из моих двоюродных сестер, почему-то прозванный «Жаман жезде»–«Дурной зять». На обмороженной левой руке у него все пальцы были без первых суставов, но это не мешало ему лихо играть на домбре. Когда он выходил пасти коров, то захватывал с собой инструмент и на ходу, следуя за медленно идущим стадом, брэнчал на домбре и пел. Голос у него был неприятный, визгливый,

но, когда он пел, песня его захватывала всего – он преображался, бледнел, становился совершенно не похожим на себя. Когда же я пел, он слушал и тоже приходил в неистовство и кстати и некстати помогал мне дикими воинственными криками.

Так проходили дни. Я привыкал к трудной, спокойной работе пастуха, она становилась для меня интересной и занимательной. Бейсемби выходил на работу редко, и почти все время моим спутником оказывался мой одноклассник – Кайрке, смуглый, очень бойкий и проворный мальчишка с милым, чуть рябоватым лицом. Он родился в русском поселке, по-русски говорил совершенно свободно, любил петь забубенные частушки, вроде таких:

Наша улица широка,
Только некуда ходить.
На деревне девок много,
Только некого любить.

Или:

Закурю с тоски махорку,
Положу гармонь на полку,
Полежит тальяночка,
Пусть придет беляночка.

Или же:

В моей милке семь пудов,
Не боится верблюдов, –
Увидали верблюды,
Разбежались, кто куды.

Он любил слушать и казахские песни, и кажется, от меня слышал их впервые. Мы устраивались где-нибудь поудобнее, коровы – не лошади, они не разбегаются, а медленно, солидно бродят по полю, сонно обирая сочный клевер, и Кайрке мне приказывает: «Ну-ка, Сабит, начинай!»

И я начинаю. Обыкновенно в это время мы пьем наш шалфей, пьем не торопясь, – по десяти пиал, до

седьмого, так сказать, пота. Кайрке слушает меня внимательно и тихо. Это не Бейсемби, он не будет вскакивать и кричать: «Вот это здорово! Давай! Вот молодчина-то!»

Нет, он сидит тихо, слушает внимательно, не сводя глаз с моего лица.

– Ты знаешь, – говорит он задумчиво, – я ни разу не был в казахском ауле, отец ведь все время сидит дома, он у нас и за хозяина и за хозяйку. Мать умерла рано, а второй раз отцу жениться уже не под силу. Из чего будет калым платить? Вот с семи лет пасу коров и за околицу станицы – никуда. А кто был у казахов, тот расхваливает их жизнь: «У них в ауле, говорит, работы мало, а веселья много». Все лето они проводят на джайляу, чем плохо? Ах, как хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на это приволье!

И он глубоко вздыхает.

Его рассуждения меня смешат. Я начинаю ему рассказывать о тяжелом труде батраков в ауле, о нищете бедных, о скупости богатых, о своей жизни у Нуртазы. Он с сомнением качает головой, и я наконец спрашиваю:

– Ну, а если бы в ауле было хорошо, разве я ушел бы оттуда? Как ты думаешь?

Пораженный, он поднимает голову. Видимо, об этом Кайрке еще не думал,

– Правильно, – соглашается он, – от хорошей жизни к этим коровам не сунешься. Это такая работа, что от нее, кажется, на край света готов бежать. Но неужели действительно люди все врут?

На секунду он задумывается, а потом бьет меня по плечу.

– Как хорошо, однако, что ты пришел! С тех пор, как мы вдвоем, я даже не замечаю, как дни летят. А знаешь что? Оставайся-ка тут навсегда, будем всегда вместе пасти!

– Как это «навсегда», до самой смерти, что ли? – улыбаюсь я.

– А что?– возбужденно подхватывает он.– Вот мой прадед. Он первый пришел сюда и сделался пастухом. С тех пор все наше семейство – и дед, и отец мой – все время только то и делают, что пасут коров. Вот я не знаю только, кем будет наш Кенжебай. Он еще совсем маленький. А старший брат, он так и останется пастухом на всю жизнь. Это уж точно.

– А ты?

Он пожимает плечами.

– Не знаю.

– А мне предлагаешь!

Он думает.

– Будем пока вместе пасти, а там, что аллах даст! Может, и полегчает.

Это «полегчает», оказывается, было сказано в совершенно определенном смысле.

В конце лета, хорошо помню, во время уборки хлебов, Кайрке вдруг начал со мной странный и уклончивый разговор.

– Сабит,– сказал он,– ты мне очень нравишься! Ты и товарищ хороший, и петь умеешь.

Я молчал, ибо никогда не знаю, как следует отвечать на похвалы.

– Вот есть поговорка,– продолжал Кайрке:– «У двух беременных женщин – одни мысли, одни тревоги». Вот мы с тобой оба пастухи и по-одинаковому мыкаем горе, поэтому и мысли у нас должны быть одинаковые. Так, что ли?

– Конечно,– отвечаю я не особенно уверенно, не понимая, к чему он клонит.

– А держать язык за зубами ты умеешь?– спрашивает он вдруг.

Я пожимаю плечами.

– А в чем дело?

Он не ответил, и на этом разговор кончился.

В другой раз этот же разговор начался в полдень, когда мы пригнали коров на берег озера и развели костер. Тогда, потягивая шалфей, Кайрке вдруг сказал:

– От этого шалфея только живот пухнет, а толку нет, хлеб да вода, от такой еды скоро мы и ноги таскать не будем.

– Скажи отцу, чтобы он кормил нас только мясом, – улыбнулся я.

– Откуда оно у него? – вполне серьезно ответил Кайрке.

Я развел руками.

– А ведь можно было бы, – задумчиво сказал он, – если товарищ надежный, можно и мяса достать.

Я смолчал. Начало не сулила ничего хорошего, а Кайрке продолжал:

– Вот я и спрашиваю, умеешь ты держать язык за зубами или нет?

– А что, если умею? – спросил я угрюмо.

– А тогда давай пять и будем дело делать.

– У меня рука болит, – ответил я. – Говори в чем дело, и все.

– Сомневаешься, значит, – спросил он обиженно. – Боишься дать руку? Хорошо, скажу! – наконец решился он. – Чем голодать, лучше воровать. Что ты глаза вылупил, как баран? Ягнят воровать – вот и все. Вон вместе с нами пасется стадо овец, Оразалы пасет. Стянуть у него овечку – пара пустяков.

– Как же это? – спросил я.

– А так: когда овцы забредут в лес, схватить самого жирного ягненка, унести подальше, зарезать, а мясо зарыть.

Не зная еще, как к этому отнестись, я спросил:

– А может быть, козленка можно?

– Можно и козленка! – великодушно согласился мой товарищ, но сейчас же передумал: – Нет, нет! Козленка не надо, он так заорет, окаянный, что сразу все сбегутся, а ягненок, и не пикнет. Да ты не бойся, я сам все сделаю: сам украду, сам зарезу, а ты только молчи, ладно?

Тут я понял, что это совсем не шутка, и воскликнул:

– И, по-твоему, я буду участвовать в таком проклятом деле?

– Говорю тебе, что я сам все сделаю,– нахмурился Кайрке.– Тебя только мясом угощу, хочешь – ешь, хочешь – нет.

– А где же мы сварим ягненка?– спросил я.– Ведь в нашем котелке и гусь не поместится.

– А зачем нам котел? Мы его в желудке ягненка сварим.

– Как?

Оказалось очень просто: ягненка режут на куски и кладут в очищенный и вымытый желудок, заливают мясо водой и солят по вкусу, после чего желудок зарывают в песок, на песке разводится костер, мясо и кипит в желудке, а чтобы пар его не разорвал, втыкают в пищевод полый стебель курая, из него пар и выходит, как из самовара.

– И знаешь, какое мясо получается?– прищелкнул языком Кайрке.– Ты такого еще и не едал.

Только теперь я окончательно убедился в том, что Кайрке не шутит, и мне вспомнился Оразалы, которого он собирался ограбить.

Не было в станице человека беднее Оразалы. Он был из нашего рода, но как родился в Кутурлагане, так и живет в нем сейчас, работая пастухом. Я уже говорил об Аубакире и о том, как он жил. Так вот, Оразалы жил еще хуже и беднее, чем Аубакир. Такой нужды и представить себе невозможно. А ведь в мире не было человека смиреннее и правдивее, чем Оразалы. Он ничем не интересовался, знал только свою работу и ничего не желал, никому не завидовал. Была у него жена, ленивая, вздорная старуха, которая даже чай не умела заварить. Поэтому он всегда ходил рваный и грязный. Старуха нарожала ему в свое время детей, но остался в живых только один, и тот калека: вывихнул ногу. Отцу он не помощник, а обуза. Было в то время Оразалы лет пятьдесят или шестьдесят, не поймешь. Словом, кого угодно мог наметить в жертвы Кайрке, но только не Оразалы.

– Но ведь Оразалы придется платить за ягненка,– сказал я,– а ведь бедней его никого нет в целой станице,

– Ну вот и хорошо,– улыбнулся Кайрке,– значит, не станет беднее, ему уже некуда.

На этом, мы и разошлись. А через несколько дней, когда я отгонял стадо от стогов сена (не знаю, почему, но коровы, набредя на сложенные скирды, начинают их бодать и разносить до основания), он подозвал меня и сказал, что нашел рой пчел. Я так и запрыгал от радости. Совсем недавно Кайрке угощал меня медом, и я впервые узнал его вкус. Чтобы добыть мед, мы обкладывали дупло соломой, жгли ее и выгоняли пчел.

– Опять будем выгонять их дымом?– спрашиваю я.

– Ну конечно, идем скорее.

И вот мы бежим по лесу. Каждую минуту я жду: налетит взбешенный рой, но ничего нет.

Добегаем до полянки и...

– Вот и мед!– говорит Кайрке, подходя к высокому деревцу и разбрасывая сухие листья и хворост.

– А пчелы?

– Держись, сейчас налетят!– хохочет он.

Я в страхе прячусь. Мне уж отлично известно, что такое встревоженный пчелиный рой. Вдруг Кайрке быстро наклоняется и что-то тащит из кучи листвы. Через мгновение он бросает на листву небольшого ягненка, у которого перерезано горло.

– Ну, хороша пчелка?– спрашивает он любуясь.– Что рот разинул? Они и больше бывают, понял?

– Понял,– ответил я и повернулся, чтобы уйти.

– Стой!– Кайрке схватил меня за плечо.

Я оттолкнул его. Произошла короткая, резкая ссора. Я сказал, что завтра же уйду от него. Мы выпалили друг другу все, что могли, и молча остановились, тяжело дыша и смотря друг на друга блестящими, ненавидящими глазами.

– Сейчас ты пойдешь и расскажешь?– сказал он, задыхаясь.

– Нет!– ответил я.– Я иду домой.

– А завтра расскажешь все?

– Какое завтра, я сегодня же ухожу.

Он помолчал.

– Так и уйдешь?

– Так и уйду.

– А если я не буду воровать?

– Не будешь, тогда другое дело.

– Ну ладно, садись! Не буду!– Он подумал и вдруг спросил:–А с этим ягненком что же нам делать? Он же зарезанный. Может, съедим? Ну, первый и последний раз наедемся досыта.

– Ешь, я до ворованного не дотронусь.

Наконец пришли к соглашению. Кайрке воровать больше не будет и мясо это отдаст сегодня же какому-то родственнику. На этом мы и покончили.

ВОЛКИ И ЗАЙЦЫ

Мясо пришло в наш котелок другим путем, им нас стал снабжать охотничий пес, по прозвищу Сокол. Это был огромный пес (всего в Кутурлагане было семь таких собак) – высокий, чуть не по пояс человеку, остромордый, плоскоголовый, вислоухий, с пушистыми ушами, тонким голым хвостом и тонкими, но очень сильными лапами. Брюхо у собак этой породы всегда подобрано, можно все ребра пересчитать, и как бы ни холили, ни кормили, они никогда не тяжелеют и не грузнеют. Удивительна подобранный, даже франтоватый вид у этих замечательных, как у нас их зовут, «докторских» собак. «Докторскими» их называют потому, что они происходят от собаки доктора Боярского, некогда жившего в атаманской станице Пресновке. И не перечтешь тех качеств, которые открывали в этих собаках знатоки: они легки на ногу, шутя догоняют зайца, так сильны, что душат волка. Собак этих всегда держат на цепи, один только Иван Александрович Савостьянов, бывший офицер и кавалер многих орденов, держал своих собак всегда на свободе. Савостьянова этого казахи называли

«Мальке», наверное, в отличие от его брата Николая, которого зовут просто «Кольке». Мальке пользовался большой популярностью во всей округе, и нет ни одного казаха, который не знает Мальке. У него замечательные скакуны, и поэтому он был постоянным участником любимого казахского развлечения конских состязаний. Мальке – высокий, круглолицый, плотный, с черной бородой и большими синими глазами. У Мальке две собаки «докторской» породы: Дьявол и Сокол. Дьявол – злой и ленивый, Сокол – смирный, но очень подвижный. Утром, выгоняя стадо на пастбище, мы захватываем с собой Сокола и уж наверняка знаем, что в этот день без дичи не останемся. За зайцами охотились так: гоним в лес коров, а сами держим Сокола за ошейник, стоим и ждем на опушке. Мы знаем, с какой бы стороны ни выбежал выгнанный коровами заяц, собака его заметит раньше нас и начнет вырываться и тихонько повизгивать.

– Хайт! – кричим мы и выпускаем Сокола.

Собака с размаху бросается в густую траву и сразу же исчезает. Мы различаем направление, по которому идет погоня, только по тому, как волнуется и ложится трава. Сокол выпугивает и зайцев, и лис, но лис мы встречаем редко, ни одна еще не попала нам в руки – Сокол тут же разорвал в клочья, а другая успела скрыться в соседней роще.

Кайрке, который очень хорошо знает все повадки Сокола, может бесконечно долго говорить о его достоинствах.

– Он и волка задавит, – вздыхает Кайрке, – только для этого лошадь нужна. Волка без лошади не загонишь, а где я ее достану?

И вот однажды мы все-таки загнали волка. Вот как это вышло.

Обычно мы пасем коров в поселковой роще, но есть еще и Иванов колок. Он находится довольно далеко, и поэтому заглядываем мы туда редко. Посередине колка – болото, пересыхающее летом, оно заросло густым тальником.

– Пойдем туда осенью,– говорит мне Кайрке,– там волки кишмя кишат, может, одного и выгоним.

– Да он не побежит из колка.

Кайрке машет рукой.

– Побежит, коровы выгонят!

И вот, рассчитывая именно на это, мы как-то под осень погнали наше стадо в Иванов колок. Я остался с собакой у стога сена, а Кайрке погнал коров в лес. Стою я на дороге, держу Сокола за веревку и жду: не покажется ли волк? Мне показалось, что времени прошло много, а волка нет и нет. Вдруг я услышал страшный шум, который приближался ко мне. Трещал валежник, и, захлебываясь, ревели целое коровье стадо. Собака зарычала и стала рваться с веревки. «Волки»,– подумал я, холодея от радости и страха. И тут Сокол рванулся, выскользнул из моих рук и помчался стрелой в сторону леса. Он бежал через перелески, туда, где раньше была трясина, а теперь пышно разросся бурьян, нырнул в него и скрылся совсем. В это время из лесу навстречу Соколу выскочил волк, бежал он медленно, бежал и все время оглядывался назад. За ним спешили двое волчат ростом с небольших лис. Следом на поляне появилось ревущее стадо коров. Я мельком взглянул на них и бросился бежать за собакой. Сокол поравнялся с волчатами, не обратив на них никакого внимания, нагнал волчицу, толкнул ее грудью и по инерции пролетел дальше, но тут же повернулся и встал, загораживая дорогу. Теперь оба зверя стояли один против другого, глухо рычали и не смели ни броситься друг на друга, ни повернуться спиной. Из лесу, махая дубиной и сгоняя коров, выбежал Кайрке. Большая часть стада уже повернула обратно к лесу, только несколько коров разбрелось по полю. Я подбежал к волку и, сам не замечая, крикнул: «Хайт!» Волчица быстро обернулась, в этот момент Сокол успел вцепиться ей в глотку. Волчица щелкнула зубами, подпрыгнула и вырвалась, но сейчас же Сокол снова бросился на нее. Они поднялись на задние лапы и, упираясь лапами в плечи друг друга, стояли, как гераль-

дические звери. Я подошел совсем вплотную, – и то ли волчица испугалась человека, то ли мое присутствие придало силу собаке, но зверь дрогнул и осел на задние лапы. И в ту же секунду Сокол подпрыгнул, вцепился волчице в горло, и я не успел еще сообразить, что же произошло, как волчица очутилась на земле, а на ней лежал Сокол, рычал и рвал ее. Подбежавший Кайрке с разбегу ударил зверя дубиной по морде. Послышался сухой треск, и потекла кровь. Сокол продолжал лежать на волчице, придавив ее всем телом и запуская челюсти все глубже и глубже в горло.

– Что ты рот открыл? – заорал на меня Кайрке. – Оттягивай волка назад!

Я схватил тушу за задние лапы и потянул, а в это время Кайрке выхватил кинжал, который постоянно носил с собой, и молниеносно, одним ударом, распорол зверю брюхо. Еле-еле оттащили мы Сокола от волчицы. Пес не разжимал зубов, косился и злобно рычал на нас. Только к вечеру, когда труп зверя стал холодным, Сокол разжал челюсти.

– Вот жалость-то! – сказал ненасытный Кайрке, когда мы возвращались домой, таща на руках волчью тушу. – Ведь волчат мы так и упустили!

ВОЙНА

Жить в Кутурлагане было веселее и интереснее, чем в ауле. У нас в Жаман-Шубаре вечеринки, свадьбы, пирушки проходят зимой так, что иной раз никто и не подозревает, что в таком-то доме, у такого-то хозяина собрались гости и пируют. Не то, конечно, летом. Тогда ставятся посередине луга качели, а девушки и парни собираются вместе, поют веселые песни, играют и устраивают состязания по борьбе. И все-таки праздники в станице привлекали меня сильнее, верно, потому, что русские парни отлично играли на гармошке и очень лихо плясали. Пляски увлекали меня еще

больше, чем гармонь. Моей мечтой было научиться плясать самому. По праздникам устраивались и «стенки» – всеобщее побоище, когда улица дралась с улицей. Победителем всегда оставалась сторона, которая могла выставить наиболее сильного бойца. Я до сих пор помню, как обе партии старались всегда заполучить Тынымбая – молодого жигита, гоняющего в ночное табуны лошадей. Он был не только самым сильным из парней станицы, но и виртуозно играл на гармошке.

И как ни уставали мы с Кайрке, гоняясь целый день за коровами, никакие уговоры не могли нас заставить лечь пораньше и пропустить очередную вечеринку. В общем, в станице жилось куда веселее, чем в ауле, и вдруг все кончилось! Однажды (о, как я хорошо помню этот день!) над веселым Кутурлаганом нависла черная беда. Обычно стадо встречали девушки и молодухи, вслед за ними тянулись парни с гармошками, и у загона становилось весело и шумно. В тот день навстречу нам вышло только несколько старух с заплаканными глазами, подошли двое стариков – вот и все! Одна из старух громко всхлипывала и все время вытирала глаза.

– Что такое случилось?– просил я Кайрке.

Он недоуменно пожал плечами и ответил:

– Это неспроста.

Коровы, хозяева которых не пришли, сгрудились посередине улицы, и мы, подождав и так никого и не дождавшись, стали разводить скотину по домам. Несмотря на будничные день, на улицах было полно народу, встречались пьяные, а звуки песен смешивались с плачем женщин. Поселок походил на встревоженный улей.

– Да что же это такое?– снова спросил я Кайрке.

– Говорю тебе, что это неспроста,– повторил он.

Тут мы и расстались: он погнал свою половину стада в один конец, я – в другой. Дома я застал только хозяина и Бейсемби. Они молча, один около другого, сидели у очага, и при желтом свете пламени я увидел, какие у них скорбные, насупленные лица. Спрашивать их ни о

чем не решился и, немного помедлив, выбежал на улицу. Над поселком стояла полная луна. Было светло как днем. Повсюду слышались голоса пьяных, самозабвенно заливались собаки, их тоже что-то тревожило. По небу бежали редкие облака, и мне казалось, небо нахмурилось в предчувствии неведомого горя. Что это за горе? Что все-таки случилось? Тут я увидел возвращавшегося Кайрке и бросился к нему навстречу, крича:

– Так что же это такое?

Он ответил:

– Война!

Это было так нелепо, что я переспросил?

– Война? Какая война?

Кайрке больше ничего не сказал. Мы пришли домой и сели пить чай. Обыкновенно за чаем в нашей кибитке засиживались долго, говорили много, выпивали несчетное количество пиал и съедали чуть не каравай хлеба. Сейчас царило мертвое молчание. Первым из-за стола встал Копабай.

– Ложитесь, ребята, пораньше спать, – сказал он нам. – Завтра работы будет много, вряд ли кто выгонит коров, не до этого людям. Придется вам самим их собирать. – И, уже устраивая себе постель, вдруг добавил: – А от пьяных держитесь подальше, сейчас народ злой, хмельной, избыют и спрашивать не с кого.

В эту ночь мы никуда не пошли – какие же вечеринки во время войны? Спали мы на полу: просто стелили под себя рубахи и штаны и накрывались чапаном – вот и вся постель. Когда в кибитке все затихло, я шепотом спросил Кайрке:

– Что же это за война?

– Спи! – ответил он. – Расскажу завтра! – И сам сейчас же заснул.

Война! Я лежал с открытыми глазами. Война была для меня такой же легендой, как те киссы, которые я исполнял перед слушателями. «Значит, и в наше время могут быть войны? – думал я. – Но с кем воевать? Кому? Ведь ни пророков, ни драконов, ни богатырей давно уже нет и в помине?»

Так я и заснул, ничего не поняв.

Утро следующего дня мало чем отличалось от всех других. Поселок шумел, но шумел уже утомленно, приглушенно, вяло. Женщины, вопреки ожиданиям Копабая, как и прежде, пригнали своих коров к мельнице, но глаза у них были красные, опухшие, заплаканные.

Кайрке по дороге сообщил мне, что воевать мы будем с «ерманцами», и пояснил, что это очень храбрый и коварный народ. Вместе с «ерманцами» идут на нас еще «турчины», или, как их называют, «басурманы». Но кто такие эти «басурманы» и «ерманцы», не знали ни он, ни я. И тут мне пришло в голову:

– А не тот ли это хитрый, колдовской народ, о котором говорится в поэме «Сал-Сал»?

– А кто ж их знает?– беззаботно ответил Кайрке.– Кто бы они ни были, русские их все равно разгромят. Взять хотя бы нашего Андрея Чемасова, его только разозлить, а как сядет он на свою рыжую кобылу да как начнет крестить шашкой направо и налево, так и всем врагам конец! А ведь такие, как он, есть в каждой станице! Вот и считай!

Дальше этих надежд, страхов, догадок наши разговоры не шли. Потом мы узнали: все казаки в возрасте от двадцати пяти до тридцати пяти лет завтра днем отправляются на фронт как раз в то самое время, когда мы пасем стадо. Ах, какая жалость! Неужели я ничего и не увижу? И вот я решил схитрить: пришел домой, повалился у порога, да и начал стонать и метаться.

– Что с тобой?– спрашивает Копабай.

– Ой, умираю! Так живот схватило, так режет, так режет...

Что делать с больным? Меня на руках оттащили в угол. Причитая и охая, я провалился до утра. Заснуть боялся, знал, если затихну, Копабай в урочное время растолкает меня и заставит идти к стаду. Поэтому, как только в окнах забрезжил рассвет и послышался обычный сухой, удушливый кашель Копабая, я опять

заостал и заохал. И добился своего. Меня, слабого, охающего и хватающегося за живот, отвели под руки в кибитку Аубакира и оставили под надзором его матери. Стадо погнал сам Копабай с Кайрке. А мне только этого и надо было. Я лег и стал ждать. Скоро с улицы послышался колокольный звон, и проснулся младший брат Аубакира.

– Эй!– крикнул он.– Зазвонили! Собирают всех казаков на молебен.

И он весело выбежал из кибитки. Вслед за ним пошел и я.

– Куда?– крикнула мне старуха.– Лежи!

– Опять живот схватило!– ответил я и вышел.

Какое богатое зрелище представляла станичная площадь в это утро! Около коновязи стояло множество оседланных коней. Сверкали серебром нагрудники, потники, седла.

Несмотря на ранний час, было очень много пьяных, кое-кого даже в церковь вели под руки. Я стоял в толпе, около каланчи, и вместе со всеми чего-то ждал. И вдруг из церкви валом повалил народ. Впереди шел поп, длинноволосый, седой, полный, он что-то громко говорил, но слов за шумом разобрать было невозможно. За попом вывалилась толпа казаков и сразу же пошла к коням. Казаки – в синих шароварах с широкими лампасами, в зеленых фуражках, лихо заломленных набекрень, и сапогах со шпорами. Особенно представительным показался мне Мальке – хозяин Сокола – высокий, багроволицый толстяк лет пятидесяти. Он стоял посередине толпы, и вся грудь его так и горела серебром да золотом.

– Что это у него?– спросил я у соседа.

– Ордена за прошлую войну.

– А что такое ордена?– снова спросил я.– Кто их дает? Сосед цыкнул на меня, и я замолчал.

Большинство казаков изрядно выпили и теперь очень весело переговаривались с провожающими.

Кое-кто шатался, а кто и совсем не держался на ногах. Мальке влез в седло, что-то зычно крикнул, дал коню шпоры и поскакал по дороге. Вслед за ним тронулся и весь его отряд – по три человека в ряд. Поднялся истошный крик, кто-то упал без чувств. Несколько женщин, всхлипывая, бились на земле. И вдруг казаки повернули коней и поскакали обратно – в последний, может быть, раз обнять своих жен и матерей.

Крик и вой стояли на церковной площади. Только высокий поп печально и прямо стоял на широких ступенях, издали благословляя воинов, из которых многим так и не суждено было вернуться в отчий дом.

БОПАН

Познакомился я с Бопаном у моего нового хозяина, – Шодыра. Шодыр – по-русски Федор, или, точнее, Федор Токарев. Нанялся я к нему в батраки, платит он мне пятьдесят рублей за зиму, его харчи и одежда. Вернуться в аул к Болатбаю, который приехал за мной и моим жалованьем, я наотрез отказался. Служить у Шодыра хорошо. Прежде всего он одел меня с ног до головы: у меня почти новая шуба, пимы, чистое белье (его каждую неделю стирает кухарка Параша), сам хозяин следит за тем, чтобы я ходил в баню. Кормит Шодыр своих батраков куда лучше и сытнее, чем богач Нуртаза. Мы едим из одного котла с хозяином, а когда русские варят свинину, мне кухарка в отдельном чугушке готовит похлебку из курятины или баранины. Хлеб здесь стоит на столе в большой тарелке, и его можно брать сколько угодно. У Нуртазы батраки работают от темна до темна, о дне отдыха и говорить не приходится. У Шодыра поначалу работы было не очень много, а в воскресенье разрешали отдохнуть. И сплю я не на грязных лохмотьях и насквозь прокопченной кошме, а на отдельной кровати, и есть у меня свое одеяло, своя подушка, две простыни.

Шодыр – пожилой человек, в его волосах и длинной красивой бороде уже блестят серебристые нити, а около глаз и на лбу много морщин. Жена его, рыхлая, одышливая женщина, такая полная, что ей трудно подняться со стула. У Шодыра четыре сына, но с отцом живет только младший, а в то время, о котором я рассказываю, и его взяли на фронт, дома осталась его жена Марфуша, статная, красивая молодуха. Хозяйство у Шодыра не маленькое: десять рабочих лошадей, десять пар волов, сорок-пятьдесят овец и коз, около двадцати свиней и поросят, гусей два десятка, уток штук пятнадцать да кур с полсотни. За свиньями ходит Параша, за птицей – Полина, все остальное на попечении Марфуши и моем. Примерно раз в неделю мы ездим с Марфушей за сеном. Берем три-четыре парных подводы и отправляемся в поле. Накладывать сено нам помогает Бопан. Бопан – это его настоящее имя, в станице же его зовут Иваном Никифоровичем. Бопан – крещеный казах и русское имя и отчество получил при крещении. Отношения с Иваном Никифоровичем у меня сложились далеко не сразу. Однажды он очень жестоко и, главное, ни за что ни про что избил меня. Поэтому понятно, что когда во время одной поездки я увидел, что он догоняет нас на своей лошадке, мне, признаюсь, стало не по себе.

– Что это с тобой?– спросила Марфуша.

От мороза она разгорелась, покраснелась и стала еще красивее. На невозможно ломаном русском языке я ей объяснил, в чем дело. Она засмеялась, показывая великолепные блестящие зубы.

– Подумаешь, убил! Мало ли что бывает у парней! Нет, ты его не бойся, он очень хороший.

Почему-то после ее слов я вспомнил, что Кайрке говорил мне: «Иван Никифорович парень бедовый, он ни одну хорошую бабу не пропустит, со всеми дружит». И я решил: значит, он и с Марфушей дружит. По всей вероятности, это так и было, иначе чем же объяснить то, что он каждый раз появлялся в поле тогда, когда

приезжала туда Марфуша. Грузим сено мы вместе с Бопаном. А был он очень сильный. Маленький, крепкий, ухватистый, он с размаху вонзал вилы в копну сена, поднимал и бросал на воз огромную охапку, чуть ли не всю копну разом. Я до сих пор помню: на санях стоит раскрасневшаяся Марфуша, а Бопан кидает сено прямо на нее. Она счастливо улыбается и кричит:

– Ну что ты придумал, сатана? Отстань!

Работает она умело, быстро, споро. При этом они шумят, весело переговариваются, но я почти не знаю русского языка, поэтому понимаю их плохо.

Первое время я чуждался Бопана – недавние незаслуженные побои, что бы ни говорила Марфуша, никак не выходили у меня из головы, но потом я с удивлением увидел, что Бопан действительно очень веселый, разговорчивый и просто хороший человек. Казахи говорили, что он разучился разговаривать по-казахски. Но с первого же дня я увидел, что это неправда. Бопан и по-русски говорил, как русский, и по-казахски говорил не хуже любого казаха. И вот когда мы наконец познакомились по-настоящему и даже сблизились, он мне рассказал, как его выкрестили. Он не крестился, а его именно выкрестили.

– Этот грех падет на голову Машика!– сказал он, отвечая на мой вопрос.

Это удивило меня. Машик был постоянно добр ко мне, я знал его как человека честного, благородного, верующего и поэтому растерянно спросил:

– Почему Машика? Он ведь очень хороший и добрый человек.

– Да, добрый, добрый!– зло рассмеялся Бопан.– Я сейчас тебе расскажу про его доброту, но сначала скажи, ты слышал, что когда кого-нибудь желают обидеть, так говорят: «Эх ты, Бердыке!»

Я кивнул головой. Действительно, самому жалкому и забитому человеку нашего аула всегда кричали: «Эй, Бердыке!»

– Так вот, Бердыке,– продолжал Бопан,– это мой отец. Тише и смирнее его не было человека в ауле. А ведь у нас так: если смирный, значит, глупый, плохой человек. Так и звали моего отца «Жаман». И вот Жаман умер, и остался за хозяина я. Куда сироте деваться? Пошел в батраки. Проработал год, получил корову, а Машик приехал и забрал ее.

– Почему?

– Рамат¹, говорит, надо платить. Я в аульном списке состою как хозяин. Значит, и платить должен. Вот он, как аульный староста, из года в год и забирал моих коров. Иными словами, вышло, что я пять лет работал на Машика. Наконец мне это надоело. Я взял да и продал полученную за работу корову. Приехал Машик и требует рамат, а у меня коровы уже нет. Она уж давным-давно в другом ауле.

Рассердился Машик. «Ах, ты так? Бунт затеял? Платить не хочешь? Ну, держись! Засужу!» Взял меня, посадил в свою повозку и увез к себе в аул, а там в сарай посадил. «Ты у меня в Сибирь пойдешь,– говорит.– Узнаешь, как против белого царя идти!» А против какого царя я пошел? Мне же отлично известно, что мои коровы в руки Машика попадали. Но что поделаешь? Действительно засудят! Вот я и сбежал. Пришел пешком в Кутурлаган и сразу бросился к твоему хозяину Шодыру. «Научи, мол, что делать? Вот какое у меня горе!» Он выслушал все да и говорит: «Никуда не годится твое дело, обязательно засудит, крестись скорей, иначе из тюрьмы не выйдешь». Что тут будешь делать? Ну, я подумал, подумал и окрестился. Вот и все!

Этот рассказ Бопан мне повторял несколько раз и каждый раз кончал его так:

– Вот и тебя окрестят! Вернее, сам запросишься к попу.

– Зачем он мне нужен?– спрашиваю.

Бопан загадочно улыбается.

– Увидишь зачем!

¹Рамат – подать.

Прошел еще год. Я пасу овец у Аубакира. Работа у Шодыра чем ближе к весне, тем становилась все тяжелее и тяжелее. А перед пахотой для меня, подростка, стала совсем непосильной. И хоть кормил хозяин сытно, пришлось мне от него уйти. Овец пасти куда легче. Они смирны, неприхотливы и никогда не разбегаются по полю. Стережем мы овец с младшим братом Аубакира – Албатыром. Это ладный, ловкий жигит, круглолицый, среднего роста. Прошлый год он жил отдельно от брата и батрачил у одного богатого старика, но весной ушел: работы много, а платили мало.

Работа распределялась так: мы с мальчишкой-подпаском караулим овец днем на пастбище, Албатыр охраняет их ночью в загоне. Ночной пастух или сторож в нашей станице – это совершенно небывалое дело. Раньше никто овец не караулил, но сейчас что ни неделя, то пропадает одна или две овцы, и никак не поймешь, кто же их таскает.

– Это же беда!– жалуется Албатыр.– Когда казаки были дома, небось никто не зарился на чужое добро, а сейчас, конечно, полная воля, никто никого не боится. Мужчины-то на войне! Бери, что хочешь!

– А ты, когда пойдешь стеречь, захвати ружье с собой!– посоветовал Аубакир.

Албатыр послушал его и стал выходить с ружьем. Я часто остаюсь с ним и просиживаю до рассвета. Он знает много русских сказок и замечательно их пересказывает мне по-казахски. Под его мерный голос я иногда и засыпаю. Возле нас лежит злая собака Аубакира, которая никого не пропустит днем, но почему-то никогда не лает на воров ночью. Овцы пропадают, она хоть бы хны, не шелохнется!

– Апырай!– удивляется Албатыр.– Такая злая собака и даже не лает на вора. Тут что-то не так! Обязательно надо узнать, в чем тут дело.

В первые дни Албатыр горячо взялся за дело, но затем пыл его остыл, и однажды он предложил мне охранять овец ночью вместе с ним. Помню, я очень долго отказывался сторожить овец, говоря, что я так устаю днем, что наверняка не просижу целую ночь – обязательно засну. Но мой напарник эти соображения отвел сразу же.

– Ну и заснешь, что за беда! – сказал он мне с подкупающей легкостью человека, которому все одинаково безразлично. – Все равно, если вор узнает, что около отары два сторожа, он никогда не сунется. А я тебе сказки буду рассказывать. Ты послушай, какая интересная сказочка-то! «В некотором царстве, в некотором государстве, и конечно, не в том, в котором мы живем...»

Рассказывал он долго, к сказки у него были действительно интересные – с красавицами, колдунами и змеями-горынычами, но как ли их ни растягивает, а к часу ночи мы уже оба клюем носом.

– Ну, я закрою глаза на полчаса, – говорит он мне, – ты, в случае чего, разбудишь меня. Так и будем дежурить – сначала ты посидишь, а потом я тебя сменю, вот и будет все ладно.

Однако Албатыр не просыпается ни через полчаса, ни через час, ни через два. Уже брезжит рассвет, когда я, потеряв всякое терпение, начинаю трясти своего сменщика за плечи, а он только мычит да головой качает.

– Ну что? Ну что такое? – бормочет он. – Да ну постой! Постой! Вот человек! Ни минуты не хочет побыть один.

Но я продолжаю его трясти, и наконец он с трудом открывает мутные сонные глаза и с минуту бессмысленно смотрит на меня.

– Ведь вот только-только начал засыпать, – говорит он наконец с тяжелым упреком, – а ты уже будишь. Экий ты брат, нетерпеливый! – Он потягивается и зевает. – Ну ладно, раз уж перебил сон, ничего не поделаешь, иди отдыхай, я посижу.

Я ложусь, однако сплю беспокойно, часто просыпаюсь и кошусь на Албатыра, а он, конечно, снова заснул. Ружье он крепко прижимает к груди, в ногах у него собака, свернувшаяся клубком, рядом пастушеская сумка. Так проходит ночь, а утром, глядишь, опять нет одной овцы. Албатыр удивляется и разводит руками. Однажды я его спросил:

– Как ты думаешь, кто ворует наших овец?

– Да сыновья же Толебая, – ответил Албатыр, не колеблясь, – только они, больше никому.

Сыновей у Толебая трое: Абдурахман, Габдрахман и старший – Абдыраки, уже женатый. Ничем они не занимаются, нигде не работают, никакому баю в ноги не кланяются, по целым дням сидят дома да пьют чай с сахаром, а деньги у них не переводятся. Мне еще и раньше приходило в голову – чем они живут? Не клад ли нашли? А сейчас, когда Албатыр сказал: «Только они», я сразу все и понял.

– Самые отъявленные воры, – продолжает меж тем Албатыр, горячась все больше и больше. – У-у! Какие воры! Настоящие разбойники! Долго нигде не уживаются, три-четыре года назад отсюда бежали без оглядки: попались как-то на месте преступления, ну, а казачки с ворами шутить не любят. А сейчас расхрабрились: народ на войне, вот они и решили подзаработать! Ну ничего! Попадутся ко мне в руки, живыми не выйдут. Это уж я верно говорю.

Пока это были только разговоры, но однажды случилось вот что. Как сейчас, помню эту ночь. Мы сидим около костра. Ненастно, сыро, дует холодный ветер, и такие тучи идут по небу, что и луны не видно. Албатыр рассказывает мне очередную сказку, но говорит вяло, часто позевывает, останавливается, забывает, о чем только что говорил, и вдруг решительно объявляет:

– Ну, баста! Конец завтра доскажу. Я на минуточку закрою глаза, а ты посиди да покарауль. Смотри, как что, сразу хватай ружье и бей. Я отвечаю за все! А то... – Последние слова он говорит, уже засыпая.

Албатыр спит. Я сижу час, сижу два. Овцы, сгрудившись, мирно дремлют за оградой; собака, лежащая около моих ног, повизгивает во сне; голова моя начинает тяжелеть, мысли мешаться. Я прислоняюсь головой к стене, и вдруг... яростный собачий лай будит меня. Я сразу вскидываю голову, темно так, что ничего не видно. Собака гавкнула еще раз, потом вдруг умиротворенно заворчала и вот уже лежит молча, напряженно вытянувшись и вглядываясь в темноту. Начинаю вглядываться и я. Около закута, под большими кустами полыни, сгорбившись, сидят две человеческие фигуры. «Воры!» – сразу осеняет меня, и я от волнения холодею. Надо, конечно, разбудить Албатыра, но я забываю все. А собака все лежит и вглядывается в темноту. Так проходит несколько минут. Может быть, никого нет и все это мне только кажется? Но вот один из сидящих ложится на брюхо и ползет. А собака молчит. Значит, кто-то свой. Вдруг коротко и сильно размахнувшись, вор что-то кидает в темноту. Собака вскакивает и кидается за подачкой. Так вот почему она молчала! А вор уже почувствовал, что все в порядке, и, не обращая больше никакого внимания ни на собаку, ни на пастухов, напрямик пополз к загону и перемахнул через невысокую ограду. Только тут я окончательно прихожу в себя, тихонько бужу Албатыра и шепотом сообщаю ему, что случилось. Он сразу же, как и не спал, хватается за ружье.

– Молчи! – шипит он. – Я их на месте уложу!

То ли от нервного напряжения, то ли оттого, что мои глаза за это время привыкли к темноте, но теперь я ясно различаю все. Вор чувствует себя как дома: собака подкуплена, пастухи спят, так кого же ему бояться? Он потолкался между овец, пощупал одну, другую, не торопясь выбрал барана побольше да пожирнее, взвалил его на плечи и полез через изгородь. Тогда Албатыр крикнул:

– Стой!

Вора как ветром сдуло. Он бросил барана наземь и побежал пригибаясь, но раздался выстрел, и человек бесшумно упал на землю. Албатыр бросился за вторым вором, но тот пропал, как сквозь землю провалился. Вот в темноте раздается один выстрел, потом другой. Из соседней кибитки выбегает не одетый Копабай, за ним его сын.

– Что такое? Что случилось?– спрашивают они меня.

Но я так перепуган, что только тычу пальцем, показывая на лежащего человека, да мычу что-то нечленораздельное.

– Да будешь ты говорить или нет?– кричит Копабай. Только тогда я с трудом выговариваю:

– Человека убили...

Вор лежит на боку, он еще жив. Руки у него судорожно дергаются. Все склонились над умирающим.

– О аллах милосердный! Да это же Габдрахман!– вдруг горестно восклицает Копабай, узнав своего родственника. Потом он садится на землю и начинает причитать:– Ой, родной мой! Да что же ты молчишь! Да что же словечка не вымолвишь? Неужели, верно, смерть твоя пришла?

Возвращается Албатыр, возбужденный и взволнованный.

– Ах, жаль!– говорит он.– Второй-то так и скрылся. Как же это я промазал? А то лежали бы оба рядышком, друг около друга.

Послали в станицу к начальству. Пришли станичники, осмотрели труп, погрузили его на лошадь и увезли в поселок. А на другой день из волости прикатил урядник и увез с собой Албатыра.

С этого времени мне не стало житья. Меня возненавидели не только братья убитого, но и сам Копабай и его сыновья. Сколько я ни оправдывался, ничего не помогало.

– Ты виноват! Один ты! Не разбудил бы ты Албатыра, ничего бы не случилось,– орал Кайрке.

А его двоюродный дядя веско прибавляет:

– Ну, парень, теперь смотри! Ходи да оглядывайся, даром это тебе не пройдет!

«Придет беда – отворяй ворота!» – гласит русская пословица. Так и случилось: вскоре меня постиг второй удар. Я уже упоминал о старике Оразалы. Я его очень любил. Мы с ним даже оказались родственниками, правда, очень, очень дальними. Но дело не в родстве. Оразалы сразу же подкупил меня своим гостеприимством и широтой души. Он никогда ни с кем не ссорился, ни на кого не обижался и даже ни о ком не говорил плохо. Сам он бедствовал, но никогда не отпускал гостя без того, чтобы не накормить его или хотя бы не угостить чайком. Как только я приходил к нему, он кричал своей старухе:

– А ну-ка ставь на стол еще чашку, надо угостить парнишку.

Вскоре же после убийства Габдрахмана мне удалось узнать еще про одну кражу этой семейки: племянник Толебая, болтливый парнишка лет семи-восьми (говорят же: в доме, где есть дети, краденое не спрячешь), рассказал мне о том, как он гостил у дяди и как дядя досыта угощал его барашком, которого он зарезал в лесу.

– Значит, овца-то была краденая? – спросил я мальчишку.

– А то как же! – беззаботно ответил он. – Конечно, краденая!

– А кто украл? – опять спросил я.

Улыбаясь, он мне называл имена воров – братьев убитого.

– И сколько же овец они зарезали? – спросил я снова.

– Три! – ответил он.

Я схватился за голову. Целых три овцы! А я знал, в этом месте ходят только отары Оразалы. Он и так никогда не получает своего жалованья сполна, а теперь ему не заплатят ни копейки: легко ли ему, нищему,

расквитаться за трех овец! Придя домой, я сейчас же рассказал про все Аубакиру.

– Немедленно поезжай к нему!– заволновался Аубакир.– Подумать только. Убили одного вора, а остальные все не унимаются. Ты скажи Оразалы, пусть он только доищется, где спрятана кожа и кости, а я сейчас же соберу хозяев да вместе с понятыми поеду на место. Мы сразу всех выловим.

Я поехал к Оразалы, чтобы рассказать ему о происшедшем. Но когда я рассказал ему обо всем, то он только руками развел.

– А что я могу сделать?– спросил Оразалы спокойно и безнадежно.– Пусть аллах покарает разбойников, он – единственная моя защита.

Я так удивился, что, помню, только спросил:

– А ты что же?

– А что я?– так же спокойно, и тихо улыбнулся он.– Уйти мне из этого поселка некуда, да и незачем,– бедняку везде одинаково плохо. Бороться с ворами силы не хватит, еще явятся да слопают живьем и меня и мою старуху, Нет уж, буду терпеть, а там что будет!

Так я ни с чем и вернулся к Аубакиру.

– Совсем сошел с ума старик!– выругался Аубакир.– Ну да все равно я это дело так не оставлю.

И действительно не оставил. Разведдал место, где были зарыты шкуры краденых овец, и привел туда хозяев. Увидев рога да кости, хозяева заволновались, бросились ловить воров,– их уже и след простыл.

Воры скрылись, но их родственникам каким-то образом стало известно, что истинным разоблачителем был я. И вот через несколько дней после этого ближайший родич убитого – Жакиш Мыктыбаев, старик злой и мстительный,– поймал меня и, отхлестав нагайкой до кровавых рубцов, сказал:

– Убирайся немедленно из аула, иначе найму молодцов и будешь валяться в колодце с перерезанным горлом. Слышишь, пес?

Так пришлось мне уйти из станции Кутурлаган.

ПРОТИВ НАСИЛИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ

Уже год шла война, а я (как, впрочем, и большинство джатаков) все не мог понять, кто же с кем воюет. Знал только, что война идет ожесточенная, затяжная и русским, кажется, здорово попадает – вот и все. Не знал я и того, кто наши противники. В начале войны Кайрке называл их «карманец» и «ерманец», потом «ерманец» поочередно стал превращаться в «Ярманию», в «Карманию», а немцы соответственно этому в «карманский народ». Были ли «кармане» мусульманами или гяурами, никто толком об этом не знал и не слышал, но говорили и так и эдак.

За что мы воюем и кто начал воевать первый, – об этом тоже толковали разное. Наиболее достоверным считалось, что карманский царь сосватал своего сына за дочку нашего царя Николая, а та не дождалась жениха, с кем-то сбежала. С этого вот все и началось. Так ли это было или не так, но несчастную царевну честили самыми последними словами.

– Подумать только, сколько горя принесла нам эта сука! Из-за нее и хлеб подорожал, и сколько хороших людей побито. Будь же она проклята, окаянная!

Существовало и еще несколько версий. По одной из них во всем опять-таки была виновата царевна и наследник престола: русский царевич из-за нее так

сadanул карманского, что тот упал и испустил дух. Карманский царь послал своего старосту к русскому царю и сказал: «Селям алейкум! Раз твой сын убил моего сына, так плати мне кун». А тот ответил: «Никаких кун! Убил и убил!» – «Тогда будем воевать», – говорит карманский царь. «Ну что же, – отвечает русский царь, – и повоюем!» Вот и воюют.

И еще говорили: русский царь спутался с женой карманского царя, и тот накрыл их на месте, и цари разодрались. Одолеть друг друга не смогли и объявили войну.

Так ли, эдак ли, но жить с каждым днем становилось все трудней и трудней. Когда в самом начале войны из пятисот русских казачьих семейств станицы забрали человек пятьдесят молодежи, то все удивлялись:

– Вон ведь сколько людей оторвали от хозяйства, так как же жить-то будем? Кто работать будет?

Но вот каждую неделю стали забирать по десять человек. Сначала шли молодые, потом постарше, и, наконец, к 1915 году в станице остались лишь женщины да калеки, старики да дети. Огромный поселок, по улицам которого в воскресенье гуляло столько народу, что и не протолкнешься, в котором не смолкали гармонь и песни, а свадьбы справлялись чуть ли не каждое воскресенье, где летом девки водили хоры, а зимой играли в снежки, стоял теперь тихий, опустевший, как огромный дом, из которого только что вынесли покойника. Не проходило дня, чтобы чья-нибудь семья не получила «похоронной». И с каждым днем уныние и страх, а потом и отчаяние все больше и больше охватывали станицу. И никто уж ни во что не верил и ничего не ждал хорошего.

В начале войны джатаки говорили:

– Ну, долго эта война не протянется. Наши казачки так крошат карманцев, что только перышки летят.

Но дни шли за днями, «похоронных» приходило больше и больше, а война все продолжалась, и джатаки уже разводили руками:

– Да когда же ему, окаянному, конец придет? Бьемся, бьемся, уж скоро и людей у него не останется, а он все воюет.

А еще через несколько месяцев стали возвращаться с фронта раненые, искалеченные люди и рассказывали: «Не мы лупим, а нас лупят. У нас царь никудышный, потому так все и происходит». Тут джатаки уже просто развели руками. «Ну, наверное, последние дни пришли, – говорили они. – Раньше мы только и слышали: «Бог на небе да царь на земле – вот два хозяина в мире». А теперь уже и царь стал плох, что-то будет? Не поймешь, что к чему идет».

А потом пошли разговоры и совсем страшные. Говорили: «Наши солдаты умирают, а царь пьянствует, за него, дурака, баба всем царством верховодит. И добро, баба была бы стоящая, а то ни рожи, ни кожи, только денно и нощно с офицерами пьет да гуляет. Так какой же это царь, если им, прости господи, всякая дрянь командует? Поэтому и приходят «похоронные», и до тех пор будут приходить, пока всех нас не перебьют».

Все это говорилось почти открыто. И особенно усердствовал в таких разговорах русский парень по фамилии Чесноков, а по прозвищу «Зубастый». Зубастым звали его за зубы, отменно крупные и белые, как у лошади. Чесноков этот был человек с характером. У нас в станице было несколько отъявленных задир и хулиганов – все сынки станичной знати. Зубастый никому из них не давал спуска. Взять, например, хотя бы Чемасова или Турнова. Среди их родственников – станичных богачей – были чиновники, старшины, казачьи атаманы, поэтому они ничего не боялись: ходили под руки цепью, играли на гармошке, орали похабные частушки, лупили до синяков непокорных парней (могли избить даже хозяина в его собственном доме) и вообще держали в страхе всю станицу. Зубастый не только не боялся хулиганов, но держался с ними так,

что они его побаивались. Да и вообще он был отчаянный, ему ничего не стоило дать по физиономии сыну волостного, обругать чиновника, сказать дерзость атаману. Ребята и подростки в нем души не чаяли, да и было за что. Он никогда не трогал слабых, а если видел какую несправедливость, обязательно вступался за обиженного. Был он при всем этом горьким бедняком: на самом краю станицы, около озера, кривилась его полуразвалившаяся хибарка. По словам Копабая, ее построил еще дед Савки, с тех пор она ни разу не ремонтировалась, не красилась, так и стояла полуразрушенная, сгорбившаяся, наполовину вросшая в землю. Семья Савки сеяла махорку. Махорка эта была такой невероятной крепости, что ее могли выдержать только самые сильные курильщики, но покупали ее охотно: брали русские, брали и казахи – одни курить, другие закладывать за губу. Ухаживали за табаком женщины, мужчины занимались плотничным делом. Все мелкие и крупные столярные изделия и поделки нашего аула: сани, хомуты, дуги – все выходило из их рук. И Савка тоже был плотником. Так они и жили.

Савка, несмотря на свои годы (ему было двадцать с лишним), так и не удосужился жениться и, уходя на фронт, оставил дома старуху-мать, вся надежда которой была на махорку да на молоко единственной коровенки. Перед отправкой на фронт Савка опять сумел показать свой дерзкий характер – пришел к станичному атаману и спросил:

– Вот вы меня вызвали повесткой, а на что я вам нужен?

– Ты что ломаешься? – окрысился на него атаман. – Как это на что нужен? А кто же за тебя воевать будет? И почему ты пеший? Лошадь где? Где сабля? Что, правил не знаешь? Казак должен явиться по первому призыву на боевом коне и при полной амуниции.

– Правила я знаю, да коня-то у меня нет, – очень хладнокровно ответил Савка.

– То есть как это нет? – вконец ошалел атаман. – Какой же из тебя к шути казак? Ты что, шутики со мной пришел шутить!

– Какие шутики! – серьезно ответил Савка. – Нет коня, и все, а купить не на что. Старуху бы продал, да не берут что-то! Так что, ваше благородие, приходится мне идти на войну, как ~~есть~~, пешим ходом. А там, как, вам будет угодно.

Атаман сообщил про коня, старуху и прочие дерзости в Петропавловск, и вскоре Зубастого срочно вызвали к войсковому начальнику. Он уехал и пропал. А куда пропал – болтали разное. Больше склонялись к мысли, что вызвали драть и теперь Савка отлеживается в больнице. Но прошло с месяц, и вдруг с фронта пришло письмо от Савки. Оказалось, что его зачислили в пехоту и отправили в действующую армию. Вскоре стали приходить с фронта его развеселые открыточки. Савка (а вернее, кто-то, писавший под Савкину диктовку) сообщал, что наши дела на фронте идут хорошо, что он, Савка, воюет, как лев, и вся грудь у него в орденах. А через год, летом 1915 года, вернулся и сам герой. Мы, ребята, побежали его смотреть. Вошли в хату и обомлели. В узенькой горнице сидел человек с желтым морщинистым лицом, с дрожащими руками, опутанными сетью толстых черных жил. И когда он, поглядев на нас и тяжело опираясь рукой о стол, начал подниматься с лавки, мы вдруг услышали, как мертво и сухо застучала о доски пола его деревяшка: оказывается, на фронте Савка потерял ногу. И еще не успели мы свыкнуться с мыслью, что наш Савка – безногий старик, как вдруг в станице заговорили о нем другое: Савка на фронте совсем ополоумел. Раньше он добирался только до атамана, а теперь ругает самого царя: «Никуда не годится наш царь, не он правит нами, а его жена, немецкая шлюха, поэтому-то идет разор всему государству: министры воруют, оружия нет, войска гибнут, и никому ни до чего нет дела. Но

погодите, скоро все переменится: царя сбросят с престола, шлюху выгонят, и будет всем свобода».

Все это было до того удивительно, что люди, с которыми Савка говорил, даже не знали, как же следует отнестись к его словам. И вот однажды пришла весть: «Савку схватили и увезли в Сибирь, туда, где ездят на собаках. Вот что значит по нашим временам болтать лишнее!» Но Савку увезли, а разговоры не прекратились. Вернувшиеся с фронта калеки – безрукие, безногие, слепые – были озлоблены и ничего и никого не боялись.

– А что им бояться? Разве всех пересажаеть? – толковали джатаки. – Вон ведь сколько их возвращается с фронта! И говорят, что все там такие. Что ж дальше-то будет?

Жить становилось все труднее и труднее. В станице стали появляться казахи, бросившие аул и пришедшие на заработки.

«Что им надо? – недоумевал я. – Зачем они идут к русским?»

И опять об этом толковали по-разному.

– Деньги пришли зарабатывать, – говорили одни. – Узнали, что из русских поселков всех мужчин на войну угнали, вот и приехали сюда.

– Нет, не в этом дело, – возражали им, – а в том, что скоро казахов, как и русских, будут забирать в армию, и останутся дома только те, кто работает в хозяйствах, где кормилец ушел на фронт.

Как бы там ни было, но это нашествие ударило по карману всех батраков. Это и была вторая причина (о первой я говорил в предыдущей главе), по которой я решил покинуть станицу и вернуться к сестре. Вернулся и увидел: сестра моя расцвела как маков цвет. Она родила сына, пополнела и похорошела, а самое главное – превратилась в полновластную хозяйку дома. В борьбе между свекром и молодицей победу одержала последняя. Ултуган взяла старика в такой жестокий оборот, что он даже и пикнуть-то не смел. Иногда,

правда, по старой привычке он пробовал поворчать, но стоило сестре сказать: «Ну хватит! Хватит! Ишь разговорился!» – как он сразу же осекался и замолкал. Старик души не чаял в своем маленьком внуке и поэтому поневоле мирился с его матерью. Когда я приехал, зятя в доме не было, ушел на заработки.

– Вот видишь, – горько сказал мне старик, – столько лет не занимался он шорным делом, а пришлось снова взяться за него.

– Почему пришлось? – спросил я.

– Дорого все стало, вот и пришлось, – огрызнулся он. – Мука раньше стоила рупь пуд, а сейчас и за шесть рублей не возьмешь, давай семь, а то и восемь. Раньше мы продадим одну скотину и купим муки на весь год, а теперь нужно везти на базар три головы, да и то не уложишься.

– Почему мука так подорожала? – спросил я.

– А потому она подорожала, что сеять некому, – сердито блеснул глазами старик... – Вот недавно ездил я в Макаровку, так целый день ходил по домам и еле еле наскреб с полпуда. Когда же так было? Вот ты и суди, как теперь жить. Взять хотя бы сына. Ведь никогда он не покидал дома, – есть ли мука, нет ли ее, а он все сидит в своей кибитке. А теперь ничего не попишешь – семья! Хочешь не хочешь, а иди к чужим людям! И ведь как мне не хотелось его отпускать. Вот и думаю теперь: что с ним, бедным, делается? Может быть, валяется по больницам, а то уж и в живых его нет!

– Ну! Ну! Накликайте беду! Накликайте беду! – вступила в разговор Ултуган. – У вас всегда так: как неделю нет известий, так уж и больной, так уж и в живых нет. Что, один он, что ли, такой? Кто сидит теперь в своей кибитке? Все уходят на заработки.

Старик ничего не ответил, только злобно покопился на невестку.

Мне мучительно было слушать эти разговоры. Я понимал: старик говорит о сыне специально для меня.

Ведь сейчас всякий лишний рот в тягость. У них, как и у всех бедняков, не хватало ни денег, ни скота на покупку муки. И вот в аулах стали поговаривать, что нужно сеять хлеб, иначе никак не проживешь. Вот у русских плохо ли, хорошо ли, а краюшка в доме всегда найдется.

– Так в чем же дело? Давайте начнем пахать да сеять!– говорили самые решительные.

Но старики только качали головами.

– Легко сказать «сеять», а ты умеешь? Ты что же думаешь, вспахал землю, бросил в борозду горсть зерна, вот и все? Нет, брат, если ты этим делом не занимался сызмальства, так и не начинай!

А война все продолжалась. Волостные управители обнаглели до того, что делали уже буквально все, что им придет в голову. Случаев прямого разбоя было столько, что их даже не обсуждали.

Здесь я хочу как раз поведать об одном из них, запомнившемся мне на всю жизнь.

СОПЕРНИКИ

Брачное право у казахов разработано очень детально. Оно состоит из ряда точно установленных обычаев и правил. Все, начиная со сватовства и кончая разводом, вдовством, вторым замужеством вдовы, имеет свой твердый регламент и свои правовые нормы. Женщина, выходя замуж, поступает не только в собственность мужа, но и отца мужа и всего рода мужа, короче говоря, на ее личность распространяются все имущественные права и родовые обязательства ее нового семейства. Но вот муж умирает, вдова отнюдь не становится свободной: если она стара и бездетна, то должна взять приемыша, но обязательно из рода мужа, и завещать ему все свое имущество. Если же она молода или относительно молода, то она может выйти замуж опять-таки только за родственника мужа, лучше всего – за его брата, и передать ему имущество

умершего. Но горе вдове, если она захочет проявить свою волю и уклониться от этих непреложных законов аула! Она будет раздета, разута и выгнана с позором. Именно так и произошло в том случае, о котором я хочу рассказать.

В селении Жайлыган умер некий Жиенкул и оставил после себя вдову Дильдаш. В его хозяйстве насчитывалось около тридцати лошадей, добрая сотня овец и два десятка коров. Наследников не было, и имущество оказалось, как говорят, выморочным. Вот из-за него и разгорелся спор. Дильдаш было уже далеко за пятьдесят, и будь она женой бедняка, никто бы ее и не тронул. Не то с вдовой зажиточного человека. Старейшины рода наметили подходящего претендента из соседнего аула. Дело в том, что род, к которому принадлежал покойный, состоял всего из четырех семей, и среди них не оказалось ни одного холостого мужчины подходящего возраста. Пришлось искать жениха в другом, тоже родственном семействе. Выбрали некоего Смагула – гуляку и разорившегося богача. Он был вдов, еще не стар (ему было никак не больше тридцати пяти лет), силен, здоров и, конечно, легко мог бы жить не хуже других, но он считал настоящим унижением работать. Он любил только играть на домбре да пить чай, так и дошел до самой черной нищеты; у него было пятеро детишек, одетых в лохмотья, грязных, худеньких, больных. Конечно, для него женитьба на богатой старухе являлась подлинным спасением! Но вот беда.

Вдова не хотела выходить замуж за этого оборванца и бездельника! А так как закон ей предоставлял право выбора: либо выйти замуж, либо взять приемыша, то она и облюбовала себе некоего сапожника Габдоллу – весельчака балагура, хорошего домбриста, разбитного парня лет двадцати пяти. Из-за этого-то и шел спор между вдовой и родственниками, и обе стороны никак не могли прийти к соглашению. Заставить же вдову

выйти замуж силой тоже никто пока не решался, формально она вольна была поступить и так и эдак. Потом я вернусь опять к этой истории, а сейчас мне придется несколько отвлечься в сторону.

Я хочу рассказать о том, как эта тяжба дала мне возможность заработать новые подметки – мой первый в жизни гонорар за стихи. Дело в том, что у этого Габдоллы был друг Мухтан, такой же балагур, домбрист, как и он сам. И вот однажды этот Мухтан подкараулил меня на улице и зазвал к себе.

– У нас, к тебе, парень, дело есть, – сказал он таинственно, – заходи-ка к нам.

Очень удивленный, я вошел в кибитку и увидел: за столом сидит Габдолла и держит в руках чистый лист бумаги.

– Так вот что, – сказал Мухтан таинственно и значительно, – говорят, ты стихи сочиняешь. Правда это или нет?

Я пожал плечами.

– Ну, не дури, не дури! – вступил в разговор Габдолла. – Ты прямо скажи, ты умеешь писать или нет?

Я снова промолчал. Тогда Габдолла взглянул на Мухтана.

– А может, показать ему? А ну, поклянись, что будешь молчать, тогда я тебе покажу что-то.

Я поклялся. И тогда Габдолла вынул из ящика лист, исписанный красивой арабской вязью, и протянул мне. Я стал читать. Текст состоял из трех строф, которые меня очень рассмешили:

Поселок русский Крещевой зовется.
Но что с Габдоллой там случилось раз:
Нашел себе старушку и смеется,
Любуется, не отрывая глаз!

Другой Макаровкой все называют,
Дом Жиенкула на ветру стоит.
Войти Габдоллу в дело приглашают,
Ну, есть ли совесть у тебя, жигит?

Дома в поселках строят без печали,
Есть правда в утверждении моем.
Людей всем Жайлыганом выбирали,
Чтобы войти в такой торговый дом.

Внизу стояло: «Сии стихи сочинил я, преданный вам преподобный Смагул, готовый из-за вас на все жертвы».

Прочитав, я положил лист бумаги на стол и спросил, что же им от меня нужно.

– Вот я тебя и спрашиваю, – ответил Мухтан, – умеешь ты сочинять стихи или нет? Нужно сочинить хороший ответ. Сможешь?

Я замялся. Сочинить-то, конечно, можно, да как бы за это потом по шее не попало.

– Господи! Да он еще раздумывает, – махнул рукой Габдолла. – Целые сутки может петь стихи наизусть, а просят написать два куплета, так он уже задумался.

– Да ведь это не одно и то же, – улыбнулся я. – Петь стихи одно, сочинять их – другое.

– Вот что! – сказал вдруг Мухтан решительно, обращаясь к Габдолле. – Видишь, он обижается. Он тебе принес чинить сапоги, а ты его прогнал. Пришел от тебя ко мне, а я тоже был занят, вот он и в обиде.

– Подумаешь, обида! – с королевским великодушием улыбнулся Габдолла. – Если я его обидел, то я его вознагражу. Пусть только сочинит похлестче, а я ему не то что старые сапоги почию, а и новые сошью! Пусть носит на здоровье!

Я действительно сочинял стихи. Первое мое стихотворение было посвящено моей сестре Ултуган. После нашего расставания, изнемогая от тоски, я сочинил об этом несложную песенку, и девушки пели ее по улицам аула. Конечно, теперь ни одной строчки из этого стихотворения я не помню.

Второе мое стихотворение я сочинил много позже, в ту пору, когда встретился с Испандияром Кубеевым, первым казахом-учителем, которого мне довелось увидеть. В предыдущих главах я уже довольно подробно

рассказывал об этой встрече, и о том, как Кубеев, растроганный моей историей, подарил мне книгу собственного сочинения, и о том, как глубоко запало мне в душу и память одно из стихотворений этого сборника – «Сирота». Именно тогда, подражая ему, я и сам сочинил:

Если добр хозяин, то пес всякий
В будке лучше сироты живет.
Хуже жизнь моя, чем у собаки,
Всяк, кому не лень, беднягу бьет.

Что хорошего в этих стихах? А ведь, помню, добрые люди плакали, когда я их пел. Несколько песен я сочинил и потом, когда жил в Кутурлагане и горевал по родному аулу. Сочинял я стихи в уме, потому что писать еще не умел, вернее, писать-то я писал, но так, что и сам частенько не мог прочесть написанное.

– Ну что?– снова спросил Мухтан.– Напишешь? Сапоги не сапоги, а подметки тебе такие подкину, что будешь, как в новых сапогах, ходить.

На подметках и поладили.

– Только я буду говорить, а вы пишете. У меня почерк...

– Да ты не бойся, перепишу, как узор на ранте,– горячо заверил Габдолла и вынул из кармана заранее приготовленный карандаш.– Ну, да поможет тебе аллах!

Я попросил домбру – так мне было легче думать и сочинять – и начал негромко перебирать струны.

– Ну, значит, дело пойдет!– обрадовался Мухтан.– Раз взял домбру в руки и заиграл, значит, и песнь уже готова.

Я подумал, походил по кибитке, побренчал на струнах и вдруг запел:

Смагул, твой глаз косой мешает,
А другой куда-то приглашает,
Гордости в тебе ни на копейку,
Кто в мужья такого пожелает?

– Вот это здорово!– закричал Мухтан, а Габдолла радостно сказал: «Повтори-ка, я запишу».

Посмеялись, порадовались удачному началу. Габдолла записал стихи и несколько раз прочел их, а потом сказал:

– И вот еще что, этот негодяй в казахские стихи вставил несколько русских слов. Надо сделать и тебе так же...

Это было хуже: по-русски я не знал ни слова.

– Не можешь?– спросил Мухтан; заметив мое затруднение.– Да, за этим негодяем не угонишься! Он по-русски знает лучше всех нас. Ну, думай, думай!

Думай не думай, а чего не знаешь, того не выдумаешь. Но вдруг новая мысль мелькнула в моей голове, и я предложил:

– А что, если его словами ему и ответить?

Оба мои заказчика с сомнением покосились на меня: как это, мол?

– Да это и вообще делается,– успокоил я,– вот, например, в поэме «Алпамыс-батыр» Алпамыс, обращаясь к Бадамше, говорит:

Я на скачках, ты на скачках, жар-жар-ау!
Я пришел, а ты собакой лаешь, жар-жар-ау.
Ултангула хвалишь всем, рабыня.
Разве был тебе он верен, жар-жар-ау?

А она отвечает!

Ты на скачках, я на скачках, жар-жар-ау!
Ты пришел, а я собакой лаю, жар-жар-ау.
Как же не хвалить мне Ултангула?
Золото носила на подвесках, жар-жар-ау.

Разве плохо?

– Это правда. Такая песнь есть,– в один голос подтвердили мои заказчики.

– Ну вот и мы так же ответим,– сказал я и запел:

Поселок русский Крещевой зовется.
Что со Смагулом там случилось раз?

Нашел себе Дильдаш он и смеется,
С ее богатства не спуская глаз.

– О, убил, убил!– засмеялся Габдолла, быстро записывая за мной куплет.– А ну еще!

Я продолжал:

Другой Макаровкой все называют,
Дом у Смагула на ветру стоит.
Но в дело бедного не приглашают,
И посему обиделся жигит.

– И это не в бровь, а в глаз,– рассмеялся Габдолла.– Ну, теперь кончай и сапоги с новыми подметками считай своими.

Кончил я так:

Дома в поселках строят без печали,
В словах Смагула правды нет ни в чем.
Но, кажется мне, что Дильдаш едва ли
Захочет взять тебя обузой в дом.

– Ну, теперь посмотрим, кто кого победит,– торжествующе воскликнул Габдолла, записывая последние строки.– Посмотрим!

Вся эта тяжба кончилась совершенно неожиданно. Пока суд да дело, обе стороны потихоньку воровали у своей невесты скот. Пропадали лошади, пропадали коровы и овцы. Кто был в этом виновен, знали все, и сама вдова, конечно, раньше всех, но пойдика докажи! На грех кто-то ее надоумил обратиться к волостному управителю. Дильдаш подала официальную жалобу, и дело завертелось. В тот год волостным управителем был сын известного Альти, Садвокас. Он шутить не любил, передал жалобу вдовы аульному старшине и биям¹. Это была уже не шутка, и кражи сразу прекратились. Воры зачесали затылки. Конечно, богатеям, имеющим сильную руку, и на это расследование было нплевать: приезжали судить бии, останавливались эти баи в доме, какой побогаче, там их хорошо угощали, и

¹Бий – третейский судья.

ясно, что никакой судья не нарушит закона гостеприимства и не выдаст хозяина. Но кто заступится перед судьей за бедняков, если бедняк преступил закон? Жили в ауле двое стариков – Мырзатай и Кожантай. Жили они всегда плохо и бедно, но закона никогда не преступали. А сейчас их бес попутал: они украли у Дильдаш кобылу, зарезали ее, часть мяса съели, часть спрятали в снег. Когда пошли слухи о краже, старики испугались расправы, ждали, что вот-вот наедут судьи и призовут их к ответу. И вдруг случилось что-то совершенно необычайное.

Однажды, возвращаясь с коровами с водопоя (я жил в ту пору опять у Болатбая), я увидел с десятков саней, мчавшихся во весь дух к аулу.

Я поскорее загнал коров, отыскал Болатбая и рассказал ему об этом.

– Ну, это суд приехал, теперь дела пойдут, – сразу решил он, – идем посмотрим.

Когда мы вышли из кибитки, сани, миновав околицу, уже въезжали в аул. Мелькнули холеные кони с блестящей шерстью, лисьи малахаи, шубы на волчьем меху, седые почтенные бороды. Одни сани остановились около ворот дома стариков, и седок – жирный, раскормленный, в великолепной волчьей, все время распахивающейся шубе – зычко гаркнул:

– Эй, Мырзатай! Кожантай! Вылезайте, счастье к вам привалило.

– Ну, все! – облегченно вздохнул Болатбай. – Это сам Мустафа, сын Ресея, – значит, аллах не хочет гибели несчастных. Мустафа их не выдаст.

Провинившиеся старики с радостным воплем выбежали из своих кибиток и чуть не рухнули на колени прямо в снег перед Мустафой. Только слышалось: «Пожалуйста, Пожалуйста! Вот не думали, не гадали. И за что нам такая честь!» Посмотрели бы вы, как почтительно, чуть не на руках, сняли они эту свинью с саней и как, поддерживая под локти, повели благо-

детеля в кибитку. Мустафа был толст и грузен неимоверно, он едва поместился в крошечной каморке Кожантая. Счастливый хозяин посадил дорогого гостя на подушки и кошмы, накрыл его шальями и еще чем-то таким же мягким и пушистым.

А высокий гость сидел и вещал:

– Ну, старики, благодарите аллаха! Послал он вам заступника! Такого упрямяца, который один хочет перетянуть сорок человек, на свете еще не было. Еще бы! Все мои товарищи держат руку этой вдовы, а я нет. Ишь ты, отдай ей скот, отдай ей добро покойного, а она молодого парня себе на воспитание возьмет. А я говорю: ни одного барана она не увидит. Как пришла, так пусть и уходит! Здесь все не ее, а родственников покойного, и в особенности ваше, старики. За это я буду биться! Голову положу, а не уступлю, поняли?

Старики от радости и благодарности даже слова не могли вымолвить – только кланялись и плакали.

– Но только вот что, – строго нахмурился их благодетель, – говорить мне правду! Я должен знать все! Только тогда я смогу вам помочь.

И старики действительно рассказали все, и не только одному судье праведному, но и всем соседям, которые посетили их на радостях, чтобы поздравить и посмотреть на высокого гостя. Для угощения всей этой оравы, а главное, самого благодетеля, сын Мырзатай выкопал из снега половину туши украденной кобылицы и принес к ногам Мустафы. Тот распорядился варить конину. Пир продолжался пять-шесть дней. Пока Мустафа жил у стариков и ел ворованную кобылятину, остальные бии гостили по всему аулу. На шестой день Мустафа приказывает старикам с утра запрячь лошадей и везти его в ту кибитку, где собрались все бии. Старики отвезли Мустафу, опять поклонились ему на прощанье, поблагодарили, всплакнули от умиления и поехали обратно... И только они успели доехать до дома, как является гонец от Мустафы и приказывает им возвратиться и предстать перед судом.

Бедняки собрались, приехали и видят: сидит на пуховиках Мустафа – грозный, недоступный никакому низкому чувству, неподкупный судья и праведник, а кругом него безмолвно расселись остальные бии.

– Вы зарезали чужую кобылу?– с места в карьер спрашивает Мустафа у стариков.

– И слыхом не слышали, и видом не видели,– отвечают старики, именно так, как их научил Мустафа.

– Как, несчастные?– в благородном негодовании гремит судья и поднимается с места.– Врать мне? Мне, вашему благодетелю? Да я вас на месте убью!– валит их на пол и начинает избивать сапогами.

Остальные судьи спокойно смотрят. Мустафа – здоровая и сильная скотина; он бьет стариков безжалостно. В старом ауле бить умели! Так как все присутствующие молчат и только поглаживают бороды, старикам, избитым в кровь, ничего не остается, как только сознаться. И, стоя над поверженными, судья произносит такую речь:

– И эта голь, эти голодные псы могли думать, что я буду держать их руку. Да за одну эту дерзость их надо убить на месте! Они посмели, как благородные, сделать ашат!¹ Подумаешь, какие богатыри! Ну, теперь я им покажу!

И действительно показал. Наложил на бедняков штраф: за каждую кобылью ногу – по лошади и еще одну лошадь за голову и тушу, а всего пять голов. Старики смогли отдать только три лошади, а две остальных обещали привести не позже лета, и все понимали: после выплаты этого штрафа им придется пойти по миру. Тогда же был решен вопрос и о других ворах – их всех вместе оштрафовали на сорок голов скота. Полученный скот аульный старшина и бии разделили между собой. Не забыли, конечно, и вдову. О ней было вынесено такое решение: «Все имущество и скот, принадлежавшие покойному мужу Дильдаш, изъять в

¹Ашат – захват, насильственное присвоение.

пользу его ближайших родственников, а самой вдове предоставить право вторично выйти замуж». Таким образом, и она осталась чуть ли не нищей. И опять кто-то надоумил Дильдаш обратиться с жалобой к русским властям. Тайно ночью она поехала искать правды. Но бии тоже не зевали: на полдороге ее нагнал их посланный и сказал: «Аксакалы приказали передать: если хочешь жить, возвращайся обратно, а нет – придушим и бросим в колодец. Пусть тогда русские власти разбирают, кто тебя убил и за что».

Дильдаш вернулась. На этом дело и кончилось.

КАЛЫМ

Выше я обещал рассказать о брачном праве казахов. Повторяю, оно очень сложно и подробно разработано, поэтому здесь я передам почти дословно только то, что я слышал от одного счастливого жениха, которого вез в аул к невесте. Жених был уже известный читателю Мырзагазы, сын Нуртазы, в момент рассказа – здоровый парень с черными усиками над верхней губой. Ехал он выразить соболезнование будущему тестю, у которого умерла жена, мать невесты.

– А ты свою невесту видел?– спросил я его, когда мы выехали за околицу.

– Нет, не видел,– ответил он беззаботно.– Вот сейчас, может быть, увижу.

– А если она тебе не понравится?

– Ну и что ж,– усмехнулся он,– другую возьму, вот и все. Мой отец ведь долго не протянет, он кашляет как чахоточная овца, значит, скоро хозяином буду я. А к тому времени первая жена нарожает мне ребят и сама захочет покоя. Вот тогда и скажу ей: «Уважаемая байбише, будь полной хозяйкой в моем доме, сиди на самом почетном месте и распоряжайся молодухой, которую я приведу в дом». Ты думаешь, она не согласится? Еще как рада-то будет.

– А ты ведь хотел обязательно взять жену по собственному выбору,– напомнил я,– раздумал, что ли?

Он раздраженно пожал плечами.

– Не раздумал, да что поделаешь со стариком? Поехал в прошлом году он на ярмарку да на обратном пути и заехал к старому шайтану Тайжану и столкнулся с ним о женитьбе, вот и все.

Он сказал это таким тоном, что я не решился расспрашивать дальше, и разговор на некоторое время прекратился. Минут десять мы ехали молча, а потом он вдруг спросил:

– Что такое урын-келу, ты знаешь?

Я пожал плечами. Общее значение этого слова было мне ясно, я даже помнил две строчки из поэмы «Сулушаш»:

На урын приехал к Сулушаш,
Надев худую шапку набекрень...

Урын-келу – это тайное, не допускаемое адатом, но постоянно практикуемое «негласное» свидание жениха с невестой. Однако негласность его чисто формальная. На самом-то деле об этом свидании знают все родственники жениха и невесты. Во всяком случае, оговорено оно твердыми условиями и сопровождается дарами строго определенных размеров. Всех этих тонкостей я не знал и поэтому спросил:

– А ты знаешь?

– Я-то знаю,– довольно ответил Мырзагазы,– но постой, об этом потом, а сейчас скажи, знаешь ли ты, сколько за девушку платят калыма?

Я вспомнил, когда в ауле какая-нибудь женщина родит сына, про нее говорят: «Она родила правящего конем», а когда родит дочь, говорят: «Она родила сорок семь», вот я и сказал об этом Мырзагазы.

– Ну, правильно!– одобрил он меня.– Сорок семь голов скота. Ну, а какого скота? Это ведь не так просто. Калым состоит из групп. Мой отец мне в подробностях разъяснил. Вот слушай: семь голов крупного скота – это верблюдицы, кобылицы и коровы, все обязательно

жеребье; затем – семь годовалых жеребят, семь двух-летних, семь трехлетних, сколько всего получается?

Я сосчитал и ответил: «Тридцать пять».

– Правильно, считать умеешь! А ведь всего должно быть сорок семь голов, где же они?

Я молчал.

– Ну, а тех семь жеребых кобылиц мы забыли? Вот тебе и еще семь жеребят «букпе», что значит скрытых, таким образом, уже сорок две. Теперь остальные пять. Отец жениха при сговоре дарит одну лошадь, ее называют «шеге-ат» – «лошадь-гвоздь», потому что она, как гвоздь, как бы сбивает сватовство; затем лошадь дарится при первом посещении отцом невесты дома жениха, – это – «минтат» – «верховая-дареная»; затем – «особая жирная», отец жениха ее дарит отцу невесты для угощения гостей; в-четвертых, «тус-ат» – «лошадь-сувенир», ее дарит жених своему тестю в день первой встречи с невестой, и, в-пятых, – баран. Это особый баран, его отец невесты увозит из дома жениха и режет для угощения гостей – детей и женщин своего аула, причем невеста не должна даже видеть этого барана. Во время пиршества ее запирают в отдельную кибитку. Она сидит под замком до тех пор, пока от барана одни косточки останутся. Даже шкура этого барана дарится кому-нибудь из гостей – вот и получается сорок семь голов калыма.

– Много! – сказал я.

– Ну что же, – засмеялся Мырзагазы. Дело известное: уплатишь – женишься, не уплатишь – так и будешь ходить холостым. Ну, а если договариваются баи, то считают скот уже не семерками, а девятками – бывает, и по сто лошадей за невесту платят.

– А твой отец сколько заплатит за твою невесту?

– Пятьдесят шесть! Что, много? Ничего не много: у нас скота, скота!.. – и он махнул рукой. – Вот ты вырастешь, я и тебя женю, – сказал он неожиданно. – Уплачу за тебя калым и...

Я вспомнил скупость его отца и, чтобы не засмеяться, невольно закусил губу, но он и сам заметил, что здорово перехватил, и сразу же перевел разговор на другое.

– Вот теперь я тебе и объясню, что такое урын. Это вот что: жених захотел увидеть невесту до свадьбы, он и посылает человека к тестю с просьбой разрешить посетить их дом.

– Зачем спрашивать?– спросил я.

– Экий ты глупый парень!– солидно покачал головой Мырзагазы.– Или того не знаешь, что жених без разрешения тестя не смеет показаться даже вблизи его аула?

– А тайно?

– Об этом я тебе и толкую. Если жигит умен и ловок, он подкупит домашних и все равно увидится с невестой. Понял? Но чаще делается иначе: приходит жених к отцу, и они честно договариваются. Жених говорит: «Я хочу увидеть невесту». Тогда отец говорит: «Плати мне девятку». Ну там малую девятку, или среднюю, или большую девятку, смотря по достаткам жениха.

– А что такое эта девятка?

– Скот, все скот, голубчик. Малая девятка – это девять голов крупного и мелкого скота во главе со стельной коровой; средняя девятка – то же самое, но во главе с жеребой кобылой; большая девятка – девять голов с жеребой верблюдицей и к этому всему еще подарки. Например, к большой девятке полагается в придачу: ковер, бобровая шкура, шелковый халат, шуба. К другим девяткам тоже полагаются подарки, но подешевле. Вот таким образом женихи получают свидание с невестами.

– А отец не имеет права отказать жениху в урыне?– спросил я, заинтересованный всем тем, что услышал.

– Если он взял калым, ни в коем случае не может. А бывают свидания двух родов: тайные и, так сказать, всенародные. При всенародных жених приезжает открыто со своими друзьями, устраивается пир, играется нечто вроде свадьбы, все за счет тестя, конечно. Но чаще жених платит девятку – большую или малую – и видится с невестой тайно.

– А ты как увидишься, тайно или явно?– спросил я.

– А я никак!– сердито ответил Мырзагазы.– Что ты, отца не знаешь, он за одну корову удавится. Просил я в прошлую осень – заплати девятку, только затопал ногами, вот и все. Нет уж, при таком отце, кого аллах пошлет, тем и будешь доволен.

– А может быть, ты и так с ней встретишься в эту поездку?

– Все может быть,– улыбнулся Мырзагазы.

НАСИЛЬНИКИ

Аул, в который я привез Мырзагазы, назывался Балыкбай. Он мне очень памятен потому, что в нем я провел около года. После поминок (а они длились три дня) Мырзагазы удалось повидать свою невесту, и он вернулся успокоенный и довольный. Видимо, невеста ему понравилась. В этот же вечер тесть предложил Мырзагазы через специального посыльного (по обычаю, видеться до свадьбы они не могли) оставить меня у них в ауле «ломать языки» ребятишкам, то есть быть учителем.

– Ну как думаешь?– спросил Мырзагазы, передавая мне это предложение.– Я бы на твоём месте остался. Ведь, смотри, твой зять еле-еле сам концы с концами, сводит: ему нужно содержать жену, ребенка, отца, тут ты ему еще на шею сел. А ты вон какая дылда, легко ли тебя прокормить! Конечно, как хочешь, но я бы остался. Вот летом приеду за невестой и тебя вместе с ней захвачу. Я бы и сейчас, взял, да отца боюсь. «Зачем,– скажет,– меня не спросил». Ну, а летом другое дело. Мой совет – оставайся!

И я остался. Учеников у меня собралось человек десять, и учил я их по методу молды Газизуллина.

В этом же ауле жил старик Акпай. Его сын Шайкыстан, отделившийся от отца, умер прошлым летом, оставив жену Камель и двоих детей. От умершего мужа

вдова наследовала богатое имущество: скот и одежду, хорошую кибитку и ковры, да и сама она была молода, дородна, красива, и желающих жениться на ней не смущали даже ее дети – сын и дочь. Особенно рьяно добивались брат умершего и некий Ташкен (тоже вдовец) – племянник бая Байжана и тоже родственник умершего, но только очень дальний. Начался спор. Вдове по душе был больше Ташкен, а ей навязывали ее деверя, и она ничего не могла поделать, ибо по закону должна была выйти в семью покойного и, прежде всего, за кого-нибудь из его братьев. Итак, несчастная женщина стала яблоком раздора между двумя партиями. На стороне братьев был обычай и право старого аула, на стороне Ташкена – любовь вдовы и сила его родственника – Байжана. Но братья умершего тоже не дремали: они и позвали на помощь себе другого бая – Рамазана Етишева, люто ненавидевшего Байжана. А надо сказать, что не было более важных и животрепещущих событий в жизни старого аула, чем такие споры. Старики и молодые – все принимали в них горячее участие, все имели свое мнение и касательство, все стояли за того или другого. Аул делился на две враждебные партии. Итак, собрались все старейшины рода и призвали к ответу Камель.

– За какого деверя желаешь ты выйти?

– Ни за какого, – ответила она, – я выйду только за Ташкена.

– Нельзя! – запретили бай. – Выбирай любого из братьев мужа, таков закон.

– Тогда я предпочитаю остаться вечно вдовой и оплакивать до смерти своего мужа.

– Ну что ж, – ответили бай, – оставайся вдовой, отдай нам имущество, сына и возвращайся к родственникам в свой аул, плачь там, сколько тебе угодно.

В спор вмешался было один из биев, представитель братьев вдовы, некий Сембай, и стал заступаться за несчастную, но его сразу же одернули.

– Незачем тебе было сюда и ехать,– сказал ему Рамазан,– но раз уже приехал, бери у меня за хлопоты любую лошадь и возвращайся домой. Разве ты не понимаешь своей выгоды? Если бы Камель вышла замуж за Ташкена, то ее братья не получили бы даже барана, а теперь мы возвращаем им сестру, они продадут ее и получат снова сполна калым. Что им еще желать?

Это были серьезные доводы и Сембай замолчал. Решение было принято единогласно. Камель, услышав о том, что она должна уйти из дому и навсегда оставить сына, сидела в кибитке, прижимала к груди ребенка и плакала. Вошли родственники мужа и сказали:

– Положи ребенка и идем за нами!

Несчастная закричала, забилась и прижала ребенка к груди еще крепче.

– А ну!– крикнул на нее Шайке – один из родственников умершего, человек грубый, решительный и уже немолодой.

Он схватил ее за руку, выволок из юрты и бросил наземь вместе с ребенком. Камель не сопротивлялась, а только все сильнее прижимала сына. Но вот его, отчаянно плачущего, судорожно цепляющегося за мать, вырвали из ее рук; Шайке забрал мальчика, унес в кибитку и запер. А в это время к вдове подошли еще четверо родственников, схватили за руки и за ноги и, как она ни кричала, как ни билась, дотащили до телеги и крепко связали. Тогда она затихла и только смотрела на запертую дверь кибитки, на ее стены. Так она молчала, пока не запрягли лошадь. Когда же телега тронулась, Камель, избитая, ослабевшая, приподняла голову и хриплым от слез голосом крикнула страшное кровавое заклятье:

– Шайке! Будь ты проклят навек! Пусть с тобой случится то же самое.

И люди, слышавшие этот крик, разошлись, удрученно качая головами.

– Такие проклятья не проходят даром!– говорили они.

И скоро проклятья несчастной женщины разразились над головой Шайке. С ним случилось почти то же самое, что он сделал с женой своего умершего родственника. У Шайке овдовела дочь – молодая красивая Берен. Так как ей не было еще двадцати лет, она возвратилась в дом отца, и тот ее сразу же вторично просватал. Я видел жениха. Это был мужчина лет тридцати, ничем не замечательный, с огромными рыжими (с медными, как говорят казахи) усами. Он был из соседнего рода Шайгозуак и, видимо, нравился Берен. В общем, уплатив половину калыма, он приехал за невестой в аул. Решили сыграть свадьбу. Кипели котлы, резали скот, варили мясо. Уже сели за стол, как вдруг в самый разгар пира зеваки, стоявшие у околицы, заметили повозку, запряженную парой лошадей. Кто-то во весь опор скакал по направлению к аулу. Ближе, ближе, и вдруг один из смотревших взволнованно воскликнул:

– Нургожа!

И действительно, было из-за чего волноваться: Нургожа – самый сильный и состоятельный человек во всей окрестности. Повозка Нургожи доехала до кибитки Байжана и остановилась. Вместе со всеми и я побежал смотреть на прибывшего. Он стоял возле телеги, молча и угрюмо дожидаясь нас. Был он дороден, с уродливо толстым носом и большими глазами на одутловатом смуглом лице. Рядом с ним стоял человек, лицо которого было столь обыкновенное и незначительное, что я даже и не запомнил. Они молча, кивком головы, поздоровались с толпой и вошли в кибитку. Там произошел такой разговор?

– Что за сборище?– спросил Нургожа.

Байжан объяснил. Нургожа побледнел от гнева и впечился в плечо хозяина.

– Как,– загремел он,– выходит замуж? Да как же вы смели? Вот ее жених,– резко ткнул он в своего спутника.– Вам говорили об этом, а вы, псы, не послушались. Ну, подождите же!

– Это не я, не я, это Рамазан, – замахал руками хозяин кибитки, перепуганный до смерти.

Рамазан (он находился тут же) хотел что-то сказать, но Нургожа не дал.

– Молчать! – загремел он, размахивая кулаком перед его носом. – Я вижу, вы забыли, кто вы такие! Покойный Тайжан вас держал еще кое-как в узде, а его не стало, так вы посмели ослушаться моего приказа. Я же ясно сказал...

Один из старейшин аула Ыбрай, сгорбившись и трясясь, как провинившийся щенок, подошел к грозному владыке и хотел, видимо, что-то объяснить.

– Апырай, Нуреке-ай... – забормотал он.

– Молчать! – снова загремел Нургожа, и глаза у него выкатились из орбит. – Кто такой твой Шайке, что смеет так задирать нос? Раз я сказал: привести дочь ко мне в аул, значит, надо вести. Она вдова, а не девушка, шайтан вас заberi! А над вдовой хозяин я.

Он остановился и дико посмотрел на присутствующих.

– Кто жених? – грозно спросил он.

Ему ответили, что из аула Баржаксы.

– Имя, имя? – заорал Нургожа, задыхаясь.

Сказали и имя.

– Как? – загремел Нургожа. – Это же первый конокрад! Долго же я ждал, когда он попадет ко мне в руки, а все-таки дождался. А ну пошли!

Он с трудом поднялся с места и направился к выходу. Только он вышел на улицу, как народ заволновался:

– Что он сказал? Какой конокрад? Зачем так говорить?

– Ах, зачем так говорить? – завизжал Байжан, бледный как полотно. – А вам какое дело, что он говорит? Тягаться с ним задумали? А ну-ка попробуйте!

Нургожа в сопровождении угодливо извивавшегося Байжана дошел до юрты, где готовилось свадебное пиршество. При их приближении из кибиток выскочили и бросились а разные стороны находившиеся там гости.

– Жених тоже убежал? – спросил Нургожа Байжана.

Тот ответил:

– Жених в кибитке.

– Войдем!– приказал Нургожа и толкнул дверь.

Пробыли они в кибитке минуты три, и, когда вышли, Байжан тñнул за шиворот насмерть перепуганного жениха.

– Нуреке, что я сделал?– бормотал несчастный, смотря на повелителя молящими глазами.

– Что сделал?– спросил Нургожа голосом, дрожащим от ярости.– Сейчас, сей~~час~~ узнаешь. Эй, ты!– крикнул он Байжану.– Положи вора как следует.

Байжан сделал знак, и трое его сыновей навалились на несчастного и прижали к земле.

– Плетку!– загремел Нургожа.

Подали толстенную плетку.

– Бей!– заорал снова Нургожа.– Бей, пока не сдохнет, а сдохнет – кун плачу я.

Байжан сделал знак. Его старший сын Жаркен, силач и жигит, размахнувшись, ударил несчастного плетью по голове. Из рта и носа избиваемого сразу хлынула кровь.

– Умираю!– закричал он.

– Подыхай, пес, подыхай!– орал Нургожа.– Бей крепче!

Жаркен с закушенной губой, покрасневшийся и страшный, хлестал и хлестал почти недвижимое тело. И вдруг кто-то удержал руку палачу на лету.

– Довольно!– сказал остановивший Жаркена.

Все обернулись. Перехватил удар девяностолетний старик, настолько дряхлый и слабый, что он уже несколько лет не выходил на улицу. Жаркен, недоумевая, посмотрел на Нургожу. Тот недовольно хмурился, но молчал.

– Дорогой мой,– сказал старик (его звали Сулеймен), глядя на Нургожу – я живой покойник, много лет уже лежу, готовясь предстать перед Всевышним. Но вот я услышал, что ты задумал убить этого несчастного и запятнать себя перед аллахом невинной кровью, тогда я поднялся со своего смертного одра, чтобы сказать тебе: пощади его!

Разъяренный Нургожа молча хмурил брови.

– Я прошу пощади!– продолжал Сулеймен, дрожа всем телом.– Не огорчай меня. Ведь я скоро предстану перед престолом аллаха.

Нургожа хмуρο кивнул головой. Державшие жениха один за другим отошли от него. На земле осталось лежать неподвижное окровавленное тело.

– Хорошо и так,– сказал Нургожа,– остальное получит в тюрьме. Байжан, зови Рахмета, надо составить подробный акт.

– Какой акт?– спросил Сулеймен.

– О грабеже. Я поймал негодяя в то время, когда он уводил моего коня,– ответил Нургожа.

– Милостивый аллах, когда же?– удивился Сулеймен, беспомощно смотря вокруг.

Все хмуρο молчали.

– И тогда посмотрим,– продолжал Нургожа, грозно оглядывая толпу,– много ли найдется охотников держать руку вора да перечить старшим. Этому жениху уже больше не гулять по свету, не забирать ему чужих невест. Он свое отгулял!

– Свет мой!– сказал Сулеймен, наконец поняв все.– Послушай, что я тебе скажу.

Нургожа опять недовольно нахмурился.

– Зря вы вмешиваетесь в это дело, Сулеке,– сказал он раздраженно, но сдержанно.– Вы всеми почитаемый старец, а заступаете за негодяя, идущего против шариата. Вы ставите меня в трудное положение.

Сулеймен едва перевел дыхание. Он был так слаб, что и говорить ему было тяжело.

– Это ты меня ставишь в трудное положение,– сказал он утомленно.– Если я не помешаю тебе погубить невинного, что я отвечу аллаху? Смотри не гневи Всевышнего, сын мой! Счастье тебе сопутствует, твой камень сам катится на гору. Так не бери себе на душу грех, их, наверно, и так у тебя немало.

При этих словах он опустилсЯ на землю и сел. Сел и Нургожа.

Так минуту они сидели друг против друга. Нургожа молчал и ковырял пальцами сухую землю.

– А правда ли, Сулеймен, что двух просьб у мужчин не бывает?– спросил он вдруг.

– У меня не две просьбы, а одна,– сказал Сулеймен.– Ты хочешь погубить этого невинного, я прошу: подари мне его жизнь, вот и все.

– Ну хорошо,– решил Нургожа.– Даю!

Он встал.

– Ну, вор! Ну, конокрад! Твое счастье!– Он слегка пинул ногой распростертого.– Бери его, Сулеке!

– Спасибо, сынок!– растроганно заплакал Сулеймен.– Пусть же твой единственный сын,– продолжал он сквозь слезы,– будет счастлив! Пусть аллах благословит твой путь!

Старики, стоявшие поодаль, тоже прослезились.

– Байжан!– позвал Нургожа, чуть помолчав.– Раз другой просьбы у старика не будет, такведи же невесту, сажай ее в мою повозку и вместе с женихом, которого я привез, вези в наш аул. Я приеду потом.

Несмотря на неистовые крики и плач невесты, несмотря на протесты отца и проклятия ее подруг и близких, несчастную Берен насильно усадили в тарантас и вместе с новым женихом отправили в аул Нургожи.

– Но как же быть, ведь мы уже получили калым от этого баржаксинца,– сказали Нургоже родственники невесты,– Что же теперь делать?

Нургожа расхохотался.

– Благодарить аллаха за его мудрость, вот что! Смотрите, как он все устроил: жену взял курумбаевец, а калым за нее заплатил баржаксинец, поистине велика премудрость Всевышнего.

А жених не промолвил ни слова. Он с трудом сел, но даже глаза не посмел поднять на своего палача. Так сидел он при людях; свидетелях своего позора, так продолжал сидеть, когда люди разошлись. А утром его не стало, исчез неизвестно куда.

А Нургожа в это время пировал у Байжана, съел целого барана и утром следующего дня уехал к себе в аул. Вот тогда и заговорил народ.

– Пусть тебе будет во сто раз хуже, чем этому несчастному, – пожелал один.

– Пусть сгорит твой дом! – сказал другой.

– Да умрет твой сын! – изрек третий.

– И исчезнет след от твоего дома, – закончил четвертый.

Говорилось все это от полного сердца, ибо не было в пяти волостях Петропавловского уезда человека, более страшного и ненавистного, чем Нургожа. За последние годы он добился такой власти, что затмил даже бывшего старейшину рода – Торсана, и все его приказания исполнялись беспрекословно.

Певец Шагбырай пел про него:

Отец ваш – старый Курумбай,
От Курумбая вы родились,
Семь братьев в шубы нарядились,
И каждый был богатый бай!

Нургожа был одним из семи сыновей Курумбая. У него, как у каждого из его братьев, было несколько сотен лошадей и тысячи голов овец. А ведь известно, что «богатство и счастье – родные братья». Высшее счастье для казаха – быть волостным управителем. А Нургожа пробыл им двадцать лет! Кто же посмел восстать против его воли? Ведь он слыл чуть ли не единственным человеком, который знал русские законы и с кем считались русские власти. Сам, не советуясь ни с кем, он ставил биев, аульных старост и их помощников и сам же сменял их. У него было куплено все и вся, и любая жалоба на него попадала ему же в руки! Правда, после двадцати лет бессменного владычества он вдруг передал свой пост племяннику Ыбыру, но все знали: сделано это было только для отвода глаз, и при новом управителе владыкой всех

казахов, населявших эту часть степи, по-прежнему остался Нургожа.

Понятно, как все – от велика до мала – боялись и ненавидели своего тирана.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

А жить становилось все тяжелее и тяжелее. Начался голод. Увеличились налоги и поборы, и особенно туго приходилось, конечно, бедноте. Кто с ней когда считался? За неплатеж сначала описывали имущество, а если и его не было, то просто гнали на казенные работы. Дело дошло до того, что многие бедняки бросали семьи и бежали неизвестно куда. Зато аульные старшины и баи богатели с каждым днем.

Скоро настала еще более тревожная пора: стали поговаривать, что казахов будут брать на военную службу. Приехал из Омска Торсан и рассказал, что будут забирать всех казахов от девятнадцати до тридцати одного года. Поговорили, посоветовались, покачали головами и решили послать гонцов к Нургоже. Кому же знать о такой беде, как не волостному? Поехали Байжан и Рамазан. Возвратившись, они подтвердили все самое худшее – казахов берут в солдаты.

– А как огорчен сам Нуреке, – благочестиво продолжал Байжан, – сидит в своей юрте и плачет; нас угощает, а у самого слезы капаят. Беда как жалеет свой народ.

– Пожалел волк овцу, – сказал кто-то.

– Молчи, не болтай зря! – грозно прикрикнул Байжан. – Нургожа за казахов жизнь положит. Он собирается послать гонца к Торсану, чтоб вместе им собраться и обсудить, что надо предпринять.

– Да и то взять, – поддержал Рамазан, – из семейства Нургожи на фронт уйдут двадцать лучших жигитов! Тут заплачешь.

– А ты за его жигитов не беспокойся, – продолжал тот же голос. – Все дома останутся. Что, у них откупиться

нечем? Ты много их видел на казенных работах? Пойдут, как и прежде, одни, бедняки!

И вот тут впервые было произнесено:

– Тогда убьем и его и Торсана! Сначала вырежем все их семейство, а потом пойдем в солдаты.

Вскоре стало известно, что Торсан и Нургожа отправились в Омск к губернатору. Раньше это было бы событием, а сейчас казахи только плечами пожимали.

– Это над нами Нургожа царь и бог, а у русских он не больно важная птица, не то, что к генералу, и к уряднику войти не смеет. Он и объясниться с властями не сможет, по-русски совсем не понимает. Нет, если кто что может сделать, так это только Торсан.

И пока «ходоки» были в Омске, слухи не прекращались. Говорили то так, то эдак, то «берут», то «не берут» – каждый день по-иному, и скоро уж никто не мог понять, что же творится на самом деле. И вот однажды появилось новое слово – «манапес». «Царь издал манапес».

– А что такое «манапес»? – боязливо спрашивали те, до которых это слово дошло впервые. И знающие люди им поясняли:

– «Манапес» – по-русски значит манифест. Царь посочувствовал казахам и решил не брать их в солдаты. А случилось это так: у царя родился наследник, и по этому поводу был устроен большой той. Во время тоя пришел неизвестный человек передал царю бумагу, скатанную трубкой, а в ней было вот что: «Ваше Величество! Зачем ты забыл клятву твоего отца! Когда твой отец принимал казахский народ в свое подданство, он на собачей шкуре написал клятву не брать их в солдаты, а сейчас весь казахский народ плачет кровавыми слезами. Царь! Твои молитвы дошли до аллаха, твоя жена родила тебе сына, бойся же народных слез!»

Ой, дай же аллах долгой жизни тому, кто сочинил такую бумагу! – умилялись слушатели. – Это мог сделать только Аблай или Торсан.

– И царь,– продолжал рассказчик,– сейчас же издал свой «манапес» и приказал не брать на войну ни одного казаха.

Многие верили в царский «манапес», многие нет, но в разгар его обсуждения прискакал верховой из русской станицы и рассказал, что там не осталось ни одного джатака – все сбежали, их стали целыми партиями направлять на фронт.

Тут уж все аулы зашумели. «Чем погибать на чужбине, погибнем около отцовских могил».

Жигиты начали объезжать верховых лошадей. «Умирать, так уж на коне. Заберем себе лучших байских лошадей, да и встретим смерть в седле». В это время и пришли вести из Омска – возвратился один Нургожа, Торсан остался у губернатора. Губернатор сам ничего сделать не может. «Манапес», верно, был, да только приказно поэтому «манапесу» всех жигитов забирать в солдаты. Теперь Торсан едет к самому государю. Начали собирать пожертвования – дорога в Петербург далекая, своих средств Торсану не хватит, а он еще берет с собой толмача. Давали охотно, кто что мог, и вдруг пронесся другой слух: все ложь, Нургожа и не был даже в Омске, он сбежал по дороге, а Торсан, правда, ходил к губернатору, да тот приказал его арестовать без дальних слов, и теперь он сидит за решеткой.

– Так зачем Нургожа собирает деньги,– недоумевали наивные,– неужели...

– А ты что думал?– отвечали им.– Что, не знаешь байскую глотку? Она весь свет проглотит и не подавится.

– Ну нет! На этот раз, пожалуй, подавится!

Стали искать Нургожу и Ыбыра, но они как сквозь землю провалились, уехали в Стап и сидят, носа оттуда не кажут. Почему? Что им там надо, в Стапе? Скоро и это стало ясно. В Стапе приступили к изготовлению списков казахов-призывников. Вот они там бедных жигитов записывают, байских сынков выписывают. Баи задарили их с ног до головы.

Все это было похоже на правду. Первые богачи аула: Байжан, Рамазан, Ыбрай, которые ругались больше всех, вдруг совсем примолкли и успокоились. То ездили по степи и галдели, а теперь сидят дома и только в бороды посмеиваются.

– Ведь смерть идет, что ж вы притихли?– спрашивали их.

– А что ж!– отвечали они.– Смерть так смерть, что делать. От руки аллаха никуда не скроешься, она всюду достанет. Чему быть, того не миновать, а то пошлет губернатор русских солдат с ружьями, и останутся от нашего аула одни угольки – вот и все!

Но так рассуждали только баи и байские сынки. Беднота же думала, говорила и даже действовала совершенно иначе. Доходили слухи: там-то жигиты избили какого-то волостного управителя и всех аульных старшин перебили, там-то убили урядника, там-то оказали сопротивление карательному отряду и солдатам пришлось бежать. А потом пришло известие и совсем небывалое.

В Тургайском уезде поднялись казахи. Во главе их Амангельды-батыр. Его ни пуля не берет, ни пашка не рубит, и идут за ним сто тысяч казахов, вооруженных до зубов.

Жигиты, услышав это, стали поговаривать: а не перебить ли всех своих баев и не присоединиться ли к батыру?

Жигиты Настасыбской волости, а по-русски Анастасьевской (так называли волость в честь новорожденной царской дочки Анастасии), преследовали Нургожу, но он сумел скрыться, и им повезло лишь в одном: они поймали Ыбыра и избили его до полусмерти. Я сам присутствовал при этой расправе.

Однажды большая группа жигитов сидела в кибитке Тайжана, распивая кумыс и мирно разговаривая. Вдруг послышался отчаянный крик: «Эй, сюда! Скорее, скорее!» Жигиты выскочили и увидели: по степи, задыхаясь, бежит полуодетый Байжан, размахивает

руками и что-то кричит, а по берегу озера во весь опор мчится повозка.

Какой-то человек нахлестывает лошадь – за ним гналась целая кавалькада.

– Что это? Кто это? – посыпались вопросы.

– Ой, беда! – отвечал Байжан, чуть не плача. – Ыбыр или сам Нуреке. А эти злодеи хотят их убить! Надо помочь несчастным.

В толпе мрачно засмеялись.

– Поможем дорезать, если это действительно они. Давно их ждем.

– Да что вы такое говорите, злодеи?! – закричал Байжан.

Повозка мчалась к одной из юрт, расположенной на отшибе. И к ней же, крича и улюлюкая, летела погоня. Домчавшись, человек на всем скаку спрыгнул с повозки и юркнул в юрту, а лошадь помчалась дальше. Теперь беглеца узнали все: конечно, это был Ыбыр. Почти одновременно доскакали и жигиты, но Байжан, его сыновья, хозяин кибитки Ыбрай, Рамазан и еще несколько человек преградили им путь. Жигиты соскочили с коней. С искаженными от злобы лицами они стояли перед байскими защитниками и потрясали нагайками.

– Пропусти, дурак, – рявкнул на Байжана черный маленький жигит с горящими глазами, – пусти, а то сам ляжешь тут.

– Да постойте, поговорить надо! – с отчаянием и мольбой крикнул Байжан.

– А-а, будем еще с тобой возиться, – досадливо крикнул жигит, схватил Байжана за шиворот и так его толкнул, что он отлетел на несколько шагов в сторону.

На защиту отца бросился Жаркен, но и его сразу же повалили на землю и начали хлестать нагайками. Остальные байские защитники разбежались. Толпа хлынула в кибитку. Ыбыра нигде не было. Перевернули все, обшарили все углы, перетряхнули все тряпье – нет, да и только. Особенно усердствовал в поисках Шайке, отец Берен, горестную историю которой я уже расска-

зывает; бледный от гнева, с дрожащими губами, в углах которых буквально вскипала пена, он бегал по кибитке, перевертывал все и, осыпая страшными проклятиями всех курумбаевцев до седьмого колена, искал Ыбыра. Его нигде не было.

– Да что же это такое?– с горечью выговорил Шайке, останавливаясь в недоумении посреди кибитки, и вдруг закричал:– А, вот он где, окаанный!– И ткнул пальцем в деревянный ларь, где хранят вяленое мясо.– Все курумбаевцы жадны до дарового сала, вот он и залез сюда.

Он рванул крышку, но ящик не открывался. Тогда Шайке схватил топор и несколько раз рубанул по ларю так, что крышка отлетела в сторону, и тут все увидели: среди кусков мяса и сала, скрючившись и чуть дыша от страха, лежит Ыбыр.

– Вставай!– рявкнул Шайке, и когда тот, дрожа, начал подниматься, занес над его головой топор и, конечно, убил бы, если бы кто-то на лету не перехватил его руку.

– Отпусти, убью!– заорал и затрясся Шайке и даже заплакал от злости, но Ыбыра уже схватили, повалили на землю и стали топтать и рвать. Кто хлестал плеткой, кто топтал сапогами, кто бил пинком под ребра. Каждый хотел выместить на нем свои обиды. Сначала били крича и издеваясь, потом молча, страшно, с насадой. Жигиты, оставшиеся на улице, как только узнали о том, что Ыбыра нашли в ларе с салом, оторвали юрту от земли, отнесли в сторону и повалили набок. К Ыбыру уже нельзя было пробраться. Его избивали за весь его проклятый род, а когда толпа разошлась, на земле остался лежать неподвижный труп.

– Ну, начало положено,– говорили жигиты,– доберемся мы и до других курумбаевцев.

Но добраться нашим жигитам до других баев так и не удалось. Правительство залило восстание кровью, не дав ему разгореться. Пришлось подчиниться царскому «манапесу». Отправляли казахов на фронт, на так называемые тыловые работы. Никакие просьбы

о зачислении в действующую армию не действовали. Испуганное восстанием царское правительство не давало казахам в руки винтовки Конечно, на фронт отправляли только бедноту, а кто побогаче, тот вербовал вместо себя наемников. Одному из таких несчастных, моему близкому родственнику Таспаю Ракышбаеву (он пошел на фронт вместо сына Нуртазы), я послал на фронт письмо в стихах:

Ты, Таспай, попал в петлю злодея.
Все тесней она сжимает шею.
И в слезах смотрю я на дорогу,
Братской жалостью тебя жалея.

Как брат, склонялся ты ко мне с участием.
Тебя судьба не баловала счастьем,
Поехал ты под вражеские пули,—
Они грозят опасностью, ненастьем.

Жаман-Шубар преследовал Таспая.
Но жизнь без друга, как собака злая.
И ты ушел, семью покинув,
Но ничего при этом не прощая.

Но что поделать, у меня нет сил,
А то бы я тебя освободил.
Я всей душой хочу, чтоб ты вернулся
И пищу на родной земле вкусил.

Забегая немного вперед, я хочу сказать, что с фронта вернулись казахи совсем другими людьми, они многое повидали, многое услышали. И после Февральской революции 1917 года фронтовики принимали активное участие в установлении Советской власти в Казахстане. В аулах раздавались непривычные, еще пугающие многих слова:

Царя убрали, теперь прогоним баев, власть должна принадлежать тем, кто трудится...

Слова эти пугали баев и вселяли надежду в сердца бедноты.

МОЙ ПЕРВЫЙ АЙТЫС

Айтыс – состязание певцов-импровизаторов. Песни, которые исполняются на айтысе, обыкновенно служат ответом певца на вызов. Таким образом, каждая пропетая песня является своеобразной поэтической репликой по адресу поэта-соперника. Участвуют в айтысах не только видные акыны, певцы-импровизаторы; но и поэты меньшего ранга, так называемые сери.

В этой главе я как раз и хочу рассказать о том, как я однажды принял участие в поэтическом споре и что из этого вышло. Но сначала о девушке, разбудившей мою музу. Впрочем, девушек таких было три и звали их Гульзейнеб, Рабига и Улпан. Были они все одногодки, и каждой из них исполнилось по шестнадцать лет. Девушки были из аула Солдат (по имени бая аула Оспана Солдатова), и были они, по-моему, такими красавицами, что краше их и на свете не сыскать. В то время наши аулы на летнем пастбище стояли рядом, и хотя тревожный и трудный 1916 год навис грозой тучей, жигиты не падали духом. Молодежь оставалась молодежью. Так неистребима была радость жизни, что в самый разгар волнений жигиты соседнего с нами аула устроили веселую вечеринку, продолжавшуюся всю ночь, и созвали к себе всех девушек и парней рода

сыйбанцев. Вслед за ней последовала и вторая вечеринка, так сказать, ответная. Я участвовал и в той и в другой и не только имел возможность хорошенько разглядеть понравившихся мне красавиц, но и досыта наговориться с ними... И вот ведь наваждение! Сколько ни глядел на них, а разобраться, какая из них лучше, так и не смог. Говорю с Гульзейнеб, она мне кажется красивее и Рабиги и Улпан; говорю с Улпан и вот твердо знаю, что красивее ее и на свете нет; улыбнется мне Рабига – и я сразу понимаю, что все, что я думал до этого, чепуха, Рабига лучше всех своих подруг. Но вот все трое передо мной, смотрят на меня, смеются, И я совсем теряя голову, словом, как пропел как-то Ахан-сери!

Я сегодня видел сон прекрасный,
Я увидел в Гульбахраме трех красавиц...

Или еще точнее поется в казахской песне:

За лето сделался мой конь хорош.
Слова, что не могу сказать при встрече,
В моих стихах, любимая, прочтешь!

А если это действительно так, можно ли найти лучшего посредника между влюбленным и любимыми, чем стихи? Нет, конечно! И я решил объясниться в любви всем трем девушкам сразу.

Все три – Рабига, Гульзейнеб, Улпан,
Таких не сыщешь и средь дальних стран!
Три лебедя, что плещутся в озерке...
Кто не оценит ваш прелестный стан?

Вы три орлицы средь высоких гор,
О вашей красоте немислим спор –
Жигит, гарцуя на коне, как коршун,
От вас не может оторвать свой взор.

По перышкам подобны вы ныркам,
Трем стихотворным сладостным строкам.
Сравнить вас со сметаной было б грубо:
Нежнее сливок вы моим губам!

Ах, если б коршуном на вас упасть!
Поестъ бы этих нежных сливок всласть!
Я счастлив был бы, если бы ко мне
В одной из вас вдруг запылала страсть!

Эти стихи я послал моим любимым через своего одноклассника, некоего Бримжана Досымбекова, и с трепетом стал ждать ответа. Но не тут-то было! Бримжан показал мои стихи сыну Байжана Ермишу. Тот как прочитал их, так и просиял.

– Вот послал аллах! Я же как раз ищу по всему аулу стихи, чтоб им послать, и нигде не могу найти. Давай скорее, я перепису.

И как ни отнекивался Бримжан, пришлось ему мои стихи отдать Ермишу. Иначе поступить он и не мог: семья его была пришлой в ауле, происходил он не из рода керей, как все мы, а из рода баганалы, и судьба его зависела от благосклонности аула. Хозяином же аула был Байжан, и потому Ермиш, его любимый сын, чувствовал свою полную безнаказанность. Ему уже давно исполнилось двадцать лет, а он даже на обязательных военных перевозках не был занят, так и ходил по аулу единственный молодой жигит, оставшийся дома. Конечно, нагл он был безмерно, и присвоить чужую песню было для него сущим пустяком. Мои стихи быстро распространялись среди молодежи всех соседних аулов, автором их считался Ермиш. И тогда, взбешенный до крайности, я послал ему такое письмо:

Шлю тебе, Ермиш, письмо с приветом,
Верил я тебе пред целым светом,
Но присвоил ты стихи чужие,
Думаешь, меня провел на этом?

Я не виноват, что ты бездарный,
Пишешь только краскою дегтярной.
Нет пера – ты пишешь кочергою,
Честь продав и совесть в день базарный.

Кичишься ты, что, мол, богат твой дом,
И самовольничаешь ты притом.

Оставь-ка ты мой стихи в покое
И прокормись теперь своим добром.

Получив это письмо, Ермиш мне ответил:

С базара привезли кольцо домой.
Ты с детства стал проклятым сиротой.
Пасти овец Тайжан бродягу нанял:
Ты не учитель, а батрак простой.

С базара деготь привезли опять,
На небе солнцу и луне сиять!
Не место дуралею в этом доме,
Уж лучше бы тебя в хлеву держать!

Доставил мне этот ответ мой ученик Додак, которого я называл племянником: мы с ним принадлежали к одной и той же родовой ветке сыйбанцев. Я показал эти стихи отцу Додака – Смаилу, дородному, уже начинавшему сидеть мужчине лет пятидесяти, но еще франту и кутиле, и он сказал:

– Ты написал ему хорошо, а он тебе еще лучше. Не бойся, пиши ему снова. Да хорошенько, хорошенько, не стесняйся, в случае чего – я заступлюсь.

Ободренный этим обещанием, я послал Ермишу следующие стихи:

Ермиш, задира ты, как все скоты,
Ты жирный, но слова твои пусты.
Нельзя меня в коровнике поставить,
Ведь я не пучеглазый бык, как ты.

Чем отличаешься ты от быка?!
Ни совести, ни чести... Ну, пока!
И пусть айтыс закончится на этом –
Последняя написана строка.

На это послание Ермиш не ответил, но, встретившись со мной, пригрозил:

– Ну, подожди, попадешь мне в руки, я тебе покажу, как писать стихи!

Так мы стали врагами.

Вероятно, Ермишу не составило бы особого труда выполнить свою угрозу, но помешали обстоятельства.

Однажды в степи за аулом показался большой караван. Такой большой, что его невозможно было окинуть одним взглядом. Послали верхового узнать, что за люди, и оказалось, что это едут «казенные подводчики», везут воинский провиант из Атбасара. Большинство возчиков было из дальних аулов, но попадались и наши жаман-шубаровцы, мобилизованные на перевозку воинских грузов; они тоже считались «забрityми», и их оплакивали почти так же, как ушедших в солдаты. Еще бы, не было, пожалуй, труднее и неблагоприятнее работы, чем эти перевозки. Начать с того, что лошаденки у большинства мобилизованных были тощие, слабосильные, еле-еле влачившие ноги, тарантасов в караване – раз-два и обчелся, откуда они у бедняков? Все больше двухколесные арбы, которые ломались через каждые пять верст, а некоторые из бедняков просто накладывали своим клячам груз прямо на спину, да так их и гнали.

Но самое главное, в караване царил настоящий голод: возчики везли сотни пудов муки, зерна, круп, колбас, а казна не только не платила им ни одной копейки за их поистине каторжный труд, но даже и кормить-то не кормила, бери, где хочешь, хоть воруй! Многие и воровали, а потом отсиживались в тюрьмах. И надо сказать, что даже в тюрьме было легче, чем на этой работе. Понятно, с какой жадностью набросились люди на мясо, хлеб и рис, которыми их угощали хозяева нашего аула. В нашем ауле было много земляков, знакомых, родственников возчиков. Начались слезы и объятия. Среди жаман-шубаровцев я встретил своего двоюродного брата Хамзу – сына Мустафы. Он вырос, возмужал и теперь выглядел настоящим молодцом: широкоплечий, широкогрудый, статный жигит с щегольскими черными усиками. Все обиды были забыты, мы обнялись и даже всплакнули. Обнялись мы

и с Назиром, он считался за старшего между жаман-шубаровцами, а всего их в караване было человек тридцать. Куда девались шутки Назира, его озорные остроты, балагурство? Теперь это был степенный, толковый мужчина, не бросающий слов на ветер, с разумной, весомой речью. Жаман-шубаровцы его уважали и слушали. Он мне показался очень молодым, даже моложе, чем четыре года тому назад, наверно, потому, что сбрил бороду и теперь носил только одни великолепные густые светлые усы.

Вечером разожгли костер, и начались разговоры. Жаман-шубаровцы по дороге улучили время и заехали в свой аул, и поэтому у них были кой-какие продукты. Меня даже угостили кумысом из родного аула.

– На, родимый, выпей да вспомни отчий дом! Четыре года ведь не был.

Начали меня жалеть да перебирать, что случилось, и оказалось, что поступили со мной в ауле несправедливо и виноват во всем Нуртаза, мой троюродный дядя.

– Что у него, куска не хватало?– с горечью спрашивал Назир.– Богатства мало? Своих детей много? Не мог он Сабита вырастить, женить да поставить ему кибитку? Жадность, жадность обуяла, вот в чем дело, а ведь аксакал!

– Недаром говорится,– вздохнул Шакшау.– «Хочет стать баем убогий, а бай пролезает в боги». Что, не знаешь скупость баев? И ты разбогатеешь, станешь таким же.

– А я вот не стал бы жадничать,– вмешался в разговор Касен Дуйсенов – жигит тихий, смирный и вежливый.– Все равно ведь на тот свет с собой ничего не захватишь.

– Так в чем дело? Отдай несколько коров в пользу сироты! Ты от этого не обеднеешь, а Сабита женим,– засмеялся кто-то.

– Да, он отдаст! Только людей корить, а сам небось...– ответили зло откуда-то со стороны.

– А ну хватит!– вдруг властно вмешался Назир.– А то так и до драки недалеко. Сабит!– обратился он ко мне.– Ты, говорят, хорошо поешь, спой нам что-нибудь, ну, киссу какую-нибудь.

– Да на что киссу, он и сам сочиняет,– вмешался кто-то.– Вот я слышал, он вступил в айтыс с сыном Байжана.

– Да что ты? Неужели правда?– удивился и обрадовался Назир.

Я кивнул головой и рассказал, как было, и спел свои послания и ответы Ермиша. Послышались одобрителльные возгласы:

– Хорошо, да мало. Ну, а если Ермиш тебе ответит?

Тут я рассказал об угрозах Ермиша.

– Ишь ведь, как нос поднял!– сказал Назир задумчиво.– Ты ему словом, а он тебе кулаком.

– Брось, Сабит, не связывайся с ним!– посоветовал Касен.– Ты здесь среди чужих, а он дома. Я их род знаю. Род их вздорный, драчливый. Мужчины даже от сурпы пьянеют, искалечат – ищи потом управы.

– А неужели не найдем?– вдруг веско сказал Назир.– Очень даже найдем. Вот зайду перед отъездом к Ермишу, скажу ему два слова, он и станет шелковый.

– Что же ему можно сказать?

– А вот что: «Эй ты, сын придурковатого отца, смотри не задирай свой сопливый нос выше зада, а то сразу отшибем! Откуда у тебя взялось столько пыла, чтобы грозить нашему родственнику? Или богатство отца ударило в голову? Если твой жулик-отец всех бедняков разослал на работы, а тебя оставил, так ты уж решил, что ты царь и аллах? А наш кулак нюхал? С жаман-шубаровцами связывался? Мы с тебя быстро жир-го спустим, отца родного не узнаешь, даром что его жена колотит каждую среду. Только попробуй Сабита пальцем коснуться!»

Назир так разошелся, будто перед ним и впрямь стоял Ермиш.

– Э, да что ждаться!– вдруг сорвался он с места.– Оседлать лошадь, да и поехать к нему. А понадобится, так и отлупить, чтоб голову от подушки оторвать не мог.

– И думаешь, родичи позволят?

– Родичи!– засмеялся Назир.– Да неужели вы не поняли, что никто пальцем не пошевелит. Кто теперь заступится за бая? Ты? Или ты? Или я сам? Нет, хватит! Сейчас все увидели, где правда. Байские сынки дома сидят да по нашим бабам ходят, а мы за них шею ломаем! Как собаки, голодные, холодные, целые дни и ночи под дождем да по грязи чуть не на собственных плечах тащим казенную кладь – и все мало! Ты думаешь, я не знаю, что говорят жигиты из этого аула? У них только пули нет для Байжана или его недоноска, вот как они его любят!

– Пусть так, а все-таки бить своего родственника они чужакам не дадут,– заметил Хусаин Итаяков.

– Ах, родственники! Ах, не дадут!– воскликнул Назир, и вдруг его голос стал вкрадчивым и мягким.– А ты, ты почему дал в обиду Нуртазу? Ведь он твой дядя! Почему ты ни слова не сказал жигитам, когда они за ним погнались, а, наоборот, бросился вместе с ними? Почему? А?

Хусаин смущенно молчал.

– Молчишь? Вот и все так же, как ты! Зачем тебе такой родич, который только на твоей шее ездит? Вон, посмотри, людей из этого аула в нашем караване сколько угодно, а из семейства Байжана нет никого – ни человека, ни подводы. Почему так? Сын его вон какая дубина вымахал, на нем хоть воду вози, а его ни на какую работу не берут. Ты что думаешь, балыкбаевцы не соображают этого? Что, они глупее нас с тобой? Не думай, все отлично понимают, только молчат. Вот поговорю с ним, сразу хвост подожмет. При Сабите же и поговорю.

Вечером следующего дня пять аулов, стоявших возле озера, устроили посильное угощение для тех

обозников, которые не имели в этом ауле ни родственников, ни земляков. Каждая семья взяла на себя угощение пяти-шести человек. Пир продолжался до утра. А утром Назир позвал меня и Ермиша и вывел нас далеко в поле.

– Вот что я тебе скажу, Ермиш, – начал Назир тихо и сдержанно. – Наши аулы считаются сватовьями, а ты себя ведешь не как сват. Нет, совсем не как сват, а как последний негодяй ты себя ведешь. Ну как же? Начали шуточный спор, так и отвечай стихами, а ты ведь кулаком грозишь, скверный ты человек!

– Но... – начал Ермиш.

– Стой, слушай! И нашел ты кому грозить – сироте, живущему в людях! Нет, ты покажи свою власть над баями, вот я скажу – молодец! А ты, шайтан...

– Дело в том... – начал оправдываться Ермиш.

– Молчи, говорю, и слушай. Со мною лучше не связывайся, я тебя схвачу за ноги и выволоку из дому, да при твоём же придурковатом отце так отлуплю, что ты век не забудешь. Посмотрю, кто из балыкбаевцев за тебя заступится. Посмотрю! Ну-ка, попробуй потягаться со мной! Дай руку, что за спину прячешь? Видишь, какие мускулы? А какой кулак! Ну, так знай!

Ермиш стоял и молчал.

– О аллах милостивый! – продолжал Назир. – Правду ведь говорят: «Кобыла разжиреет, торсук уж к седлу не приторочишь. Дурной человек забогатеет – в соседстве с ним не уживешься». Заимел пяток кобылиц и уже всем на пятки наступаешь! Да кто ты такой? Был бы твой отец порядочным человеком, не родила бы тебя мать до замужества. Да еще, черт знает, чей ты сын – Байжана или его старшего брата Буйрабая! Кто тебе из них отец, кто дядя? Оттого, верно, и вырос ты таким бесстыдным! Думаешь, не знаем, к кому Даметкен бегаёт? Отлично знаем! То-то, ходи да оглядывайся! А на твои угрозы я плюнул и ногой растер – это наш тебе ответ. Знаешь пословицу: «Если у собаки есть

хозяин, то у лисы – создатель». Вот и помни, а то понюхаешь!– и он сунул Ермишу под самый нос кулак величиной с пятифунтовую гирю.– Я не упрашиваю тебя «не трогай Сабита», я только говорю: «Попробуй тронь!..» Вот и все! Идем, Сабит!

Мы ушли, а Ермиш как стоял, так и остался стоять посередине поля.

– Если послушает, его счастье,– сказал Назир.– Не оглядывайся, Сабит, идем!

Стоит ли говорить, каким сильным и даже счастливым почувствовал я себя после этого разговора. У меня, оказывается, есть защита и есть родичи. И меня, оказывается, есть кому защитить! А ведь из всех страданий и томлений, угнетавших меня, пожалуй, самым страшным было именно чувство моей незащитности и полного одиночества.

Зимой, когда наш аул уже переехал на зимовку, Додак передал мне следующее послание от Ермиша:

Посмотрите, люди, на Сабита,
Стал он корчить из себя жигита.
Не сломал бы он свою тут шею:
Не по силе груз и карта бита!

Как прожорлив сирота бездумный!
Но не лги, а говори разумно.
Если в гордости не знаешь меры,
Как пузырь надутый, лопнешь шумно.

Не кичись ты славою земною,
Не летай, как ветер, под землею!
Коротышка ты со мной равняться,
Будь уж лучше для меня слугою!

Стихи были хлесткие и довольно звучные. Сам полуграмотный, Ермиш таких сочинить никак не мог. Скоро я узнал, в чем дело. Стихи эти написал Ермишу его шурин Баймагамбет. Говорят, это очень ученый парень, одних лет с Ермишем, учить его начали еще с

пеленок. Он кончил курс наук в Тургайске по-татарски и теперь собирается в Стап в русскую школу. По дороге туда он заночевал в кибитке Байжана и там сложил ответ. Все это меня очень заинтересовало, и захотелось, когда представится случай, вступить с Баймагамбетом в песенное состязание. Но это когда еще будет, а отвечать надо немедленно. Я вспомнил о связи Ермиша со своей снохой Даметкен – женщиной трудолюбивой, умной и красивой. Именно на эту связь Ермиша я и намекал в предыдущем послании, советуя прекратить айтыс, но он или не понял, или не захотел с этим считаться. Пришлось мне в ответ написать такие стихи:

Мне с тобой, Ермиш, не кончить спора,
Ты победы ждешь, а не отпора.
Что ж, пеняй сам на себя, разбойник!
Ты щелчок получишь по лбу скоро.

До сих пор я слушал равнодушно,
Выслушал нападки все послушно,
Но сейчас одну открою тайну,
Судят пусть тебя единодушно.

Ну какой хозяин ты Сабиту,
Хоть и брюхо у тебя набито!
Если ж разобраться, ты – несчастье,
Жеребец, лежающий сердито.

Ты – жигит, проживший жизнь впустую,
Растерявший совесть молодую.
Если б честь хранил ты, как певесту,
Ты не тискал бы сноху родную.

Всем известно, кто Даметкен гладит,
Кто овцой паршивой стадо гадит.
Как же не убийца, ты, разбойник,
Раз не пожалел родного дяди?

Если бы родился ты девицей,
Всякий тешился бы с круглолицей.
Я потом найду слова похлеще,
Расплачусь с тобой за все сторицей.

Жил я в то время в доме «прадара Осипа» – смиренного Осипа. И верно, смирнее, беднее и ласковее его не было во всем ауле. Это был рыжий, дряхлый старик с вечно трясущейся головой. Его единственное богатство заключалось в клячонке, такой же дряхлой, как и он. А в то время, о котором я рассказываю, у него и клячонки не было: забрали вместе со старшим сыном Муашем в обоз. Я жил у него, потому что обучал его младшего сына грамоте. В этой нищей юрте для меня всегда оставляли самые сладкие куски и отдавали мне все самое лучшее, что у них было. И вот однажды в полдень, когда я и дочь хозяина, Алима, пили чай, в кибитку ворвалась разгневанная Даметкен. Женщина была так взволнована, что у нее даже лицо потемнело, в руках она держала лозу. Молча подошла ко мне Даметкен и опустила на карточки. Смотря на меня горящими глазами, она спросила, задыхаясь от злости:

– Эй ты, бездомная собака, ты что, застал меня с жигитом?

– С каким жигитом? – спросил я, делая вид, что ничего не понимаю. – Где застал?

– А это написала я, что ли? – крикнула она, выхватывая из кармана письмо.

И не успел я ответить, как она изо всех сил резанула меня лозой и замахнулась снова. Я перехватил на лету ее руку.

– Отпусти! – завизжала она. – Отпусти сейчас же!

В это время через распахнутую дверь я увидел Ермаша. Размахивая лозой, он бежал на помощь своей возлюбленной. Дело было плохо. Не теряя времени, я оттолкнул Даметкен и выскочил из окна. Неистово крича, она и Ермаш бросились за мной, но я скрылся в доме Тайжака, куда преследователи не смели сунуться. Они боялись старухи Салимы, она была злая, как медведица, и никому не давала спуска. Это меня и спасло.

После того, что случилось, мне волей-неволей пришлось покинуть аул Балыкбая. Меня сначала долго не отпускали родители моих учеников. Они были мной довольны и всячески уговаривала остаться.

– Не делай глупостей, – говорили они, – не уходи. Из-за одного дурака не теряй хорошее место. А Ермиша мы успокоим, он тебя даже пальцем не посмеет тронуть.

Это звучало убедительно, и я бы остался, если бы не Болатбай, который приехал за мной и заявил сразу и категорически:

– Спасибо за ласку, а оставить Сабита у вас я не оставляю. Этот бешеный так и бросается на него, как пес. Ума нет, так на силу надеется. Если покалечит или убьет парня, что будем делать? Наши аулы живут в дружбе, в мире, мы считаемся даже сватовьями, и вдруг из-за одного зазнайки сделаемся врагами? Нет! Нет! Увезу Сабита, и все. Знаете: «От беды и угодники сбегают».

Мы решили переночевать, собрать деньги с учеников и уехать дотемна. В то время, как мы сидели в гостях и я пел по просьбе хозяина киссы, заглянул Додак и поманил меня пальцем. Я вышел.

– Ты знаешь, Баймагамбет приехал, – сказал он.

– Не может быть! – крикнул я и схватил его за руку. – Где же он?

– В доме Курульдека-ата, для него режут барана. Передать ему что-нибудь?

Еще бы не передать! Я быстро схватил клочок бумаги и нацарапал на нем следующую записку и передал Додаку:

Достойный почтения Баймагамбет!
Лучших акынов в краю нашем нет,
Как бы хотелось тебя мне увидеть,
Что ты на это мне скажешь в ответ?

А сам пошел обратно в юрту, сел на прежнее место и закончил киссу. Додак вернулся очень скоро. Подойдя ко мне, он незаметно сунул ответ. Каллиграфическим почерком было выведено четверостишие:

Уважаемый Сабит,
Я ничем не знаменит,
И не думал я доныне
О себе, как об акыне.

В конце стояло два неизвестных мне знака: «P.S.» А под ними было написано: «Встретимся завтра рано утром в роще, где находится зимовка. А сегодня я очень устал, не обижайся. О согласии извести меня запиской. С почтением Баймагамбет».

Ну конечно, я пришел на место в точно назначенное время. Вскоре подошел и Баймагамбет. Это был высокий молодой человек, одетый во все городское, белокурый, голубоглазый, с узким лицом и острым носом. Глядя на него, никогда нельзя было подумать, что видишь казаха. «Да это не он!» – пронеслось в моей голове, но в ту же секунду незнакомец протянул мне руку и громко сказал:

– Баймагамбет Зтулин.

Мы обменялись рукопожатием, что следует отвечать, я не знал и поэтому молчал. Тогда он спросил:

– Наверное, ты Сабит?

Я кивнул головой.

– Я долго заставил себя ждать?

Я ответил, что нет.

– Давай пройдем вон туда к озеру! – предложил он. – Так кто же начнет свой рассказ?

Я сказал, что это всецело зависит от него.

– А сколько тебе лет? – спросил он, и когда узнал, что недавно исполнилось шестнадцать, засмеялся.

– Боже мой, моложе меня на три года, значит, еще совсем мальчик. Но хотя и говорят: «Первым здоровается дядя», на этот раз начинай все-таки ты.

Я быстро рассказал ему всю свою историю: о том, как потерял отца, мать, сестру, как переходил из одной юрты в другую, как меня отовсюду гнали, как я был подпаском и как меня выгнали даже из подпасков за то, что я всюду и всем приношу несчастье, что здесь я работал учителем, а теперь вот и отсюда приходится уходить. Говорил я долго, а когда кончил, он посмотрел на меня долгим пристальным взглядом и сказал:

– Сядем!– И вытащил из кармана расшитый голубым и красным кисет.– Куришь?

– Курю,– ответил я, глядя на него с тихим восторгом: только у самых богатых баев видел я такие кисеты. А со слов жигитов знал, что такие чудесные вещицы вышивают девушки для своих возлюбленных.

В кисете оказалась тонкая курительная бумага фабричного производства и махорка самого высшего сорта, так называемый «крупис», по восемь копеек за пачку. Я смотрел на все это великолепие, онемев от восхищения. И самой-то обыкновенной бумаги в нашем ауле достать было невозможно. Бывало, мечется по всем окрестным аулам какой-нибудь жигит, ищет клочок бумаги, чтоб написать на ней «достабрен» – удостоверение на право продажи скота – и все-таки ничего не найдет. Что же касается махорки, то «крупис» курили только богачи и сыновья богачей, обыкновенные же смертные пробавлялись самосадом, а то и листьями курая, высушенными на солнце.

«Так вот он какой, этот Баймагамбет!– думал я, скручивая папироску.– Байский сынок, не иначе».

Как бы отвечая на мои мысли, Баймагамбет начал рассказ:

– Я из рода уак, ответвления буйдалы, воспитывался уяди и взял его имя и фамилию. Наша семья считается самой зажиточной в ауле, но в ауле-то нашем всего десять кибиток. У нашего семейства есть косяк лошадей, овцы, шесть коров с телками и белая юрта. Учусь я с малых лет. Сначала ходил к нашему родст-

веннику – molde Кутыбаю – это зять вашего Байжана. Но учил он плохо, по старинке, и от его учения у меня в памяти ровно ничего не осталось, считай, три года потеряны зря. И вот однажды мне повезло,– Баймагамбет сделал затяжку, бросил папиросу и затолтал ее сапогом,– приехал к нам гость, одетый по городскому, плотный, смуглый, курносый, на казаха вовсе не похож, и верно, оказался башкиром. Звали Сеиткерей Магазов, и служил он мугалимом¹ в соседнем ауле и... стой! Ты ведь, наверно, не знаешь, кто такой мугалим?– прервал он себя вдруг.

– Знаю!– резко ответил я и про себя подумал: «Каким же невеждой он меня считает!» Но мой собеседник и сам, видно, смутился за свой неделикатный вопрос.

– Ну, ты прости меня! Так вот, этот Сеиткерей учился в Уфе. Он был весельчак и балагур, сочинял стихи. Мы быстро сошлись с ним, я ведь тоже сочинял стихи. Одно мое четверостишие до сих пор повторяет весь наш аул.

– Это какое?– спросил я, видя, что моему собеседнику не терпится рассказать об этом происшествии.

– А вот слушай, что случилось. Однажды мой отец в соседнем ауле взял в долг овцу. Пришло время отдавать, взвалил отец в сани-розвальни (дело-то было зимой) черную овцу и поехал, а ехать было верст восемь. День стоял морозный, ветреный, в пути поднялся еще буран, а отец одет был легко. Он замерз и погнал лошадей во весь опор, овца возьми да вывалилась. Через некоторое время отец оглянулся и обмер: бежит за ним что-то черное. «Черный волк!»– подумал отец. А ты сам знаешь, для старого человека нет большей беды, чем увидеть черного волка,– это самая плохая примета. Отец и давай гнать лошадей, настегивает их, а сам от страха еле дышит.

Я захохотал, засмеялся и Баймагамбет.

¹ Мугалим – учитель.

– Нам смешно,– сказал он,– но отцу в ту пору было вовсе не до смеха! На его счастье до аула было уже недалеко. Влетел он во двор своего родственника и повалился в сани. Тут прибежали люди, стали спрашивать, что случилось, а отец только «волк, волк, черный волк – кара-касқыр!»– и ни слова дальше.

– А с овцой что случилось?

– Ну, люди сразу поняли, в чем дело: в саних ничего нет, а была овца. Сели на коней, помчались искать ее и нашли уже растерзанную. Пока, значит, отец спасался от «черного волка», серый волк слопал его овцу. Вот об этом я и сложил такое четверостншие:

В сани бросил он овцу с размаху.
Та – бежать! Он – от нее со страха.
А когда овцу ту жрали волки,
О спасенье он молил аллаха!

– Молодец!– похвалил я.– Ну, а еще были у тебя стихи?

– А-а! Что там вспоминать всякую чепуху!– поморщился Баймагамбет.– Так, детская забава. Однако Сеиткерею мои стихи понравились, и он стал просить отца отпустить меня с ним учиться. Мой отец – человек на деньги тугой, всякое учение считает ерундой, баловством. Но тут вступился дядя и обещал взять на себя все расходы за мое обучение. Отцу пришлось согласиться. Так я очутился в школе в ауле Курымсы.

Баймагамбет свернул новую папироску, закурил ее и продолжал:

– Тут уж совсем по-иному все пошло: новый метод, новая школа, новый учитель, новые товарищи. Я учеником оказался способным, в короткое время научился писать, изучал арифметику, географию, физику и химию, и наступил такой день, когда учение, которое казалось мне раньше темнее ночи, вдруг стало яснее белого дня. Но тут случилось несчастье: учителя забрал урядник.

– Почему?– воскликнул я.

– Да все из-за этих проклятых стихов. Я говорил тебе, что Сеиткерей был поэтом и хорошо слагал стихи. Однажды учителя здорово обидели, хотели его на вечеринке посадить рядом с одной девушкой, а та загордилась: «Не хочу с ним сидеть, кто он такой – не казах и не русский, сам шайтан не разберет кто». Такая дуреха! Вот Сеиткерей и послал ей на следующий день стихотворение. Послушай!

Баймагамбет вынул из кармана пальто толстую тетрадку и прочитал:

Все эта Жангумис на свете знает!
Всех критикует, важно поправляет,
Показывает всем свои таланты
И нос, как все задиры, задирает.

Но если ей достойный дать отпор,
Девушка тут же прекращает спор.
И надо мной она порой смеется,
Но на ответ язык мой очень скор.

Да, ты красавица! Какие глазки!
Кровь с молоком, как говорится в сказке,
Ты пери, что родилась средь людей!

Но воспитанья нету у дивчины,
Смеется невпопад и без причины.
Любуясь в зеркало красой своей.

– Здорово?– спросил он, кончив читать.

– Очень здорово!– воскликнул я с истинным восхищением.

– Что же ответила задира?

– А что она могла ответить? Послала какие-то жалкие каракули, вроде тех, что тебе пишет Ермиш. Нацарапал ей кто-то из подруг, А Сеиткерей ответил еще хлеще:

Хоть ты и девушка, но огрубела,
А грубости я не терплю совсем.
Куда же с робким вздохом отлетела
Та нежность, что присуща девам всем?

Ты говоришь надменно и небрежно,
И у тебя несносный дикий нрав.
Кто я? Прочти мои стихи прилежно,
И ты поймешь, что был во всем я прав.

Тогда друзья этой девицы обратились к грамотею Мептеппаю из соседнего аула и заставили его написать ответ. Он записан у меня в этой тетради, да его и читать-то не стоит. А вот слушай, что ответил учитель:

Эй Мептеппай, твой дядя – Алимбай,
Когда ты говоришь, то через край
Из уст твоих сочится жирно масло,
Хочу тебе ответить, Мептеппай!

Я слышал, умер дядя твой Кулкай,
Да примет ласково его куда-то!
Ты, говорят, в его повинен смерти,
Невежда, взявшийся лечить весь край.

Соль кипятил ты с крепким табаком,
Коросту мазал грязным помазком,
Вспотеет, мол, больной и исцелится,
Вокруг жилья пусть мчится он бегом.

От этого, лечения взревев,
Излил Кулкай на знахаря весь гнев.
Тебя и Хамзу проклял он навеки,
Ужасного мученья не стерпев.

«Эй ты, Хамза! Чтоб счастья ты не знал!
Чтоб ты погиб с верблюдом между скал!
Облив мне раны соляным раствором,
Ты душу мне и тело растерзал».

Скажи мне, что изрек пред смертью дядя,
Как ты бледнел, на труп ужасный глядя?
Так как же ты стихи писать берешься,
Забыв про все, оставшееся сзади?

– Ну как?

– Вот это убил! Наповал! – захохотал я. – Ай да Сеиткерей! На это и отвечать нечего.

– Нечего?– горько усмехнулся мой собеседник.– Представь себе, она очень хорошо ему ответила. Так ответила, что он и спорить перестал. Просто подала донос, что Сеиткерей скрывается от солдатчины. Приехал урядник и увез учителя. Вот и все.

– И больше.вы никогда не виделись?

– И больше мы никогда с ним не виделись. Он теперь на фронте, иногда получаю от него письма. Вот недавно прислал он мне стихотворение.

Он открыл тетрадку на другой странице.

– Читай!

Я стал читать.

Стихи я пишу в этом чуждом мне мире,
Не знаю я, долго ль осталось мне жить,
Я в серой шинели, в военном мундире,
Пишу вам письмо, чтоб любовь заслужить.

Винтовка у стенки. И шашка висит,
Но стерта нога, и мешает она.
Все будет в порядке: одет я и сыт,
Но холодно сердцу, душа голодна.

Казахские степи, мне грустно без вас!
Печали своей не прикажешь – уймись!
Придется ль пригубить еще мне хоть раз
Тебя, исцеляющий душу кумыс?

После этого мы прочли еще несколько подобных же стихов Сеиткерей, все они были об одном – о тягостях войны, о бессмысленности страданий людей, оторванных от дома, о тоске по родине.

– Вот где теперь мой учитель!– вздохнул Баймагамбет, пряча тетрадку.– Увижу ли его вновь или нет, неизвестно. После его ареста я твердо решил ехать учиться в Троицк.

– Зачем?

– А затем, что такой школы, где казахов учат по-казахски, вообще нет. Преподают либо по-русски, либо по-татарски. По-русски учиться я не мог, знал всего

несколько слов, и потому поехал в Троицк и поступил в медресе «Вазифа». Там готовят преподавателей для аульных школ. Вот я и захотел стать учителем. Но у меня ничего не вышло, денег мне отец не посылает, а заработать сам не могу. Я и эти два года перебивался тем, что летом учил байских сынков. Трудно было, конечно, но знаешь пословицу: «Кто ворует, тот сядет, кто жрет солому, тот подавится». Приходилось всячески изворачиваться; Я, может быть, и дальше учился бы в медресе, если бы не решил окончить русскую школу. Для нас вот татары учителя, а ведь русские в тысячу раз культурнее татар. Поэтому я и решил поехать в Стап и поступить там в русскую школу. Я и тебя хотел бы взять, но ведь ты по-русски не знаешь, да и денег у тебя, так же как и у меня, нет ни копейки.

– Это так, – вздохнул я.

– А жалко! Талант, судя по твоим посланиям Ермишу, у тебя есть. Конечно, учиться надо, пишешь ты, не обижайся, еще очень коряво. Знаний тебе не хватает.

– Покажи мне свои стихи! – попросил я несмело.

– Ну, нашел писателя! – засмеялся Баймагамбет. – Для того чтобы писать стихи, нам обоим надо учиться. И читать, читать побольше. Русских поэтов надо читать, Пушкина, например. Ты ведь, наверно, и не слышал о таком?

– Нет, – сознался я.

– Вот! Даже и не слышал. А ведь Пушкин лучший поэт на свете. Лучше его не было и нет.

Он с особым чувством выговаривал «Пушкин». Так мы поговорили еще полчаса, а потом Баймагамбет встал.

– Ну, пошли! Я уж замерз. Закуривай и пойдем!

И на прощание повторил:

– Учиться! Учиться тебе надо! По-русски учиться. Вот я тебе пришлю из Стапа письмо, опишу все подробно, как там. Может быть, и смогу чем-нибудь помочь.

Я, конечно, понимал, что говорит он из вежливости, и значения его словам не придавал, но стихи его

мне хотелось почитать, и я ему еще раз сказал об этом. Он вынул из кармана тетрадь, открыл ее на первой странице и подал мне.

– Читай!

Стихотворение было длинное, но запомнил я из него только несколько первых строк:

Мне закрыли к свету ход,
Завязали крепко рот,
И теперь мне жизнь – доска.
Закипает в сердце гнев,
Гневный родился напев,
Но в напеве том – тоска.

И самый конец стихотворения:

Коль захочет человек,
Все он может в этот век,
Так и я расправлю крылья...

– Это я написал, когда отец запретил мне ехать учиться, – объяснил Баймагамбет и перевернул страницу. На ней было стихотворение, озаглавленное «Любимой».

Я начал было читать первые строки, но Баймагамбет сказал:

– Нет, нет, это читать нельзя.

– Почему? – спросил я, донельзя удивленный тем, что автор прячет свои стихи.

Баймагамбет недовольно поморщился.

– Это стихи о любви, а в них нет ни любви, ни чувства – одни только громкие слова, одним словом, неискренние они. Стихи, идущие не от сердца, это не стихи.

– Ну, тогда покажи стихи, написанные от сердца.

– А таких у меня еще нет. Я ни в кого не влюблен, – покачал головой мой собеседник. – Это не так легко, милый, влюбиться. Вырастешь, узнаешь! Однако становится совсем холодно, идем, или нет, постой, прочитай еще вот это.

Стихотворение называлось «Ночь наступает», и я его прочел вслух.

Угасает золота сиянье,
Запада пурпурное пыланье.
Стелются на севере туманы,
Теплый вечер погружен в молчанье.

Как орлица, крылья расправляя,
Тишина слетела к нам ночная,
Лес утих, и степь спокойно дремлет,
И луна восходит золотая.

Звезды загорелись над горами.
Бисером рассыпались над нами.
Лик земной объят полночным мраком,
Горизонт закрыт весь облаками.

Ночь пришла, и сумерки приплыли.
Мы намаз вечерний совершили;
Потрясенный красотой природы,
Я умолк, заговорить не в силах.

Стихи показались мне такими красивыми, что я готов был броситься автору на шею. Восторг был, верно, написан на моем лице, потому что он спросил:
– Что, нравятся?

– Замечательные стихи!– воскликнул я.– Ничего лучшего я никогда в жизни не слышал.

Это была совершенная правда, и он остался доволен.

– Стой! Теперь я прочту сам,– сказал он и взял тетрадку из моих рук.– Живет у нас в ауле препротивный старикашка, по прозвищу «Омар Сопилка». Он богат, скуп и всегда всем недоволен, а особенно боится всего нового. Вот я написал про него:

Как грудастый бык тигровой масти,
В упоении богатства, власти,
Он на мир кровавым смотрит оком,
Всех готов он разорвать на части.

Бай Омар большой поклонник плети.
У него стада, богатство, дети.

Но гордец он, самодур презренный,
Враг он переменам всем на свете.

Лишь заговорят при нем о новом,
Уж глумится он над каждым словом,
И, схватив свой посох, лезет в драку,
Злоба на лице его багровом.

Он царит в ауле, притесняя,
Батраки работают на бая.
Перед ним они дрожат от страха,
Все приказы слепо выполняя.

Жизнь семье он сделал хуже ада,
Гонит он людей, как будто стадо,
Злобным холодом глаза налиты,
Никому нет от него пощады.

От него не ждите угощенья;
Если гость без пользы, без значенья,
Ок ворчит: «Проваливай скорее!»
Нет привета гостю, ни почтенья.

Вот какую славу он имеет,
Толстый бай. И знай себе жиреет.
Занимается Омар торговлей,
Лежа на печи, он богатеет.

Когда Баймагамбет окончил чтение, он даже не спросил, нравятся ли мне стихи, настолько все было ясно по моему лицу.

ЕЩЕ АЙТЫС

Я живу в ауле Жуан-Агаш и работаю учителем. Аул этот маленький, ни богатый, ни бедный, поэтому даже название его ничем не примечательно. Старостой аула считался некий Досмагамбет Итикеев – балагур, весельчак, шутник, который никакого авторитета и власти в ауле не имеет, но нимало об этом не скорбит. Его любимое занятие – провести простака за нос,

сравить друзей, чтоб потом помирить их и получить за это угощение от обоих. Вот он-то и вовлек меня в новый айтыс. Дело в том, что среди моих учеников находился некий Мухаммедияр – бойкий парень лет тринадцати, который лето проучился в соседнем ауле у учителя, кончившего школу в Уфе. Паренек считал, что у меня ему делать нечего. По правде сказать, это так и было. Мухаммедияр знал четыре правила арифметики, кое-что из так называемого природоведения и географии и мог к месту употреблять в разговоре несколько десятков арабских слов. Конечно, до всего этого мне было далеко, и Мухаммедияр, просидев у меня несколько дней, неожиданно исчез, уехал в свой аул. А еще через несколько дней Досмагамбет поманил меня и неожиданно серьезно спросил:

– До тебя никакие слухи не доходили?

Я пожал плечами.

– О чем ты говоришь?

– А ты знаешь, что болтает про тебя Мухаммедияр? Что не тебе его учить, а ему тебя, что ты даже имя-то свое как следует написать не можешь. Какой же ты учитель?

Меня всего передернуло от этой горькой правды, но я спокойно ответил:

– Ну и пусть!

– То есть как это пусть?– встревожился Досмагамбет.– Сегодня это говорит только он, а завтра будут кричать все, и цена тебе станет грош! Да ведь и на нас всех ложится позор. Кого это мы пригласили в учителя? Неуча? Неграмотного пастуха? Вот ты стоишь, улыбаешься, а я так разозлился, что думал, у меня сердце не выдержит, разорвется от эдакой обиды. Ну как же, этот байструк, сын чужого дяди, смеет ругать нашего молду, которого мы все уважаем и ценим. Да что он, умнее всего аула, что ли?

– Почему ты говоришь, что он сын чужого дяди?– спросил я, разозленный уже не на шутку.– Он разве...

– Это такое поганое дело, что и не скажешь сразу, – сморщился Досмагамбет, – в общем, отцом ему приходится не муж его матери, а ближайший родственник – Турсумбай. Вот и подумай, такой человек тебя порочит, а ты молчишь. Напиши похлеще стихи, чтоб он раз двадцать перевернулся во сне.

Я и написал:

Мухаммедияр Емантаев, что же?
Распространять подобное негоже:
Весь этот вздор, что мол, Сабит – невежда,
Скажи, на что вся эта чушь похожа?

Болтаешь, вздор, словам цены не зная,
Всем говоришь, что сын ты Емантая.
Себя ты этим выдал с головою,
Известный всем ублюдок Турсумбая.

А Турсумбай был рыцарем, жигитом,
Певцом, в аулах славою покрытым,
И не стыдился б ты такого рода,
Не будь ты просто дураком набитым.

Подумав, скажет человек разумный:
«Болтун болтает сплетни в толпе шумной».
Попробуй-ка со мною потягаться!
Но кто твоим отцом был, полоумный?

Когда я прочел стихи, Досмагамбет захлопал в ладоши.

– Убил! Убил! – кричал он, задыхаясь от хохота и восторга, – Насмерть убил. Ну, теперь держись, они тебе ответят...

– Кто они? – спросил я,
Он сразу стал серьезным.

– У них там все сочиняют, все акыны, особенно Жамантай и тот же самый, Турсумбай, слагают песни так, что будь наготове, У нас, конечно, не допустят, чтоб тебя избили, но и помочь мы тебе не сможем, так что отбредиваться тебе придется одному от всего их аула, помни это, пожалуйста!

В тот же день мое послание полетело к адресату, а еще через два дня я получил ответ.

Откуда же такой акын вдруг взялся?
Бродягой ты в ауле побирался,
Едва умея нацарапать имя,
Кто ж над твоим писаньем умилялся?

Ты с детских лет привык читать стишки.
В письме твоём все чушь и пустяки,
Бродил бы ты уж лучше по аулам:
Учить ребят невежде не с руки.

Ты из породы баксы, истукан.
Тебя привяжем мы, как на аркан.
Не упрекай других происхожденьем,
Как будто бариин твой отец Мукан.

Сыйбаны нам соседи с давних дней,
Так в чем причина гордости твоей?
Не батраком ли умер твой родитель,
Прожив без счастья у чужих людей?

Да ты, и сам немного видел роз,
Ты в сторону все тянешь, под откос.
«Горшок, знай свой шесток» – есть поговорка.
Так не упрямься же, тащи свой воз!

Я показал эти стихи Досмагамбету, и тот засмеялся от удовольствия: драка завязалась не на шутку.

– Это писал Жамантай, – сказал он уверенно, – сразу видна его хватка. Теперь уж не спускай, бей до конца! Я тебе скажу про него одну штуку: он женился на вдове своего умершего брата и усыновил обоих ее сыновей, обоих вывел в люди, – это все хорошо, но вот что плохо. Когда один из приемышей, Амре, умер, Жамантай взял себе его молодую жену.

– Не может быть! – воскликнул я, действительно пораженный до глубины души.

– Не веришь, спроси народ, все знают, – спокойно улыбнулся Досмагамбет, – и аллах наказал их за это: его

молодая жена, поскользнувшись, упала в кипящий котел с сыром и умерла от ожогов. Вот после этого Жамантай и стал с горя прадаром.

И, однако же, читая ответ, я сразу почувствовал, что ответил мне человек не только талантливый, но и грамотный, и сказал об этом Досмагамбету.

– В самом деле? – спросил он меня и, подумав, решил: – Наверно, ему помог Кайралип. Он человек грамотный и страстный любитель стихов, обязательно вмешается в любой айтыс. Так не забудь же и его и своем ответе, – озабоченно сказал Досмагамбет, – и он помогал этому окаяшному убудку. Да, да! Теперь мне это ясно.

Но ответил я только Жамантаю. Стихи были такие:

Итак, мы повествуем, начиная
Историю с позора Жамантая,
Что погрязал от юных дней в пороках,
А в старости святошей жил, вздыхая.

Ведь если б Жамантай людей стыдился.
Он на своей снохе бы не женился.
Пусть совершает миллион намазов,
Но быть в аду тому, кто провинился.

К чему все это ханжество, смирение,
Ты лицемерием не купишь искупленья,
Хоть день и ночь молись ты на коленях,
В аду узнаешь первым ты мучеңья.

Враги не ответили, и на этом айтыс окончился.

ГАБДОЛЛА ТОКАЕВ

В начале зимы Досмагамбет собрался в Стап повидаться с дядей, который учился там русскому языку.

Вернулся он через месяц, и, как обычно в таких случаях, в юрту к нему набилось полно народу. По этому же обычаю каждый возвратившийся с ярмарки обязательно привозил «базарлык» – гостинцы: дешевые

леденцы, копеечные пряники, длинные конфеты в розовых бумажках, обвитые золотой канителью, – ими мать хозяйина обделяла всех ребятишек и женщин аула, пришедших в гости к прибывшему. Когда мы пришли, Досмагамбет сидел посередине юрты на пуховиках – веселый, довольный, покрасневшийся от возбуждения и сознания своей значимости. Одноаульцы засыпали его вопросами. Но если раньше интересовались новостями и здоровьем родственников, то теперь спрашивали, что есть на рынках, сколько стоит и где можно достать. В последнее время исчезли чай, сахар, мануфактура, и купить их можно было только втридорога, да и то из-под полы. Досмагамбет привез несколько аршин мануфактуры и что-то из подержанной одежды. Все это богатство его жена демонстрировала перед столпившимися кумушками.

– А это что такое? – спросила одна из соседок, поднимая небольшой плоский бумажный сверток.

– А это надо отдать Сабиту, – вдруг вспомнил Досмагамбет. – Эй, Сабит, подходи, получай подарок от Баймагамбета Зтулина!

Толпа зашумела. Баймагамбета знали многие, знали, что он учится вместе с дядей Досмагамбета в Стапе, что он ученый, что он сын Канапии Шаленкенова – самого зажиточного человека в его родном ауле. Потом кто-то сказал:

– Да разверни же сверток, посмотрим, что там такое.

Я сорвал бечевку и серую оберточную бумагу, под ней оказалась толстая книга в коричневом переплете с золотым тиснением.

– О боже мой, книга! – слышались разочарованные восклицания. – Мы-то думали, что хоть ситец на рубаху молде.

– А может быть, это Коран, – предположил кто-то.

Я прочел заглавие: «Габдолла Токайнып шигирляр мажмугаси» – и пожал плечами. Что бы это такое могло быть?

– А ну дай сюда!– приказал мне Сансызбай, по прозвищу «Горбатый молда». Он когда-то учился в медресе.

Я отдал ему книгу, Сансызбай прочитал заглавие вслух, Подумав, изрек:

– «Шигир» – это по-арабски «стихи», «мажмугаси» – «собрание» чего-то. В этой книге собраны стихи какого-то Габдоллы Токая.

– Токай? Татарин? Кто он такой? – посыпались вопросы.– Из каких мест?

– Не слышал, не знаю,– ответил Горбатый молда и протянул мне книгу.

– А я думал, это мухтасар¹,– недовольно сказал Шаймерден. (В эти памятные для меня дни я жил у него, ибо аульный учитель живет по неделе в семье каждого своего ученика – таково правило).– Стихов-то у нашего молды и своих хоть отбавляй! Нашли что прислать!

– Пусть почитает, а мы послушаем, может, что и дельное,– предложил кто-то.

– Э! Пустая трата времени,– отрезал Шаймерден, вставая.– Сколько я на свете живу, никогда не видел, чтоб кто-нибудь получил какую-нибудь пользу от стихов.– И он ушел очень недовольный.

Я тоже собрался уходить, но Досмагамбет сказал:

– Постой! Я забыл, тут Баймагамбет письмо тебе передал.– И вынул из кармана толстый конверт.– Читай!

«Уважаемый Сабит!– писал Баймагамбет.– Спешу тебе сообщить, что у меня пока все благополучно, за исключением того, что в школу я не попал, вернее, не пошел сам. Пришлось бы сидеть в третьем классе рядом с малышами, и был бы я как баран между ягнят. Подвел русский язык. Поэтому, поразмыслив, я решил заниматься с учителем. А деньги зарабатываю тем, что готовлю казахских ребят для поступления в русскую школу, учу их азбуке. Учитель же занимается со мной

• ¹ Мухтасар – краткий сборник правил и догм исламского шариата.

дома. Главное – русский язык, если все будет благополучно, то на следующую зиму поступлю прямо в пятый, а то и в шестой класс (школа называется «Высшая начальная», и в ней семь классов). Уроков у меня много, ибо давно прошли те времена, когда баи, чтоб только отвязаться от русских, вместо своих детей посылали в школу беспризорных и сирот. Теперь все хотят учиться, да мест не хватает. Года два-три тому назад в школе обучалось всего пять казахов, а сейчас их двадцать пять, а еще больше не попало. Ты спросишь, может быть, чем вызвана эта перемена: почему то пять, то двадцать пять? Я тебе отвечу.

Причин много, но главная из них – события 1916 года. Когда наши жигиты оказались на тыловых работах далеко на западе, они почувствовали на своей шкуре, что такое жить в России и не знать русского языка. Несчастные обращались за помощью к тем, кто понимал по-русски, но среди них оказалось много нечестных людей, которые так обработали своих соплеменников, что те взвыли и стали твердить в каждом письме домой: «Не губите детей, посылайте их, пока есть время, в русские школы». Правда, учатся в Стапе одни сынки баев: ни бедняков, ни таких сирот, как ты, в школу не принимают. Чтобы учиться, нужны средства. После окончания этой школы можно поступить прямо в пятый класс гимназии или на двухгодичные учительские курсы, которые готовят преподавателей для начальных школ. Я тебе опишу жизнь одного из моих учащихся, Галяутдина Мамекова. Ему лет двадцать пять, и в этом году он оканчивает школу. Живет он роскошно: снял у богатого станичника отдельный флигель и две комнаты, нанял кухарку, завел выезд, ездит на двух чистокровных рысаках и устраивает по воскресеньям конские состязания. Шуба у него лисья, шапка бобровая. Недавно приезжал к нему брат, так он зарезал для него кобылу. Короче, ему можно учиться. Но ничего, Саке, помни пословицу!

«На горную вершину» соколы взлетают, а змеи вползают». Может, и мы тоже взберемся. Ведь говорят же: «Только шайтану не на что надеяться». Знающие люди считают, что надо ждать больших перемен, а если бы ты был грамотным и знал бы, что такое «политика», я б тебе написал: «Меняется вся политическая обстановка страны», так что жди и надейся!

Хотел тебе послать книги по разным предметам, но пока удалось достать только сборник стихов Габдоллы Токаева на татарском языке. Судьба этого поэта похожа на твою, и все-таки ни голод, ни скитания по чужим углам, ни преследования сильных мира не помешали ему стать крупнейшим поэтом своего народа. Понять его стихи тебе будет нелегко, в них много арабских слов. Ведь Токаев воспитывался в старой школе, где главным языком был арабский, или фарсидский, и все же язык Габдоллы Токаева нам ближе и понятнее, чем язык любого другого татарского поэта. У казахов подобного поэта еще нет. Правда, есть у нас некий Ибрагим, или Абай Кунанбаев, который происходит из рода тобыкты, жил он где-то около Семипалатинска и умер в 1904 году. Говорят, что Абай – казахский Пушкин, но и его не читал и поэтому ничего сказать не могу. Правда, у Галаяутдина Мамекова был сборник стихов этого поэта, но он дал его товарищу, если книга мне попадет в руки и в ней будут стоящие стихи, я перепишу их и pošлю тебе.

На этом кончаю свое столь сильно затянувшееся письмо. Пиши скорее ответ.

С приветом Баймагамбет».

Я кончил читать письмо и положил его в карман, взял книгу и почти выбежал из юрты. Шаймерден, у которого я жил во время описываемых мной событий, был в высшей степени безобидный шутник, балагур и домосед. Его четыре дочери и сын, которого я учил грамоте, относились ко мне с большим уважением. Но особенно

меня любила мать хозяина, матушка Улберген, дородная, мужиковатая, с усиками над верхней губой и волосатым подбородком старуха лет семидесяти пяти. Она говорила басом, умела вовремя приласкать человека, вовремя и поругать его. Ее все уважали и слушались. Несмотря на годы, она хорошо видела, обшивала все семейство и даже никогда никого не просила вдеть нитку в игольное ушко. Когда я вбежал в дом, она как раз накладывала заплатку на старый стеганный халат (купу) Шаймердена. Больше в избе, в обеих ее комнатах, разделенных печкой, никого не было. Отказавшись от ужина, я скинул шубу и сел рассматривать подаренную мне книгу. На первой странице помещался портрет автора. Это был красивый жигит, еще совсем молодой, с длинными волосами, зачесанными назад, в бархатной тюрбетейке. Первое стихотворение называлось «Есимде» – «Моей памяти». Первую строку я прочел и понял без труда, но уже во второй нашел сразу два неизвестных мне арабских слова, а потом в последующих – и еще несколько. Но, в общем, стихотворение я понял почти полностью. По настроению оно было мне очень близко: поэт тяготился своей тяжелой долей и сетовал на нее. Мой приятель говорил правду. Жизнь этого замечательного поэта была похожа на мою. В нескольких словах мне хочется пересказать его биографию.

Габдолла Токаев родился в 1886 году в деревне Кушлауш Казанской губернии. Его отец служил имамом (муллой) в этой деревне. Из духовного сословия происходила и его мать. Пятимесячным поэт лишился отца, мать его вторично вышла замуж и оставила ребенка на поечение знакомой старухи Шарифы. Правда, через некоторое время мать снова забрала к себе ребенка, но скоро и она умерла, а отчим Габдоллы отослал его к родственнику матери Зейнетулле. Но у того была злая жена, мальчик был ей в тягость, и вот начинаются бесконечные скитания сироты. Ребенка везут в Казань и отдают в дети первому встречному –

некому Мухаммедкали. Но «у беды сто братьев». Скоро и приемный отец ребенка умирает, и Токаев снова возвращается в негостеприимный дом Зейнетуллы. Затем мальчика берет бездетная пара из соседней деревни, но скоро в этой семье родился ребенок, и жить маленькому Габдолле в чужой семье становится очень трудно. Приемыша выживают из дому. Потом Габдолла попадает к какому-то Бадретдину, который превращает сироту в настоящего батрака, ребенок убегает от него и, узнав, что в городе Теке (Уральске) живет его замужняя сестра, всеми правдами и неправдами добирается до нее. Мальчику уже девять лет, и зять устраивает его в русскую школу. В ней маленький Токай проводит три года, а потом его переводят в мусульманское медресе. Ребенок оказывается на редкость способным, а тут новая беда: умирает зять. Габдолла лишается родного угла и переходит жить в помещение медресе. Чтоб заработать на кусок хлеба, Токаев прислуживает своим товарищам – байским сынкам. В 1905 году он заканчивает школу, поступает наборщиком в уральскую частную типографию и начинает писать стихи. В том же 1905 году его стихи появляются в газете «Фикр» («Мысль»), издаваемой неким Камиль-аль Мутиги Тухфатуллиним. Тут наконец поэту повезло. О стихах его заговорили, и в 1906 году он перебирается в Казань и всецело отдается литературе. Это было недолгое счастье. Поэта уже гложет скоротечная чахотка – результат голодного детства, – и 2 апреля 1913 года Токаев умирает, имея от роду 27 лет.

За семь лет творческой деятельности этот гениальный юноша сумел создать основу подлинно национальной татарской литературы. Я читал стихи Токаева не глазами, а сердцем и душой. Я понял, что острие его гневных тирад направлено против исконных врагов татарского народа – мулл, баев, религиозных фанатиков и мирских захребетников.

Я почувствовал, что поэт болеет за счастье своего народа и страстно ненавидит его врагов. Почувствовал я и то, что не одна чахотка загнала в гроб этого крупнейшего поэта. К ней присоединяется тоска и боль за родину. Все это, повторяю, я не столько понял, сколько именно почувствовал. Читая стихи Токаева, я часто думал о том, что оба мы с ним сироты – он бедствовал в городе, а я в ауле, но несчастье, которое мы испытали, почти одинаковое. Он умер совсем молодым, но это ему не помешало стать самым любимым поэтом своего народа. Сумею ли я стать таким, как он...

НУРЖАН НАУШАБАЕВ

В ноябре того же года я познакомился с Жунусом Баймагамбетовым. Он окончил татарскую школу и два года проработал учителем в Жаман-Шубаре, а теперь ехал в Стап учиться по-русски. Он пробыл в Жуан-Агаше, куда приехал вместе с моим сверстником и одноаульцем, дня три, и мы за это время успели подружиться. Помогла этому схожесть наших судеб: он так же, как и я, остался с малых лет сиротой и тоже скитался по чужим людям. Но один из родственников отвез его в Баглан (станица Усть-Уйская) и устроил в татарскую школу. В ней он и получил среднее мусульманское образование.

– Так что же тебе теперь надо в Стапе, если ты кончил школу?– спросил я, и он ответил мне буквально словами Баймагамбета:

– Нельзя не знать русской грамоты. Вся наука в русских.

И он, как и Баймагамбет, звал меня в Стап. А когда я ему рассказал про свое положение, ответил мне так же:

– Ничего, я поеду пока один, а потом, если позволят обстоятельства, и тебя вызову.

Как и Баймагамбет, он сочинял, но стихи его из-за обилия татарских слов были куда менее гладкими и понятными. Когда мы заговорили о поэтах, Жунус стал меня уверять, что самым талантливым казахским поэтом нашего времени является Нуржан Наушабаев. По словам Жунуса, этот Нуржан совмещает в своем лице и балуана¹, и акына, и домбриста, и оратора, и поэта. У него небогатое, но с достатком хозяйство, он одинок (недавно похоронил единственного сына), и в настоящее время ему лет шестьдесят пять.

–А стихов его у тебя нет?– спросил я, сгорая от любопытства.

– А вот!– ответил Жунус и достал из парусинового саквояжа (мы разговаривали в юрте, где он остановился) толстую рукописную тетрадь.

Эта тетрадь и до сих пор хранится в моем архиве. Содержание этой рукописи очень разнообразно – от фольклорных песен до стихов Акмолды, Аубакира и других казахских акынов конца девятнадцатого века. Но лучше всего в этой тетради был представлен Нуржан Наушабаев. Некоторые из его стихов я уже слышал, не зная автора, например поэму, начинающуюся такими строчками:

Невежда, кто ученым не внимает,
Кто строго шариат не соблюдает,
Среди животных ты его отметь,
Среди глядящих тупо на картину.
Какая польза от красоты павлину,
Когда он вовсе не умеет петь?

Эти стихи я слышал от Габдола Кабанбаева еще в Жаман-Шубаре. Я стал умолять Жунуса подарить мне эту драгоценную тетрадку, и тот согласился. На внутренней стороне переплета он написал:

Ты хочешь быть поэтом, милый брат,
Так подражай тому, чьи книги – сад.

¹Балуан – борец.

Я подарил тебе стихи Нуржана,
Чтоб лучше знал язык свой во сто крат.

После отъезда Жунуса я выучил наизусть все стихи, записанные в этой тетрадке, и нередко исполнял их под домбру. Переходя к оценке поэтического творчества Нуржана Наушабаева, я должен сказать, что сейчас мое отношение к нему двойственное: я не могу не восхищаться его талантом, чистотой и богатством, а в произведениях более позднего периода – его остроумием и находчивостью. И вместе с тем приверженность поэта шариату, излишняя морализация и несоответствие знаний таланту снижают значение его творчества.

Первый сборник стихов этого все-таки замечательного поэта – «Казахские песни» («Манзумат казахиа») – вышел в свет в 1903 году. В программном стихотворении, являющимся как бы вступлением к сборнику, Наушабаев пишет:

С детства пристрастился я к стихам.
Если б жажду утолил из родника науки,
Разукрасил бы стихи арабскими, фарсидскими словами,
А теперь буду писать то, что подскажет мне разум.

Уже по этим строкам совершенно очевидно, что Наушабаев – поэт в нашем понимании этого слова, поэт, а никак не акын-импровизатор.

Образцом служат для него поэты, писавшие на чагатайском наречии, мистики и визионисты типа суфи Аллаяра и Сулеймена Бакырчаного. Именно поэтому самое первое стихотворение сборника называется «Сорок заповедей» – сорок правил поведения, обязательных для каждого мусульманина. Таким образом, прямая цель этого стихотворения – популяризация обязанностей правоверного. Нуржан уверен, что каждый мусульманин должен подчиниться судьбе и уповать на аллаха.

И муха не летит без воли бога,
Молись, коль преуспеть ты хочешь много!

И как бы человек тут ни старался,
Но ничего нельзя достичь без бога.

Эти строки, конечно, плоды прямого влияния на Нуржана его наставника суфи Аллаяра.

Но в конце стихотворения, совсем не в лад с предыдущими строками, Нуржан вдруг дает молодежи такой совет:

Горит и гаснет юность, как солома,
Не знают люди жизни, сидя дома,
И избегают многолюдных сборищ,
И жизнь других людей им незнакома.

Они гордятся даже, что не знают
Тех дел, что люди в мире совершают,
У очага, укрывшись потеплее.
Коже¹ за обе щеки уплетают.

Нельзя прославиться за миской плова,
Священной родины не слыша зова.
Но кое-кто свое благоразумье
Считает признаком ума большого.

В других стихотворениях он призывает к деятельности и так говорит о роли поэта:

К чему ошейники с серебряным набором,
Когда удачи нет легавым сворам?

Чему же беркут злой научен был тобою,
Коль не порадует хозяина лисою?

К чему в алмазах меч, не вынутый из ножен,
Коль в битве со врагом он в руку не был вложен?

Зачем тебе, жигит, дана такая сила,
Коль вражеское сердце пика не пронзила?

К чему гордишься, бек, ты званьем пред толпою,
Коль сотни верных слуг не едут за тобою?

¹Коже – напиток из кислого молока.

Твоим пустым речам народ не внемлет ныне.
Зачем же говорить напрасно как в пустыне?

Нуржан славился не только поэтическим талантом, но и остротой ума и находчивостью. Эти качества сказались в его замечательных загадках – простых и остроумных. Жанр поэтических загадок был хорошо известен казахской степи и до Нуржана, но в то время как поэты-мистики сочиняли загадки на темы: единство аллаха, истинность пророка и божественный промысел, – загадки Нуржана предельно ясны, они о бумаге, пере, чернилах, деньгах, скатерти, временах года, числе дней в году и т.д. Причем написаны они хорошими стихами на простом и понятном языке.

Две басни Нуржана – «Вол и Осел» и «Лиса и Петух» – являются, может быть, первыми образцами этого жанра в казахской литературе.

И, несмотря на все это, идейный кругозор Нуржана очень узок. Он осуждает любое отклонение от старины:

В наши дни тулпар не скачет,
Приз берут на скачках клячи –
Вот какой пришел к нам век!
Ныне с шерстью шелк сравнялся
И весь бархат истрепался.

Нуржан верит в судьбу, его основное жизненное кредо: «Чему быть, того не миновать». В стихах Нуржана, кроме загадок и басен, мало реальной жизни. Говоря, например, о казахском ауле, он легко и свободно вдается в общие рассуждения о бренности всего земного и ни одним словом не говорит о действительной жизни народа и его реальных нуждах и радостях. Не связаны с реальной действительностью и его «назымы». Поэт здесь выступает в роли не то праведника, изрекающего прописные истины, не то судьи (бия), не то муллы, зовущего к покаянию свою заблудшую паству.

Язык этих произведений тяжел, непонятен, засорен арабизмами. Все куплеты имеют порядковый

номер и, кроме назидательности, ничем не примечательны. Вообще цикл этот неровен, спутан, неравноценен. Наряду с удачными строками и целыми строфами, попадают стихотворения, поэтически беспомощные и вымученные. Впрочем, такой же разноречивой мы встречаем, у других поэтов того времени – Акмолды, Аубакира, Ахан-сери, Шады-торе, Машхур-Жусупа и других. Причина этого, видимо, в неразработанности казахской поэзии, в ее непомерно большом отставании от жизни.

Позднее Нуржан сумел взглянуть на окружающую его действительность глазами своего народа. Помогло ему в этом в первую очередь знакомство с устным народным творчеством. И его «Айтыс с Сапаргали» или «Айтыс с Шигатаем», «Шехзере», «Мысалдар» являются уже прямым откликом на реальные события и явления жизни. Эти произведения значительно лучше по форме, хорошо скомпонованы, написаны простым и сочным казахским языком, звучны и поэтичны. Однако таких произведений у Нуржана все-таки немного, и не они определяют творчество поэта. Поэтому Нуржана нельзя считать основоположником казахского литературного языка.

Поговорим же, читатель, о поэте, который сумел это совершить.

ИБРАГИМ (АБАЙ) КУНАНБАЕВ

Досмагамбет и молда Сансызбай привезли из Стапа целый сундук книг (Галяутдин Есимбаев отдал их переплести). Я попросил разрешения посмотреть книги. Большинство из них были русские – стихи и проза с картинками и портретами, было также несколько книг на татарском языке. Пока я их рассматривал, собралась довольно большая толпа.

– Сколько книг! – удивился кто-то. – И какие толстые. Неужели Галяутдин их все прочитал?

– Не прочитал, так не хранил бы,– сказал кто-то.

А другой добавил:

– Старикам говорят: «Ученый, когда читает, за облако улетаёт». Как это Галаятдин ещё обретается на земле?

Постояли, посмеялись, покачали головами, потрогали книги.

– Эй, эй,– крикнул встревоженно Досмагамбет,– положите все обратно, а то пропадет что-нибудь и придется мне отвечать.

– Ну да!– возразил кто-то.– Кому нужно такое добро? Золота здесь не найдешь!

Однако я нашел то, что стало для меня дороже золота,– книжечку стихов Абая. При первом взгляде на фамилию автора я обрадовался так, будто и впрямь повстречал друга. Ведь это, конечно, был тот Абай, о котором мне писал Баймагамбет из Стапа. Тот самый Абай, ибо другого такого поэта быть не могло. Я понял это, прочитав несколько строк из первого попавшегося мне на глаза стихотворения. С большим трудом я выпросил у Сансызбая книгу на два-три дня и побежал к себе. Я читал день! Я читал ночь! Читал лежа, читал стоя, и чем больше читал, тем труднее мне было оторваться. Это было совершенно не похоже на все то, что я когда-нибудь слышал. Стихи Токаева мне нравились, но я не все в них понимал, смысл некоторых арабских и фарсидских слов так и остался для меня загадкой.

Не то у Абая. Здесь я понимал все. Да и писал-то он об очень понятных для меня вещах – об ауле, о людях, которых я встречал ежедневно. Ну как, например, могли не дойти до меня такие стихи:

Убая много пастухов и юрта хороша,
А бедный мерзнет сам в степи, скотину сторожа.
Он квасит кожи и дубит их в ледяном чану.
Жена, бедняга, ткёт чекмень, от холода дрожа.

Как эти бедняки похожи на моих родителей!

Пускай над степью снеговой бураи гремит опять,
Ведь байский сын одет и сыт, ему тепло гулять,
И батрачонок целый день обязан быть при нем
И со слезами на глазах ребенка забавлять.¹

А это совсем про наших богатеев-баев, об Альти,
Бирке, Хусаинове!

Бесчестный, зверя жадней,
Грязный в словах и делах,
Такой герой наших дней
Правит тобою, казах.

Забыв и совесть, и честь,
Весь завистью налитой.
Он всех был готов известь
Хулою и клеветой.

Ничто ему не позор.
Откажешь – ты враг навек.
Озлясь, грабитель и вор
Свершит, на тебя набег.

Людьми ненавидим он,
А богом проклят давно.
Пускай кругом уличен –
Отвертится все равно.

Он все припишет другим
Хоть в доводах смысла нет.
Немало нагреблено им –
Он взятку сует в ответ.²

И вот еще:

Наконец волостным я стал,
Все добро на взятки спустив,
Без горбов верблюды мои,
У коней не осталось грив.
Вот ведь волостью управлять
Не смог, а вроде ретив

¹Перевод П. Шубина.

²Перевод П. Карабина.

Если сильные позовут
Оборачиваюсь па призыв;
Если слабые говорят –
Если слушаю, вял, сонлив...¹

«Это Машик, Мустафа, Нуртаза – все те баи, которых я знаю», – опять проносится у меня в голове.

У старого хана в гареме красавица тихо скучала.
Влюбленный старик даже душу готов за нее был отдать.
Красавица с золота ела и шелком китайским шуршала,
И толпы прислужниц спешили желанья ее отгадать.

.....
«Пусть черви съедят это тело, чтоб хан не ласкал его снова», –
Сказала красавица гордо и бросилась в пропасть с обрыва.
Состарившись, бай расточает нажитое прежде богатство.
Но деньги ни душу, ни тело не сделают вновь молодым...

А эта история и вовсе мне знакома. Аймышу Курым-баеву, что живет в этом ауле, восемьдесят лет, а его младшей жене двадцать. Правда, молодая женщина не бросилась в пропасть, но за свою загубленную жизнь мстит, как может, обманывая старого мужа. Старик ревнует и не спускает с нее глаз ни днем ни ночью. Рассказывают про него такое. Надоело одному из батраков терпеть хозяйские придирки, он и решил его припугнуть.

– Атеке! – сказал однажды батрак Аймышу. – Каждую ночь я замечаю, какой-то неизвестный подкрадывается к нашему аулу.

– Когда? – сразу загорелей Аймыш.

– Ночью, когда все спят.

– Так вот что: ты сегодня не ложись, будем караулить негодяя.

– Слушаю, хозяин, – ответил батрак очень довольный.

Дело было зимою, темнело рано. Батрак воткнул лопату на околице аула, накрыл ее тулупом и спрятался.

¹Перевод Д. Бродского.

В условленный час старик вылезает из своей спальни (а он жил с молодой женой и отдельном доме, который на ночь запирает на ключ) и начинает обшаривать все закоулки, а в это время жигит занял уже его место в кровати своей возлюбленной. А Аймыш, ничего не обнаружив во дворе, выбирается за околицу и видит: стоит кто-то и смотрит в сторону его дома. Старик подкрадывается к неизвестному и изо всей силы бьет его железным прутом. Палка с тулупом падает, и старик без ума от страха бросается бежать и натывается на батрака, спешащего ему навстречу.

– Ой-бой!– говорит в ужасе Аймыш.– Я так ударил негодя по голове, что, наверное, убил. Когда я рассержусь, то беда! Иди посмотри, что с ним.

Минут через двадцать батрак возвращается я молча садится на лавку. Вид у него убитый. Аймыш от страха начинает дрожать.

– Ну что?– выдавливают он наконец из себя.

Батрак пожимает плечами.

– Да что?– говорит он нехотя.– Валяется мертвый с проломленным черепом, вот и все!

– Ой, аллах, аллах!– восклицает старик и бросается к батраку.– Милый, хороший, ты уж как-нибудь там... Тело, тело-то уברי, а я тебя не забуду.

– Ну да,– фыркает батрак,– мало ты надо мной издевался. Нет уж, шалишь! Завтра же пойду к господину уряднику.

В общем, старик и наклонялся, и напросился, и наплакался, пока батрак не сжалился над ним, взяв наперед страшную с него клятву, что хозяин отныне не выйдет из его воли,– только после этого он пошел заметить следы и прятать «труп».

Я вспомнил этот случай, читая стихи Абая о старике и его молодой жене.

~ Но не только содержание поэзии Абая вызывало мое восхищение, нравилась мне и форма его стиха, она была поистине мастерской!

Поэзия – властитель языка.
Из камня чудо высекает гений.
Теплеет сердце, если речь легка.
И слух ласкает красота речений.

Эти строки как будто были обращены автором к самому себе. Писал он легко, звучно, свободно. Его не затрудняли ни рифма, ни ритм, обыкновенно так сковывающие мысль поэта.

А если речь певца засорена
Словами, чуждыми родному духу, –
Такая песня миру не нужна.
Невежды голос люб дурному слуху.¹

«Нужно писать только как Абай», – сказал я себе. Но стихи Абая задали мне и множество неразрешимых вопросов. Вот, например, часто я думал, кого уважают в ауле больше всего? Самого умного? Самого старого? Самого ученого? Нет, Абай отвечал:

Наймись к чужим, трудись и будь богат,
Ведь всюду богачей в народе чтут...

И это была правда. Бедняк, ставший внезапно богачом, мог быть уверенным, что никто его не спросит, откуда у него богатство. Аллах послал, вот и все. Таких примеров я видел сколько угодно. Альти разбогател на скупке нерожденных телят, то есть тех, которые еще должны только появиться на свет божий. Занятие мало достойное и во всяком случае смешное. Но разве кто посмел бы смеяться над Альти в пору его расцвета и могущества?

Про отца Жакыпа Кошкенова какой-то дерзкий акын пропел, что он разбогател, найдя на дороге сумку с деньгами, оброненную русскими купцами. Бейсемби Каракотов стал богатеем, зарезав русского купца. О нем акыны пели:

¹Перевод В. Звягинцевой.

Из-под земли вдруг возникает спор.
Отец твой – Каракот – был плут и вор...

Баев, о которых ходили всякие слухи – и достоверные, и совершенно фантастические, – я знал немало. Значит, прав Абай: богатея не могут не уважать? Значит, вопрос только в том, как разбогатеть?

На убийство я не способен; десять тысяч на дороге не найду; в своем ауле больше, чем на дневное пропитание, не заработаю, значит, остается в силе совет Абая: «Иди на чужбину!» А как же жигиты, работающие в городе, на железной дороге, у купцов, на складе и остающиеся всю жизнь нищими?

Но Абай утверждает:

Трудись, не будь ленивцем – и тогда
Не станешь попрошайкой никогда!

А разве мало я знаю людей, которые трудятся и день и ночь на баев, а у себя во дворе не имеют даже курицы или козленка.

Абай говорит:

Богатство, что добыто без труда,
Вновь утечет, как вешняя вода.

Ну, а тот, кто поднял свое богатство на дороге или зарезал человека... Почему они живут да богатеют? Почему им пошло впрок их богатство, нажитое столь несправедным путем?

Я думаю обо всем этом, и голова идет у меня кругом. Как быть? Что делать?

Абай советует: «Учись по-русски. Ключ к жизни – русская азбука». Этот же совет давали мне Баимагамбет и Жунус. Но разве такой бедняк, как я, может учиться? Где взять на учение деньги?

Одним словом, после прочтения стихов Абая я запутался еще больше в противоречиях. Кажется, все проклятые вопросы, которые мучили меня всю жизнь, точно так же задавал себе и Абай. Но кто же он, этот

великан, испытывавший всю скорбь и печали казахского народа? На чьей он стороне? Кому он служит своими чудесными песнями – баям или беднякам?

Так спрашивал я себя и отвечал: конечно, великий поэт на стороне бедноты. Иначе разве мог бы он написать такие, например, строки:

Сытость, равнодушие и безделье
Развращают душу человека...

Ведь не о бедняках же это говорится, а именно о баях, Это они заводят интриги друг против друга и ссорятся из-за власти. А что им надо? Чего им не хватает еще?

В стихах Абая много противоречий, но вот его слова, полные веры в народ:

Притихли люди в ожиданье
И спрятали в груди страданье.
Как будто ты смирил народ?

Ты зорко смотришь за народом,
И он следит за каждым ходом.
И победит в борьбе народ!

И тут же, как будто отчаявшись, добавляет:

Я гнал за несбыточной мечтой,
И жизнь прошла бесплодной чередой,

И совсем пессимистичны следующие строки:

В такое время мы живем с тобой:
Один не воин в поле пред толпой,
Сто человек не победят злодея...

Я вырос там, где клином свет сошелся,
Один я против тысячи боролся.

Подобно горестной могиле баксы,
Остался я на свете одиноким...

Конечно, так Абай писал только под старость. В его ранних стихах звучат совершенно иные мотивы – это мужественные, стремительные строки, полные надежд и бесстрашной решимости. И этот Абай пленил мое воображение на всю жизнь. Его примеру я старался следовать в своем творчестве.

Мой первый сборник стихов, вышедший в 1926 году, открывался таким стихотворением:

Что, душа, ты приуныла,
И о чем вздыхаешь ты?
Видно, жить тебе не мило
Средь забот и нищеты.

Но не мне тебя за это
Перед миром упрекать,
Самому в груди поэту
Горестей не сосчитать.

Важной и высокой цели
Так и не достигли мы.
Шашки надо мной звенели,
Но дошел я до сумы.

Где теперь мое призванье?
Добреду ли как-нибудь?
И найду ли светоч знания –
Указать народу путь?

Не печалься, сын народа,
За тобою вся страна.
Путь прекрасный нам свобода
Освещает, как луна.

Несколько, слов о переводах Абая.

Он перевел на казахский язык отрывки из «Евгения Онегина», лирику Лермонтова и басни Крылова. Среди книг, привезенных Досмагамбетом, были сочинения и великих русских поэтов. Прочитать я их не мог, но внимательно рассматривал портреты писателей. Кое-

кто из присутствующих, глядяваясь в крупные буквы титульных листов, читал по складам: Крылов, Пушкин, Лермонтов. Так я впервые увидел и узнал тех русских, перед которыми преклонялся сам Абай. Не имея возможности прочитать великих поэтов в оригинале, я восхищался ими в переводе и выучил наизусть все, что перевел Абай. Особенно мне нравились стихи Пушкина. Письмо Татьяны к Онегину я пел под домбру на всех свадьбах и вечеринках, и меня заставляли повторять его по многу раз.

И еще имена двух русских великанов литературы узнал я из стихов Абая – это Салтыкова-Щедрина и Толстого. «Тол-стой», – прочитал по складам аульный грамотей на титульном листе одной из книг, и, перевернув страницу, я увидел величественного старца – настоящего аксакала с длинной седой бородой, закрывавшей всю грудь. И опять возникали бесконечные вопросы... О чем писал этот величественный старец, о чем написано в этих пожелтевших книгах? Моей страстной мечтой стало изучение русского языка... Значит, надо учиться. Учиться, поистине не было у меня желания более сильного, чем это.

Я не мог примириться с мыслью, что придется расстаться с книжечкой полюбившихся мне стихов Абая, и пошел на хитрость. Через неделю я отдал молде Сансызбаю книжку, предварительно уговорив его сына Жума, который у меня учился, выкрасть ее у отца. Мальчик выполнил мою просьбу и передал мне книгу. Сансызбай долго ее искал, подозревая всех, кроме меня, ведь я отдал ему в собственные руки...

Книга эта цела и ныне. В 1945 году, в дни столетнего юбилея со дня рождения Абая, я передал ее в мемориальный музей в Семипалатинске. Этот единственный в Казахстане экземпляр первого издания (1909 г.) стихов великого поэта представляет величайшую библиографическую редкость.

СВЕРЖЕНИЕ ЦАРЯ

В этой главе я хочу рассказать вам о самом важном событии в жизни моего народа и моей жизни – о революции. В тот год я жил у Шаймердена и его матери Улберген. По правилам, я должен был бы жить каждую неделю у нового хозяина, но время было голодное, со второй половины зимы (правда, очень мягкой и теплой) запасы продуктов у большинства аульцев подходили к концу, и бабушка Улберген, полюбившая меня, как родного сына, заявила мне твердо и решительно:

– Ты, сынок, оставайся у нас, к другим перейдешь, когда скот окотится, а до этого у них самих есть нечего.

И она была права. Подошла та тяжелая зимняя пора, когда, по пословице «толстый тощает, а худой помирает», осенние запасы кончались, а новых взять было неоткуда. Все ждали отела скота, потому что именно с этого времени жить становилось легче – выручали молочные продукты. Пока же перебивались чем бог пошлет.

Даже те, кто считался, зажиточным, урезали себя во всем, мясо в суп клали только для запаха, а лучшие куски оставляли для гостей. Экономила и бабушка Улберген. Зато после отела (у Шаймердена были две коровы) она подавала нам в больших деревянных

мисках простоквашу и полкаравая хлеба – этого хватало, чтоб наесться досыта. Однажды во время такого обеда, когда все семейство Шаймердена сидело за столом, кто-то постучал в окно и крикнул:

– Шаймерден! Шаймерден! Выйди на минуточку!

По обычаю старого аула так вызывали хозяина только в самых экстренных случаях, например на свадьбу или на похороны.

– Апырай! Что случилось?– испуганно спросил Шаймерден, не зная, что подумать, поглядел в окно и удивлений воскликнул:– Да это же Досмагамбет! Что он, с ума, что ли, сошел?

– Пойди узнай!– приказала бабушка.– Может, верно что случилось, он же аткаминер.

Хозяин встал из-за стола и вышел на улицу.

Аткаминер – в буквальном смысле человек, сидящий на коне. На коне он сидит затем, чтобы разъезжать по окрестностям и представлять свой аул на всех родовых и междуродовых съездах. Но это была, так сказать, формальная его обязанность, главное же занятие аткаминера заключалось в том, что он выискивал, где кто ссорился или спорил, у кого с кем какая тяжба. Обнаружив что-либо, он сейчас же сообщал об этом волостному. И вот на место происшествия немедленно являлся волостной вместе с целой свитой. И пока выяснялось «дело», они пили, ели, гуляли, целыми неделями жили на чужой счет и уезжали, получив обильные дары. Так аткаминер помогал волостному обирать людей, да и сам в убытке не оставался.

Вместе с Шаймерденом на улицу вышел и я. Досмагамбет, увидев нас, замахал руками. Конь его был весь в пене.

– Шеке, суюнши,– крикнул он с хитрой улыбкой.

– Что такое?– спросил Шаймерден настороженно.

– Хурият!– сообщил Досмагамбет ликуя.

– Да ты с ума сошел!– рассердился Шаймерден.– Что я, мальчишка тебе, что ли (он был значительно старше

Досмагамбета)? Говори толком! Что ты загадки загадываешь. О чем толкуешь?

– Ну я же тебе говорю: хурият. Такая радость, а ты...

– Ну, тут толковать не место. Сейчас не лето, заходи в дом, поговорим.– Он повернулся и пошел.

– Да постой, слушай,– крикнул было ему вслед Досмагамбет.

Но Шаймерден только рукой махнул.

Тогда Досмагамбет прыгнул на землю, приветливо поздоровался со мной и, отдав поводья, пошел за ним. Когда я зашел в кибитку, Досмагамбет уже обтирал усы платком, а перед ним стояла пустая чашка айрана. Он крикнул, спрятал платок в карман, поблагодарил бабушку Улберген за угощение и сказал хозяину:

– Так приходи обязательно.

– Увидим,– буркнул Шаймерден,

– Обязательно, обязательно приходи!– повторил Досмагамбет и вышел.

– Что это он?– спросил я.

Шаймерден раздраженно пожал плечами.

– Да разве поймешь этого сумасшедшего, говорит, царя прогнали!

– Какого царя?

– Ну, Миколая! Что, неужели не знаешь?– удивился Шаймерден.– Миколай у нас царь! Вот его и прогнали.

– Да кто же может прогнать царя, если он самый главный?– недоумевал я.

Шаймерден махнул рукой, видимо, не желая говорить на эту тему. Помолчали.

– Ты, когда пойдешь, Сабита с собой возьми. Все равно ведь сани закладывать,– сказала Улберген.

– Да надо ли ехать?

– Поезжай, раз приглашают,– настоятельно проговорила старуха.

– Куда это?– заинтересовался я.

– Да в Каратерек,– нехотя ответил Шаймерден.– Туда народ собирается, Галяутдин, говорят, будет.

Приедет волостной управитель, с ним аульный старшина. Да ведь врет, поди, этот Досмагамбет, он известный болтун.

– Нет, это уж не болтовня,– твердо сказала Улберген,– царем никто шутить не будет. За это и в Сибирь попасть недолго.

Приехали мы в аул Каратерек (от нашего аула до него верст шесть) уже под вечер. Собрание должно было происходить в доме бая Кайралапа Аяпбергенова, однако остановились мы не у него, а в землянке одного бедняка, где напились чаю, и только вечером отправились в дом бая. Площадь перед его домом и все соседние проезды были запружены саними. Обширный двор Кайралапа, освещенный двумя фонарями, был полон народа. С трудом мы пробрались через толпу, но у дверей дома нас остановил Байгутты – придурковатый парень, который никак не хотел пропускать меня.

– Проваливай отсюда, здесь почетные гости!– кричал он.

Но Шаймерден взял меня за руку и втащил в землянку, кинув Байгутты коротко и зло:

– Он со мной!

Обе комнаты землянки – прихожая и чистая половина – были до того набиты народом, что мы еле нашли место, где встать.

– Ты постой тут, а я пойду к хозяину засвидетельствовать свое почтение,– сказал Шаймерден и ушел.

Дом Кайралапа был земляной, стены сложены из плиток дерна, крыша плоская глиняная, в общем, типично байская постройка, разделенная посередине печкой, передняя ее часть служила кухней, задняя – гостиной. Сегодня в кухне ничего не варили, обед для почетных гостей готовился в доме сына хозяина. Я посмотрел через отверстие в чистую половину и прямо перед собой увидел дородную тушу Нургожи. Он сидел в одной безрукавке (в комнате было очень жарко), и время от времени поднимал веселое лицо с

огромным шишковатым носом, будто что-то нюхал. По правую руку от него расположился молодой казах, одетый в городской костюм, с черной бархатной шапочкой на голове. Лицо у него было приятное, глаза маленькие, быстрые, на правой щеке лиловел круглый шрам, похожий на полумесяц. Несмотря на жару и духоту, он не снимал с себя щегольскую лисью шубу с верхом из синего сукна.

«Наверное, это и есть Гаялутдин», – подумал я.

Человек в городском костюме что-то вполголоса говорил, обращаясь к сидящим вокруг него старейшинам аула. Среди старейшин я узнал вожakov родов капсыт, саман и нурымбет, населяющих Анастасьевскую волость.

Шаймерден, поздоровавшись со всеми за руку, вернулся ко мне. В обеих половинах было шумно, все возбужденно говорили о том, что царя уже больше нет и что это очень хорошо, все высказывали свои догадки о том, что будет дальше, но толком никто ничего не знал.

– А ну-ка, кто в передней комнате, выходите во двор, – раздался чей-то властный голос. – Несут обед для гостей, дайте людям спокойно поесть.

Мы с Шаймерденом двинулись было из комнаты, но нас остановил один из распорядителей.

– Шаймерден, – сказал он, – ты никуда не уходи, поможешь подать гостям. А этот ученый паренек пусть идет в землянку Имака (сына Кайралапа) и поест супа.

Кайралап считался щедрым и гостеприимным хозяином, и наелся у него в этот знаменательный день досыта. Но и за едой меня одолевали беспокойные мысли. «Что это значит, – думал я, – царя лишили престола? Кто же мог это сделать? Только тот, кто еще сильнее царя. Ну, а кто же сильнее царя?» На все эти вопросы я не мог себе ответить и поэтому, возвращаясь домой, попросил Шаймердена объяснить мне, что же произошло. Он помолчал, а потом задумчиво сказал:

– По-моему, все это очень мало похоже на правду.

– Почему?

– Ну как же? Если бы прогнали царя, то полетели бы и его слуги, баи. А Нургожа по-прежнему сидит, улыбается и очень доволен всем. Царя нет, а он стал еще сильнее. Раньше он управлял нашим краем через одного волостного – своего племянника Ыбыра, а сегодня и второго племянника привел и уговорил баев выбрать и его волостным.

– Кого же?

– Казыя. А Казый хоть и молод, а вот увидишь, как он возьмет народ за глотку, узнают они хурият.

– А что такое хурият? Все твердят «хурият, хурият», а что это такое?

– Галяутдин говорит – это арабское слово, означает «свобода». Царя, мол, нет, значит, народ свободен. Эх, не обернулось бы только это нам слово иначе. Как бы вместо «хурият», не получили мы «куруят».

– Как, как? – не сразу понял я. – Не получили чего?

– Куруят, – повторяет Шаймерден. – Как? Неужели не знаешь, что это такое?

– Ну как не знать, – ответил я, – «куруят» – значит «позор».

– Ну вот, вот, – как будто обрадовался Шаймерден. – Пожалуй, так и выйдет: баи получают хурият, а мы – куруят, на этом дело и кончится...

БАТЫР, ПРОГНАВШИЙ ЦАРЯ

Шаймерден как в воду глядел: царя прогнали, а царьки остались, и все продолжалось по-прежнему – те же налоги, те же бесконечные тяжбы, тот же произвол аульных старшин и волостных. Однажды Досмагамбет, явившись в наш аул, сообщил:

– Теперь у нас новый царь – Керенский.

– Кто это такой? – спросили его.

– О, это большой человек,– ответил Досмагамбет.– Отец Керенского служил у отца царя Миколая, а сам Керенский в это время играл с Миколаем в асыки. Миколай, как только начались беспорядки, уступил свое царство Керенскому, а потом снова будет царствовать.

В следующий приезд он сообщил новость, еще более потрясающую:

– У казахов будет свой хан – Алихан Букейханов.

– Кто он такой?– спросил я его.

– Прямой потомок хана Аблая,– важно ответил Досмагамбет.– Галяутдин говорит, что учение его среди казахов никого нет.

В эту пору у Досмагамбета родился сын, и он назвал его Алиханом.

Но сколько ни кричали аткаминеры об освобождении, беднота не признавала свободой то, что происходило в ауле. Как и прежде, бедняки мечтали о подлинной свободе, но о том, как ее добывают, представление у них было крайне наивное, в их рассказах принимающее форму фантастическую.

Одну из подобных легенд я слышал в избушке такой крошечной, что в ней и повернуться было негде, и такой низкой, что распрямиться как следует было невозможно, и наконец такой бедной, что вместо стекла окно затягивал бараний пузырь.

Беседе мешало непрекращающееся жалобное блеяние козленка и ягненка.

– А, чтоб вам челюсти свело!– крикнула хозяйка избушки, пожилая, сердитая женщина, и с сердцем ткнула козленка мордой в сухой камыш.– Орет и орет, а чего орет – и сам не знает! Чтоб вам без матерей навек остаться!

А матери в это время ходили по двору, прислушивались к тому, что делается в избе, и тоже жалобно блеяли.

– Жена!– крикнул Жанбырбай, хозяин этой избушки.– Покорми их чем-нибудь, а то они ведь слова сказать не дают.

– Да вот сую им сено под самую морду, а они только нюхают, а не жрут, окаянные,– с досадой крикнула хозяйка.

– Да что ты им сухой тростник суешь!– сказал хозяин.– Они же только что от матки отстали. Ты бы молочка им дала.

Хозяйка вдруг обернулась и злобно посмотрела на мужа.

– Я бы дала,– крикнула она запальчиво,– я бы обязательно дала, кабы ты наготовил, что дать! А утром проснутся твои отпрыски, будут просить есть, а им что дать? Тоже богач нашелся!

Хозяин замолчал: жена была права.

Стояли голодные и тревожные дни апреля 1917 года.

– Тойбала!– крикнул хозяйке младший брат хозяина,– не скупись, дай им молока, пусть замолкнут, дадут послушать. А завтра придешь к нам, жена даст тебе айрана.

Накормила хозяйка крикунов,– новая беда – ветер, все время безжалостно барабанивший по пузырю в окне, наконец одолел его и ворвался в комнату и загасил горящую лучину. Сразу стало темно. Свечей и лампы в доме не было.

– Прежде чем зажигать огонь, возьми халат, завесь окно,– крикнул хозяин,– а то опять задует.

Хозяйка плотно прикрыла окно и запалила лучину.

– Эй, эй!– крикнул вдруг хозяин, увидев высунувшиеся из-под куска старой кошмы головы своих ребятишек.– Ложитесь спать! Нечего слушать разговоры взрослых.

– Да пусть послушают!– заступился за ребят кто-то из присутствующих.– Это всем интересно. Ну, Жан-бырбай, начинай!

И все затихли, даже козленок и тот вдруг замолк, стоял, смотрел на огонь блестящими выпуклыми глазами, шевелил ушами и беспокойно думал о чем-то сугубо своем...

А хозяин медленно начал свой сказ.

– Живет царь во дворце, а дворец стоит, по словам знающих людей, за сорока стенами: одна стена каменная, другая железная, за ней стена медная, потом стена серебряная, золотая, бриллиантовая, а дальше и уже неизвестно, из чего сделаны все остальные стены. Известно только, что есть и такие стены, которые целиком сложены из человеческих костей, а купол дворца и башни сплошь состоят из черепов! Сам же дворец золотой. Он так велик, что для того, чтобы обойти его кругом, требуется целый месяц. Вокруг дворца, разбит сад невиданной красоты. В саду озеро с золотыми рыбками, плавают по этому озеру гуси-лебеди. Во дворце всегда стоит сплошное лето, ибо все сорок стен дворца крыты одним сплошным куполом, который летом открыт настежь, а на зиму запирается наглухо. Вот и поехали наши казахи в этот дворец просить царя освободить казахов от рекрутчины. Ехали они, ехали и наконец приехали в город Кетрампор, невдалеке которого стоит царский дворец. Постучали в ворота, вышла царская охрана, закричали, заругалась, выгнала казахов в шею. А была зима, и такие холода стояли, что вороны падали мертвыми на лету. Несколько дней и ночей стояли посланцы возле дворца, все ожидали, не выйдет ли к ним царь. Но не вышел, видно, не доложили или просто разговаривать не пожелал. Вернулись казахи в Кетрампор и стали размышлять: что же теперь делать? Не иначе, как придется посылать прошение, но ведь его мудро надо составить, так хитро, чтоб каждая строка дошла до царского сердца. Где найти такого человека? А жил в том же доме русский старичок, ста семидесяти пяти лет от роду, пережил он двенадцать царей и двенадцать цариц, и поэтому не было никого в городе его мудрее. Он и присоветовал: «Есть в городе один человек, фамилия его Распекеу, вот он может вам помочь. Только захочет ли? Съездите, поклонитесь

ему в ноги, авось попадете в добрую минуту, только смотрите, – с ним держать ухо надо остро. Не понравится вы ему, он вас живьем слопаёт и не подавится». Так ли, эдак ли, но выхода-то нет, с пустыми руками обратно не воротиться. Собрались наши посланцы, помолились аллаху, попросили у него милости и пошли к Распекеу.

Пришли и видят, сидит Распекеу в кресле – гора горой, рот его как овечий загон, глаза как ямины, нос как кепе¹, борода черная, неровная, как тростник после пожара, весь он как-то согнулся, перекосоротился, и такая у него образина, что если ненароком кому приснится, так тот потом всю ночь не будет спать. Спрашивает их Распекеу громким голосом:

«Что вам, киргизы, надобно? Зачем приехали?»

Отвечают ему наши посланцы:

«Пришли мы государю поклониться и просить его, чтоб он вспомнил клятву своего покойного отца и вернул нам дарованные им льготы. А то идут наши жигиты воевать, а за что воевать, с кем воевать, так никто и не знает».

Засмеялся, заржал Распекеу так, что весь дом зашатался.

«Видно, правду, говорят, что умирать-то никому не хочется. Ну ладно, пойду сейчас во дворец, все устрою».

Обрадовались посланцы, упали ему в ноги, кланяются и благодарят.

«Стойте! – говорит Распекеу. – Даром у нас ничего не делается, платите деньги!»

«А много ли вашей милости требуется?»

«Не много, но миллион червонцев надо положить».

Ну, скажите сами: легкое, ли дело – миллион червонцев. Наверно, во всей степи овец столько нет.

«Нет, ваша милость, – говорят наши казахи, – столько денег у нас не найдется».

¹Кепе – шалам.

«Так какого же шайтана вы сюди ехали?– крикнул Распекеу.– Приехали, а денег не взяли? Сейчас же собирайтесь и поезжайте обратно к своим баранам, чтоб и духом вашим тут не пахло!»

Поклонились наши посланцы и пошли к выходу.

А Распекеу им вслед кричит:

«А если завтра не уберетесь прочь, я вас засажу в подвал на сорок сажен под землю, и вы никогда больше и света божьего не увидите».

Еле-еле несчастные ноги унесли. Пришли домой, лица на них нет. Рассказывают про все это старцу. Покачал старец головой и говорит:

«Если так, остался вам один выход: идите к Болшайбеку, если он над вами сжалится, то разрешит ваше дело в один миг, а нет – так уж, значит, и нигде вам правды не пайти».

Узнали казахи адрес Болшайбека и пошли к нему. Пришли, видят; сидит в комнате великан, поглядел на посланцев и эдак ласково их спрашивает:

«Что у вас за печаль, казахи?»

Рассказали они ему все. Нахмурился Болшайбек, так ударил кулаком по столу, что весь дом загудел.

«С этим делом, говорит, я сейчас справлюсь. Эй, слуги, приведите сюда моего старшего сына Ленина».

Пришел старший сын, поклонился отцу в пояс, кивнул головой посланцам, встал у притолоки и слушает.

Говорит отец:

«Сын мой, этих людей очень обидел Распекеу, пойді во дворец и рассуди их с царем».

Подошел Ленин к стене, снял стальную кальчугу, надел на себя, на голову надел медный шлем, опоясался булатным мечом и говорит нашим посланцам:

«Идемте!»

Дошли они до дворца, вызвал Ленин стражу, велит ей распахнуть все сорок ворот.

«Я иду к царю судить его».

Отвечает стража:

«Пропускать – приказа нет!»

«Ах так,– закричал Ленин,– ну, держитесь!»

И от его крика сразу вся стража, сколько ее там было, повалилась на землю. Как толкнул Ленин первые, кирпичные ворота, так они и посыпались, размахнулся, толкнул вторые, стальные ворота, сразу ворота с петель слетели, серебряные сорвал и, как лист бумаги, в трубку свернул. Таким образом, сбил он все сорок ворот и вошел вместе с казаками в царский сад. Знал он, что в это время царь на пруду золотыми рыбками забавляется. Пришли туда – нету царя, одни гуси-лебеди плавают. Подошел в это время к Ленину старый царский слуга и что-то прошептал ему на ухо.

«А,– закричал Ленин,– пойдете туда! Это проделки Меншейбека, он предупредил царя».

Был, оказывается, в городе карлик, его-то и звали Меншейбек. Сам с ворону, а такой злой, что постоянно в драку лез. Ткнешь его пальцем, упадет и сейчас же вскочит, слюной забрызжет, как бешеная собака, и драться полезет, опять его ткнешь, опять полетит и опять полезет, пока его опять не тряхнешь так, что он рот разинет. Был он знахарь и занимался фискальством: каждый день приходил к царю и докладывал, кто что про царя говорит и какие козни против него замыслил. За это царь ему каждый год отпуская слиток золота величиной с конскую голову. Вот этот-то пес и предупредил царя об опасности, и если бы не старик, пожалуй, долго пришлось бы Ленину лиходея искать. Вбегает Ленин через потайную дверь в подземелье и видит: лежит груда ковров, а из-под нее торчат головы: одна царская, другая – Распекеу и третья – самая маленькая, почти как у куренка,– проклятого Меншейбека. Увидела вся эта нечисть Ленина, завывала, запрыгала, задергалась, как волки в капкане.

А Ленин обернулся к нашим старикам и говорит:

«А ну-ка, пришлые люди, покажите царю ярлыки, те самые, что даны вашим дедам!»

Развязали казахи мешок, вынули ярлык, написанный крупными буквами на собачьей шкуре и скрепленный самой большой царской печатью. А на ярлыке том написано, чтобы жить казахам вольно, мирно пасти свои стада, платить посильно налоги, а в солдатах не служить отнюдь.

Увидел этот ярлык царь, даже в лице переменялся, – он-то думал, что ярлык давным-давно мыши сглодали, видимо, ему Меншейбек об этом наврал.

«Ну, – говорит Ленин, – видел? Не стыдно тебе? Какой же ты человек, если от родительской клятвы отрекаешься? Давай шею!»

И с этими словами надел на царя ошейник и повел по всему городу, как собаку, на позор перед всем миром. Вот так и пала царская власть,

Рассказчик кончил. Наступило короткое молчание.

– Может, так и было, – сказал наконец кто-то. – Царя-то верно нет, а толку что?

– Цари нет, а царьки-то остались, – с ожесточением плюнул один из слушателей. – Вон Нуртаза еще глаже стал, ходит, брюхо поглаживает. Не житье ему, а рай,

– И жигиты наши по-прежнему на фронте, – горько сказал самый старший из присутствующих.

– Значит, некому об этом Ленину сообщить, – задумчиво произнес хозяин. – Значит, не знает он, что у нас здесь творится.

– Вот бы рассказать ему, – вздыхает кто-то. – Хоть бы посмотреть нам на него.

МАЛЬЧИК-МОЛДА

В середине лета 1917 года, когда наш аул уже выехал на джайляу, я повстречался с Баймагамбетом. Он поразил меня своим великолепием: был в пальто с бархатным воротником, в штиблетах и шляпе. Он стоял и разговаривал с Досмагамбетом.

– А вот и Сабит,– сказал он, увидев меня. Мы обменялись рукопожатием.– Здравствуй! Здравствуй, дорогой! Ишь как вырос и возмужал! Доса¹, а ну пойдем выкупаемся в озере, по дороге и поговорим.

– Ну нет,– ответил Досмагамбет,– я только что обедал и так наелся, что мне и двигаться трудно. Пойду вздремну с часок, а вы прогуляйтесь!

– Пойдем, Сабит!– улыбнулся Баймагамбет и, скинув пальто и шляпу, отдал их Досмагамбету.– Пойдем, поговорим о жизни.– Он взял меня под руку.– А что ты такой хмурый? Сердишься на меня, что ли? За что?

– Полгода молчал, не отвечал на письма и не знаешь за что я сержусь?

Лицо Баймагамбета сделалось серьезным.

– Что правда, то правда, отрицать не буду. Завертелся. Не то, что письмо написать, поесть в иные дни было некогда. Тут такие дела пошли. Ведь сейчас в Москве...– И он рассказал о том, что происходит в Москве.

И это был поистине мой первый в жизни разговор на политические темы. Баймагамбет подтвердил, что царя нет, но власть по-прежнему в руках помещиков и капиталистов. «Помещики и капиталисты»– эти и подобные слова, которые потом мне пришлось так часто произносить, я услышал впервые именно в этот вечер. Узнал я также от Баймагамбета о том, кто такие большевики и меньшевики, что такое Алаш-орда и алашордынцы. О них он сказал мне так:

– Баи, муллы и ученые мусульмане задумали создать свое казахское царство, наподобие того, какое существовало при хане Аблае, и отделиться от России.

– И будет лучше, чем сейчас?

Улыбаясь, он пожал плечами.

– Баям, конечно, лучше. Тогда уж на них никакого закона не сыщешь. А бедняки, пожалуй, еще поплачут горькими слезами.

¹Доса – уменьшительное от Досмагамбет.

И он мне прочитал свое стихотворение, посвященное Февральской революции:

Пора настала действовать, родные,
Теперь уже никто не склонит выи.
Ты был подавлен горем и нуждою,
Теперь настали времена иные.

В стихотворении были еще четыре строфы, и оно мне очень понравилось.

– Вот ты как пишешь, – сказал я, – а Шаймерден-то знаешь что говорит... – И я передал слова о хурии и куруяте.

– Ну что тут сказать? Старик, конечно, прав, я и сам в этом теперь убедился. Царьков даже еще прибавилось, но и их конец не за горами, время пошло не то. Линия фронта колеблется, и, кажется, борьба неизбежна. Только теперь уже бедняки пойдут не на царя, а на баев.

Тогда я спросил его: если все обстоит действительно так и неизвестно, что будет завтра, то что же делать мне?

Это был сложный вопрос, и в ответ на него он только пожал плечами.

Я понимал сложность своего положения «мальчика-молды». Учить детей у меня не было никакого права, я сам толком ничего не знал. Читал еле-еле, а писать почти совсем не мог. Поэтому мне ничего не оставалось, как только «ломать» языки ребятам. Нельзя было, понимая все это, продолжать заниматься не только бесплодным, но и вредным делом.

Все это я пытался объяснить Баймагамбету, спрашивая у него, что мне делать и как вырваться из этого заколдованного круга.

– Ну вот что, – решил он наконец. – До осени целый месяц, а за этот месяц еще бог знает что может произойти. Да и я что-нибудь придумаю. Одним словом, пока сиди и жди моего письма из Стапа.

Так мы и порешили, но письма его я не дождался. В мою жизнь снова ворвалась злая неожиданность и резко изменила ее.

Моим планам помешало неожиданное и на первый взгляд совершенно вздорное происшествие. Еще до моего приезда в аул там умер некий зажиточный человек Самеке, и во время великого мусульманского поста, почти сейчас же после отъезда Баймагамбета, родичи умершего решили устроить поминки по усопшему. Состоят они, по мусульманскому обычаю, из исполнения разнообразных намазов, в том числе и из того, который называется хатм. Читать хатм может только кари, а это звание дается человеку, выучившему весь Коран наизусть. Такой кари во всем роде покойного нашелся только один – мой товарищ по школе (мы вместе учились у кишкене-молды), слепой мальчик Исахмет Рымбаев. Он знал Коран наизусть еще при мне, то есть лет пять тому назад, а потом обучался еще в специальном медресе у Карибая-хаджи и именно там и получил звание кари.

Исахмет прибыл в аул в сопровождении целой свиты: Молдахмета – свата покойного, Батжана – молды и еще нескольких человек. Приезд Исахмета был для меня большой радостью. Высокочитимый кари был тем слепым мальчиком, товарищем, которого я за руку водил по Жаман-Шубару, Мы вместе сидели с ним на уроках, оба в свое время досыта вкусили сладость розг Шайтана-молды, и поэтому, несмотря на почти пятилетнюю разлуку и на то, что мой сверстник был старше меня на несколько лет, радость наша при встрече была беспредельна.

Исахмет стал по-настоящему ученым. Кроме Корана он еще довольно порядочно переводил с арабского, знал кое-что из химии, физики и других мирских наук. Правда, все это по-особому. Так, например, таблицу умножения по арабской системе он произносил так: $6 \times 6 = 4$ ($2 \times 2 = 4$); $6 \times 7 = 5$ ($2 \times 3 = 6$); $6 \times 4 = 8$ ($2 \times 4 = 8$). Эта бездна премудрости так ошеломила меня, что я почувствовал себя перед ним совершенным невеждой.

Несмотря на свое высокое звание (шуточное ли дело в его лета быть кари!), он по-прежнему остался простым, добрым и бесхитростным товарищем. Мы крепко обнялись, он даже всплакнул. Я ему рассказал про свои планы, он горячо поддержал меня и сообщил, что первые казахские школы уже открыты и работают. Перед его отъездом несколько жигитов собирались на двухмесячные учительские курсы в Омск, Этой осенью, вероятно, попасть не удастся, но надо рассчитывать на зиму. Как бы там ни было, учиться надо обязательно, без ученья в наше время человеком не станешь.

– И вот еще что, – сказал он, – говорят, ты сочиняешь стихи и поешь их под домбру. Обличаешь то одного, то другого, и все на тебя сердятся, все делают тебе неприятности, гонят тебя отовсюду. Вот из этого аула тебя тоже собираются выгнать и выгонят, если не уймешься. Ну разве хорошо это? Всех разозлишь, как будешь жить дальше? Подумай, ты ведь уже не маленький!

Много раз слышал я эти советы и увещания, и все-таки ни одно из них не пошло мне впрок.

Но мой товарищ был прав: ничего, кроме горя, песни мне до сих пор не приносили. И на этот раз случилось так же.

Во время намаза «хатм» кари сажал меня рядом с собой. Для удобства Коран делится на тридцать частей и читается шесть дней. Ежедневное чтение вместе с исполнением других обрядов и намазов называется «тарауих». Продолжается оно пять, а то и шесть часов, и в десятиминутных перерывах исполняется молитва «тасбих». Эту молитву читал я. Голос у меня был звонкий, молитву я читал быстро, звучно, без одной запинки. Таким образом, я был вторым действующим лицом на поминках. Можно себе представить, как это льстило моему самолюбию! И вот все это внезапно оборвалось. Как и пророчил Исахмет, мне пришлось покинуть аул. Дело в том, что мой друг из всех намазов

мог только читать Коран, все остальные намазы калека исполнять не мог; могли это сделать в данном случае только два человека: Байтан, привезший слепого, и Шугаиба, и ни один из них не хотел уступать другому эту высокую честь. И вот началось. Однажды Байтан спросил меня, правда ли, что я сочинил стихи, разоблачающие молду Шугаибу, как мошенника и вора, обокравшего собственную сестру. Такую песню, по наущению Досмагамбета, я в свое время действительно написал. Дело в том, что этот учитель, как сообщил мне тот же Досмагамбет, разругавшись с сестрой, украл у нее овцу и зарезал. А сестра обыскала мечеть и нашла шкуру и мясо несчастной скотины. Об этом скандале я и написал песню. Когда я рассказал все Байтану, у него даже глаза загорелись.

– Вот это здорово!– воскликнул он – Знаешь что? Спой все это при молде! Вот он запрыгает!

Я, конечно, отказался, а дальше все произошло уже без моего участия. Через несколько дней захмелевший Байтан кричал:

– Вор! Сестру обокрал! Мясо в мечети спрятал! Вор! Вор! Продажная твоя душа! Вор! Вор!

Молда, без лишних слов, ударил обидчика; началась потасовка. Потом противников растащили и помирили. Когда стали выяснять, кто посвятил Байтана в эти события, он указал на меня. После этого весь род оскорбленного вероучителя потребовал моего изгнания. В середине лета я оставил спою должность учителя.

Я работаю косарем у молды Сансызбая в ауле Жуан-Агаш. Мне положены харчи, годовая телка и летняя одежда. Хожу я в холщовой рубаше, таких же штанах и старых чеботах. На покосе работают еще десять человек – аул небольшой, косят сообща – кто для себя, кто для хозяина. Шутя и соревнуясь, мы подгоняем друг друга, цель каждого из нас заставить переднего

косаря сойти с места и уступить дорогу. С этого соревнования и началось мое новое несчастье. Я сцепился сначала в шутку, а потом уже вполне серьезно с одним из жигитов и чуть не заплатил за это жизнью. Но расскажу все по порядку.

Работа косаря в степи в жаркие дни требует силы, выносливости и почти воловьего терпения. Работать приходилось от зари до зари, клали косы только на полчаса, для того чтобы смочить пересохшие от зноя губы. Лето в этот год выдалось особенно жаркое, косили без рубах: во-первых, они прилипали к телу и мешали движениям, а во-вторых, они разваливались прямо на глазах, и Сансызбай, давая мне рубаху, предупредил:

– Смотри, чтоб ее тебе хватило до конца покоса, а то будешь ходить голым, пот ее съест за неделю, а осенью, когда наступят холода, надеть будет нечего. Сейчас работай так.

Я и работал так, да иначе было и невозможно, – пот лил с меня ручьями, а рубаха, прилипшая, а иногда и присохшая к телу, вызывала нестерпимую боль, косить полуголым конечно, много легче. Но у голого человека летом в степи есть один свирепый и почти неодолимый враг – комары и мошкара. В одной из предыдущих глав я уже довольно подробно описывал, что это такое, поэтому здесь скажу только то, что в этот год комаров было особенно много, они сплошь покрывали мое тело, и под вечер оно горело, как будто его жгли огнем. Ночью комары становились еще злее, и наш травяной шалаш просто гудел от их противного звона. Правда, комары боятся дыма, и один костер мог бы разогнать их на всю ночь, но кто согласится, проработав днем, бодрствовать еще и ночью. А оставить костер без призора нельзя, тут и до пожара одна минута. Поэтому мы разводили огонь только вечером для приготовления пищи. Кажется, разве тут уснешь? А мы спали и как еще спали! Наш старший,

Жаке, еле-еле мог нас добудиться на заре. Об этом человеке стоит поговорить особо. Я пишу, что он нас будил на заре. Дело в том, что я вообще не знаю, когда он спал, с темна до темна работал вместе с нами, а в то время, пока мы спали, он успевал еще отбить косы, причем справлялся он с этим трудным делом в полной темноте, даже не видя лезвия косы. Как он все это делал, составляло его секрет.

Итак, работал я с зари до зари, сжигал меня степной жар, терзали комары, валила с ног усталость, едкий пот съедал одежду, и при этом я еще голодал. Всех батраков кормили хорошо, но мой хозяин посылал мне в поле сухой, крошащийся, как кизяк, сыр и разбавленное кислое молоко. И я ходил, шатаюсь от усталости и недоедания. Желающих представить мое настроение более полно отсылаю к стихотворению «Жалобы батрака», написанному мною именно в то время. Ко всем несчастьям прибавилось еще одно – вражда с одним из косарей, о которой я уже упомянул вначале.

Ненавидел меня уже взрослый жигит (в пору моего рассказа ему исполнилось двадцать пять лет) – франт, весельчак и женский угодник. Спор наш вышел из-за девушки. Она мне казалась совершенной красавицей, и я ей писал письма в стихах и прозе. Конечно, она не отвечала на них, но до сердца ее они доходили, – это я видел хотя бы по тем улыбкам, которые она дарила мне. И вот тут вырос между нами, как колючий чертополох, жигит Канапия Орманов. Однажды он отвел меня в сторону и стал расспрашивать о моих отношениях с этой девушкой, о видах на нее. Какие там отношения, какие виды! По чести должен бы я ответить ему: «Пишу ей письма, на которые она не отвечает», – вот и все. Но я был горд своим успехом, этим разговором, вопросом и поэтому только загадочно улыбнулся и пожал плечами.

Тогда Канапия сказал:

– Короче, у меня к тебе просьба. Исполнишь?

– Смотря какая,– ответил я, а про себя добавил:
«Пока жив, не видать ее тебе, как своих ушей!»

– Уступи мне... (тут он назвал мою любовь по имени).
Зачем она тебе? Ты еще мальчишка, мало ли еще
встретишь, пока вырастешь, таких, как она, а мне без
нее не жить.

Все во мне затрепетало от торжества: он, взрослый
парень, фразит, жигит, просит у меня, мальчишки,
пощады. С хорошо разыгранным недоумением я
ответил:

– Агай, о чем идет речь? Что, разве я ей близкий
человек? Делай, что хочешь! Я-то тут при чем?

Он так и вцепился мне в руку.

– Брось хитрить, парень! На дурака напал, что ли?–
зашипел он.– Не вижу я, как она на тебя смотрит? Пока
ты не бросишь свои штучки, она ни на кого и глядеть
не захочет. Отстань от нее и возьми с меня выкуп.

Ликуя от внутреннего торжества, я опять пожал
плечами.

– Убей меня аллах, я не понимаю вас, агай.

Тогда он сжал кулак и поднес к моему носу.

– Видно, с тобой вот так нужно разговаривать,
бездомный пес,– сказал он злобно.– Ну что ж, я и так
могу, посмотрим, чья возьмет!

С этого все началось. И особенно наша вражда
усилилась после одного случая, вернее, игры, название
которой я уже мельком упоминал в одной из начальных
глав. Игра эта называется «хан», или, точнее и полнее,
«Хорош ли хан». Играют в «хана» так: сначала играю-
щие выбирают трех человек: хана (обязательно жена-
того), ханшу (обязательно замужнюю, молодую разбит-
ную женщину), визиря (неженатого жигита). После
этого хан рассказывает играющих полукругом так, чтобы
каждый парень сидел между двух девушек. Молодую
сажают отдельно, это так называемая «тюрьма шести
женщин»: в нес посылают проигравших жигитов.

В начале игры визирь поочередно вызывает играющих. Жигит, вызванный визирем, подходит к хану в сопровождении двух соседок, и хан приказывает ему спеть песню. В ней должно быть девять хвалебных куплетов, расположенных так: в первых трех жигит хвалит хана, в трех последующих ханшу и в трех последних – визиря. После этого, обняв обеих своих соседок за талию, жигит поднимает их и, держа на весу, поет еще шесть куплетов, посвященных этим девушкам. Потом, поставив их на землю, жигит поет еще двенадцать четверостиший. Правила игры скрупулезно оговаривают содержание и построение этих двенадцати последних куплетов: три из них должны воспевать людей и животных, три – неодушевленные предметы, три должны быть наполнены небылицами; и три последних составлены из перестановленных строчек предыдущих куплетов. Например:

На базаре чашку я купил.
Трудно песню при народе петь.
Победителя на конских скачках
Породила, ты на радость нам...

При перестановке получится:

Породила ты на радость нам
Победителя на конских скавсах.
Трудно песню при народе петь.
На базаре чашку я купил.

Итак, если жигит спел все двадцать четыре куплета, хан спрашивает его, доволен ли он своими соседками. Если жигит ответит, что доволен, то он имеет право поцеловать их в губы. Если же жигит недоволен, то хан спрашивает: «А какая из присутствующих тебе нравится?» На этот вопрос жигит должен ответить тоже стихами и в них же объяснить причину своего недовольства. Лишь после этого хан разрешает ему сесть с названной им избранницей. Если жигит затрудняется объяснить причину недовольства, он остается с прежними соседками. Так хан обходит весь круг,

выслушивает все песни и следит за тем, чтобы никто из играющих не повторил уже раз пропетых кем-либо куплетов. Жигиты, которые не в состоянии ничего спеть или которые начали петь, но не кончили, штрафуются либо деньгами, либо мелкими предметами – платками, зеркальцами, гребенками, кисетами – и тогда имеют право возвратиться на прежнее место и даже поцеловать соседку; если же кто-либо окажется неплатежеспособным, хан сажает его в «тюрьму шести женщин», то есть от девушек его пересаживают к молодыхам. Это считается уже настоящим позором и насмешкам над проштрафившимся нет конца.

После окончания игры доходит очередь и до хана. Один из участников игры обращается к другим с вопросом: «Довольны ли ханом? Хорош ли он?», то есть хорошо ли хан руководил игрой. Если хан человек почтенный, уважаемый, все закричат: «Хорош! Хорош!» – и все на этом кончается. Иное дело, если хан не из авторитетных, да еще и игрой руководил плохо. Тогда играющие закричат: «Нет, не довольны! Плох хан, плох!» Начинается главная потеха – распродажа хана. Продавец громогласно возглашает: «Продаю». – «Что?» – спрашивает кто-нибудь из участвующих. «Глаза хана», – отвечает продавец, «Беру», – кричит покупатель. «Зачем они тебе?» – спрашивает продавец. «Глядеть на навоз», – отвечает покупатель. Общий хохот, глаза проданы. «Беру», – провозглашает покупатель. «Что?» – спрашивает продавец. «Руку хана», – отвечает покупатель. «Зачем?» – спрашивает продавец. «Навоз чистить», – отвечает под общий хохот покупатель. Так распродают всего хана по частям. После этого объявляется «туйе-бас» (верблюжья голова). Несчастливого хана берут в кольцо, начинают щелкать в лоб, в нос, в щеки. На этом игра и кончается.

На одной из таких игр я и заметил впервые девушку, которая мне понравилась, и именно точно такая же игра, повторившаяся месяца через два после описан-

ного мной разговора с Канапией, и довела меня до беды. Во время этой игры девушка, избранная мною, оказалась рядом с моим соперником. Обидно мне было очень, но что же я в конце концов мог сделать? Против законов игры не пойдешь. Канапия весь так и сиял, но счастье его продолжалось очень недолго: к хану его вызвали раньше меня, он не сумел ни спеть требуемых куплетов, ни откупиться, и поэтому его хотя и не посадили к замужним женщинам, но пересадили к другой соседке. Место около моей любви оказалось свободным. Я больше всего боялся, чтоб его не занял кто-нибудь раньше меня. Но случилось так, что все жигиты, боровшиеся за это место, осрамились точно так же, как мой соперник, и девушка оставалась свободной.

– Ну-ка, пой мне хвалу!– приказал хан, когда дошла очередь до меня.

Я запел, (песня была сочинена мной незадолго до этого):

Мой господин и хан, я пред тобой
Стою с опущенною головой.
Твой визирь повеленья ждет, владыка,
Руководи по совесть игрой.

Такого хана не было и нет.
Да здравствует наш хан на много лет!
Прослышав, что награда – поцелуй,
И я принес стихи, весь свой букет.

Но дай, когда настанет час наград,
Мне помоложе деву для услад,
С косой, дугообразными бровями.
Чтоб страстным был ее девичий взгляд!

– Молодец!– улыбнулся хан. – Теперь прославь ханшу.
Я запел:

Как роза, наша ханша хороша!
Жемчужина! На ханский суд спеша,

Надеется народ, что мысли хана
Направит правильно твоя душа.

Муж – голова, а жены – гибкость шей,
Но в жизни шея будет поважней!
При справедливом хане, доброй ханше
У всех людей на сердце веселей.

Пусть девушки, как розы, расцветут!
Пусть судьи справедливостью живут!
Но если не рассадит нас попарно,
Твой пир поэты скучным назовут.

– Лучше не придумаешь, – похвалил меня хан и
посмотрел на ханшу. – Теперь пой о визире.

Я запел:

И визирю привст мой, господин!
Мы слушаться готовы, господин!
Но, в ход жестокую пуская плетку,
Смотри не изувечь нас, господин!

Ты взяточкою себя не запятнай,
С народом грубо ты не поступай
И поговорку: «Вежливый начальник
Всегда народу мил» – не забывай!

Будь справедлив и отведи беду,
Когда прибегнет к твоему суду,
И отвернись скорей, когда стыдливо
Влюбленные целуются в саду.

– Вот это угадал, – захохотал хан. – Ну, а теперь что
ты скажешь о своих соседках? Нравятся они тебе или
нет?

Куда там нравятся! Я сидел среди двух «бабушкиных
коров», так в ауле зовут перезрелых дев, и не знал, куда
себя девать. Но больше всего меня страшило другое:
одна «корова» была толста, как бочка, другая – длинна,
как столб, а ведь по непререкаемым правилам игры я

их обоих должен поднять и, держа на весу, пропеть шесть куплетов – подвиг, который свершит не всякий взрослый жигит.

Но надо мной сжалилась ханша – молодая, бойкая, веселая молодка лет тридцати. Она покровительствовала моему чувству и не раз передавала девушке мои послания, а я ее одаривал за это всем, чем мог. Вот эта ханша незаметно подмигнула мне и шепнула хану.

– Разве может поднять парнишка двухэтаких «коров». Пусть споет так, у него, я знаю, заготовлены интересные песни, а то ничего не услышим:

Хан кивнул головой, и я запел:

Если б в ад меня грехи послали,
И таких жигитов сто послали,
Не желал бы я нисколько рая,
Если б с нами сто девиц послали!

Девушка! Такое слово пеньем
Наполняет сердце и волненьем!
И вкусить из уст девичьих меду
Ждут уста жигита с нетерпеньем.

Девушка подобна розе рая,
Я над ней – как пчелка золотая.
Если б я нашел в ней каплю меда,
Пел бы я, судьбу благословляя.

– Правильно! – одобрил хан.

Дальше я запел следующие по порядку стихи, про птиц и животных:

В небе стая горлипок летает,
Сыр судьба вороне посылает.
Беркут, жирным соблазнившись зайцем,
В сеть расставленную попадает.

Лень навек воплощена в верблюде,
Нет глупей быка, считают люди,
Но и он свои рога опустит,
Если волк кидаться в битву будет.

Всех зверей в лесу лиса хитрее,
Лишь собака бежит быстрее.
И когда кобыла ржет на поле,
Мерин грустно опускает шею.

– Молодец!– захохотал хан.– Пой дальше.
Я запел:

Дверь раскрытая нас приглашает.
Дверь закрыть крючок нас убеждает,
А подушки и ковры на торе
Нам прилечь на мягком предлагают.

Манят нас подушки пуховые,
Песня просит спеть ее впервые,
Домбра говорит! «Ударь по струнам,
Чтоб звенели струны золотые!»

«Пей,– сказал кумыс,– и пей, кто молод!»
Мясо: «Ешь, я утолю твой голод!»
Ночь: «Целуй любимую нежнее,
Я укрою вас, развею холод».

– Теперь небылицу!

В сети, что паук плел в небылице,
Жеребят загнал я с кобылицей,
Их порвать не мог табун с разбегу,
Крепче паутина, чем темница.

Я на рыбе ехал на пирушку,
Байский сын просил продать зверюшку,
Предлагал за рыбу сто баранов,
Но не продал я свою игрушку.

– Ну, напоследок спой переставленные строки.

Средь животных нет овцы смелее.
Обойдя весь свет и тигра злее,
Смелая овца домой вернулась,
Разогнав волков и грозно блея.

Разогнав волков и грозно бляя,
Смелая овца домой вернулась
Обойдя весь свет и тигра злее,
Средь животных нет овцы смелее.

И только я спел эти строчки, как ханша решительно сказала визирю:

– Хватит! Веди его и посади, где он захочет.

– Осталось еще два куплета, – сказал хан.

– Хватит! Хватит! – перебила его ханша. – Много таких песен вы слышали от жигитов? Что теперь поют парни:

Привезли корову нам с базара,
Ветер в девичьих платьях гуляет.

Хан был в хорошем настроении. Он засмеялся и махнул рукой.

– Ладно! Визирь, веди его в круг и посади около Еркежан, – так хан называл мою возлюбленную.

Когда возвращались домой, меня догнал Канания. Он весь дрожал от злости.

– Ну, держись! – сказал он. – Я видел, как ты подкупал сноху.

– Какую сноху? Ты с ума сошел!

– Ладно! – злобно махнул он рукой. – Ну, бездомный пес! Не уйдешь от моей руки! Не уйдешь! Я тебя на всю жизнь научу!

И действительно ведь научил. Справиться со мной в драке или борьбе он не мог, хотя и был несравненно сильнее меня. Пользуясь неуклюжестью Канании, я, подножкой или каким-нибудь другим столь же легким и неожиданным приемом, усвоенным мной еще в раннем детстве, клал его на спину. Но однажды на сенокосе, затеяв со мной какую-то пустячную ссору, он и драться не стал, а просто схватил лежавший на земле кол и треснул меня изо всей силы по голове. Я рухнул как подкошенный и очнулся только вечером и, надо

сказать, как раз вовремя. Еще немного, и меня бы бросили в зыбкую трясину.

– Он же все равно уже мертв,– говорил Канапия.– Что же оставлять здесь труп? Скажем, что он сбежал с сенокоса, вот и все.

– Э, нет!– говорили другие.– Как это сбросить человека в трясины, трясина засосет и живого и мертвого, а он еще теплый и очнется, может быть. Ведь он не безродный, не бродяга, у него есть родственники. Это живой он никому не нужен, а за мертвого жаман-шубаровцы сразу спросят со всего аула. А чем платить будем?

Во время этого спора я очнулся. Два дня я лежал в шалаше и не поднимал головы, у меня опух висок. А на третий день добрые люди мне посоветовали:

– Предостерегали тебя, а ты не послушался, вот чуть и не получилось убийство. Хочешь пожить еще на свете, забирай, что есть у тебя, и уходи.

Пришлось опять бежать.

КОНОКРАДЫ

Я покинул Жуан-Агаш и ушел к зятю. Работал Болатбай в это время на казенном участке, арендованном Лауэном, или, иначе сказать, русским кулаком Леоном Ивановичем Есиным. Раньше Лауэн засеивал пятьсот десятин, а сейчас засеял сто и то, по словам зятя, сеял да все кряхтел и оглядывался.

– Чего же он боится?– спросил я.

– Новых перемен,– ответил Болатбай.– Видишь, в Петерборе какие-то большевики появились. Они у баев все их богатства отнимают и бедным раздают. Сейчас нами правит какой-то Керенский. Он за баев, а большевики его хотят сбросить. Вот как сбросят, так Лауэну конец придет. Поэтому он и кряхтит.

Подошла уборка хлебов, меня поставили на молотилку, и помню, как я был доволен этим – работа легкая,

пища привольная. Чего еще желать? Так считал и Болатбай, но потом что-то изменилось, и, когда уборка кончилась, он вдруг сказал:

– Ну, работе конец, и нам пора собираться.

– Это зачем же?– спросил его Нуралы.– Ты же здесь, сынок, хотел зимовать.

– Это у кого же зимовать?– грустно усмехнулся Болатбай.– У Лауэна, что ли? Так Лауэн собирается бежать в Китай, а здесь зимой одна голая степь. В ней дня не протянешь.

– А с чего бежать Лауэну?– снова спросил Нуралы.– Чего ему тут не хватает? Земли мало?

– Напугался он до смерти!– презрительно ответил Болатбай.– Керенский-то долго не продержится, ну, а если большевики захватят власть в Петерборе, то и Лауэну тут не усидеть. Да только ли ему? Всем баям тогда не жить! Бедняки поднимутся с дубьем, как один. Вот баи и собирают свои пожитки заранее.

– Ну, пусть себе бегут на здоровье,– сердито сказал Нуралы,– а мы останемся, нам прятаться не от кого. Хозяин убежит, мы будем жить в его доме.

– В каком же это доме?– раздраженно крикнул Болатбай.– Ты думаешь, Лауэн здесь хоть одну жердь оставит целой? Он все сожжет дотла!

– Аллах всемилостивый!– испуганно воскликнул Нуралы.– Что ты говоришь! Как же можно своей рукой спалить свое же добро? Нет, никогда не поверю, что такое возможно, это, верно, враги Лауэна о нем такое придумали.

– А если я своими ушами от него это слышал, тогда что?– зло спросил Болатбай.– Он мне сказал: «Ничего не оставлю голодранцам! Своей рукой спалю все, что с собой увезти не сумею».

Так вопрос о переезде был решен окончательно, и по первому снегу все наше семейство тронулось в путь. Меня, правда, Болатбай не прочь был оставить у Лауэна «еще поработать напоследок», но вмешалась сестра.

– Как?– сказала она.– Сами бежим от беды, а его тут бросим одного. Как же мы людям в глаза-то глядеть будем? Никогда не будет этого!

Так мы и уехали вчетвером на трех телегах. Первая ночевка наша была на берегу большого красивого озера, поросшего лесом и кустарником. Остановились мы у сыновей Андамаса,– так они себя называли, хотя отец их был Тышканбай. Андамас был один из конокрадов у Торсана, умер он бездетным. Братья носили фамилию умершего.

Когда мы поравнялись с юртой, к нам навстречу вышли два жигита – оба статные, стройные, оба в городской одежде, они только и отличались друг от друга, что ростом да тем, что один носил густые усы, а другой был безус и безбород.

– Тот, который постарше,– Сураган, а этот, без усов, Кожагул,– успел шепнуть мне Болатбай.

– Ассалам алейкум!– приветствовали нас жигиты в один голос.– Добро пожаловать, заходите!

Только когда вылез из телеги, я почувствовал, до чего замерз на осеннем холоде. Мы вошли в юрту, посредине ее ярко горел очаг. По убранству юрты и по тому, что на досках были разложены куски и целые пласты копченой конины, я сразу увидел, что хозяева – люди зажиточные.

Приняли они нас очень хорошо и радушно. Старуха, мать хозяев, узнав, что я сын покойного Мукана, сразу же стала меня обнимать.

– Ах ты, мой сиротинушка!– говорила она, ласково глядя меня по голове.– Какой же ты молодец! Какой же большой, не скажешь, что без отца и матери рос!

После этого Сураган кивнул своему брату.

– Кожеке, сходи в стадо и выбери там овечку пожирнее, угостим дорогих гостей!

– Не беспокойся, мой свет!– крикнул старик Нуралы, очень польщенный оказанным почтением.– Нам хватит и того, что есть в юрте.

– Нет, Нуреке, без этого никак нельзя,– твердо сказал Сураган.– Идем-ка!

Вслед за братьями вышел из юрты Болатбай, а за Болатбаем и я.

– Учтивый хозяин не имеет секретов от гостей,– сказал Сураган, оглядываясь на нас.– Нуреке человек честный, грешно его кормить краденой кониной, а одна овечка в счет не идет, ее и волк может задрать, так пусть она лучше пойдет на стол хорошему человеку.

Овечку мы съели и на другой день собрались в путь. Тут Кожагул отвел Болатбая в сторону.

– Слушай»– сказал он,– оставь нам сына Мукана, мы подрядились пасти лошадей, а водить табуны не умеем. Есть у нас один человек, да ему нужен помощник. Пусть Сабит ходит за табуном, а ночью тот будет оставаться. Понравится парню у нас, пробудет всю зиму, не понравится – я его сам привезу в декабре.

Это было выгодное предложение, но опять запротестовала неугомонная Ултуган. Она отвела Болатбая в сторону и сказала:

– Ты в самом деле хочешь им оставить Сабита? Да ведь они воры, конокрады, запутают парнишку, и не увидим мы его больше. Из тюрьмы вовеки не выберется.

– Не думай, пожалуйста, что я глупее тебя,– обиделся Болатбай,– я сразу же отрезал Кожагулу: «Оставить парнишку недолго, да будет ли толк? Я ведь знаю, чем вы занимаетесь! Смотрите, запутаете Сабита, станем врагами на всю жизнь, а мы ведь из одного рода сыйбанов, не годится нам ссориться». Вот как я ему сказал.

– И что он тебе ответил на это?– спросила Ултуган, видимо, очень довольная тем, что ее муж может так твердо и дельно разговаривать.

– Он мне ответил: «Упаси, аллах! Запутать парнишку! Что, у нас своих грехов, что ли, мало? Разве я толкну сироту на плохой путь? Нет-нет, я его оставляю только затем, чтобы пасти табуны».

– Хорошо, если бы так,– вздохнула сестра.

– Так и будет,– ответил Болатбай,– Сураган настоящий жигит, его шайтан попутал, вот он и свихнулся, а что обещает, то непременно выполнит.

Но Ултуган все-таки колебалась.

– А в нашем ауле ему разве не найдется работы?– спросила она несмело.

– Где?– сердито усмехнулся Болатбай.– Молдой его никто не возьмет, а быть на побегушках у аульных, разве это дело? Глодать корки да кости да спать на грязном тряпье? Нет, уж лучше пусть у Сурагана работает, спит на постели и ест досыта с хозяином. К тому же они скоро переедут в русский поселок и возьмут Сабита с собой. Хоть говорить по-русски научиться, это ему в жизни всегда пригодится. А Сураган не возражает, он мне сказал: «Пусть живет у нас зиму, ухаживает за скотом, а в свободное время учится сколько влезет».

Ултуган посмотрела на меня.

– Как, Сабит, останешься?

– Ну конечно!– ответил я в восторге от того, что наконец-то смогу учиться по-русски.– Вору они или нет – это меня не касается, буду пасти табуны, а зимой учиться русскому языку, вот и все!

Таким образом, я остался у Сурагана. Днем пас табуны, ночью спал в кибитке, на чистом войлоке. Ел я, как было уговорено, вместе с хозяевами. Жирный курдюк и белые калачи не сходили у них со стола. Одели меня во все теплое и новое. Дом у новых хозяев был, что называется, полная чаша.

Хозяйство у обоих братьев было совсем небольшое – две-три дойных коровы с телятами и около десятка голов мелкого скота, вот и все. Зато у каждого из братьев было по породистому, доброму скакуну, кормили их самыми отборными сортами овса. У моих хозяев часто бывали гости, такие же, как они, молодые, хорошо одетые, обходительные люди. Гости эти играли с хозяевами в карты, пили водку и вели

непонятные мне разговоры. Через каждые три-четыре дня неизвестные друзья «дарили» моим хозяевам жирного жеребенка, и они резали его на мясо.

Хозяева часто отлучались – всегда оба вместе – и возвращались так же неожиданно, как и исчезали. Куда, зачем они ездили, я не спрашивал, а они не говорили.

К концу ноября выпал снег, мои хозяева роздали лошадей владельцам, а сами переехали в Курганскую.

Курганской казахи называли казачью станицу Усердино Северо-Казахстанской области. С восточной стороны станицы возвышается курган (отсюда и название). В этой-то станице мы и встали на квартиру в деревянном доме слепого старика Федора Комарова, бывшего станичного атамана.

В первый же день один из казахов, постоянно живущих в станице, пригласил нас в гости. В большом двухэтажном доме собралось уже человек десять молодых жигитов. Одеты они были по-городскому, чисто выбриты, носили лихо закрученные усы. Гости сидели вокруг низкого круглого стола, пили мутный, вонючий самогон, и играли в «двадцать одно».

Мое внимание привлек один из жигитов. Он оказался хозяином дома – красивый, полный, белолицый мужчина с голубыми глазами навывкате. Он громко разговаривал, смеялся, и когда обращался к кому-нибудь, его выслушивали молчаливо и почтительно. Называли его атаманом. «Атаман сказал то», «атаман приказал это», – говорили про него. Возле атамана сидел очень похожий на него жигит, но горбатый и без усов. Это Яшка, русский парень.

Хозяина звали Жуанышбай. был он человек щедрый и обеспеченный, что это действительно так, сразу же доказало нам угощение. Его было вдосталь. Мы давно наелись, а Жуанышбай все подвигал, нам огромные деревянные чашки, полные отборных кусков мяса. Жигиты, ели его горстями и обильно запивали самогом.

На следующий день нас опять пригласили в гости, и на второй, и на третий, и неделя уже подходила к концу, а мы все ходили по разным домам, и везде были одни и те же люди, та же жирная конина, тот же мутный самогон и, конечно те же самые неизменные карты.

Вскоре я узнал всех, кто входил в эту компанию. Она состояла из одних конокрадов. Атаманом ее считался Жуанышбай, есаулом – горбатый Яшка, он тоже имел свою шайку, состоявшую из русских конокрадов.

Обе эти шайки подчинялись Жуанышбаю, которого казахские конокрады звали «Атка», то есть атаман, а русские просто «Батько». Жуанышбай был наполовину казах, наполовину русский, считался он сыном батрака Оразалы, но настоящий его отец был Антон Лопехин, у которого Оразалы вместе со своей женой, красивой и разбитной Тыйыштык, служил в батраках. С ворами Жуанышбай связался с детства и только во время войны вернулся из арестантских рот, где пробыл пять лет за убийство русского парня. Вернулся и принялся за открытый грабеж. Каждый год Жаунышбай посылал своих нарочных во все окрестные деревни с требованием дани.

«На ваш аул налагается такая-то дань. Если к такому-то числу она не будет выплачена, пеняйте на себя, уведем весь скот», – объявлял нарочный.

И ничего не поделаешь, приходилось платить.

В эту зиму, о которой я рассказывал, шайка конокрадов состояла из двадцати пяти человек. Все молодцы были вооружены до зубов и носили под полами обрезы, а за поясом револьверы. По несколько человек они ездили в дальние поселки и пригоняли целыми табунами крестьянских лошадей. Станичный писарь Иван Захарович выдавал им соответствующие свидетельства, после чего лошадей гнали на базары и продавали за полцены.

Сам станичный атаман покрывал бандитов и никогда не выдавал конокрадов. С теми, кто жаловался, раз-

говор был короткий – их или избивали до полусмерти, либо вообще убивали. Все боялись Батько, как матерого волка. Он был смел, решителен, и если имел на кого-нибудь зуб, то без разговоров шел к нему в дом и там вершил расправу.

А между тем в станице, которая имела такую дурную славу, среди тех же джатаков было немало честных людей, и, например, такие, как Дуйсен, сапожник Сураган, умерли бы с голоду, но никогда не прикоснулись бы к краденому. Особенно поражал Сураган, родной дядя Батько: он всю жизнь перебивался, как говорят, с хлеба на воду. Племянник знал об этом и посылал ему муку, куски мяса и изредка даже целого барана, но бедняк всегда приходил в неистовство и с руганью возвращал все обратно.

«Чтоб я дотронулся до поганого мяса!– кричал он.– Чтоб я взял что-нибудь из твоих бандитских рук,– да провались ты пропадом, проклятая собака!..»

«Ну и подыхай с голоду!»– сердито говорил Жуанышбай и на время действительно переставал интересоваться своим строптивым родственником.

РУССКАЯ КРАСАВИЦА

Итак, я живу у Сурагана. Ухаживаю за его скотом, а в свободное время учу азбуке, «ломаю язык» дочке Жуанышбая, сыну моего хозяина и другим казахским ребятам, живущим в станице, и все равно времени свободного у меня столько, что его девать некуда.

Не менее одного раза в неделю Сураган отправляется на «дело», а возвращаясь, обязательно предупреждает меня: «Ты ничего не видел и ничего не слышал. Будут спрашивать – молчи, будут бить – тоже молчи. Выдашь нас, Жуанышбай прирежет тебя, как козленка, понял?»

Еще бы не понять! Я и был нем как рыба. Надо сознаться, мое молчание стоило мне не очень дорого.

Никто меня ни о чем не спрашивал, ничем не интересовался. Наверно, потому, что это прежде всего было далеко не безопасно. Попробуй свяжись с Батько! На досуге я гуляю по станице, опять, как и прежде, увлекаюсь вечеринками, гармошкой и плясками.

Иногда меня поколачивают, но я на такие пустяки и внимания не обращаю, – знаю, что это в порядке вещей. Дело-то в том, что вся станица делится на «улицы», которые постоянно враждуют друг с другом, причины, конечно, романтические: парни ссорятся из-за девушек, загляделась девушка на парня с другой улицы, пошла с ним рядом, – вот и повод не только для всеобщей драки, но и для поножовщины, а иногда и для убийства. И скоро я оказался впутанным в историю именно такого рода.

Один из парней, с которым я хотел познакомиться поближе, был искусный гармонист – Мишка Анохин. Без его игры не обходилась ни одна свадьба. Я так завидовал, что готов был на любые жертвы, только бы научиться играть на гармошке. И вот однажды он сам обратился ко мне.

– Эй, – крикнул он, когда я проходил по улице, – киргизенок, пойдй сюда.

Я подбежал к нему.

– Ты большой дом на берегу озера знаешь? – спросил Мишка.

Ну еще бы я не знал этой огромной пятистенной избы, сложенной сплошь из соснового кругляка!

– Дом Филимона Семеновича? – спросил я.

– Ну, значит, знаешь, – подтвердил он. – А дочку его, Катерину, тоже знаешь?

Еще бы я не знал Катерину, эту первую станичную красавицу! Да она была не только красавица, учнее ее не было человека в станице, она окончила какую-то «гимназию», уехала бы в Петербург, но случилась революция, пришла новая власть, и вот дочка Филимона Семеновича с прошлого года живет в станице,

читает книги, нигде не бывает. Говорят, что отец просватал ее за «стапного» офицера-белогвардейца, который сейчас служит в каком-то дальнем городе. Говорят, что она его не любит, мало ли что говорят! Я же только однажды встретил ее.

В холодное осеннее утро вез я с озера бочку воды и вдруг увидел: идет ко мне навстречу стройная, высокая красавица, на ней черное городское пальто и цветная гарусная шаль. С озера дует порывистый, холодный, резкий ветер. Падает и тает снег. Белые звездочки лежат уже на крышах, воротах домов, деревянных скамейках, и лицо красавицы разгорелось и стало таким же ярким, как ее цветастая шаль. Снежинки падают на ее лицо, задерживаются на черных ресницах... Они трепещут, как бабочки перед полетом, а под ними светятся, прямо-таки светятся и излучают целые потоки света чистые голубые глаза, такие глубокие и такие чистые, как будто они вобрали в себя всю голубизну неба. Красавица шла ко мне неторопливой, легкой, слегка покачивающейся походкой. Я видел тонкую талию и маленькие ноги в черных чesанках, которые ступали легко и уверенно. Это и была, как я узнал у встречного мальчишки, Екатерина Белоусова. Какой же счастливый жигит назовет ее своей? И вот этот жигит передо мной – Мишка Анохин.

– Так вот, – сказал Анохин. – Снеси ей записку, ладно?

Легко сказать – снеси любовную записку от Мишки Анохина к дочке Белоусова. Мишке-то что? Не он передает, не ему, значит, отвечать. Мишку все любят. Его приглашают на свадьбы и торжества, и он охотно участвует в них. Но как только вспыхнет драка или перебранка, он сейчас же поднимается, берет свою гармонь и уходит. Поэтому его уважают все улицы и ни одна не трогает.

Но какое дело до этого уважения богачу Белоусову, для него Мишка – босяк, голь перекатная, нищий, который, кроме смазливового лица, гармошки да

старухи-матери, ничего за душой не имеет! Разве этот оборванец партия для его дочери, невесты офицера, сестры белого генерала, героя, сражающегося за веру, царя и отечество! Филимон Семенович – тертый калач, мало того, что сын его – генерал, половина богатеев станицы – его братья, сватовья, кумовья. И на сходах, и в дружеских беседах решающее слово принадлежит ему. Он, где надобно, поговорит, где надо, и кулаки в ход пустит – и все-таки поставит на своем. Казахов он презирует настолько, что считает зазорным даже с ними и разговаривать. «Иди к чертям, орда!» – кричит он казаху, если тот переступит его порог. Так можно представить, что он сделает со мной, если поймает в своем доме с любовной запиской.

– Нет, не могу, боюсь, – ответил я.

– Так я тебе заплачу, – сказал Мишка. – Хочешь, дам три рубля?

Большие деньги три рубля, я и половины их никогда не имел в кармане, но Белоусова я боюсь больше всего на свете.

– Нет, не надо мне денег, – ответил я, – вот если бы...

Хотя я не закончил, он меня понял мгновенно.

– Ага, ты хочешь, чтоб я тебя научил играть на гармошке. Помню, ты просил, да я отказался. Ну, по рукам, передашь записку – научу тебя играть, идет?

– Идет, – согласился я, забыв о всех страхах, – давай записку.

– Сейчас напишу, подожди меня здесь.

Он зашел в соседнюю избу и минут через двадцать вынес обертку от четвертушки чая, сложенную вчетверо.

– Вот письмо, – сказал он, – передай его ей в руки, и чтоб ни одна живая душа не заметила. Если она будет не одна, подмигни ей с порога, и она сама пройдет за тобой. Принесешь ответ, понял?

– Понял, – ответил я и побежал исполнять поручение.

Как я и думал, это оказалось совсем не легким делом. Прежде всего и вспугнул стаю гусей, которые лежали и

отдыхали на сугробе против дома Белоусова. Гогоча и взмахивая крыльями, они преследовали меня до самых ворот. Поднявшись на крыльцо, через закрытую дверь услышал голос красавицы. Он звучал, как серебряный колокольчик; она пела какую-то песнь, и так хорошо пела, что я позабыл даже толкнуть дверь. Потом я уже узнал, что пела она «Златые горы». Я стоял, как зачарованный, но вдруг что-то грозно зарычало за моей спиной.

Я быстро обернулся. Порыкивая и прижав уши к спине, ко мне шел огромный рыжий пес, и я еле успел отворить дверь и шмыгнуть в кухню. Первое, что мне бросилось в глаза, – это тонкое и белое лицо Катерины, ее большие чистые глаза, ресницы, загнутые вверх, и русые косы, лежавшие на груди. Она вышивала и пела. На ней было дешевое платье из красного ситца и белый передник. Рукава были засучены по локоть, ноги босые. Она подняла голову и удивленно взглянула на меня. Я тоже молчал, не зная, с чего начать. Так продолжалось минуту.

– Ты зачем пришел? – спросила она.

Тут я очнулся и пробормотал:

– От Мишки вот... – и вынул записку.

Она приложила палец к губам, и в это время с полатей печи раздался рев рассерженного медведя:

– Кто там? Какого дьявола?

Катерина приложила к губам палец – «молчи» и кивнула головой на печурку, что значило «положи туда».

Только я протянул руку, как с полатей снова послышался тот же медвежий рев:

– Вон!

И я увидел перед собой огромные босые ступни Филимона Семеновича; перепуганный до смерти, пулей вылетел вон и бежал, не обращая внимания на огромного пса, который с лаем гнался за мной.

Несмотря на это более чем неудачное начало, я скоро обратился в заправского связного двух влюбленных, они действительно без памяти любили друг друга.

Все было хорошо, но однажды, выполняя очередное поручение Миши, я наткнулся на Жуанышбая. Он сурово посмотрел на меня и приказал:

– А ну пройдем со мной!

Я чуть не умер от страха. Молча мы вошли в его дом.

– Садись,– приказал Батько.

Я сел. Он стоял и глядел на меня. Это была мучительнейшая минута в моей жизни.

– Говорят, ты носишь записки от Миши-гармониста к Катерине. Правда это?– спросил он.

– Ну что вы, дяденька,– слабо запротестовал я.

– Врать!– загремел Батько.– Да кого ты, щенок, обманываешь? Говори правду, если хочешь жить.

Не помню уж как, но я сказал все, даже то, что свидание должно было состояться в станичной церкви.

– Хорошо,– наконец, смиростивился Батько,– иди домой. Да смотри молчи и о нашем разговоре Мишке ни полслова, а то убью!

И все-таки вечером я пошел предупредить Мишку, не в церковь, конечно, туда казаху вход закрыт, а в дом, где собиралась молодежь.

И только я сделал два шага по этой улице, как услышал зазорные лады гармоник и чей-то звучный голос, который залихватски пел:

Эх! Моя милка в том краю,

Я пойду проведаю.

Изба, снятая под вечеринку, была глинобитная, с земляным полом. Парни, набившие ее до отказа, либо плясали, либо стояли у стены. Посредине на скамейке сидел Мишка и лихо наигрывал на гармошке. Рядом с ним сидела Катерина, ее поминутно приглашали, но она только отрицательно качала головой и, улыбаясь, поглядывала на гармониста.

Вдруг Мишка встал и передал гармошку соседу.

– И я немного попляшу,– сказал он,– идем, Катя!

Такую пляску я видел впервые. Мишка крутился волчком, вязал ногами вензеля, то, бешено работая

ногами, отбивал чечетку, то вдруг бросался в сторону, делал большие и малые круги по горнице, преследуя Катерину. Пляска все убыстрялась, гармошка играла все заливчатее и звонче, и вот уже все перестали плясать, а стояли и восхищенно смотрели на Михаила и Катерину. Народу было столько, что подойти к ним я не мог, оставалось только ждать конца пляски. В это время кто-то, стоящий около двери, вдруг отчаянно крикнул, и в избе погас свет. Толпа шарахнулась сначала в одну, потом в другую сторону, люди, крича, повалились друг на друга, потом кто-то крикнул «прочь!», и вот перед Мишкой очутился Жуанышбай. Не говоря ни слова, он размахнулся и ударил Мишку в лицо кулаком, тот упал. Батько ударил его еще раз, а потом пнул сапогом в бок так, что затрещали ребра. Вслед за Батько влетела его ватага. Трещали двери, звенели стекла; кто-то выбил рамы и выскочил на улицу, кто-то истерично кричал, кто-то плакал, кто-то стонал, Среди шума и смятения выделялся грозный голос Жуанышбая:

– Бей до смерти! Я отвечаю за все!

И опять били молча и ожесточенно. Потом клубок дерущихся вывалил на улицу, и кто-то крикнул!

– Отпустите, хватит! Ведь сдохнет!

– Ну и пусть!

Вдруг Мишка захрипел и захлебнулся кровью.

– Отпустите, довольно, до смерти забьете!– крикнуло сразу несколько голосов.

Раздался выстрел, толпа отхлынула, на снегу осталось лежать неподвижное, скорченное тело. Толпа стояла поодаль и смотрела.

– Ну, кончено! Убили,– сказал кто-то.

В это время раздался дикий, почти звериный вопль.

– Отпустите! Отпусти-те, дьяволы!

Я взглянул, это был Жуанышбай. Его держали, он вырывался, и лицо у него было красное от злости.

– Я его за глотку держал, хотел прикончить, а вы, дьяволы...– хрипел он.

Человек, лежавший на снегу в луже крови, застонал, приподнялся и, словно задыхаясь, рывком разорвал ворот рубашки. Парни загородили Мишку от убийц. Батько и Яшку подхватили и увели с места побоища.

На другой день я узнал причину расправы. Оказывается, Катерина отказала двоюродному брату Яшки, и бандиты решили за это убить ее возлюбленного. Прошло еще несколько дней, и по станице пронеслась весть: Мишка и Катерина бежали неизвестно куда.

Жуанышбай чуть не заплакал от злости.

– Не дали прикончить, – сказал он, сжимая кулаки, – в руках у меня был негодяй и вырвали, ну, а теперь уже ничего не сделаешь, ищи ветра в поле!

И верно, делать было уж нечего. Потом мы узнали: влюбленные бежали к большевикам в город, где установилась новая власть.

РАСПЛАТА

Во второй половине зимы, поближе к весне, в станице Пресновской устраивалась большая ярмарка, или так называемый Афанасьевский базар. Перед началом ярмарки конокрады отправились на «дело» и возвратились домой, гоня перед собой целый табун. Лошадей было более ста, и на долю Сурагана досталось пять отборных коней. Он решил сбыть их поскорее, взял меня за подручного, запряг в сани пару рыжих скакунов и погнал весь косяк на Афанасьевский базар. И только мы расположились на квартире, еще и чай не успели нам вскипятить, как прибежал один из друзей Сурагана и взволнованно сообщил:

– Идет большая игра, приехали сыновья Кал-гымана и играют с русскими купцами в двадцать одно. В банке тысяча рублей. Колодой играют только два раза, а потом ее рвут и бросают – на столе целый ящик карт!

Сураган – заядлый картежник. Он и чая дожидаться не стал, сразу же собрался и побежал, я увязался за ним.

Мы застали игру в полном разгаре, и все, что говорили о ней, оказалось правдой: в банке было больше тысячи рублей, колодой играли только дважды, а потом ее выбрасывали, нераспечатанных карт стоял целый ящик, и каждый банкомет брал из него столько, сколько хотел. Сыновей Калгымана оказалось двое – один корявый и курносый, другой смуглый с глазами навывкате. К нашему приходу они сильно проигрались, но держались бодро, смеялись и шутили. Сурагану повезло: раз за разом он снял у русских купцов за час пять тысяч. После этого один из братьев подошел к Сурагану и попросил у него денег, чтобы отыграться.

– Ты и я – мы оба казахи, – сказал он, – поддержи нас, за нами не пропадет.

Но Сураган братьям денег не дал, и они ушли жестоко разобиженные, а на прощанье пригрозили!

– Ну, еще встретимся!

Встретились они с Сураганом на следующий день и обыграли так, что он остался гол и бос. В этот день им «везло», и они обыгрывали всех, кто садился с ними играть. Понять не могу, как им это удавалось, но из любой нераспечатанной колоды они вынимали точно 20-21 очко. Игра шла долго, и Сураган спустил братьям все свои деньги, всех своих лошадей, затем сани, шубу из волчьего меха и наконец костюм. Все выигранное братья продавали тут же, и поэтому Сураган встал из-за стола буквально в белье. Но не в его обычаях было теряться в такие минуты.

– Милый, – шепнул он мне, – иди домой скорее, собирай вещи. Я останусь здесь и либо выкраду свое, либо украду чужое.

Я пришел домой, завязал все, что у нас было, в узлы и сел его ждать. Он вернулся в полночь в новой шубе и сапогах, очень довольный и возбужденный.

– Бери узлы, – сказал он мне, – я достал рысака и сани. Надо спешить.

Конь был загляденье, сильный, высокий, до холки рукой не достать, с тонкими сильными ногами. Мы сели

в сани, и рысак понес нас, как птица. Ночевали мы далеко в степи у знакомых конокрадов, утром продолжали путь, а в полдень вдруг увидели всадника, который во весь опор скакал нам навстречу.

– Э, кто это так рано скачет, уж не погоня ли, – сказал Сураган. – Правь лошастью, а я в случае чего буду отстреливаться, живым в руки все равно не дамся.

Когда всадник был уже близко, мы свернули с дороги и промчались мимо него.

– Ну слава аллаху! – сказал Сураган. – Не за нами.

В это время сзади послышался крик.

– Эй, Сураган, остановись! Это я.

Мы оглянулись. Всадник повернул коня и скакал к нам.

– Да это Кожугул! – крикнул в тревоге Сураган, узнав наконец брата, и остановил сани. – Милый мой, что случилось? Что дома? Почему такая спешка?

– И не спрашивай, брат, беда! – ответил Кожугул, подскакивая. – Покарал нас аллах, убили Жуанышбая. Нет больше нашего защитника...

– Кто же? – завопил Сураган. – Кто посмел тронуть такого человека?

Кожугул всхлипнул.

– Да разве узнаешь? Убили, и все. Родственники Мишки, наверно! Кто же еще? Сегодня утром нашли труп Батько на свалке.

– О боже! О лев мой! О герой! Закатилось наше ясное солнышко, пропали мы все, – как баба, запричитал Сураган и, закрыв лицо руками, зарыдал.

И Сураган был прав. Со смертью Батько закатилось солнце всех конокрадов. Пока он был жив, каждый из них чувствовал себя непобедимым, а теперь всех охватил смертельный страх. Шайка распалась, каждый стал искать спасение в одиночку.

Когда кто-то завел речь о мести убийцам, Яшка отрезал:

– Нет, не время. Красные вот-вот будут в станице. А Мишка у них большой человек. Если мы его родственникам отомстим, он, когда вернется, передавит нас, как червей. Надо молчать.

Тогда родные бандита решили просить совета у Торсана. Написали письмо и послали меня, наказав дожидаться ответа. Но ответ Торсана был коротким, и ждать мне его пришлось недолго.

– Раз убили, значит, туда ему и дорога, – сказал Торсан, – а требовать кун не с кого. Убийцы не казахи. Пусть зароят и забудут. Так и передай! Всем известно, конец разбойника – плаха.

С таким ответом можно было не торопиться к опечаленным родственникам. Поэтому я решил по дороге заехать к своей старшей сестре Зауре. Чернопегая трехлетка, которую мне дали для поездки, была ретивой, статной лошадкой и всю дорогу шла легкой рысью. Очень она мне нравилась своей мастью и легкостью хода. И я решил во что бы то ни стало выпросить ее у Сурагана.

Был туманный морозный день. Холодный резкий ветер гнал по небу клочкастые рваные облака, и скоро я в своей легкой одежде (на мне была стеганая куртка, а поверх ее поношенный полушубок, раньше принадлежавший Батько, да старенькие пимы) промерз до того, что решил свернуть в первое, попавшееся жилье. Я знал, что поблизости находится зимовка Тишбаяхаджи, и, подумав, повернул к ней. Тишбаяхаджи знал весь наш род. После Торсана он являлся не только самым богатым и почтенным человеком из всех сыйбанцев, но и единственным членом этого рода, совершившим паломничество в Мекку. Ученее, умнее и благочестивее человека не было на сто верст вокруг. Кроме того, он был имамом мечети аула Есенея. «Наш имам человек святой жизни», – говорили про него молящиеся. Приблизившись к зимовке имама, я увидел у ворот несколько распряженных саней и понял, что у имама гости. «Авось и мне достанется кусок мяса», – подумал я. Жилище святого состояло из одной большой комнаты, разделенной печью на две половины. В передней части – прихожей, в которой я разделся, кипели котлы и варились жирные куски отборной

конины, в чистой части – «горнице» – сидело несколько почетных гостей, некоторых из них я знал (это были аксакалы из соседних аулов), а кое-кто был мне вовсе незнаком. Я поздоровался за руку со всеми, потом пошел к порогу и сел на лавку, опираясь спиной о печь. Меня стали расспрашивать, откуда я и зачем зашел к хаджи, и когда я рассказал, в чем дело, с каким поручением я ездил, что мне ответил Торсан, все разочарованно закачали головами.

– Мы-то думали, ты приехал пригласить хаджи на похороны, а, оказывается, ты разъезжаешь впустую! – сказал кто-то, и все рассмеялись.

Потом разговор снова завертелся вокруг прежних тем, – до меня обсуждались вопросы шариата, что запрещено, что нет.

– Ну, а насчет увеселений как? – настойчиво спрашивал один почетный старец. – Допускаются они по шариату или нет?

– А вот сейчас посмотрим, – степенно ответил хаджи, – в книге канонов все записано.

Он встал, подошел к книжному шкафу, набитому книгами, вытащил оттуда одну из них и стал листать.

– Ну вот, слушайте, – сказал он, найдя нужное место, и прочитал вслух что-то длинное, очень звучное, но столь же непонятное. – Поняли?

Все молчали.

– Хорошо, да непонятно, – вздохнул кто-то.

– А ты хотел бы, чтоб всякий невежда читал да понимал святыя слова пророка? Разве это песни или киссы? Для святого писания и слова употребляются особые.

– А нельзя ли объяснить нам по-простому, по-казахски, чтобы и мы знали, в чем воля пророка, – робко попросил кто-то.

– Переводить святыню на язык невежд строго запрещено шариатом! – категорически отрезал хаджи. – Но для вас я сделаю исключение. Священное изречение гласит: «Смеяться в сутки полагается не больше часа и то в присутствии молды».

– А когда молды нет, то и смеяться нельзя?– спросил кто-то из гостей.

– Значит, так и таскай за собой молду всю жизнь,– недовольно заметил другой.– Всемиловитый аллах, сколько чепухи написано в этих книгах!

– О боже, спаси нас от празднословия,– набожно воскликнул хаджи и недовольно покосился на говорящего.– Однако уже за полдень, время намаза.

Все встали со своих мест и лениво потянулись во двор. Было ветрено и холодно, а ведь надо было не только молиться, но и еще совершать ритуальное омовение из кумгана – специального сосуда, похожего на чайник, который благочестивый хаджи захватил с собой. Я тоже вышел вместе со всеми, нашел свою лошадку, дал ей сена и, так как она стояла на ветру, отвел ее в другое, более защищенное место, под навес. Вот в это время и подошел ко мне Тишбай. Я глядел, как лошадь проворно и весело убирает сено, а хаджи стоял рядом со мной и смотрел на меня. Потом проворно обошел лошадку со всех сторон, погладил ее по спине и спросил:

– Твоя трехлетка, сынок?

– Моя!– сорвалось у меня с языка.

– Хорошая лошадка, хорошая,– похвалил хаджи.– А не продашь?

Я ответил:

– Нет, самому нужна.

– Так ведь ставить тебе ее, наверно, негде?

– Поставлю у зятя.

– Это ты правильно придумал,– охотно согласился хаджи,– у зятя ей самое место,– и пошел не торопясь к дому.

Сердце у меня екнуло в предчувствии чего-то очень недоброго. А через минуту ко мне подошел родственник хаджи и его же батрак Саркош Досымбеков и, ласково глядя в лицо, сказал:

– Хорошая у тебя лошадь, парень!

Я промолчал, но все во мне замерло и похолодело от настоящего страха, я почувствовал, что попадаю в какую-то очень скверную историю. Ведь как ни крути, а моя черно-пегая лошадка была краденой.

– Паренек,– продолжал Саркош еще ласковее,– был ты в отца – смирный и обходительный, а уехал из родных мест, связался с нехорошими людьми и стал, говорят, настоящим конокрадом. Правда это или нет?

Я был подавлен его словами, не знал, что ответить.

– Вот у нас на дворе стоит краденная тобой трехлетка,– продолжал Саркош.– А вместе с ней воры увели еще с десятков лошадей. Если тебя сейчас скрутить да свезти по начальству, ты же подохнешь в остроге, как муха.

Только теперь я понял окончательно, к чему клонили он и его хозяин.

– Дурак!– резко сказал Саркош.– Украсть украл, а скрыть не можешь. Таскаешь за собой, как петлю на собственной шее.

Я промолчал.

– Что ж молчишь? Предлагал тебе хаджи продать трехлетку? Ну? Предлагал?

Я ответил, что предлагал.

– И что?– спросил Саркош уже совсем иным тоном, злым и неприязненным.– Что ты ему сказал?

Я молчал, понуро уставившись в землю.

– Не будь дураком! Продай и не упрямься!– грозно посоветовал Саркош.– Понял?

Я и на это ничего не ответил, а пошел в землянку, снял с гвоздя шубу, потихоньку оделся и вышел во двор. Новая беда! Лошади моей на месте не оказалось. Стал искать и нашел – она была привязана в углу хлева, а возле нее стоял Саркош.

– Ну вот и кончились твои скитания,– сказал он мне спокойно,– отсюда ты никуда не уйдешь.

– Почему?– пробормотал я.

– Не знаешь?! Неужели не знаешь?– зло засмеялся он.– Так я тебе скажу. Несколько дней назад здесь были

русские, те самые, которых ты обокрал. Они орали, что хаджи укрывает воров, то есть тебя, что ты у них увел десять лошадей и пегую трехлетку. Так вот эта трехлетка здесь, а ты будешь сидеть под замком в сарае, пока не скажешь, куда девал остальных лошадей. Мы дали подписку поймать вора и отправить его начальству, понял?

– Да что ты говоришь такое,– изумился я,– Когда я воровал, побойся аллаха!

– А-а, побойся аллаха! А ты боялся его, когда воровал?– завопил Саркош.– А перечить хаджи ты можешь? Ты что, умнее его? Да я тебя на месте убью, бездомный пес!– И он несколько раз так ударил меня, что я еле устоял на ногах. Он был сильный, здоровый мужик и избил бы меня до полусмерти, но тут прибежал сам хаджи, наверно, все было условлено заранее, и схватил Саркоша за руку.

– Оставь! – крикнул он.– Что ты зря руки мараешь. Свезешь его в Макаровку да сдашь приставу. Вот и все.

– И правда!– сказал Саркош.– И руки поганить не буду, сейчас же запрягу Серого и свезу.

И он действительно подошел к стойлу и стал выводить лошадь.

Тут я, поняв, что дело не шуточное, взмолился:

– Хаджике, пожалей, не губи меня!

Тишбай молча посмотрел на меня и задумался.

– Хаджике, пощади!– продолжал я, с ужасом видя, что Саркош запрягает Серого.

Тут наконец святой поднял руку.

– Подожди, Саркош,– сказал он милостиво.– Пожалей этого несчастного. Грешно губить сирот. Лошадь, чтоб воровать впредь было неповадно, сведи на скотный двор, а ему заплати что-нибудь, вот и будет всем хорошо.

Заплатили мне пять рублей, и к сестре Зауре я приплелся пешком.

Впоследствии и слышал: у святого хаджи в его табуне расплодился целый косяк черно-пегих лошадей.

ПРОЩАЙ, РОДНАЯ ЗЕМЛЯ!

МОЛДАГАЗЫ НУРТАЗИН

Жена убитого Жуанышбая Нуриле слезно просила меня:

– Поедем, милый, с нами, будешь читать сорок дней Коран по дорожному покойнику. Умер мой светик, и глаза ему даже некому было закрыть.

Звал меня с собой и Сураган, но я подумал и решил ехать с Нуриле. На это были у меня три важных причины: во-первых, я только и думал, как бы расстаться с семьей конокрадов, во-вторых, я был влюблен в мою ровесницу – дочку Жуанышбая – и не хотел с ней разлучаться, и, в-третьих, это, пожалуй, самое главное, в ауле Танат, куда переезжала осиротевшая семья Батько, жил Молдагазы Нуртазин. Я уже не раз говорил о своем троюродном брате – сыне Нуртазы. Он учился в медресе в городе Петропавловске, а в прошлом году окончил двухмесячные курсы учителей и теперь сам учил детей в Танате. Об этом я узнал от Ысымана Копабаева, который часто бывал и семье Батько. Я написал Молдагазы письмо, и он мне ответил очень любезным приглашением погостить у него.

Когда я приехал в аул Танат, то увидел красивого, стройного молодого человека со степенными манерами, ласковой речью, умными внимательными глазами, словом, я никогда бы не узнал в этом молодом

ученом задорного, разбитного мальчугана, с которым я некогда учился у молды Шайтана. Мы сразу же заговорили о литературе, и я увидел, что мой троюродный брат отлично знает татарскую литературу, не казахскую и не русскую, а именно татарскую. Он никогда не читал Пушкина и ничего не слышал об Абая, по-русски говорил кое-как, а читал еще хуже. В этом отношении ему далеко было до Баймагамбета. Больше всех поэтов – живых и мертвых – он почитал татарского символиста Сагита Рамеева.

– Вот это поэт!– говорил он.– Всем поэтам поэт. Если хочешь научиться писать стихи, подражай только ему.

Хвалил он и казахского поэта Султанмахмуда Торайгырова. Когда я хотел принести ему томик Абая, он сказал: «Постой», вытащил тетрадь, заполненную стихами Торайгырова, и начал читать. Помню, он мне прочел тогда несколько стихотворений и отрывки из поэмы «Кто виноват?»:

На темный наш казахский небосклон
Я влезу. Солнцем надо быть поэту!
Ведь должен в солнце превратиться он,
Чтоб тьму невежества рассеять светом.

– Ну,– сказал он, глядя на меня,– написал ли хоть одни казахский поэт что-нибудь подобное?

Содержание стихотворений напомнило мне стихи Токаева. Я сказал об этом Молдагазы, и он весь так и засиял.

– Правильно! Э, да ты, парень, оказывается, кое-что смыслишь. Значит, нравятся тебе стихи Токаева?

Я сказал, что нравятся.

– Ну, а Торайгыров – казахский Токаев! Так и знай.

Стихи Абая Молдагазы перечитал несколько раз и, возвращая мне книгу, сказал:

– Что же спорить, поэт он замечательный, но устарел. Теперь уже так не пишут, и вообще в наше время нужен Торайгыров, а не Абай.

С этим я никак не мог согласиться. Мы немного поспорили, но каждый остался при своем.

Относился ко мне Молдагазы по-родствешнему, с искренним радушием и по-братски наставлял:

– Брось ты, Сабит, бродяжничать. Теперь времена настали другие, учиться тебе надо, человеком будешь. Учись пока у меня, а потом поедешь на курсы в Петропавловск или Омск.

Но мне учиться не хотелось. Танат оказался очень веселым и гостеприимным аулом. Каждый день я ходил из дома в дом и пел киссы, стихи Нуржана, Абая и свои айтысы. Меня охотно слушали, досыта кормили вареным мясом и заставляли петь еще и еще. Зимой работа в ауле одна – напоить скот да задать ему корм, значит, времени у старых и у малых хоть отбавляй. Что и делать, как не песни слушать. Стали меня приглашать в соседние аулы, и вот я пою в аулах Орынши, Салакай и Маманай. А вскоре я приобрел домбру и стал совсем заправским музыкантом.

Жил в ауле Танат старый черкес Базалай, сосланный сюда еще в то время, когда старики были молодыми. До сих пор помню его огромный орлиный нос, дремучие брови, закрывающие глаза, густую бороду до пояса. Был он высок, сутул и крепок, как столетний дуб. Базалай был ювелиром, отличные из-под его рук выходили кольца, перстни, серьги, подвески, женские украшения. А из дерева он очень искусно делал домбры. Однажды я увидел у него на столе домбру, богато разукрашенную резьбой, инкрустациями из кости и небольшими зеркалами, вделанными в ручку. Забыв все на свете, я потянулся к ней.

– Ярами!¹ – крикнул хозяин, угрюмый, всегда хмурый человек с холодными спокойными глазами. – Не для тебя делана.

¹Ярами – пельзя.

Я отдернул руку, но продолжал смотреть на домбру такими жадными и восторженными глазами, что шурин черкеса, молодой татарин Ахмет, спросил меня:

– Видать, здорово нравится?

Я кивнул головой.

– Это он делал по заказу. Если ты ему закажешь, он и тебе сделает такую же. У тебя деньги-то есть?

– Есть, пять рублей (это были те самые деньги, которые хаджи заплатил мне за черно-пегую лошадь).

– Пять рублей мало, – Ахмет посмотрел на меня, подумал и вдруг решил: – Впрочем, давай, сколько есть, остальные потом отдашь. Я его попрошу.

Через неделю я получил домбру. Правда, на ней не было ни инкрустации, ни резьбы, но она поражала изяществом, хорошо звучала, и когда я дотронулся до ее струн, она зазвенела и словно запела. Обещав через несколько дней принести деньги, которые я остался должен, я забрал домбру и, довольный, гордый, веселый, вернулся домой.

Молдагазы, увидев мою домбру, покачал головой.

– И сколько же ты отдал? – спросил он.

Я сказал, что пять рублей.

Он вздохнул и нахмурился.

– Эх, Сабит, Сабит. Пять рублей – легкое ли дело! Ведь столько стоит хорошая овца с ягненком. Купил домбру, а сам ходишь в лохмотьях. Ведь это же курам на смех. У тебя на уме только песни да стихи. Не доведут они тебя до добра, вот увидишь.

И действительно не довели.

В округе произошла обычная в то время родовая ссора. Пospорили, а потом и подрались сыновья двух баев. Спор вышел из-за того, кому быть волостным. Чтоб не обидеть ни ту, ни другую сторону, русские власти разделили Пресновскую волость надвое: собственно Пресновку и новую – Таузарскую. К Таузарской волости отошли наши сыйбанцы. Между тем аул Танат, где Молдагазы был мугалимом, остался в Пресновской. Вот

таузарчане и решили забрать Молдагазы к себе: «Чем учить детей наших врагов, пусть наш мугалим переходит к нам». Так они и наказали своим аткаминерам, которых послали в наш аул со строгим поручением усовестить учителя и увезти его. Остановились аткаминеры в доме Ысымана и сразу же послали за Молдагазы – поговорить по душам. Разговор оказался очень коротким, после первых же слов Молдагазы отрезал:

– Чепуху говорите! Никуда я не поеду! Я мугалим, для меня все дети одинаковы. А тем, кто вас послал, скажите – я не скотина и гонять себя с места на место не позволю. Вот и весь мой сказ!

На этом разговор не кончился. Молдагазы рассказал Ысыману, зачем приехали аткаминеры. В тот же вечер меня вызвал из дому один из жителей аула жигит Ташкен. Он сказал, что его прислал Ысыман, спешно требуется написать стихи про аткаминеров. История одного из них – Оспана – была такова: когда Жуанышбай вернулся из тюрьмы, он узнал, что его жена жила с Оспаном. Ну, а Батько шутить не любил, выследил своего обидчика, избил его, надел на него хомут, запряг в тарантас и повел с позором по улицам Кургана.

Через несколько минут, подумав и побормотав, я продиктовал Ташкenu совсем готовое стихотворение.

– Ну, теперь он попрыгает, – сказал Ташкен, кончив писать, – век наш аул будет помнить!

– Только меня не выдавай, – попросил я.

– Ну конечно, – заверил он и унес стихи.

А вскоре прибежал за мной сын Ысымана и сказал, что его отец ждет меня к себе, он просит его гостям-аткаминерам спеть какие-нибудь киссы. Когда я пришел, в комнате был только один хозяин Ысыман, он украдкой подмигнул мне – смотри, мол, что сейчас будет. Скоро вместе с Молдагазы пришли и гости. Они поздоровались с нами, чинно вымыли руки, вытерли их и только после этого стали раздеваться. Оспан снял шубу, повесил ее на гвоздь, потом снял с другого гвоздя

халат, накинул его на себя, машинально сунул руку в карман и вытащил бумажку, сложенную вчетверо.

– Это что такое?– спросил он удивленно.

Все молчали. Оспан развернул бумагу, увидел, что на ней что-то написано, и, подавая записку Молдагазы, сказал:

– Прочти, мой светик, может, что нужное.

Молдагазы прочел громко и отчетливо:

Оспан со всем аулом не в ладу,
Оспана ведьма впугала в беду:
Надев хомут, он в тарантас вдруг впрягся,
До смерти струсив, к своему стыду.

Я не солгал, сказав все это вслух,
Ходил Оспан в ауле, как петух.
Но тарантас пришлось тащить бедняге,
Едва переводя в работе дух.

Он поделом наказан был судьбой,
Зачем же так гордился он собой!
Себя навеки запятнал, несчастный,
Хоть он и бай и дом имеет свой.

Лицо Оспана, когда Молдагазы кончил читать, стало красным как кумач.

– Кто сочинил эту пакость?– воскликнул негодующе Ысыман, представляясь ничего не знающим.

– Кто же, кроме тебя,– грозно крикнул Оспан.– Тебя и вот этого бездомного бродяги,– и он указал пальцем в мою сторону.

Началась перебранка.

Гости оделись и уехали, не притронувшись к угощению. Мы весело расправились со всем, что было на столе.

Беда настигла меня через три дня. Все это время вдова Батько ходила мрачная, смотрела на меня исподлобья, а потом вдруг сказала:

– Ну, дорогой мой, ты пожил у нас, почитал, сколько полагается по покойному, и хватит, теперь получи сколько следует и распрощаемся.

– Почему?– спросил я, делая вид, что ничего не понимаю.

– Не хочу тебя видеть, и все!

О чем же тут еще говорить? Насильно мил не будешь. Неделю я ходил по домам. Танатовские парни поочередно приглашали меня в гости и кормили жирной кониной, а через несколько дней, по совету Молдагазы, я переехал в аул Сагандык к своему зятю Сулеймену. В этом ауле была школа, где преподавалась казахская грамота по новому методу, и я поступил в нее учиться.

ДОСТАБРЕН

В ауле Сагандык я поступил в школу к мугалиму Хамиту Махмудову. Учились у него ребята из шести аулов. Всех учеников было человек пятьдесят, и я был самым старшим из них. Однако посадили меня с самыми маленькими. Надо правду сказать, учиться мне было даже и по новому методу очень трудно. Знаний у меня оказалось так мало, что, по существу, я был совершенно неграмотным человеком. Так как заниматься со мной одним мугалим не мог, он прикрепил ко мне младших учеников, и те взяли надо мной своеобразное шефство. Нельзя сказать, чтоб это сразу дало блестящие результаты. Мальчики ленились и для баловства учили меня шиворот-навыворот. Однако я был прилежен, усидчив, и скоро мои шефы остались далеко позади. После этого я стал просить Хамита Махмудова научить меня русской грамоте. Он долго отнекивался (сам плохо знал русский язык), а потом взял русско-казахский словарь (вернее, разговорник) Смагулова и стал мне задавать по нему уроки. Я сидел, заткнув уши, и повторял до бесконечности:

Разговор на дороге.

1. – Откуда ты едешь?

– Я еду из аула.

2. – Куда ты едешь?

– Я еду в деревню,

3. – Зачем ты едешь?

– Покупать муку.

4. – Сколько стоит пуд муки?

– Пуд муки стоит полтора рубля.

5. – Дорого, уступи немного.

– Если дорого, могу обменять на кожу.

Подобных разговоров в словаре было очень много; разговаривают на дороге, на базаре, дома, в гостях, в городе.

Все это я учил наизусть. Начал с первой страницы словаря, кончил последней.

В мае ученики стали разъезжаться по домам. И вот однажды, когда я сидел один в пустом классе и зубрил разговорник, вошел наш учитель с молодым жигитом, одетым во все городское: пальто из тонкой шерсти с бархатным воротником, на ногах модные сапоги. Учитель подошел ко мне и сказал:

– Сабит, это мой младший брат Габит, он учится в русской школе в Стапе, в этом году он кончил там шестой класс. – А затем обратился к своему спутнику: – А это тот самый парень, которого я по Смагулову учу русскому языку. Проэкзаменуй-ка его.

Габит улыбнулся и что-то спросил меня по-русски, конечно, я не понял ни одного слова.

– Нет, говорить он еще не умеет, – заступился за мой учитель. – Ты его по словарю спроси.

Габит взял из моих рук книгу и задал мне по ней несколько вопросов. Я ответил бойко, быстро, по сейчас же замолк, как только Габит стал задавать мне вопросы из тех разделов книги, до которых я еще не дошел.

Габит был очень хороший и веселый парень, но я из-за него чуть не попал в беду. Вот как это вышло. Каникулы я проводил у Болатбая в ауле Жайлыган. И вот однажды туда приехал аульный старшина Машик в сопровождении Габита, своего писаря. Их приезд

произвел большое впечатление на жителей Жайлыгана, особенно их поразил Габит, его ученость, учтивость, осведомленность во всех несложных делах аула, блестящее знание законов и форм деловых бумаг.

– О, этот далеко пойдет!– говорили старики, качая головами.– Лучше его по-русски не говорит и сам господин урядник, а как легко бежит его перо по бумаге! Написать ему прошение или достабрен, что выпить чашку кумыса.

Достабрен – это право на продажу лошади, без которого нельзя вывести на базар даже жеребенка. Ясно, какая нужда появлялась в бумагах такого рода, когда приближались ярмарки.

Болатбай, наслушавшись о способностях Габита, напустился на меня:

– Учился ты, учился, а научился-то чему? Даже достабрен и то написать не можешь, вот Габит такой же казах, как и ты, и лет ему не больше, а уже писарь. Все баи с ним за ручку, у всех волостных управителей он свой человек! И деньги зарабатывает! За каждый достабрен ему платят, а ты?

Выслушав все эти упреки, я пошел к Габиту и попросил дать мне образец достабрена, и так как он был человек простой и ко мне относился хорошо, он взял клочок бумаги и написал:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие киргизу Таузарской волости Петропавловского уезда Акмолинской губернии 2-го вверенного мне аула в том, что он имеет собственную доморощенную лошадь масти гнедой, грива на обе стороны, правое ухо сзади мечено ивернем, левое ухо сверху подпорото.

Что удостоверяется подписью с приложением казенной печати.

Аульный старшина (подпись).

Писарь (подпись).

– Вот и вся премудрость,– сказал он, кладя перо и передавая бумагу мне.

– И это годится для всякой лошади?– спросил я обрадованно.

– Ну конечно,– ответил Габит.

В это время жители аула Есеней предложили мне в летние месяцы заниматься с их детьми. Я согласился, но перед началом занятий решил на несколько дней съездить в родной аул, навестить родственников.

Когда я приехал в Жаман-Шубар, мои земляки готовились к ярмарке Жапырак, которая ежегодно устраивалась в Стапе на троицу. Вот тут-то и потребовался мне образец достабрена.

Когда я предложил составить свидетельство на продажу лошади, меня даже обругали за хвастовство, некто не подозревал во мне такого знания русского языка и такой учености – шутка ли, составить свидетельство, к которому прикладывает печать сам волостной писарь! Но нашлись люди, которые за меня заступились. Это были те, которым во что бы то ни стало требовалось отправить на ярмарку лошадей. Выхода у них все равно не было: до аульного старосты далеко, а время не терпит. Вот им-то я и выдал достабрены, согласно имеющейся у меня формы. Снабженные этими удостоверениями, мои земляки погнали лошадей на ярмарку, а через два дня спешно пригнали их обратно.

– Что такое?– спрашивали их.– Почему вы так рано вернулись? Или не дали настоящую цену за лошадей?

– Такую цену нам за них дали, что еле ноги унесли,– отвечали владельцы лошадей,– еле-еле откупились, а то бы в тюрьме сгнили. Этот проклятый выродок такие достабрены нам выписал, что как начальство на лошадь поглядело, так с нами и говорить не стало. «Посадить воров в холодную» – вот и весь сказ. Еле-еле откупились.

И действительно, жаман-шубаровцев чуть не забрали как конокрадов. Еще бы! Ни одна из пригнанных

ими лошадей не подходила под приметы моего достабрена. Лошади были и белые, и вороные, и чалые, и в яблоках, а удостоверение предъявлялось на «лошадь гнедой масти с гривой на обе стороны и с подпалинами». Убыток люди понесли большой, да и времени потеряли много. И потому мои прежние доброжелатели, уверовавшие раньше в мою ученость, так и рвались накостылять мне шею. Они бы и избili меня, конечно, если бы не заступились те, кто и раньше не доверял моим знаниям.

– Мы вас предупреждали,– говорили они не без злорадства потерпевшим,– вы тогда не поверили, а теперь хотите лупить парня. Да за что? Разве он нарочно писал эти бумаги? Его так научили, он так и писал. Сами виноваты, а не он.

Побить меня не побили, но пережил я этот позор очень тяжело, говорят же: «Палкой бьют – жар костям дают, языком ударят – до души ошпарят».

АУЛ ТОРСАНА

Об ауле Торсана до сих пор я знал только понаслышке, а теперь приехал в него учить детей. В этом ауле было много удивительного, отличавшего его от других аулов. Во-первых, около него расположились аулы Сарт, Туркпен, Анда, Тели, где все население состоит из семей с одной фамилией, во-вторых, сам байский аул был населен людьми самых разнообразных национальностей.

Кого тут только не было!

На улицах можно было встретить и калмыков, и казахов, и китайцев, и татар, и каракалпаков, и туркмен, встречались и такие, национальность которых определить сразу было нельзя, да и сами-то они не могли сказать, откуда сюда пришло их семейство. Потом я узнал – это потомки ханских рабов. Раньше

все обширное хозяйство Торсана обслуживалось бесплатно его батраками, потомками бывших рабов его семейства; но в то время, о котором я рассказываю, в кабале у Торсана осталось всего несколько семей, авторитет его померк. Покорными Торсану оставались лишь несколько аткаминеров, такие, как Бейсен, Тишбай, Таскожа и другие.

Может быть, потому, что времена наступили иные, соседние аулы стали понемногу накладывать руки на обширные феодальные угодья Торсана: то скот выгоняли на байские луга, то сено косили на его земле. В этой местности было много озер, высыхающих летом. На одном из них, самом большом озере – Акбасты, весной, когда появлялась вода, поднимался молодой зеленый камыш. Были годы, когда там скашивали сотни скирд, нужно было только не упустить время для косьбы. В лето моего приезда Торсан устроил нечто вроде русских «помочей» на покос зеленого камыша. Он зарезал барана и созвал жигитов из всех соседних аулов. Кумыс косарям должны были, по его приказанию, доставлять соседи.

Однажды Торсан собрался на косовицу. Он запряг серую лошадь, посадил меня за кучера, и мы поехали на озеро. На «помочи» собралось человек пятьдесят. Стройными рядами шли косари по высоким зеленым зарослям, и там, где в воду падал тростник, поднимались легкие волны. Работали дружно, споро, к вечеру озеро было бы выкошено, но вдруг вспыхнула драка. Из-за чего она началась и кто был зачинщиком ее, мы так и не узнали, но было, ясно одно – пришельцы бьют жителей аула Торсана. Сначала мы – я с облучка, Торсан с повозки – довольно безучастно смотрели на эту драку, но вдруг к нам прибежал один из приближенных Торсана и крикнул:

– Уезжай отсюда скорей! Сначала били твоих людей, а сейчас примутся за тебя.

– Парень! – закричал Торсан, зеленея от страха. – Домой!

Скакать нам пришлось мимо дерущихся, и в одном месте мы чуть не врезались в гущу сцепившихся всадников.

– Гони! Гони!– орал Торсан, и его большие глаза выкатились на лоб.

Серая понесла. Она была молодой, пугливой лошадей и несла, не слушая вожжей. На пути был крутой холм, лошадь влетела на него, запнулась о пень, и мы с Торсаном вылетели из повозки. Лежа, я пробовал удержать лошадь, но она несколько метров проволочила меня по земле за вожжи, вырвалась и убежала. Я быстро оглянулся назад. Драка была в самом разгаре, на Торсана никто никакого внимания не обращал. Когда я помогал ему подняться, он стонал и мотал головой. Именно в эти минуты я как-то особенно отчетливо и ясно понял, что старый аул доживает свои последние дни.

Вот он, местный «бог», распростерт на земле, стонет, не может голову поднять, а рядом дерутся полсотни его батраков, и никому до него дела нет. Валяется, и пусть валяется. Издохнет, и шайтан с ним!

Да, закатилась звезда Торсана. Все его сыновья лишились должностей и сидели дома. Уже не было в семье ни волостных, ни аульных старост, ни даже писарей. Осталось у Торсана не более ста лошадей, двести-триста овец да десять-пятнадцать верблюдов, вот и все. Для бывшего властителя края это граничило почти с полной нищетой. Ела его семья раньше отборную конину, угощали гостей мясом молодого барашка или сосунка-жеребенка, теперь же приходилось довольствоваться чашкой жидкой похлебки.

Из пятерых сыновей Торсана один, Шери, перестав быть волостным, сделался профессиональным конокрадом, второй, Бакен, получал по подложным доверенностям от колчаковского правительства кооперативные товары и тут же продавал их на сторону, третий, Казый, сидел в Омске и не показывал

домой глаз, четвертый никуда не выходил из дому, был мрачен, неразговорчив и, видимо, очень тяжело переживал разорение семьи.

Хочется мне несколько слов сказать о пятом сыне Торсана. Он был самым безобидным из всех сыновей. Звали его Габдуль Араб, или, как его называли в народе, просто Араб. Он оправдывал кличку: высокий, худой, длиннолицый, с глазами навывкат, с уродливо большим носом. Все другие дети Торсана знали русскую грамоту, Араб учился только по-мусульмански и кроме казахского языка знал еще татарский. В тот год, когда мы познакомились, ему было около сорока пяти лет, и жил он со своей семьей отдельно от отца в небольшом домике. Был он домосед, занимался хозяйством и далеко от своего аула не отлучался. Больше всего он увлекался книгами, особенно романами. Наверно, именно эти романы-то и сбили его с толку. Очень практичный человек в своих повседневных делах, он, как только дело касалось любви, становился настоящим романтиком. О любви он мог говорить чуть ли не целые сутки и приводить самые необычайные фантастические примеры. Сам он был влюблен в Светлану – жену местного управителя по охране казенных лесов, отставного полковника, «черного полковника», как его звали казахи. Но любовь его была неземная, платоническая. Араб видел Светлану только издали. Через каждые два-три дня он садился на лошадь, скакал к полковничьей даче и, скрывшись между кустами, часами наблюдал за домом, где жила его возлюбленная. Если удавалось случайно увидеть ее на две-три минуты, он был счастлив до следующего утра. Не удавалось – он возвращался унылым и разбитым и весь день был мрачен и угрюм.

Араб хорошо играл на домбре и на кобызе, его длинные, тонкие пальцы извлекали из струн этих инструментов особенно нежные, красивые звуки. Он знал много старинных и новых мелодий, и когда играл

их, из глаз его текли слезы. Кроме того, он был очень хороший рассказчик. Начнет, бывало, говорить о своей любви к Светлане, и невольно заслушаешься. Кем он только ее не делал! Райской гурией, феей, принцессой Шахразадой, а была его Светлана ничем не примечательная – толстая, рыхлая и рыжая.

Дом Араба не блистал убранством. Его жена – дочь известного бая и феодала Нургожи – принесла в дом мужа богатое приданое, но когда Араб выдавал свою дочь замуж, он отобрал все лучшее и ценное из приданого жены и отдал дочери. Осталось у него несколько больших кованых цветастых сундуков, некогда полных дорогими шубами, шелками и бархатом, а сейчас пустых и гулких. В одном из таких сундуков я обнаружил переплетенные по годам полные комплекты газет и журналов – здесь оказались все номера журнала «Айкап», выходившего в Троицке с 1911 по 1916 год, газеты «Казах», выходившей в Оренбурге с 1913 по 1917 год, газеты «Сары-Арка» и журнала «Абай», выходивших в 1917 году в Семипалатинске, газеты «Уш жуз» и «Жас азамат», выходивших в Петропавловске в 1918 году. Другой сундук оказался набитым доверху татарскими книгами. Но меня интересовали прежде всего газеты и журнал «Абай». Из них я узнал, когда возникла Алаш-Орда и какие постановления она выносила. И хотя программу этой партии я понимал очень смутно, но что эта партия – непримиримый враг Советской власти, – это я понял хорошо. Да и нельзя было этого не понять, читая ее злобные завывания, когда речь заходила о большевиках. Не было таких бранных слов в казахском языке, каких бы не употребляли эти газеты по адресу новой власти.

- Так, из газеты «Казах» я вычитал, что в декабре 1917 года в Оренбурге происходил съезд Алаш-Орды, и на нем было принято решение об организации специальных воинских частей, так называемой «алашской милиции». Общее количество милиции устанавли-

валось в 13 500 человек, а разверстка по областям распределялась так:

Оренбургская область – 1 000,
Уральская область – 2 000,
Тургайская область – 3 000,
Акмолинская область – 4 000,
Семипалатинская область – 1 500,
Джетысуйская область – 2 500.

Расходная часть на обучение и содержание этого воинства составляла 68 960 000 рублей. Об этом решении вожжаков Алаш-Орды сам народ ровно ничего в ту пору не знал: оно было напечатано в газетах, а много ли казахов умели читать хотя бы по-печатному. Поэтому только один Араб ходил и тревожился: «Когда же будут проводить эту мобилизацию? Кого будут забирать в солдаты? Как к этому отнесется народ?» «Солдат» – для казаха страшное слово. «Не кличь беду, не говори, что не надо, – война кончилась, какие еще солдаты?» – отвечали ему, ругаясь, одноаульцы, так и не понимая, о чем идет речь.

АЛАШОРДЫНЦЫ

Но тревога Араба оказалась не напрасной. Алаш-орда начала претворять свое решение в жизнь. В 1918 году в качестве подготовки в алашордынских газетах стали появляться статьи, разъясняющие важность и благотворность распоряжений алашордынского центра. В этих статьях утверждалось, что «для ограждения и защиты народа от большевистской опасности единственный разумный выход – организация алашской милиции, иного пути нет».

Петропавловская газета «Жас азамат» сообщила, что, возможно, в августе будет созвано собрание представителей казахских властей Петропавловского и Кокчетавского уездов Акмолинской области, которое обсудит вопрос об ассигновании средств и мобилизации.

К концу июля выяснилось, что такое собрание состоится в Аккусакской волости. Управителем этой волости был Садвокас – сын известного казахского миллионера Альти. В Петропавловской и Кокчетавской областях насчитывалось 22 уезда, и представители ожидались от каждого из них. Вопросы устройства съезда – как встретить гостей, как их накормить, где кого поставить на квартиру – очень подробно обсуждались заранее.

Возвратившись с одного такого совещания, Шакан Торсанов рассказывал:

– Альти так заявил: «Начальство приму я сам – будь их двадцать человек, будь сто, – всех сам угощу, всех спать уложу, и ни в чем не будет у меня недостатка, но всех остальных приезжих распределяйте между собой».

Так и порешили: произвели раскладку между баями, подсчитали, сколько нужно посуды, постелей, молодых барашков, и стали ждать гостей.

Вскоре к Торсану прискакал нарочный от Альти и передал приказ: «Приготовиться к приему гостей». Торсан сейчас же приказал мне запрячь в тарантас серого рысака и, посадив меня за кучера, отправился к Альти. Остановились мы не у самого Альти, а у его младшего брата – бая Акыша. Когда мы приехали, за столом уже сидели несколько приезжих гостей – бай кереевского и уакского родов.

Но интересовали Торсана не они, а приезжее начальство. Посмотреть алашордынцев хотелось и мне, поэтому я выпряг лошадь, задал ей корма, да и пошел в аул Альти. Встречал почетных гостей Аблай-хаджи Рамазанов, прозванный в народе просто «прохвост-хаджи», – человек в своем роде замечательный. Он три раза совершал паломничество в Мекку, знал семь языков и считался самым смелым из казахов, ибо, как говорили про него друзья, он «ничего и никого не боялся». И его видел впервые. Это был статный, высокий, крепкий детина с длинными черными усами

и большим носом. У хаджи были специальные верховые, которые стояли на всех перекрестках дорог и должны были во весь опор скакать в аул, как только вдали покажется повозка с гостями. В пяти же верстах от аула, в русской деревне, день и ночь дежурил нарочный на откормленном скакуне и ждал сигнала. И вот однажды он прискакал в аул и с криком «Едут! Едут!» пронесся по улицам.

Рамазанов, в шляпе, в новом городском пальто, в сверкающих фабричных сапогах, помчался навстречу гостям, за ним скакали его жигиты, крича:

– Разойдись! Прочь с дороги! Гости, едут! Все по домам!

Люди жались, пятились, но уходить не хотели. Я тоже стоял в толпе и смотрел. Вот со стороны русской деревни показалось облако пыли. Оно росло, приближалось, распадалось на части, редело, и наконец из него показалась длинная вереница повозок и группа всадников. Процессия остановилась возле белых юрт Альти, специально оборудованных для гостей, и из повозок стали выходить хорошо одетые, чисто выбритые гости – «новое казахское начальство». Абай-хаджи, почтительно кланяясь, разводил их по кибиткам.

Мы, раскрыв рты, глядели на гостей. Этому помешал Аблай, который как бешеный набросился на своих жигитов:

– А эти что тут делают? Что вы на них смотрите? Гоните их прочь!

– Мы гоним, да не расходятся, – сказал кто-то,

– То есть как это не расходятся, – даже затрясся от ярости Аблай, – а плетки у вас на что? Мух гонять? А ну стеганите их хорошенько, тогда увидим, разойдутся или нет.

Несколько жигитов с поднятыми плетками бросились к толпе. Народ шарахнулся и побежал, побежал со всеми и я.

К вечеру все юрты, построенные для гостей, были заполнены до отказа, а гости все прибывали и при-

бывали. Ожидали не больше двухсот человек, а уж в первый вечер собралось несколько сот. К полудню следующего дня собрались все аксакалы-баи, были управители от Омска до Акмолинска и от Кокчетавы до половины Кустанайской области. Здесь были все вельможи родов атыгай, караул, канжигалы, курлеуткерей и уак, последние отпрыски всех ханов и крупных феодалов. И набралось их не сотни, как предполагали, а тысячи. Поляны, ложбины, холмы и овраги – все было заполнено народом, и всех приезжих надо было уважить, хорошо угостить, а главное, никого не обидеть, иначе все могло кончиться скандалом, дракой и даже резней.

«Накормить такую прорву не хватит всех наших табунов», – плакались некоторые, но «отцы народа» сказали: «Раз уж так случилось, надо покориться, мы всех не звали – они приехали сами, прогнать их мы не можем. Время не то, и люди они не такие. Пусть каждый возьмет на себя свою долю тяжести» – и обложили устроителей новой дополнительной контрибуцией.

Возглавляли съехавшихся «отцов народа» Дулатов Миржакып, члены Омского алашордынского обкома Ережеп Итбаев и Айдархан Турлыбаев, члены Петропавловского уездного комитета Алаш-Орды Салмакпай Кусемисов, Жумагали Тлеулин и представитель Кокчетавской алашордынской организации Еркосай Мукушев. Прибыл из Омска и сын Торсана Казый. Всех алашордынцев около сотни.

На второй день последовало приглашение:

– Почтенные мужи хотят познакомиться с аксакалами. Надо, чтоб каждый род выбрал по аксакалу и прислал в дом Альти.

Всего было выбрано пятьдесят человек. От нашего рода сыйбан послали Торсана. Выбранные, хотя до аула было очень недалеко, не пошли, а поехали – кто верхом, кто в повозках. Они уехали, а по аулам пошли всякие разговоры.

– Нет, не для знакомства их пригласили. Баи да аксакалы быстро найдут общий язык и сговорятся.

– О чем?

– О том самом! Что они, невесту, что ли, приехали сватать? Им солдаты нужны, они их и заберут. А аксакалы будут сидеть и не пикнут.

Когда разговор доходил до этого, ответ был один:

«Пусть они сговариваются о чем угодно, а сыновей наших не получают. Они раз уже нас продали в 1916 году, второй раз – не выйдет. Если баи да волостные что-то наобещали, пусть сами и расхлебывают».

И еще сказал народ:

«Много ли прока мы видели от Алаш-Орды? Микола был плох, а Алаш-Орда и Колчак того хуже. Кто раньше был хозяином, тот хозяйничает и сейчас. Аксакалы хотят сами сидеть в мягких креслах, а наших детей подставить под пули? Нет, хватит! Дураки перевелись».

Я все время находился с Торсаном, а ведь недаром говорят: «Кто на верблюде, тот ближе к аллаху на целый шаг», – все важные новости я узнавал первым. Первым я узнал и то, что будет большое собрание, и на нем от имени Алаш-Орды и хозяев края выступит с докладом Дулатов, от имени народа ему ответит Муқыш Куртаев.

Я знал Муқыша. Это был старик лет семидесяти (из тех, кого у нас называют средним баем), у него было около ста лошадей, двести-триста овец, сорок-пятьдесят коров и хорошая белая юрта, остальные три таких же юрты принадлежали его женатым сыновьям.

Среди казахов пяти волостей, принадлежавших к родам керей и уак, ораторским искусством славились трое. Но сравнительно с двумя другими почетными аксакалами Муқыш довольно хорошо разбирался в политике.

Дело в том, что его сын Габдолла, проучившийся несколько лет в татарской и русской школах и теперь сам учительствующий, приучил его читать газеты и журналы. Два других аксакала были неграмотны,

поэтому произнесение ответной речи алашордынцы поручили Мукушу. И вдруг накануне торжественного дня Мукуш исчез. Его искали всю ночь, а на рассвете он сам вернулся. Он был бледен, чем-то очень расстроен и испуган. Вернувшись, он сейчас же созвал баев и, накрепко заперев двери, о чем-то часа два с ними проговорил. И баи, вышедшие от него после этого тайного разговора, тоже были бледны и испуганы.

Только потом я узнал, что же именно произошло. Оказывается, Мукуша похитили. Похитили его потому, что до народа дошел слух о том, что Мукуш, выступив на собрании по поручению вожаков Алаш-Орды, будет призывать принять закон о мобилизации.

По планам вожаков Мукуш должен произнести такую речь:

«Царя Николая – тирана и изверга – народ сверг с престола и установил свободу. Но свободу эту нужно уметь удержать. Наша интеллигенция вынесла решение о создании национального казахского государства. Создать государство – не маленькое дело, если народ не возьмется за это, ничего не выйдет. Алаш-Орда просит у народа жигитов для охраны его свободы. Людей для этого требуется немного – две тысячи жигитов от двух уездов, не больше. Солдатами жигиты не будут, на фронт не пойдут, их дело – охранять общественный порядок в Омске, Петропавловске, Кокчетаве и других городах нашего края. Такой человек будет называться не солдатом, а милиционером. Никакая опасность не грозит детям нашим, поэтому бросьте упорствовать, выполните честно свой патриотический долг, и родина скажет вам спасибо!»

Эту-то заранее заготовленную и много раз прорепетированную речь и произнес до смерти перепуганный Мукуш перед своими похитителями. На это ему ответили так:

«Мы слышали эти сказки еще в тысяча девятьсот шестнадцатом году, нам тогда тоже говорили: «Чего

вы волнуетесь, ваши сыновья идут на тыловые работы. Это не мобилизация, а трудовая повинность, пойдет один из десяти». А что получилось? Детей бедняков увозили на фронт тысячами, а все байские сынки так и остались дома. Вот и сейчас они добиваются того же самого. Они хотят, да мы не хотим. Говорят же: «Кто раз на молоке обжегся, тот и на ключевую воду дует». Пусть идут сами байы, а мы останемся дома! Вот все это и скажи завтра от нашего имени!» – потребовали похитители Мукуша.

Мукуш попробовал отказаться, но тогда ему пообещали такое, что он от страха лишился языка.

Рассказав все это баям, Мукуш окончил так:

«Что я мог ответить? Кровь им ударила в глаза, они ничего не видят и не хотят слушать. Грозятся убить меня и вырезать все мое семейство. Пусть вместо меня назначат кого-нибудь другого, я боюсь!»

Что оставалось делать аксакалам? Думали они и так и эдак, ничего не придумали, как послать человека к «отцам народа», чтоб сообщить о случившемся. Посланец вернулся с ответом, что начальство очень недовольно и просит Мукуша выступить так, будто ничего не случилось.

И вот на крутом склоне холма началось собрание. Алашордынцы вместе со своими сторонниками – их было человек сто – ехали по десять человек в ряд. Впереди отряда гарцевал Миржакып Дулатов. Всадники пели алашский гимн «Мой предок – мужественный тюрок».

Отряд въехал на вершину холма, и всадники спешились. Вокруг холма быстро собралась многотысячная толпа, и двести алашордынцев, окруженные этой толпой, казались снизу беспомощной ладьей среди бушующих волн разгневанного океана. Мне невольно вспомнились строчки из Байтурсунова, одного из лидеров Алаш-Орды:

На утлой лодке, в бурю, без ветрил,
Плывем по морю из последних сил.

Подует ветер, нас швыряют волны,
Под нами бездна, в небе свет светил.

На вершине холма стоял тарантас, его втащили и поставили сюда вместо трибуны. На него влез Дулатов и произнес длинную, красиво составленную, но малоубедительную речь. Он, верно, и сам это чувствовал, потому что то и дело спрашивал: «Так я говорю?» И тогда из толпы аксакалов ему отвечало несколько неуверенных голосов:

– Истинно так!

Но народ молчал.

После Дулатова выступало еще несколько алаш-ордынцев, в том числе Казый Торсанов. Свою речь он закончил такими словами:

– Пять волостей, дети керее и уака, кровные братья мои, друзья и родичи! Я верю в вас, мои земляки, покажите только пример, а последователи найдутся. Дети керее и уака! Гости приехали к вам, а гость по нашему обычаю – великое дело. От вас зависит, мои земляки, как уедут отсюда наши гости, с поднятыми головами или глазами, опущенными в землю.

Наконец председательствующий на этом собрании Аблай своим громовым голосом объявил:

– Итак, народ, ученые мужи сказали все, что они думают. Теперь будет говорить народ. Слово представляется представителю народа аксакалу Мукушу.

Мукуш встал с места и мрачно спросил Аблая:

– Можно говорить отсюда?

– Нет, аксакал, никак нельзя, – ответил Аблай, – говорящий должен быть на виду. Влезьте на телегу, и вас сразу все увидят.

– Легче мне от этого не станет, – проворчал Мукуш. – А что мне говорить? У меня ведь две речи.

– Дядя Мукуш, да что с вами? – сказал Аблай очень недовольный. – Что вы колеблетесь? Разве мы обо всем уже не договорились? Неужели вы повторите глупые слова невежественной черни, тогда как вам известно

мнение почтенных мужей Алаша, почтенных гостей нашего народа. Скажите то, что вам поручили, – вот и все!

Мукыш тяжело вздохнул, еще больше помрачнел понуро дошел до тарантаса и с трудом взобрался на него.

– О люди, – начал он, беспокойно озираясь по сторонам, – два слова у меня на языке, а с какого начать, я так и не знаю.

Он остановился, а с подножия холма закричали:

– Что большинство тебе наказало, то и говори! Что ты на них все оглядываешься?

– Так вот, есть два ответа, – сказал Мукуш. – Первый – это то, что говорят наши ученые вожаки, их тоже, конечно, нужно выслушать, сами же знаете: не бывает шубы без воротника, не бывает народа без вожака. И вот вожаки мне и сказали...

Что за шум поднялся вслед за этими словами, сколько кулаков поднялось к небу! Сколько глоток закричало:

– Хватит! Понятно! Говори волю народа!

Мукуш, решившись, поднял руку. Шум сразу же прекратился.

– А ответ народа короткий: «Ни в милицию, ни в солдатчину мы своих детей не отдадим».

– Верно! Правильно! Спасибо! – загремела толпа.

Несколько минут стоял сплошной рев. Алаш-ордынцев уже никто не слушал. А Мукуш повернулся к «отцам народа».

– Мужики, – крикнул он, – я сказал все, остальное говорите сами.

Но что было говорить, когда толпа, как только Мукуш слез с тарантаса, повернулась спиной к растерянным алашордынским вожакам и двинулась с поля. Только Дулатов еще не хотел сдаваться: он добрался до тарантаса, заревел:

– Уа, Алаш!

Но никто даже не обернулся, все было уже ясно.

В полном составе Алаш-Орда покинула аул. Опять затарахтели повозки, тарантасы, помчались всадники,

поднятая ими густая пыль скрыла из виду лица поверженных вождей самозванного правительства. Жизнь им мстила за то, что они на мгновение вообразили, что смеют говорить от имени казахского народа. И вот теперь они словно исчезали в густых клубах сухой пыли. Я уже сказал, что среди алашордынцев был сын Торсана – Казый. Когда отец предложил погостить ему еще денечек-два в ауле, он ответил:

– Здесь гостить? У вас? А с каким лицом я вернусь? Ехали мы, как люди, по дороге, а возвращаемся, как воры, по подземелью. В глаза никому не сможем взглянуть.

И уехал, почти не простившись.

Он вернулся поздней осенью, в то время, когда становище «байского аула» находилось на осеннем пастбище на урочище Аккусак.

Приехал он за лошадьми, не покупать их, а собирать как добровольное пожертвование в пользу колчаковской армии.

Конечно, более вздорного дела трудно придумать, и я слышал, как Торсан выговаривал сыну:

– Что вы такое делаете? Как вам не стыдно? Люди вы взрослые, лезете в правители, в вожди, а посмотреть на вас, так дети и дети, – вам не народом править, а в асыки играть. Летом вы приезжали за солдатами? Приезжали. Говорили речи? Говорили. Требовали добровольного введения солдатчины? Требовали. А что получили от народа? Помнишь, как бежали отсюда? Как глаза боялись друг на друга поднять? А теперь опять все забыли и снова глядите орлами, вот уж доподлинно «побитому все мало». Вас бьют, а вы все в драку лезете. Какого шайтана, например, ты впутываешься в такие поганые дела? Почему ваш Колчак, если он уж такой, не скажет вам, ишакам: «Просите вы у народа сыновей – получаете шиш под нос, просите вы у народа коней – получаете то же самое. Народ ли вас не уважает, или вы его не уважаете?»

• Торсан говорил, а Казый сидел молча на табуретке, опустив голову.

Вечером в доме Торсана состоялся секретный семейный совет, и я присутствовал при нем незримым свидетелем. Дело в том, что с момента своего переезда в аул я все время живу в доме Торсана. Я не только учитель его детей, но и кучер, подпасок и вообще мастер на все руки. Когда табун приходит с пастбища, я собираю дойных кобылиц и придерживаю жеребят, чтоб они не лезли к маткам. Я же в иные дни, если заболел пастух, еду со стадом в ночное. Есть у меня и более почетная обязанность – ухаживать за байскими гостями. У Торсана и дня не проходит без гостей, и я стелю им постели, прислуживаю во время трапезы. Поэтому я всегда ночую в байском доме и вижу все, что там делается. Но на этот раз Араб вдруг сказал мне:

– Парень, сегодня ты ночуй где-нибудь в другом месте, у нас нельзя.

Я спросил, почему.

– Нельзя, малый, нельзя, будут люди.

Я пожал плечами.

– Разве я им помешаю, дядя Араб?

– Помешать-то, конечно, не помешаешь, – ответил Араб, чувствуя неловкость этого разговора, – да ведь там ночует Казый.

Я все притворялся ничего не понимающим.

– И пусть! Что я, больной, что ли, заражу его?

И тут Араб не выдержал и сказал:

– Как же ты не понимаешь! Приехал Казый издалека, у него с отцом секретный разговор, приказано удалить всех посторонних.

«Хорошо же, – подумал я, – уйти-то я уйду, но разговор ваш подслушаю непременно».

Одному слушать скучно, и я предложил пойти со мной своему другу и сверстнику Журумбию. Тот, конечно, с радостью согласился, и когда стемнело, мы вдвоем подползли к войлочной юрте, нашли большую щель, легли и стали прислушиваться. К двенадцати

часам ночи, когда все гости разошлись, начался тайный семейный совет. Пришли сыновья Торсана: Шакан, Шери, Араб и Бакен. Торсан с женой и Казый уже сидели и ждали их.

– А никто нас не подслушивает?– спросил Казый перед началом разговора.

Шери усмехнулся.

– А если и подслушивает, что ты сделаешь?– спросил он грубовато.– Что это, каменный дом, что ли? Там дверь запер, ставни закрыл, и все! В войлочной юрте даже шепотом говори, и то все будет слышно.

– Да нет, нет никого,– нетерпеливо заверил Шакан,– говори скорее, в чем дело.

Мы с Журумбием слышали все до слова, хотя Казый говорил вполголоса. Была такая тихая, ясная, безветренная ночь, что можно было явственно слышать каждый вздох.

Казый был настроен очень уныло, по его словам, «паршивый волк постоянно шерсть ерошит». Колчак и Алаш-Орда хотя и желают показать свое могущество, но цена им грош.

– У большевиков в руках телеграф, все заводы и фабрики, все самые главные города европейской России; обе столицы находятся в их руках. Вот и выходит – сила у большевиков!– Он замолчал, подумал и вдруг, очевидно, желая сгладить тяжелое впечатление, прибавил:– Конечно, Колчак тоже сила немалая, он опирается на весь Запад – за него Антанта. Более сильного противника у большевиков, чем Колчак, нет, а он – опора Алаш-Орды. Поэтому большевиков мы сюда, конечно, не допустим. Но на всякий случай – кто ж его знает!– надо всего ожидать. Все ценности следует, не теряя времени, превратить в золото и быть готовыми ко всяким случайностям.

– Ладно, будем готовиться! А куда, в случае чего, мы можем податься?– спросил кто-то невесело.

– За границу, конечно. А там что даст аллах.

– Значит, так и будем, как бездомная кукушка, перелетать с места на место?

– Не говори глупостей!– прикрикнул Шакан.

Наступила пауза.

– А что нам собираться,– вдруг громко и недовольно заговорил Торсан,– что у нас, полные сундуки золота? Не то что золота, а иногда и сахара к чаю нет. Если бы сами не сеяли, то и без хлеба насиделись. Скота тоже осталось только для дома, а не для продажи. А если барахлом начнешь торговать, что за него возьмешь?

– Да не цепляйся ты за свое барахло, ради аллаха!– крикнула ему жена.– Мы с голоду не умрем, а ты подумай о Казыйжане. Он ведь служит большому начальству, если что случится, думай только о себе, на нас не гляди.

На этом кончился разговор. Казый уехал на следующий же день, проведя, таким образом, дома только одну ночь, но я успел с ним поговорить. Дело в том, что еще до его приезда я прочел в газете «Сары-Арка», что в Омске в ноябре открываются двухгодичные казахские педагогические курсы со стипендией и общежитием для курсантов. Это известие очень заинтересовало меня, и я, решив ехать в Омск учиться, поделился своими планами с Казыем. Он одобрил мое намерение, обещал помощь и поддержку и дал даже свой омский адрес. •

Провожать Казыя собралось только несколько друзей Торсана. В этот день дул холодный ветер, и низкое небо было покрыто густыми серыми тучами. Каждую секунду мог хлынуть осенний ливень. Насторожение у провожающих было такое же ненастное, сиротливое и тяжелое. Торсан даже заплакал.

«Теперь я вижу, что и боги плачут»,– подумал я.

После того как Казый сел в повозку, Торсан прочитал молитву – намаз, в которой просил у аллаха счастливой дороги сыну. Кони тронулись. Провожающие продолжали стоять неподвижно, как в мечети.

Тишбай-хаджи, обмотав голову чалмой, прокричал еще одну молитву – азан. Я в первый раз видел этот обряд и был донельзя удивлен тем, что слова этой молитвы относятся на этот раз к отъезжающему, а не умершему. Я-то ведь думал, что азан читают исключительно только по покойникам. Дорога Казыя лежит мимо родового кладбища Есенея с деревянными гробницами и мазарами, и мне представилось, что лошади повезли его к фамильному склепу.

ОТЪЕЗД ИЗ АУЛА

В конце сентября я окончательно собрался в Омск. Выпросил у зятя Сулеймена молодую лошадку и поехал в Жаман-Шубар собирать деньги у земляков на дорогу. Ходил по домам, рассказывал о своем безвыходном положении, о твердом желании учиться и просил дать, кто сколько может. Но бедняки разводили руками: «Извини, светик, у нас и самих ничего нет», а богачи ругались: «Бродягой хочешь стать? Издохнуть под забором и опозорить своих родственников? Нечего тебе делать в Омске! Не морочь нам зря голову, не припасли для тебя денег!»

Поддержал меня один портной Шаин, который неожиданно возвратился в наш аул.

Он сказал: «Нечего тебе думать да размышлять, собирайся и иди. Жигита и волка ноги кормят. Ты уже не маленький, руки, ноги есть, значит, и деньги у тебя будут».

Пять рублей дал мне Мырзагазы, слепой кари дал еще три рубля. С этими деньгами я и вернулся к Сулеймену. На него и на другого зятя Болатбая была моя последняя надежда, но они оба отказались дать что-нибудь.

– Пустое дело! – отрезали они. – Мы на ветер деньги не бросаем.

Труднее всего было уговорить сестер. Обе плакали и говорили почти в один голос:

– Родной ты наш, куда ты уходишь! Детей у тебя нет, ты как пиала супа – прольешься, от тебя ничего не останется. Ты был единственной радостью, которую аллах послал твоему отцу. А погибнешь, и самое имя Мукана исчезнет. Не уезжай, оставайся. Из наших мест никто, кроме тебя, не уезжает в такую даль. Что ты смотришь на сына Торсана? У него всего много: и денег, и одежды, а ты с чемпустишься в такой путь? Умрешь с голоду – вот и все!

Или они начинали ругаться:

– Вот ты нас не слушаешь! Что тебя, смерть твоя, что ли, гонит? Горе-злосчастье не дает тебе покоя?

Я понял, что толку здесь мне не добиться, и замолчал. И все же, что делать? Денег нет, одежды нет, как отправляться в такой долгий путь? И тут мне наконец посчастливилось. Как раз в это время Мустафа Ресеев выдавал свою дочь за байского сынка и устроил богатый пир.

– Тебе повезло, несчастный, – сказал мне жигит по имени Букас, – тут ты можешь славно заработать. Спой им несколько песен, и они тебе набросают полное блюдо денег, а я тебя поддержу.

Конечно, я с радостью согласился. Сватами приехали именитые богачи, и вечером серая кибитка Мустафы до отказа была полна гостями. Букас (а он был за распределителя) представил меня приехавшим сватам:

– Вот хочет ехать в Омск учиться, а средств не имеет. Ты, паренек, послужи дорогим гостям, а они уже знают, что тебе нужно.

Пока варилось мясо и готовился обед, я безостановочно пел. Букас расстелил свой платок и поставил на него тарелку. Когда я кончил петь о Кобланды-батыре, в тарелку начали бросать деньги, полетели двугривенные, полтинники, рубли. Мне сразу стало веселее на сердце, но вдруг один из гостей, Оспан, внезапно спросил:

– Кто этот певец?

Ему ответили:

– Сын Мукана из Жаман-Шубара.

– Как?!– заревел Оспан, вскакивая на ноги.– Это тот наглец, что сочинил на меня пакость, и ему давать деньги? Да я их лучше в огонь брошу. Забрать у него обратно все, что ему дали!

Сватовья поддержали его:

– Избить и выгнать бродягу!

Шамиль, младший брат Оспана, протянул руку к тарелке и грозно сказал:

– Давай сюда деньги!

– Спокойно, спокойно,– вдруг возвысил голос Букас.– Не твои деньги, значит, не тяни руку. Мы Сабита в обиду не дадим! Понял?

– Попробуйте только тронуть пальцем,– загремели голоса жигитов.

– Да они не тронут! Так, пошумели, и все!– успокоил Букас.– Ну, паренек, обед готов, иди отдыхай! Пошли!

Когда мы вышли на двор, я сосчитал деньги – набралось двадцать семь рублей – и сунул их в карман. С теми восемью рублями, что у меня были, – это составляло тридцать пять рублей – деньги для меня огромные.

К гостям я не вернулся. На другой день узнал, что мои одноаульцы Бакен и Боржабай собираются ехать в город по торговым делам.

Выезжали они рано, на заре. Я стал умолять Бакена взять меня с собой; Боржабай попробовал было возражать – зачем тащить в город лишний груз,– но Бакен решительно сказал:

– Возьмем. Он сирота, за него аллах оплатит, пусть учится. Кто знает, может, еще большим человеком станет. Это тоже бывает.

Боржабай фыркнул.

– Хочешь, вези, но не болтай пустое. Из отпрыска Мукана дельного ничего не получится. Сдохнет где-нибудь, как бездомный пес, под забором.

Разговор шел при мне, но ни тот, ни другой нимало не смущались моим присутствием.

– Так вот,– сказал Бакен, оборачиваясь ко мне,– мы отправляемся на заре. Попрощайся с сестрами, собери вещи.

Хорошо сказать – собери вещи, а где они у меня? Хорошо, сказать – простись с сестрами, а как я к ним пойду? Мои племянники, воспитанные Мустафой, и вообще знать меня не хотят. Когда им говорят: «Вот пришел ваш дядя Сабит», они бросаются на меня с палкой. Ултуган с Болатбаем в другом ауле.

На рассвете Бакен разбудил меня. Лошади были уже готовы. Я влез на козлы, и повозка тронулась. Куда я еду? На что надеюсь? Сзади остается отчий дом, близкие люди, родные места. А что впереди?

Ничего, кроме неизвестности и темноты. Бакен спросил меня, простился ли я с сестрой. Я промолчал, ибо что же я мог, в самом деле, ему ответить? Сестра, если бы она была полновластной хозяйкой дома, могла мне помочь, у ее мужа приличное хозяйство, белая юрта. Что им стоит дать мне денег на дорогу? Но разве ее скупой муж раскошелится для меня хоть на копейку. Она и так приняла из-за меня немало попреков и побоев, так что же мне еще ей досаждать.

От этих и других размышлений, также безрадостных и тяжелых, я закрыл лицо руками и заплакал.

– Это что еще такое?– грубо спросил Боржабай, оборачиваясь ко мне.– Замолчи сейчас же!

Я еще раз всхлипнул.

– Тебе говорю, замолчи!

– Оставь, оставь!– вмешался Бакен.– Жалко ведь оставлять родные места. Когда он их еще увидит?!

– А что он там оставил?– рассмеялся Боржабай.– Стада? Белую юрту? Жену? Бродяга несчастный!

А повозка едет все дальше и дальше, и вот уже знакомые места исчезают с глаз. И простирается даль огромная, неизведанная. Прощай, родная земля!

1938-1949

Конец первой книги

ПРИМЕЧАНИЯ

Первая книга трилогии состоит из ряда глав, посвященных детским и отроческим годам писателя. Впечатления детства даны через призму событий того периода.

Учеба в аульной мусульманской школе – кадым; описание озера Дос и его берегов, религиозные и национальные обряды сватовства, калыма, кража невесты, изнуряющий труд табунщика и чабана – все это в полной мере раскрывается в первой части трилогии.

Ханская ставка – место бывшего проживания Аблайхана, Валихана, Айганым.

Кокыш – младший брат Чокана Валиханова.

Акан-сери – великий казахский акын, музыкант, композитор. Его песни, среди которых «Караторгай», «Сырымбет», «Кулагер», «Манмангер» являются золотым фондом казахской народной музыки.

Прекрасное описание рождения Кулагера, привязанность к нему Акана. Поэма «Кулагер» Ильясa Жансугурова является гениальным поэтическим творением конца тридцатых годов прошлого столетия.

Баймагамбет Этулин – известный казахский поэт начала XX века.

Габдолла Токаев – великий татарский поэт и просветитель.

Нуржан Наушабаев – известный казахский поэт начала XX века.

Ибрагим (Абай) Кунанбаев – великий казахский поэт, философ, композитор.

Султанмахмуд Торайгыров – великий казахский поэт и писатель, просветитель.

Испандияр Кубеев – казахский писатель, поэт, педагог.

Камиль Тухфатулин – издатель ряда поэм казахского фольклора, среди которых лиро-эпическая поэма «Кыз Жибек».

Джадидизм (араб. джадид – новый) – культурно-реформаторское, просветительское и общественно-политическое движение мусульман Поволжья, Крыма, Закавказья, Казахстана и Центральной Азии в конце XIX – начале XX веков. Джадиды выступали за реформирование ислама, ограничение влияния духовенства, развития национального искусства и литературы, равноправие женщин, обучение в школах на национальных языках. Играли ведущую роль в партии «Иттифак – аль-муслимин». После Февральской революции 1917 года создали партии «Шура-и-ислам» в Центральной Азии и в Казахстане и «Милли Фирка» в Крыму. Часть джадидов признала Советскую власть, другая сотрудничала с антисоветскими организациями и впоследствии эмигрировала.

У Чокана Валиханова есть сюжет о кобызе Койлыбая. Магжаном Жумабаевым написана на основе этого сюжета поэма «Кобыз Койлыбая».

В данном случае автор приводит один из вариантов этого сюжета.

В первой части трилогии, словно драгоценный бисер или жемчуг, рассыпаны народные пословицы, поговорки и присказки: «Палкой бьют – жар костям дают, языком ударят – до души ошпарят», «Кто на верблюде, тот ближе к Аллаху на целый шаг», «Время придет, когда жаворонки совыют гнезда на овечьих спинах», «Кому не суждено умереть с голоду, тот и в степи найдет рыбу», «У беды сто братьев», «Ученый, когда читает, за облако улетает».

Автором в ряде мест дана субъективная оценка движению Кенесары Касымова и деятелям «Алаш-Орды».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Б. Канапьянов. «Школа жизни» Сабита Муканова.....</i>	<i>5</i>
--	----------

Разоренное гнездо

Из истории моего рождения.....	7
Отец и мать.....	15
Пожар.....	19
Охотник Ораз.....	24
Несчастливая Багила.....	32
Почему наш род покинул родные места.....	35
«Царство» Жаман-Шубара.....	39
Смерть отца.....	47
Смерть матери.....	53
Озеро Дос.....	56

Колодец, вырытый иголкой

Путь в пекло.....	64
Первое наказание.....	73
Кадым.....	77
Дядя Шаин.....	83
Напрасный труд.....	88
Пропавшая ушанка.....	91

Раздор

Чалая кобыла.....	97
Ночной буран.....	102
Тайное свидание.....	107
Раздел.....	115

Случайные заработки

Похищение девушки.....	121
Русская техника.....	126
Силач Канапия.....	134
Киссы.....	148
Табунщик.....	154
Ак-Жамбас.....	158
В чужом пиру похмелье.....	166

Любовь к песне

Знахарка Кымбат.....	173
Продавец песен.....	177
Габдол Кабанбаев.....	181
Красавица Умсын.....	185
Ахан-сери.....	200
Ханская ставка.....	215
Судья-взяточник.....	219
Балуан-Шолак.....	224

Путь ямщика

Рана в сердце.....	228
Учитель.....	232
Степной Мюнхгаузен.....	236
Генерал-губернатор.....	243
Далекая мечта.....	250
Тоска по сестре.....	257

На заработки

История захватчиков.....	260
Дом джкатака.....	266
Пастух.....	271
Волки и зайцы.....	279
Война.....	282
Бопан.....	287
Месть.....	291

Против насилия

Последствия войны.....	298
Соперники.....	305
Калым.....	315
Насильники.....	319
Лицом к лицу.....	328

Интерес к стихам

Мой первый айтыс.....	335
Баймагамбет Этулин.....	347
Еще айтыс.....	358
Габдолла Токаев.....	362
Нуржан Наушабаев.....	369
Ибрагим (Абай) Кунанбаев.....	374

Хурият

Свержение царя.....	384
Батыр, прогнавший царя.....	389
Мальчик-молда.....	396
Конокрады.....	412
Русская красавица.....	419
Расплата.....	426

Прощай, родная земля!

Молдагазы Нуртазин.....	434
Достабрен.....	440
Аул Торсана.....	444
Алашордьпы.....	449
Отъезд из аула.....	462
Примечания.....	466

Литературно-художественное издание

Серия
“БИБЛИОТЕКА КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ”

Сабит МУКАНОВ
ШКОЛА ЖИЗНИ

Книга первая

Под общей редакцией **Б. Канапьянова**

Редактор *А. Кадикенова*
Технический редактор *С. Бейсенова*
Компьютерная верстка *А. Кадикеновой*
Корректор *М. Еркенкызы*

Разработка суперобложки
дизайнцентра издательства «Аударма»

ISBN 9965-18-326-0



9 789965 183263

ИБ №327

Подписано в печать 26.04.2011 г. Формат 84х108 ¹/₃₂.

Гарнитура . “NewBaskervilleСТТ”. Печать офсетная. Усл.-печ. л. - 25,00

Уч.-изд. л. - 22,00 Тираж 3000 экз. Заказ № 524.

Издательство “Аударма”

010009, г. Астана, ул. Г. Мусрепова, 5/1, ВП-2



ТОО РПИК «Дәуір», 050009, г. Алматы, пр. Гагарина, 93а.

Тел.: 394-39-22, 394-39-34, 394-39-42,

E-mail: rpik-dauir81@mail.ru, rpik-dauir2@mail.ru